



ЗВЕЗДА ВОСТОКА

ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
УЗБЕКИСТАНА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С 1932 ГОДА

№ 7

1990 ГОД

Ташкент. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма

В номере:

ПРОЗА

НУРАЛИ КАБУЛ. Забытые берега. Роман-монолог 3

ПОЭЗИЯ

РАИМ ФАРХАДИ. Спор о языке. «Измеришь чем и как найдешь...». Снег в Самарканде. «Читаю свои дневники...». У Черного причала. Храм Будды. Сандаловый нож. Иудино дерево. Фергана. Июнь 1989 г. «Когда бывает сердце влюблено...». Жизнь и судьба. «Кто я?...» 72

ГРИГОРИЙ РЕЗНИКОВСКИЙ. Плач по дереву. Фотография А. И. Солженицына. Смута. Чертогон. Бессмертники. «Когда в величии спокойном...». Считалочка. «Напев уютный, однострунный...» 75

ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВ. Из цикла «Рижские закаты». Рижские закаты. Морской прибой. Волшебство рижских вечеров. Двойники. Две чуждые стихии. Память, боль земная. Последний луч. Раздумья. О вечном. Сокровенное. Прощание с морем 84

ГАЛИНА ОДИССОНОВА. В тридевятом царстве (сказочка). «Несвобода моя...». В балагане нашей жизни. Приемывш. «На Машине Времени...». До и после полуночи 88

АБДУРАХМАН ГАФУРОВ. А ф о р и з м ы 121

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АББАС УСМАНОВ. Циркуляция застоявшейся крови 79

НЕРАЗГАДАННЫЕ ТАЙНЫ ВОСТОКА

АНАТОЛИЙ ЕРШОВ. Дорогой тысячелетий 91

ПУБЛИЦИСТИКА

М. ХАСАНОВ. Альтернатива. Из истории Кокандской автономии 105

ПИСАТЕЛИ СТРАН АЗИИ, АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС. Тайны Съенаго де Ла Сьерпе 124

ПУБЛИКАЦИИ. ДОКУМЕНТЫ. ВОСПОМИНАНИЯ

АБДУРАУФ ФИТРАТ. Рассказы индийского путешественника. 130

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Л. ЗАХАРОВА. Песни камня и воды	144
З. ТУМАНОВА. Приключения мысли	145
А. МАР. В поисках героя	147

КОРАН

Сура 8. Добыча	149
Сура 9. Покаяние	152
Комментарии	158

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ФАНТАСТИКА

П. Д. ДЖЕЙМС. Неженское дело. Р о м а н. Перевод с английского Ч. Толстяковой	163
---	-----

К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

Д. АБДУРАХМАНОВА. Три портрета, три истока	205
О наших авторах	207
«Звезда Востока» в 1991 году	208

Главный редактор С. П. ТАТУР.

Редакционная коллегия: В. А. АЛЕКСАНДРОВ, И. М. АЛЯБЬЕВА (отв. секретарь), А. Ф. БАУЭР, А. Р. БЕНДЕР (зам. главного редактора), Е. Е. БЕРЕЗИКОВ, С. А. БРЫНСКИХ, Г. П. ВЛАДИМИРОВ, Н. К. ГАЦУНАЕВ, М. М. МИРЗАМУХАМЕДОВ, Ю. А. МОРИЦ, И. Ф. РОГОВ, Р. А. САФАРОВ, Н. В. СТРИЖКОВ, А. А. УДАЛОВ, Ш. ХАЛМИРЗАЕВ, Н. ХУДАЙБЕРГАНОВ.

© Звезда Востока, 1990 г.



Нурали Кабул

ЗАБЫТЫЕ БЕРЕГА

РОМАН-МОНОЛОГ

I

Холодные ветра весенних долин, пахнущие молодыми травами, неслись на своих крыльях к подножиям гор и выше — к белоглавым скалам, а на деревьях тем временем распускались листья, и обнаженный город постепенно одевался в зеленый наряд.

В поведении и облике людей восторгом, бурлением, любовью ко всему живому торжествовала едва вступившая в свои права весна. В эти первые мгновения ее жизни люди становились хрустально-прозрачными, как сама природа, и в укромных уголках даже каменных сердец просыпались жалость и любовь к ближнему.

И только те, кто в заботах суетной жизни мечется между забытым прошлым и призрачным будущим, — увы! — лишены этого весеннего счастья...

...Только что созданная редакция областной газеты начала свою работу в старом и низеньком здании у самого колхозного базара, там, где и раньше располагалась редакция газеты, но районной. Вторая половина этого здания — до революции здесь жил правитель города — досталась русской редакции. Прежде эту половину занимала типография упомянутой районной газеты. В короткий срок здание набилось до отказа редакторами, секретарями, корректорами и еще множеством вновь принятых, но пока еще не обремененных обязанностями сотрудников. Некоторым из них рабочих мест, к сожалению, не хватило.

«Сорокалетний» — в смысле срока его правления — редактор районной газеты (теперь пенсионер) Салим Садыков был ужасно горд: казалось, он уступил не здание редакции, а по меньшей мере собственные полдома. Он расхаживал по кабинетам новичков, давал им бесплатные советы, обещал помощь и даже устраивал некоторых на квартиры к своим многочисленным знакомым. Он без конца рассказывал, выставляя свою лопату-ладонь, о том, как «вот эти руки» в годы войны печатали газету на станке, как эту газету разносили потом по всем колхозам округа. Старика приводил в восторг круглосуточный трудовой энтузиазм сотрудников, которые, презрев все неудобства, сидели прямо во дворе под старой урючиной и без усталости правили сообщения из кишлаков, и он, журналист эпохи коллективизации, готовый плакать под каждым плакатом, восхищался этим процессом до слез... Он приходил на работу раньше всех и уходил последним, и не было дня, чтобы он сбился с маршрута и не посетил заведения, где просидел свои сорок лет. Сотрудники, натыкавшиеся друг на друга, мягко и понимающе усмехались, как будто, преодолев суету буден, видели в старике свой завтрашний день. Оттого и жалели старика, впавшего на виду у всех в детство.

— ...Отчего это заместитель редактора Кушшаев занимает такой огромный

кабинет? Получается, что другие работают на мечеть? Так, что ли? — горячился в тени урючины старший корреспондент Шариф Расоев, отвлекая пишущих от работы.

Он обычно подписывал свои страшно непонятные стихи псевдонимом «Шариф Расо», который коллеги за глаза переименовали на «Шарик рассох». При ходьбе Шариф очень напоминал букву «С», почти соприкасая далеко выбрасываемые ноги с согбенным туловищем. И все это громоздилось на высоченной, как постамент, платформе старинных ботинок. Расоев не признавал ничьих ни мыслей, ни слов, а потому в один из первых же дней Хайиткулом Норматовым — завзятым анекдотчиком и остряком — был наречен «классиком кенгуру». «Классик» скоро отпал сам по себе, и за Шарифом утвердилась кличка «Кенгуру». Норматов про него говорил еще так: «Он из тех, кто материт исполком, даже если крышу снесло ветром».

Что же касается самого Норматова, то самым знаменитым его анекдотом, по несколько раз рассказываемым в течение дня, был анекдот об Абдунемисе-али-ака. Но всякий раз он обогащал его новыми подробностями, расцветчивал новыми красками. И всяк слушающий не мог не поразиться его неистребимой фантазии.

— Была война. Линия фронта, — начинал он, похлопывая себя по колену. — Немецкое радио талдычило без умолку: «Рус, сдавай! Сопrotивление бесполезен!! В Германии карашо арбайтеш, карашо кушайш! Сдавай, рус!» Услышали это два бойца из кишлака Алмачи и решили сдаваться. Долго думали, как бы повежливей обратиться к немцу. Сказать просто «немец» — может обидеться, и вот, высунув голову из окопа, один из них говорит: «Абдунемис-али-ака, а можно в плен тем, кто из Алмачи?»

И тут поднимался хохот.

Но вернемся к разговору о кабинете.

— А ведь мог бы уважаемый Кушшаев взять себе комнату поменьше! — согласился с Расоевым Норматов. — Разве мыслимо в сорокаградусную жару работать на улице?

— Надо пойти к редактору, — призывал Расоев, воинственно размахивая своей тощей рукой. — Что же мы, не люди разве?

— Как же редактор теперь отберет, если выделил ему эту комнату сам? — вмешался невероятно худой Исломов. При этом он сильно вытянул шею и обнаружил синие жилы на ней.

Исломов обладал способностью одновременно писать и дискутировать и никогда не упускал возможности это продемонстрировать. Задавая вопросы, он оставался весьма осторожным, дабы не повредить своему авторитету. А поскольку такового у него не было, то и вредить вроде бы нечему. Но еще больше он боялся упустить нечто важное из происходящего вокруг, старательно присматривался и прислушивался к разговорам. Надо сказать, что мнение его, как правило, склонялось к большинству, а потому неприятности огибали его стороной.

— Попробуй высели этот скелет из кабинета, — поддержал беседу и старший редактор отдела сельской жизни Сафар Хусанов. — Он тут разве что только не спит. Да и то — частенько нарушает и это обыкновение — остается, чтобы делить ужин и завтрак со сторожем, дедом Фармоном.

Утомившись от спора и жары, основатели областной газеты, пребывавшие под урючиной, замолкли. Хусанов, гримасничая, пускал колечками сигаретный дым, Расоев, скрутившись в букву «С», читал материал, а Элназаров занимался дыхательной гимнастикой.

— И все-таки есть выход, — сказал несколько позднее, когда была съедена заказная самса, Хайиткул Норматов, расположившийся в самой густой тени под урючиной, где было так приятно сидеть, забросив ногу на ногу, и, не спеша, пить зеленый чай. — Есть выход. Но только как доверить вам, оболтусам, такое важное дело?!

Он долил себе в пиалу чаю и продолжил:

— Если над вами как следует поработать, то может быть из вас и получатся славные предатели.

— Почему это? — искренне удивился гигант Элназаров, вздымая над столом свои могучие плечи. — Вы что, считаете нас детьми или болванами?

— У болванов не бывает возраста, — глубокомысленно заметил Норматов.

После этих слов опять наступило молчание, и Элназаров не пытался больше высказывать свое изумление.

— Пусть будет проклят тот, кто предаст! Скажите поскорее, что вы надумали, — проверещал Расоев. — Мы тоже парни и тоже чем-то гордимся! — заявил он вдруг почти нормальным голосом.

— Правда, Хайиткул Норматович, Кушшаев сам бы должен был догадаться. Я пытался ему намекнуть, он не понимает. Если вы что-то знаете, то подскажите, — сказал наиболее серьезный и безупречный в смысле грамотности заведующий

сельхозотделом Абдунаби Шакиров, отирая при этом потный лоб. — Ведь над нами все смеются — и местные жители, и приезжающие из дальних сел на базары. А редактор чувствует неловкость.

— Хорошо. Замётано. Продолжайте спокойно работать. Пореже попадайтесь на глаза Кушшаеву, пусть все будет как всегда, — сказал Норматов и хитро улыбнулся. — Никто ничего не видел и не знает, каждый — могила!

Все сидели, раскрыв рты и уставившись на Норматова. А тот наслаждался не столько открывшейся возможностью обеспечить ребят кабинетами, сколько тем, что уже не в полушутку, а всерьез можно досадить этому зануде и крючкотвору Кушшаеву. Вот так, приятно мечтая и насвистывая что-то из собственного сочинения, шагал он из конца в конец по двору, беспечно засунув руки в карманы своих модных брюк.

Он был способный, этот Норматов, и работу, на которую другим требовался целый день, умудрялся выполнять за два часа, используя остальное время по своему вкусу: бродил по двору, болтал с желающими поговорить или резался в шахматы.

— Хайиткул работал в соседнем районе вместе с Кушшаевым. Наверняка знает про него что-то такое... — предположил Элназаров. — Как бы только не опозорил всех нас.

— Пусть делает, что ему вздумается, лишь бы отвоевал кабинет, — решительно вмешался Хусанов.

Прошел день. Когда на другое утро я пришел на работу, под урючиной сидели Расоев и Элназаров, боясь взглянуть друг на друга, чтобы не расхохотаться, а секретарша приемной — тетушка Тошбуви, первая ласточка каждого рассвета — уже щebetала о случившемся редактору, который был при исполнении, а именно: крутил связку ключей на своем указательном пальце. Между тем Элназаров и Расоев усердно что-то строчили под звяканье редакторских ключей.

— Странно, откуда взялась змея, если только вчера кабинет ремонтировали, — спросил меня редактор. И, видя мое изумление, сообщил: — Оказывается, из кабинета Кушшаева выползла змея.

Я на мгновение оцепенел, боясь, как бы душивший меня смех не прорвался наружу.

— Кушшаева, говорят, увезла «Скорая». Надо кому-нибудь навестить его, — безразлично и громко изрек редактор и несколько раз хлопнул футляром от ключей по ладони.

Мы процессией направились в кабинет Кушшаева. Перед голландской печью лежала полудохлая змея, едва шевеля кончиком хвоста.

— Так она мертвая? Может быть, ее кто-нибудь подбросил с улицы? — предположил наш мудрый редактор, поглядывая то на меня, то на Тошбуви. Не услышав ответа, он величественно направился в свой кабинет. Прибежавший откуда-то сторож — дед Фармон — потащил змею на свалку.

— А может быть, она пригласилась в печи? — осторожно предположил я, еле сдерживая смех.

— Это степная гадюка, — сообщил дед Фармон, вытирая руки после неприятной работы, — кто-то ее подбросил.

— Прихожу я с утра на работу, — начала в очередной раз свой рассказ тетушка Тошбуви, — а в приемной уже сидит сам не свой Кушшаев. Одеревенел весь. И все твердит: «Змея, змея». Я сама не на шутку перепугалась. Ищу деда Фармона, а он как провалился. Бегаю, и никого не могу найти. Пришлось закрыть дверь и подпереть ее стулом, чтобы змея не выползла наружу. А потом позвонила в «Скорую»...

До конца рабочего дня Тошбуви рассказывала эту историю столько раз, сколько было кабинетов, и ее тонкий голосок порхал по редакции из конца в конец, как ласточка в поисках гнезда.

— Слава богу, что пришла вовремя Тошбуви-опа. Иначе бы Кушшаеву каяк! — обсуждала событие со своими сотрудницами из машбюро учетчица отдела писем Дилором. — Ничего не скажешь, повезло бедняге: он, оказывается, одинаково боится и змей, и лягушек.

«Скорая» отвезла Кушшаева на окраину города, где он проживал у кого-то из родственников. Но к обеду стало известно, что завтра будто бы он уже выйдет на работу. И действительно, на следующий день Кушшаев, тот самый Кушшаев, владелец огромного кабинета, который совал свою правую ладонь обездоленным сотрудникам и называл их братьями (за глаза и его величали «братом Кушшаевым»), перебрался в кабинет, где сидели двое из секретариата и один фотокорреспондент. А шестеро покинувших гостеприимную урючину молодцев во главе с Шакировым проследовали в «кабинет, откуда выползла змея». К тому времени нашлось место и Шарифу Расоеву.

...Справа от входа располагался наш — культурный отдел. Во главе т-образного

стола сидел я, у основания располагался Хакимджан Хамидов, заботливый заготовитель самсы и шашлыка к обеду, он же сотрудник отдела. Правая сторона стола принадлежала предельно любезному с женщинами Абдунаби Шакирову из Заamina, напротив него сидел Сафар Хусаинов, считавший себя лучшим корреспондентом редакции, а потому при случае куривший две сигареты одновременно. Справа от Хусаинова было пристанище, говоря словами Норматова, «спецкора по пиву» — Мурадкула Саидова, прозванного «Таквотом» из-за частого употребления в разговоре задумчивого «так... вот...» Место напротив двери занял зав.отделом пропаганды и агитации Элназаров. Он сидел за своим огромным столом, как в кабине личного «Запорожца», один; кстати, если кто-то хотел прокатиться на его машине, то должен был пробираться назад, где вместо сидений была расстелена курпача.

Я наблюдал за чрезвычайно дисциплинированным и интеллигентным Шакировым, чьи бумаги были сложены, как и мысли, — аккуратной стопочкой. Под стеклом на его столе разместились телефонные номера областных руководителей и лично надписанный знаменитым певцом Шерали Джураевым снимок.

Сейчас Шакиров готовился звонить в плановый отдел облисполкома. Он проделывал это каждое утро, собирая сведения о вчерашней работе на полях. Сотрудники исподтишка наблюдали за ним, ожидая его беседы с зампредом Кадыржановым. Дело в том, что Шакиров никак не мог одолеть имя-отчество Абдулхака Муталовича. Он писал это имя крупными буквами и заучивал наизусть, готовился и бледнел. И вот наконец брал трубку и набирал номер.

— Здравствуйте, Абдулмак Хуталович. Я Шакиров, из редакции... — Кабинет сотрясало от хохота, и шукагурка сыпалась на пол. Шакиров краснел и лихорадочно писал цифры сводки. Все, кроме меня, бросались вон.

Наконец он клал трубку, тяжело вздыхал и тер чистойшим платочком вспотевший лоб. Затем расстегивал верхнюю пуговичку. И виновато улыбался.

II

Не могу работать, пока хоть раз на дню не увижу ее. И если даже уезжаю в командировку из дому, нахожу повод появиться в редакции, рискуя нарваться на насмешливый взгляд всезнающего Норматова. Но он по-доброму завидует. Ведь сам говорит, что пройти мимо этой солнцеликой — это значит быть или дураком, или трусом. Я хмурюсь, и молчу, и мучаюсь, если не вижу ее чуть дольше обычного. Я пробовал лечиться работой. А стало быть, через день появлялась в газете моя статья. Временами половина газеты была нашей, «культурноотдельской». И эта трудотерапия приводила коллег в смятение.

— Что ты мучаешь себя? Ведь все равно ордена не дадут, — сокрушался Шариф Расо и мял в своих спичечных пальцах сигарету. — Я не знаю журналистов — героев соцтруда, — добавлял он авторитетно.

Другие считали, что я делаю карьеру и выслуживаюсь перед редактором. Но я не мог бездельничать, мне постоянно надо было отвлекаться, чтобы не думать каждую минуту только о ней. Любой взгляд Саломат, любое ее слово, лишаящее меня здравомыслия, обещали таинственное будущее и заставляли действовать или, по меньшей мере, стремиться к действию. Мне хотелось водрузить самого себя на скалу и кричать на весь свет: «О, скалы! Эй, солнце родное! Эге-гей, люди! Не говорите, что не слышали: я люблю Саломат!» Эти слова, казалось, уносили меня на своих крыльях с этих скал. Глаза мои глядели на мир с восторгом — и он был чист и светел; хотелось делать всем добро, ну, по меньшей мере, сказать кому-то доброе слово...

Любовь!.. Смерть, что награждает счастьем!..

Эти слова звучали в моих ушах постоянно, каждое мгновение, когда рядом не было ее. Она же... она была смуглянкой с точеной фигуркой, похожей на статуэтку; высокие груди, черные брови, глаза печальные и горячие — две искорки, поджигающие все существо, растерянной и огненной, стыдливой и волнующей возлюбленной.

Я умирал по ней. Саломат! Я изумлялся тому, что жил до сих пор на свете и не знал о существовании столь чистого и совершенного ангела, который наравне со всеми дышит этим весенним воздухом, неслышно и величаво ходит по этой земле, под этим же бездонным небом, под которым хожу и я!

Она вышла замуж два года назад, до сих пор у них не было детей. Каждое утро муж привозил ее на машине на работу и после работы увозил обратно. Два раза на дню я, сидя в своей комнате, терпел нестерпимую муку, будто какой-то когтистый зверь безжалостно терзал мое сердце. Иногда она звонила мужу и говорила, что идет с подружками к портнихе. Обман проступал пятнами на ее лице, и она стреми-

тельно выбежала из комнаты, словно спасаясь от пожара. Два раза в неделю я достаивался чести проводить ее до старого парка у их дома. О, эти счастливые мгновения, как они неумолимо быстротечны и прекрасны! А эти холодные от мороза (а может быть от страха?) губы горели, как зимние алые ягоды. Зимние ягоды нашего забвения. Но наступала минута расставания, и ее голос, подобно ласковому вьюнку, струился по моей щеке:

— Если он узнает, то зарежет меня! И я не сумею видаться с вами! — глаза ее испуганно гасли.

— Я вас все равно отниму! Если мы живы, значит, должны быть вместе! — говорил я, пьянея от запаха ее пахнущих снегом волос.

— Я вас ждала всю жизнь! Я так боялась, что состарюсь, так и не встречу человека, которому отдам жизнь! Слаба богу! Я вас нашла! Вы — все, что есть у меня! Смотрите мне в глаза! Я хочу насытиться вашим взглядом! Я скучаю по вас даже сейчас! Если бы вы знали, как я жду рассвета. Мне кажется, что рассвет смотрит в комнату вашими глазами, ваши глаза во всех предметах вокруг... Давайте, давайте же уедем в такие края, куда не доберется никто! Иначе сердце мое разорвется, и я умру!

— Хорошо, моя сладкая! Мы обязательно уедем! Вы для меня вся правда мира, и мы с вами — один человек! Мы долго искали друг друга и вот наконец нашли! Какое это счастье! Ведь мы могли прожить всю жизнь в безуспешных поисках! Но я верил, что найду вас, что буду смотреть вам в глаза и плакать от восторга и радости! Вы слышите! Я верил! Я вижу, сколько на свете людей, не нашедших своей половинки, сколько безрадостных семей, плодящих несчастных детей! Но вы — мой ангел! Вы не знаете, сколько счастья доставляет мне ваше существование на свете! Пока живы вы — жив и я! Наперекор всем, кто против меня!

— Не надо так говорить! Иначе я умру от разрыва сердца! Дайте я наглажусь в ваши глаза! Когда вы не со мной, я целую вашу фотографию! Вы мужчина, вы сильнее меня, увезите меня скорее куда-нибудь, иначе, иначе... я не знаю, что будет иначе! Скоро у меня будет ребенок! Я это видела во сне. Сын! Ваш сын! Пусть он раскроет глазки и увидит вас!

Иногда, встретившись после недельной разлуки, она, не в силах сказать ни слова, начинала горько плакать. А я смотрел на нее в каком-то томном столбняке. Теперь мы не могли прятать своих чувств и все больше боялись наших встреч. Мы старались не попадаться друг другу на глаза. Когда я приближался к отделу писем, где она работала, ноги мои подкашивались, и я забывал, зачем шел. Ей же приходилось каждый день разносить по отделам письма, и как только она входила в нашу комнату, краска смущенья заливала ее лицо, она начинала дрожать и волноваться. Эта дрожь немедленно передавалась мне, и я вылетал из комнаты. И все-таки нет ничего на свете счастья, чем чувствовать себя любимым! Ничто перед этим другие радости жизни.

Наш редактор давно догадывался о нашей любви, но, видимо, пока не решил, в каком тоне следует разговаривать со мной. И вот однажды он вызвал меня в кабинет и запер дверь.

— Хай, Нурзоджан! Бог вам в помощь, как ваши дела? — спросил он, исподволь подготавливая меня к беседе. Ключи, как всегда, уже вертелись на его пальце. — Не вызову, так и не заходите...

— Спасибо, все в порядке, — ответил я как можно убедительнее, но беспощадно при этом покраснел и почему-то чуть не прослезился от благодарности к этому доброму человеку.

Джабиров встал и прошелся по комнате. Затем опять плюхнулся в кресло и, покопавшись в ящике стола, вынул оттуда единственную сигарету.

— Вы, наверное, догадываетесь, почему я вас вызвал? — спросил он, отводя взгляд в сторону.

— Да, — сказал я и глубоко вздохнул.

— Что дальше-то будет?

— Не знаю.

— Плохо, если не знаете. Разве можно быть легкомысленным в таком серьезном деле? Последствия могут оказаться очень плачевными. Вы уже далеко не ребенок и обязаны отвечать за свои поступки. Честно говоря, я беспокоюсь за ваше будущее, за вашу жизнь.

— Я ее люблю, Адхам-ака! И действительно сам не знаю, что делаю!

— Это со временем пройдет. Да, пройдет! Потом вы сами будете этого стыдиться, — твердо заявил Джабиров.

— Нет, не пройдет! Такие чувства не проходят!

— Ну вот, наконец-то я слышу речь не мальчика, но мужа! Значит, вы понимаете, что должны все серьезно обдумать? Будущее у вас впереди. Ваши ровесники все еще учатся, а вы уже успели поработать и в школе, и в колхозе, и в район-

...и газете. Теперь вы заведующий отделом в областной газете, — сообщил он с таким видом, будто речь шла вовсе не обо мне. — Вы заочно кончили институт и получили диплом. Вам расти и расти. И любая из красавиц пойдет за вас не раздумывая! Или женитесь на девочке, только что окончившей в вашем кишлаке десятилетку, такой, которую и мать еще не целовала. — Он сделал многозначительную паузу. — Ведь Саломат жена другого человека! Кто может гарантировать вам спокойную семейную жизнь, когда начало такое скандальное? Не лучше ли вам жениться так, как женятся все? Зачем вам лишние заботы? Творческому человеку нужна спокойная, мирная, благодатная семейная атмосфера.

В ответ на его увещания я молчал — я не знал, что на такое отвечают. Редактор по-прежнему величественно поигрывал ключами, дымил сигаретой и сверлил меня взглядом.

— Нет, не получится, ака! — пролепетал я. — Я и в мыслях не могу такого допустить. Зачем жениться на нелюбимой и делать несчастной ни в чем не повинную девушку? Да она этого просто не вынесет!

Не знаю, о ком теперь шла речь, но редактор заявил:

— Вынесет! Куда ей деваться? Вопли женщины — мяуканье кошки. Привыкнет. Вот, например, и мы с женой женились не по любви. И ничего, живем себе. Шестеро детей! Не хуже, чем у других...

— Я не могу с этим согласиться. Не любить тех, кого люблю, и любить тех, кого не люблю, — это мне не по силам. Произойдет что-нибудь ужасное, если мы с ней расстанемся.

— Что вы сказали? Вы хотите что-то предпринять, или...?

— Пока не знаю. Знаю только, что без нее жизнь моя полетит под откос.

— Да-а... Вы говорите, как пишете, а пишете последнее время прекрасно. — Редактора явно потянуло на профессиональный тон. — Только влюбленный может так писать. Каждая статья — почти новелла! Честно говоря, я вам завидую. Истинная любовь выпадает одному из тысячи! И все-таки я уверен, что такая любовь не приносит никому ни пользы, ни отрады.

— Отнюдь! — я невольно заговорил в тон редактору. — Отнюдь! Любовь, настоящая любовь дает человеку такие крылья...

— А я боюсь за вашу жизнь, — прервал меня уже обыденным голосом Джабаров и очерченной раз крутанул связку ключей на указательном пальце.

— Чему быть, того не миновать!

— Человек — творец своей судьбы.

— Не могу жить по расчету. Это недостойно мужчины! И планировать свою любовь тоже не хочу!

— Ну, хватит. — В голосе редактора послышалось раздражение. — Вы видите сейчас лишь себя. А я несу ответственность за всю газету и за весь коллектив. Если завтра эта женщина сожжет себя, то накажут не вас, а меня, как не обеспечившего воспитательной работы. А вы, дружище, продолжите свою работу если не в нашей, то в другой редакции...

В последних словах мне почудился оскорбительный намек, и я сказал:

— Хотите, я сейчас же уйду с работы?

— Прямо сейчас? Среди рабочего дня? Эх, дорогой Нурзоджан, не стал бы я с вами разговаривать, если бы относился к вам плохо. Вы правы. Любовь нельзя расписать по лекалу, нельзя распланировать и разграфить. И все же очень рискованно полагаться на одни только чувства, необходим и разум. — У редактора явно открылось второе дыхание. — Наверняка те, кто женат не по любви, не так уж ненавидят друг друга. Кстати, крупные скандалы рождаются именно между любвеобильными супругами. Дело в том, что их взаимные притязания непомерно высоки и им же самим непосильны. Вот вам и пламя раздора. Любовь — это, я вам скажу, естественность. И где ее нет, там нет и любви. Там — ханжеская ложная нравственность. Люди в таких случаях живут вместе лишь потому, что боятся показаться подлецами в чужом представлении. Многие наши семьи основаны на этом. К примеру, моя жизнь. Не зря говорят, совершенному миру недостает единички... В молодости не хватает ума, чтобы все оценить правильно. И очень легко ошибиться один раз, но на всю жизнь... Вот видите, я хотел призвать вас к порядку, а в итоге каюсь в собственных грехах... Да... Любовь и духовная одержимость — это близнецы. Вы владеете этим, Нурзоджан, и зря я тут занудствую перед вами — сам понимаю. И все же еще раз хочу вам сказать: будьте осторожны. У нас говорят: береги небо, и обретешь будущее. Ваше будущее — в вашем добром имени. Не дайте ему погибнуть от злых языков! Ведь столько кругом «доброжелателей», которые не заметят ни одного из ваших достоинств, но одной ошибки будет достаточно, чтобы вас обливали грязью всю оставшуюся жизнь. А жизнь у вас всего одна. Не поддавайтесь искушению. Ведь древо любви цветет от страсти, а питается от корней разума. И только в таком случае оно вечно... Знайте же, я вас люблю, —

заявил он вдруг почти торжественно. — Разговор наш останется между нами. А с ней вы объяснитесь сами. Пусть обуздает себя. Я понял теперь, что вы не остановитесь ни перед чем. Но нам не нужна такая слепая отвага. Она не приведет к добру. Чтобы оказаться в преисподней, иногда достаточно сделать один неверный шаг. Вы оба работаете в одном коллективе. За вами его честь. Думаю, что вы не допустите ничего, что заставило бы нас стыдливо опустить глаза. Вы не имеете возражений?

— Нет, спасибо.

— Тогда идите, работайте. Только маленькая просьба: принесите, Нурзоджан, если вам не трудно, хотя бы одну сигаретку — я, шутки шутками, превращаюсь, кажется, в настоящего курильщика. — Такими словами проводил Джабиров меня из своего квадратного кабинета.

Домой идти не хочется. Отец и мать наседают без конца: когда, наконец, женишься, твои ровесники уже нарожали по два, а то и три ребенка. Не знаю, что им ответить. Насилу успокаиваю их и плачу от собственного бессилия. И поэтому, чтобы не мучить ни себя, ни их, остаюсь частенько ночевать в холостяцком общежитии педагогического техникума. В комнате мы спим восьмером, и конечно не скучаем. Неунывающий Хусанов подводит итог любому разговору: «Полезно жить на свете, но еще полезней — жить хорошо!» Мы с этим дружно соглашаемся, потому что все живем не очень хорошо. Моя любовь к прекрасной Саломат, к редакционным друзьям и работе помогает мне жить и надеяться. Я начинаю понимать, что жизнь — это постоянная борьба с замурованными в свои догмы демагогами, борьба огнем и мечом, если хочешь отстоять свою любовь. И почему-то все время хочется запеть свою пастушескую песню:

Я пробьюсь,
пробьюсь...

...Нет меня, нет! В редакцию ходит мой призрак! Она не появляется на работе вот уже несколько месяцев. Она родила сына! Ее муж на радостях закатил на целую неделю угощение. А я вынужден делать вид, что ничего не слышу и ничего не вижу...

Мне не суждено увидеть сына. И он, когда он узнает о родном отце? Узнает ли вообще? Нет, такого быть не может! Не может быть! Неужели Чехов прав навеки? Рождается чистая, прекрасная, высокая любовь, и никого не делает счастливым, и гибнет, бессильная, среди невежества и предрассудков. Отчего все так?

Я скитаюсь по улицам, где мы ходили с Саломат. Все валится из моих рук. С риском нарваться на неприятность, брожу у ее окон и люблюсь, как цветут — уж в который раз! — цветы на ее подоконнике. Воробьи, гнездившиеся на чердаке ее дома, учат летать своих птенцов. Пара горлинок, поселившаяся на водостоке, высидела в своем колючем гнезде пушистого птенца. Смотрю, как мать-горляшка торопится отдать птенцу из клюва червячка, и услужливое воображение тут же рисует картину, где моя Саломат тоже начинает кормить свое дитя. И тогда я застываю в неизъяснимом отчаянии, охватывающем все мое существо, еще секунда — и я брошусь разбивать ее ворота и двери или же взорвусь сам и развеюсь, подобно горькому дыму, плача от бессилия.

Я понимал: мне не жить без этого великого счастья, так неосторожно нашедшего приют в моем сердце. День ото дня я все горше и острее страдал от своей бесцельной, зыбкой, как туман, и сверкающей, как снежные горы, любви, разлуки, боли... Я трепетал, как бабочка, роняющая пыльцу со своих крыльев, и мое клокочущее сердце отстукивало:

«Я стану жертвой великой любви...»

* * *

— Нурзод, вас просит к себе редактор, — сообщила Тошбуви-апа и загромыхала по коридору обратно.

В кабинете редактора сидел зеленоглазый и остроносый мужчина лет пятидесяти, работавший в областной филармонии. Жена его была известной певицей. Обычно он подыгрывал ей на бубне, сверкая при этом золотыми зубами. Изредка председательствовал на свадьбах, донимая всех заезженными остротами. Редактор познакомил нас. Гость нехотя встал, протянул кончики пальцев и изобразил улыбку. Золото зубов, чуть не посыпавшееся при этом изо рта, производило ошеломляющее впечатление.

— Вот, обращаются к нам, пишут — помогите, семейное положение в трагическом состоянии... — Редактор протянул мне письмо. — Честно говоря, такими дела-

ми занимается суд. Не понимаю, почему вы обращаетесь к нам? — Шеф посмотрел на гостя. — В конце концов, есть общественность, есть советские органы.

— Но я считаю прессу самой справедливой и гуманной организацией. Я полагаю, что каждый пострадавший имеет право обращаться в вышестоящие органы. — Это прозвучало убедительно и весомо. При разговоре посетитель как-то странно поводил плечами и без конца вертел головой, так что слушатели, испытывая неловкость, вынуждены были сидеть, уставившись в землю, и терпеливо ждать.

— Хорошо, с соответствующими организациями переговорит этот товарищ, — сказал редактор, указывая на меня. Он явно торопился окончить разговор. — Вы можете идти.

Мы вышли из кабинета. Гость нехотя плелся за мной. Мы вошли в комнату Кушшаева, дежурившего ночь, а потому отсутствующего до полудня. Дело в том, что типография еще не набрала необходимый темп работы, и газета ежедневно запаздывала.

— Я где-то вас видел, а, братишка? Вы откуда будете? — спросил гость, усаживаясь на диван. — Мне кажется, мы сидели с вами в гостях не раз и не два. — Он держался очень гордо и все время приглаживал свои маслянистые волосы по обе стороны ровного пробора. Затем он подергал воротник рубашки и заложил за него носовой платочек.

— Да, я вас знаю. Я из Усмата. Приходилось встречаться на свадьбах... — ответил я, принимаясь за письмо.

— Вей, так вы из кишлака Халика Худайбердыевича? — спросил он, упоминая имя одного из руководителей области. — Позавчера мы были вместе на свадьбе у Рахмона Хусановича. Я ведь тоже из соседнего кишлака. Нет, мы, должно быть, с вами очень близки. Мы с вами крепко сидели... Но никак не могу вспомнить, где?

— Может быть. И я не могу вспомнить.

Я читал, не подымая головы, страшно безграмотное письмо пострадавшего (а он называл в письме себя именно так). Вот оно в несколько подправленном виде: «Я — заботливый отец, верный муж и известный деятель искусства Шакир Шарипов, женился в 1965 году на своей нынешней супруге — Рахиме Шариповой. По любви. В настоящее время мать пятерых несовершеннолетних детей, Р. Шарипова, бросив меня, живет с бесстыжим гастрологом из Бухары Н. Кадыровым, который моложе ее на двадцать лет. Я не могу жить ни дня без своей семьи. Я прошу вас помочь мне восстановить семью и вернуться в объятия своих детей, в противном же случае я прошу вас подготовить фельетон об этой неверной. Заранее вам благодарен за благородную помощь и обещаю быть верным вам до конца своей жизни». Я не знал, с чего мне начать разговор, а потому мусолил письмо в очередной раз.

— Интересно... — промямлил я наконец, глядя в его бегающие глаза. — Я столько лет работал в редакциях, но никогда не встречался с подобной жалобой. Обычно обращались женщины... Но...чтобы мужчина...

— Что здесь странного, братишка? — удивился печальный гость. — Такова жизнь. Всякий может оказаться на моем месте. Сердце обливается кровью, как вспомню своих пятерых деток. А потом, сколько бы ни мучила она меня, я люблю свою жену. Особенно же после полугодовой разлуки. Я понял, что не могу без нее жить...

На его глаза навернулись слезы. Он снял платочек с воротника и потер им глаза. Затем совсем по-детски шмыгнул носом и, опустив лицо, покачал горестно головой.

— Вы говорите, любите?

— Да, люблю. Мы женились по любви, как Лейли и Меджнун.

— Вы любили ее раньше. А теперь она живет с другим. Хорошо, предположим, восстановилась ваша семья, но сумеете ли вы жить, как прежде, после стольких пересудов?

— Любовь, говорят, слепа, вей, братишка. Мне кажется, вы никогда не любили.

Ведь вода в арыке не становится грязнее от того, что ее лакает собака. Вей, братишка, к тому же у нас пятеро детей. Как же быть с их будущим?

— Правда, дети страдают...

— Молодец! Не каждый понимает это.

— Вам виднее. Но ведь после того, как сердце дало трещину...

Он вздрогнул. Надежда, жившая на его лице, сменилась злобой.

— Дом, в котором она предается утехам с молодым мужем, построен мной. Получается так, что повозку тянет лошадь, а в тени ее лежит сука, так, что ли? За одну ночь лишила меня новенькой ГАЗ-24. Все, что попало под руку: золото, украшения, ковры, — все повезла к любовнику. А мне, выходит, молчать? Ведь говорят: будь вором, будь потаскухой, но знай же меру. Не так ли, вей, брат?

— Ах, так вот в чем причина... Но разве не проще решить это дело через ма-

халлинский комитет и через суд? Зачем вмешивать в него редакцию и трубить на всю округу?

— Вей, братишка, — сказал он, вытирая пот со лба. — Я был и в райсуде, и в облсуде, и еще выше. Но всякий — с папкой под мышкой — знает эту проститутку. По тону ващего редактора я чувствую: и он с ней в отношениях. Вы ведь знаете наших людей — хоть и без штанов, но, дескать, чем я хуже другого. Год за годом устраивают такие свадьбы... А еще эти гастролеры...

— А как же вы жили до сих пор?

— Изредка ее одергивал Мурад Маллаевич — первый секретарь горкома. Он наш дальний родственник. Вот и ходил я к нему... Он вызывал ее и припугивал, мол, если не прекратит безобразий, то он распорядится, чтобы ею занялась прокуратура. Срабатывало на год, другой. Но вот и ему бог приказал быть лишним... Освободили. Не знаю, куда теперь идти... Пришел к вам... а, вей, брат...

— Знаете, Шакир-ака, все же это сугубо семейное, я бы сказал — интимное, дело... А нельзя ли вам решить это с женой вдвоем? К чему выметать сор из...

— Ах, брат... Ну разве станет эта неверная слушать меня? Она же боится меня, как аллергии. Ведь всякое бывает между супругами, верно. И я не ангел. И я немного того... Изредка подымал на нее руку. Муж, он есть муж...

— И вы после этого еще жалуетесь?

— Ну кто не гоняет свою жену? Истинно мужское дело. Говорят, даже Карл Маркс ссорился со своей супругой. Если жалко бить, так хоть толкните как следует, иначе женщина подумает, что муж ее умер. Ведь если любит, значит, ревнует, а если ревнует, значит... Сора супругов, говорят, это забава. Всякое бывает. Нет, я не хочу оправдывать себя, как другие. Я вижу по вашим глазам: вы человеколюб, вы уважаете слабых. У вас чистая душа. Но поймите меня правильно. Выслушайте внимательно с самого начала. Сегодня на свете почти не осталось людей, кто не только способен помочь другому, но и захочет выслушать ближнего. Сердце обливается кровью, вей, брат! Хорошо, не будем говорить о супружестве, но ведь я ее выучил, я ее научил держать в руках саз. Я выпестовал ее и даже изменил в паспорте невыговариваемое кишлачное имя на Рахимахон. Когда я ее выкрал... ей было пятнадцать лет. Но выкрал ее я по согласию, не так ли? — уточнил он. — Через год мы расписались. Больше того, я ведь женился на этой ведьме после развода со своей первой женой. Вполне, кстати, приличной. Та осталась с тремя детьми. Тогда у этой не было ничего, кроме мужеподобного голоса. Ведь оттого, что блеешь, как слепая овца, искусства не родишь! Вы это знаете лучше меня. Я научил ее петь, научил держать саз, выбирать репертуар. Благодаря мне эта красотка стала по шесть раз на дню менять туалеты, украшать себя бриллиантами и бирюзой. Я же тихо-тихо превратился в ее телохранителя и еще, может быть, в шофера. А теперь говорит, я даже в шоферы не гожусь. Вы только подумайте! Разве можно так оскорблять, так унижать человека? Теперь я не в состоянии купить бензин даже для машины своего братишки. Она обобрала меня чистую и выставила на улице. Представьте себя на моем месте! — Он снова прослезился. Затем, всем своим видом изобразив отчаяние, устался в землю. В ушах у меня тем временем звучало неприятное словечко, которое он повторял почти в каждой фразе — «вей!» Очень оно казалось неискренним и показушным, но я старался не поддаваться своим ощущениям и терпел его разглагольствования дальше.

— Вам не следует так прибедняться. Вы не очень похожи на человека, терпящего бедствие, — начал я, не скрывая своего раздражения. — Говорите прямо, чего вы хотите от нас, от редакции. — Я поглядел в возбужденное лицо гостя, привыкшего везде и всюду чувствовать себя именно гостем.

— Вей, вот так бы и сказали, брат! — Он разволновался. — Ведь не зря говорят: не прячь ведра, когда у тебя просят айран. Я открыл вам свое прошлое, будто растелил дастархан. Только не подумайте после этого, что я дурак с языком в восемь аршинов, дурак, не различающий ни врагов, ни друзей! Вы ведь знаете, что люди плетут про артистов такое... Вот я и стал предметом сплетен. Но удивляюсь людям. Они, кажется, забросили все свои дела, чтобы только посудачить обо мне. Да ты лучше за своим балбесом посмотри! Или за своей шлюхой, которая делает деньги по углам. У самого рот сорок второго размера, а все ту же песню поет! И таких мулл без школы, ворон без кола развелось столько, что стоит настоящий гвалт. А ведь говорят, что тот, кто произнесет тысячу слов кряду — умрет мгновенно... Где там!

Он так и сыпал поговорками, собранными в ежедневных похождениях по свадьбам.

— И у нас есть хоть одна, да голова, чтобы управлять двумя ногами. И мы умели давать советы, наставляя на путь истинный. Но скромный, говорят, в тени, вот и мы не сверкаем перед всеми. Никому не перебегаем дорогу.

Он встал и прикрыл дверь кабинета, раскрывшуюся было от беготни в коридоре. Затем продолжил, видя, что я уже почти под гипнозом.

— Мы и сейчас в состоянии сделать что-нибудь приятное столь благородным друзьям, как вы. Слава богу, остались машина, дом, переведенные на имя братьев. Да и старик еще в силе. Слышали, наверное, Шарифом-насвайчи¹ зовут. Лавка его в старом городе на базаре. Старик был совсем еще крепкий, да вот гибель младшего сына Фархада немного надломил его. Его братишка — начальник автосервиса, что на выезде из Ташкента. Если будут какие затруднения, то с удовольствием... Трудно передать словами, какая нам выпала мука в связи с той смертью. Но вам я могу рассказать. Тогда вы почувствуете хоть в какой-то степени, что я испытал. Вы ведь как-никак писатель, журналист.

Мы были тогда в Фарише. Начинаясь свадьба, собирались люди. Рахимахон уже пела «Ушпак», танцовщицы взяли для смелости по стопочке. И вдруг приезжает сам не свой один из моих дядей. Бормочет что-то невразумительное и никак не может объяснить толком, что случилось. Я почувал что-то неладное и отвел его в сторонку. Тут он мне сказал, что Фархад попал под «Икарус». Я ему шепчу — молчи, не превращай чужой свадьбы в поминки. Человек столько лет копил средства, разве же мы имеем право лишить его того, к чему он так стремился? Пришлось, сжав зубы, служить на свадьбе всю ночь. Хозяин остался доволен. На этой свадьбе директор «Кизилкума» Донабой Умаров повесил на шею Рахимахон ожерелье из пятидесятирублевков. Вот это настоящий мужчина! Можешь сделать доброе дело — делай! Вот и мы, мы тоже поступили по-мужски, не стали собственной бедой отравлять другому веселье! Вот вы вроде похожи на писателя. Вы можете представить мое тогдашнее состояние. Сколько надо было терпения и воли, чтобы проглотить собственную скорбь, и петь, петь... И в том есть своя мудрость! Живем для радости, для веселья людей. Добрым людям, впрочем, ничего не жалко. Так я думаю. Но я не о том. Поймите меня правильно: все наши поступки диктует жизнь и ничто иное. Причем, жизнь не та, о которой мы читаем в книжках, нет, куда более сложная. Говорят, тот не мусульманин, кто не страдал, так вот и каверзы жизни постигает только тот, кто их сам испытал...

Мне порядком поднадоела его убогая философия, и я откровенно стал зевать. Тогда он вернулся к своему сюжету:

— Мы возвращались со свадьбы к четырем утра. Я оставил дома Рахимахон, а старика повез на место происшествия. Вы бы видели, как он расписывался! Кричит: кой черт не бросил свадьбу и не поехал тут же, подонок?! До коих, мол, пор тебе деньги будут дороже отца и брата?

Попробуй оставь старика, у которого мозги прокисли, как папиросный дым в тамбуре! Кричал, кричал и вдруг, обессиленный, свалился. Я остановил машину, впихнул ему в рот валидол, и, когда он пришел в себя, мы продолжили путь. Искали долго, пришлось обратиться к милиции. Наконец нашли тело в городском морге. Но врач и сторож ни в какую не хотели нам его выдавать. Дескать, заберете только после вскрытия. Бабай наш тут совсем взбесился: не дам, мол, резать своего сына, иначе... — ну и так далее. В конце концов пришлось отозвать в сторонку перепуганного врача и всучить ему две сотни. Он лепечет, нахал, дескать, если не дашь и сторожу, ничего не выйдет. Слава богу, сторож оказался стоворчивым человеком, согласился на сто рублей. Под утро мы увезли наконец труп. К полудню состоялись похороны. Старик говорил тогда: «Слава Аллаху, что у меня есть ты, иначе бы сына стали резать и мертвого!» Оценил-таки! Черт бы их всех побрал, ничего без этих тугриков не добьешься! Даже трупы и те продаются! Совсем превратились в волков! Но ведь и их, возможно, ждет такое же. Нет на свете правды. Вместо нее теперь — деньги, деньги.

— Пока есть такие люди, как вы, правда никогда не достигнет потолка, — сказал я, уже не сдерживаясь. Честно говоря, я удивлялся собственному многотерпению выслушивать эту отвратительную в своей подлой откровенности исповедь, но какое-то острое, скорее всего профессиональное, любопытство придавало мне силы не перебивать этот поток грязного словоизвержения.

— Ваша правда, братишка. Очень верно сказали. Да, мы не ангелы. Мы грешны. Но ведь нет пока путеводаителя по хорошей, праведной жизни. Вот и вы, к примеру, не без недостатков. Вы, конечно же, пишете в газету о тех, кого близко знаете. О нужных людях, про которых говорят: такой-то работает там-то... Конечно же, газету не съешь вместо мяса, но за свою белиберду вы получаете деньги. А потом, никто не проверяет, читают ли люди эту газету, или употребляют совсем на другие нужды. Вот мы часто бываем в агитбригадах, даем концерты на полях, фермах. Видели бы вы, какими кипами лежат ваши газеты на полевых станах. Сразу бы

¹ Насвай — жевательный табак.

отпала охота к писанине. Вот наш бабай, к примеру, покупает стопку ваших газет за гроши у знакомого почтальона. Заворачивает насвай. Где они — ваши слова, обращенные к народу? Где они — слова, за которые вы получаете деньги? А каждый год, между тем, сам не замечаешь, как подписываешься на пять-шесть так называемых «обязательных» названий! Так что давайте не будем! Нам надо скорее помогать друг другу, а, вей? Но я вам должен сказать, что не всякий способен оценить эту помощь, а? Не зря наши предки говорили: за хлеб, что дал подлецу, с тебя спросят на том свете. Когда у пиалы край кривой, то твоего чая не оценит и родной отец. Уж не говоря о других. Возьмите хотя бы меня самого с моим отцом. Он стал миллионером за нашей с Рахимахон спиной. Вы ведь знаете, сейчас не каждый умеет приготовить этот проклятый насвай. А тот, кто умеет, — богаче мясника. В день — по меньшей мере, сто рублей. Кроме воскресений, когда приходится устраивать «воскресники» по пересчету денег. Я с детства помню эти воскресники. Однажды, когда я утаил какой-то мятый, ободранный рублишко, он, подлец, бил меня до изнеможения. А еще отцом называется! Своим гнусным ремеслом он занимается и до сих пор. Известковый завод дымит постоянно, значит есть где взять известку. Ведь он ее примешивает к насваю. Вот и удивляешься людям: знают, а все равно покупают за свои деньги рак ротовой полости. Так, что ли, это называется? И ведь никто старику не скажет ни слова. Уважают. А за что уважают-то? За мои старания! Он, невежа, и не знает, что мне постоянно приходится улещивать тех, кто «ничего не говорит». Это они ему ничего не говорят, а мне еще как говорят — в открытую. Чуть что, грозят приструнить старика. Иногда я бешусь, и сам уже готов разделаться с ним, да вот не слушаюсь голоса беса. Кстати, это он, конечно, виноват, что мы стали такими. Вместо того, чтобы воспитывать, заставляя целыми днями сдирать кору с тополей для своего проклятого насвая.— Гость нащупал новый пласт для своего рассказа, оправдывающий сказанное им до сих пор, и, стерев носовым платком пот со лба, с энтузиазмом продолжал:— Даже тогда, когда людям нечего было есть, отец с матерью просушивали по ночам деньги из сундука, чтобы не испортились. А мы тем временем ходили босые, менялись рубашками. И все равно — ни слова наперекор. Где теперь такие дети?! Но мы не жалуемся, ведь и мы, когда было надо, перешибали лоб упрямому пачкой пятидесяток! Конечно, плохо, но другие делаи и того хуже! Получивший пинков не смотрит на небо, так, что ли? А мы служили на свадьбах. Дай бог и у вас быть при случае в услужении, братишка! Мы еще в силе, если надо, то... Кстати, и Мурада Маллаевича, когда он месяцами учился в Москве или отдыхал с возлюбленными в Крыму, мы обеспечивали еженедельно самаркандским виноградом и джетысайским казы¹, хорезмскими дынями и учкаринским кишимшоном... Скажу по секрету: если бросить камень, обязательно попадешь в возлюбленную Мурада Маллаевича... Летом он с одной едет в Москву, осенью — с другой в Крым, а мы носим шлейфы. Впрочем, мы не в обиле. Перепадало кое-то и нам. Кстати, женщины испортились донельзя! Нет у тебя валюты или должности — нечего зариться! В общем, всякое было. Ясно, мужское дело. Вот и вы, такой красавчик, небось, и сами не промах, а? Грех не использовать такой козырь! Будет что на старости вспомнить. А после смерти... после смерти, пусть хоть несваренным съедят, ведь никому еще за благость спасибо не сказали. Напротив, смеются, считают лопухом. А ведь это такое дело... Хочется и хочется...

Я молчал. Шарипов, вдохновленный моим молчанием, уже крепко сидел в седле. Казалось, он говорит и тут же забывает недосказанное, и не было конца и края его вдохновенному трепу, как не бывает конца и края кувыркаящейся в арыке воде...

— Когда было нужно, я и на аэробусе варил для братьев плов. Я не упрекаю их за это, за добро нельзя попрекать. И пусть я из тех, кто дарит воду из реки, но я честно служу людям и то, что получаю от них, им же возвращаю. Брал? Да, брал. Но и давал, еще как давал! В одном моя совесть чиста, что я никогда ничего не ждал на поминках. Мы все — дети своего народа! И мы обязаны свято служить ему, вы ведь меня понимаете?— Он стал выходить из крутого виража.— Пишущим верят. Рахимахон, кстати, больше всего боится вашего брата, газетчика. Когда-то давно ее пристукнули в районной газете и на целых два года лишили заработка, вот поэтому достаточно одного вашего слова... Вы ведь знаете не хуже меня, что на сто рублей семью не прокормить. Кстати, и сто-то рублей лишь тогда, когда филармония выполняет план. Правда, многие чураются этих денег и просто расписываются в ведомости, чтобы я их не ругал за беспорядок в финансовых документах, а так... Значит, вы ее вызываете и говорите о ее долге перед семьей, перед обществом, о долге гражданина, деятеля культуры, женщины! Говорите, что семья — это основа социалистического общества! Иначе, дескать, примем соответствующие меры! Между прочим, скажите, мол, муж ваш живет без крыши над головой, это не

¹ Казы — колбаса из конины.

дело, поскольку вы — семья, известная во всей республике, и люди уже начинают судачить. Начнет ерепениться — я вам представлю все документы на ее выступления, где кто сколько ей давал, сколько и кому давала она на радио и на телевидении. Все бумаги готовы! Можете сказать, что вам известно, с кем из «большаков» города она в каких связях. Этого достаточно, она тут же встанет на колени. Попробуете рассчитаться с вами деньгами... берите, не бойтесь, брать у таких — это благодать. Ведь не возьмете вы, найдется другой, какой-нибудь прокурор, начальник милиции, судья... Знаете, у этой шлюхи столько любовников, что она, из-за опасения перепутать их имена, всех зовет «ласточками». Трясогузки проклятые! Бил ее, материл — бесполезно.

Он разволновался и зашагал по комнате. Я глядел в его бесцветные глаза и думал о всемогуществе таких вот подонков. Ведь напишешь о таком — не поверят...

IV

Посетитель мой был прав, когда сказал, что мы с ним некогда встречались. Помню как сейчас. Я работал тогда в газете горного района. Никогда больше мне не пришлось работать с таким упоением, как тогда. Редакция наша состояла почти сплошь из бездомных холостяков, и жизнь была вольной и непринужденной. Наш главный — Кадыр Кулибаев, любивший свою профессию чуть меньше, чем хорошо поесть, — однажды вызвал меня перед самым обедом и велел срочно ехать в совхоз «Гульбулак» для подготовки материала по районному совещанию комбайнеров. Прибавил, что я могу созвониться с кем-нибудь из районного руководства, чтобы те меня захватили на своей машине. Сам он уезжал, видимо, на обед. Об этом говорило его, похожее на пустое блюдо, лицо, которое не украшали даже огромные «тарелочные» очки. Ничто не мешало ему очень гордиться своей просветительской деятельностью, которая начиналась и кончалась беспомощными стишками, усиленно пропагандируемыми клубной самодеятельностью колхозов округа. Он всегда был собой доволен, и даже мудрый совет о попутной машине усилил его предобеденное блаженство. Честно говоря, раздражал он меня невероятно, и почему-то всегда, общаясь с ним, я представлял себе лошадь, давно списанную со скачек, но все еще пользующуюся отборным кормом.

Я взял папку и вышел на дорогу, ведущую в совхоз. На остановке никого не было, наверняка никто не надеялся на появление автобуса. И вдруг чуть поодаль, взвизгнув тормозами, остановился «уазик». Вышел водитель и окликнул меня. Я взглянул на номер машины и обалдел. Это была машина первого секретаря райкома партии Мухитдина Рахимова. Шутка сказать! Когда я приблизился к машине, открылась ее боковая дверца и сам Рахимов с улыбкой сказал:

— Здравствуйте. На совещание, небось? Журналисты, как пчелы. Я имею в виду и их труд, и сбор меда с цветочков... — Он расхохотался своей шутке. — Но молодцы, молодцы! Ну а где же ваш редактор? Опять умствует животом? Вообще-то по этикету там, где первый секретарь, там должен быть и редактор газеты, но товарищ не понимает... Объясните ему при случае. Это будет полезнее, чем, к примеру, стану разьяснять ему я.

Я молча слушал. Молча потому, что не успел возразить с самого начала, и теперь шофер, знающий меня как нелюбимого критикана, глядел на безехидства на мою мышиную позу перед руководством. Первый меня не знал. Стало быть, ему меня показал водитель. Ведь известно, что обычно начальство справляется именно у водителей о встречающихся по дороге красотках или еще о ком...

— Если я не ошибаюсь, вы — автор острокритической статьи «Концы у Намазбаева»? — полуутверждающе спросил Рахимов.

— Да, — ответил я.

— Очень хорошая статья. Главное — своевременная. Вообще нам нужно больше критики. Только вот с названием вы оплошали. Кстати, я сказал об этом и вашему редактору. Вы критикуете всего-навсего состояние заготовки сенажа в совхозе «Санзор», а по названию, помимо того, что оно не совсем прилично, можно по меньшей мере предположить, что Намазбаев проглотил чуть ли не гору Айкар. Не годится. Артиллерия по воробьям. Ведь и после этой статьи Намазбаеву жить среди людей, а его, говорят, даже дети дразнят — вон, идут «концы». Позавчера он приходил в райком: мол, или я буду работать, или этот корреспондент. Я взял вашу сторону. Но вот впредь надо бы советоваться с райкомом, прежде чем палить критикой по людям. Вы еще молоды, вам расти и расти. О земляках следует писать добрее. Понимаете? Мы все не без недостатков. Тихо-тихо будем устранять. Вот потому и день и ночь мы в бегах. А печать — это оружие партии. Причем —

грозное оружие. Пользоваться им надо умело. Кстати, вы член партии?— поинтересовался секретарь.

— Нет,— ответил я, глядя ему в лицо.

— Хорошо, продолжайте работать, примем,— сказал он заботливым, отеческим тоном.— Партии нужны такие, как вы...

И тогда во мне взыграла молодая, безудержная критическая лихость.

— Но мы ведь принимаем в партию совсем не по-ленински...— Сердце мое учащенно забилось, но надо было идти до конца, чтобы не упасть в глазах этого водителя.

— Так-так, продолжайте,— сказал растерянный от непривычного возражения Рахимов.

— Ленин говорил, что коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь себя всеми знаниями, которые накопило человечество. А у нас? Принимаем силком. Вон, в совхозе откровенно говорят, что пришла разнарядка на двух доярок и одного пастуха — и надо выполнять. Как-никак урожайность даем, привес даем, неужели не дадим этого! Вгоняют человека в партию, как шар в лузу. Глядишь, через год-другой такой шар гонят уже в другой угол — в тюрьму. Вот и вы на бюро задаете вопросы не по Уставу или Программе, а требуете обязательства по молоку или мясу...

Рахимов сперва побледнел, затем пошел пятнами и, расстегнув ворот, попытался изобразить улыбку. Тем временем я думал о последствиях сказанного. Мне казалось, я не до конца аргументировал свои мысли, особенно перед водителем, лицо которого стало задумчивым и жалостливым. Причем жалел он наверняка себя, поскольку был инициатором приглашения меня в машину.

— С вами нельзя согласиться,— сказал первый бодрым голосом, как человек, нашедший уязвимый пункт в моих рассуждениях.— Если я не ошибаюсь, шестьдесят процентов ферм республики не имеют первичных партийных организаций. Задача в том, чтобы охватить их партийным влиянием. Так ставит вопрос ЦК...— Он победно посмотрел в потолок «уазика».— Мы должны воспитывать людей, пришедших в партию.

— А мне кажется, что они должны быть воспитаны еще до вступления. Вспомните окружение Ленина перед революцией...

‘Я не успел закончить своей мысли — мы уже прибыли в Гульбулак. Рахимов, привыкший к тому, что последнее слово всегда оставалось за ним, был явно недоволен. Не особенно скрывая это, он сказал:

— С вами нужно поговорить, товарищ корреспондент. Как-нибудь посидим, потолкуем.— Было видно, что он думает уже совершенно о другом. Дверцу поспешно открывали услужливые приспешники, и часть фразы была обращена к ним: привез тут попутно малого.

У правления первого встречали руководители района и совхоза. Они бросились ему навстречу, трясая животами и не скрывая своей бурной радости. По ошибке свое доброжелательство они вознамерились было распространить и на меня, поэтому я потихоньку смылся в сторонку и, как преступник, возвращающийся на место преступления, подошел к шоферу Рахимова.

— Разве можно болтать всякую ерунду, которая взбредет в голову?!— немедленно стал укорять меня шофер, явно играя роль своего хозяина.

— Я знаю, кому и что говорить. И совета у вас не спрошу,— резко оборвал я его энтузиазм. Он пожал плечами и отвернулся.

После окончания совещания я снова стоял на дороге, поджидая попутки. И вдруг опять подъезжает машина первого и с нее спрыгивает запыхавшийся шофер.

— Вас зовет хозяин, идите!

— Куда еще?

— Там будет чай-пай. Артисты. Словом, пир. Идите же. Станный вы человек!— сказал он, изумляясь моей непосвященности.

V

Под огромным навесом, расположенным у хауза посреди тенистого сада, был расстелен дастархан на пятьдесят человек. Он изобиловал совершенно немислимыми яствами, разве что птичьего молока не было. Директор совхоза, видать, не забыл меня за время совещания, а поэтому усадил на одно из самых почетных мест, почти что рядом с первым. С левой стороны от Рахимова оставалось свободным одно место. Где-то через полчаса прибыли артисты, чтобы дать концерт героям полей и ферм. И на свободное место прошествовала знакомая всей округе цевица Рахимов-хон Шарипова. Они как-то странно взглянули друг на друга. Да, в ее глазах была

некая страстная сила, привлекающая и завораживающая, властная и ненасытная. Клеопатра!—невольно восхитился я. Ее муж и сопровождавшие его люди сели там, внизу. И началось тошнотворное застолье: ты меня уважаешь? Пей до дна! А сам? Мы с тобой... Чуть погодя, стоя, провозгласили тост за Леонида Ильича и Шарафа Рашидовича, пожелали им долгих, нескончаемых лет жизни и труда на благо народа. Рахимахон Шарипова спела две песни, кокетливо перекрещиваясь взглядами с Рахимовым. Запрыгали две танцовщицы. Я невольно стал следить за мужем Шариповой. Он, не отрываясь, смотрел на колышущиеся груди двух восемнадцатилетних молодых, скачущих в танце...

После недолгой прогулки по саду пир возобновился. Директор совхоза, упившийся до завязок, провозгласил тост за первого секретаря обкома партии, фамилию которого долгие годы не мог выговорить. «Любимого, люб-бб-бимого...» — заикался он, но все понимали, о ком идет речь. Рахимов и здесь оказался первым. Он встал и торжественно опустошил целую пиалку водки. Еще не выветрился фимиам этого тоста, как слово дали толстеному прокурору района Джуманову. Он, захлебываясь от угодничества, предложил тост за руководителя коммунистов района, их воспитателя, вдохновителя и организатора всех побед, ум, совесть и честь эпохи... словом, за долгое здоровье и неустанный труд, за заботу и отеческое участие в судьбах... за... Золотую Звезду Героя, которая непременно должна засверкать на груди у... за нашего любимого и первого... За МУХИТДИНА РАХИМОВИЧА!!! Раздались дружные аплодисменты. Рахимов был в стельку пьян, но тост, очевидно, все-таки слышал. Его рука лежала на плече Рахимахон.

Самым коротким был тост бывшего секретаря обкома, отсидевшего срок по какому-то несчастью, Усманова:

— За встречу и за то, чтобы мы жили, зная, кто мы такие! — произнес он и пригубил рюмку. Мало кто стал разбираться в тонкостях его мысли. Выпили как положено.

Потом стали упрашивать Усманова поддержать тост за свое здоровье, но он почему-то глубоко оскорбился и встал из-за стола. К тому времени вышел из-за стола и я. Взволнованный Усманов ходил по дорожке, освещенной мертвенным неонам. Видимо, очень нуждался в собеседнике, потому что, заметив меня, тут же обратился с разговором:

— Я понял, что и вы не выносите этого. От них невозможно сбежать. Их страшно много. И если вас подсекут, то подсекут именно такие. Я вас знаю. И читал ваши статьи. Они мне нравятся. Если вас не затрут, вы будете писать стоящие вещи.

Затем он спросил у меня, какой выплачивается гонорар за одну страницу районной газеты, и удивился, услышав, что всего тридцать рублей. Странно, но только теперь я заметил на его лице некое скрытое чувство собственного достоинства, понимания цены жизни. Разговор ли о гонораре высветил это выражение, не знаю, но теперь я видел, что человек долго и мучительно размышлял над происшедшим с ним. Впоследствии я часто наблюдал это самоуглубленное и сосредоточенное выражение на лицах тех, кто был некогда удачлив, а потом пошатнулся или был затерт в толкучке служебной лестницы, и, упав с нее, с удивлением озирает то лестницу, то свои ушибы.

— Посмотрите, как трепещут мерзлые листья на той чинаре. Вымерзли, а падать не хотят. — «Вымерзли» он сказал печально, почти как «вымерли». — Подвешенная форма некоего сожаления... Дерево изъедено червями, а плоды... — Он подошел к деревцу айвы. Грушевидные плоды, как желтые лампочки, казалось, светились в призрачном неоновом тумане. — Вы должны знать о боли народа. Если не жалеее времени, то послушайте и о моей. Я думаю, вам как журналисту это будет небесполезно. Хотя, правду говоря, не питаю доверия к вашему брату. Крикуны, рупоры, мегафоны... А жизнь течет сама по себе, не сливаясь с потоками, плещущимися в газетах и с трибун. Человек всегда жил поисками истины, добра, но я боюсь, что никогда еще не было такого времени, когда бы ложь окружала нас, как океан — пустынный островок. Кричи, не кричи!..

Усманов подобрал плод айвы и стер с него шерстку. Понюхал и надкусил. Мы пошли по дорожке в глубь сада.

— Видите ли, я в корне против нашей хозяйственной политики, особенно в части сельского хозяйства. Нам нужно ее менять. — И он стал довольно нудно рассуждать о системе подбора кадров, при которой невыгодно иметь в подчинении толкового человека. По тем временам это был достаточно независимый взгляд на вещи, который, признаюсь, меня заинтересовал.

— Вот и я должен был следовать во всем указаниям сверху, либо же играть роль дурачка. Увы, ни с тем, ни с другим я не справился. У нас это в порядке вещей: вину ишака сваливают на седло. Мы превратились в круговых лжецов, которые и хотели бы не агать, но выйти из этого круга не могут. Кресло мешает. Ах, как, оказывается, мешает кресло. В жертву этому креслу приносится все: разум, со-

весть, обычай. Вы слышали, в Хорезме некий ретивый руководитель, выполняя волю верха, даже территорию детского сада засеял хлопком? Дескать, приобщение детей к труду. Глядишь, завтра такой энтузиаст превратит в делянку и кладбище. Вообще, ситуация с хлопком — страшная. Труд почти рабский, а мы его воспеваем так лицемерно, что у хлопкоробов это ничего, кроме злости, вызвать не может...

Эти суждения были для того времени очень смелыми, и я горячо согласился с ними.

— Да,— сказал я,— у нас нет никакой культуры земледелия. Здесь нужна революция — не меньше, причем, во всех сферах... Странное дело, почему за границей все качественно и добротно, а у нас... И с сельским хозяйством?

Усманов недовольно поморщился, видимо, осуждая мои попопзновения на его обстоятельные рассуждения, и продолжил:

— О какой культуре вы говорите! А вы знаете, что тысячи гектаров совсем не учитываются в севообороте? Что с них колхозники не получают ни гроша? Что на этих землях выращиваются золотые звезды и ордена?! Не для колхозников, конечно! Сеют не хлопок, сеют семена лжи, которая разрастается и окутывает нас, как одежда... А знали бы вы, что творится на хлопкоприемных пунктах! Что там ваша заграничная мафия! Не лучше и в животноводстве. У каждого пастуха-орденоносца по тысяче собственных овец. Вот и идет приплод за свой собственный счет, но это, впрочем, окупается. А ведь можно организовать дело так, что молодежь пойдет работать в животноводство, как идет на фабрики или заводы. Кстати, организация труда и определяет уровень культуры народа. А нам здесь остается взять носовой платочек и плакать в него. Мы же рубим сук, на котором сидим не только сами, но и обязательно кто-то другой... Если так пойдет и дальше, то никогда у нас труд не превратится в жизненную потребность, никогда не будет составлять основу культуры, никогда не уподобится искусству. Вы думаете, почему люди обожествляли природу: ее горы, реки, моря? Это, я бы сказал,— сыновнее к ней отношение. А теперь... Теперь Узбекистан можно объявить зоной бедствия. Ведь, считайте, в Узбекистане не осталось естественной природы. Вдумайтесь, какое выражение-то дурацкое: «естественная природа»! Я не знаю, как на такой земле воспитывать любовь к Родине? Если, повторяю, так пойдет и дальше, то хлопок из нашей национальной гордости очень скоро превратится в национальную трагедию. Вернее, этот процесс уже давно начался. Причем не на уровне безобидных недосмотров или упущений, а на глобальном преступном уровне. А мы все трусим своей слабости и беспомощности. Посмотрите, повсюду равнодушие и обман. Честные замыкаются в первом, нечестные греют руки на втором. Я уже устал переживать от этого...

А что творится с медициной и просвещением? Вы слышали, что дети наши вырастают с искривленными позвоночниками, потому что с малых лет гнут спины на хлопковых полях? Люди тысячами болеют желтухой, а почему? Да потому, что и вода, и воздух заражены дефолиантами. Неужели вы ничего не понимаете? Неужели вы, журналисты и писатели, онемели? Почему вы не вопите на весь белый свет?! Чего вы-то боитесь? Пусть вы не Гоголи и не Чеховы, но попытайтесь же хоть на миг взглянуть их глазами!..

Усманов весь дрожал и плакал. Взгляд его устремился во тьму, туда, где угадывались очертания величественных гор.

— А что творится с памятниками культуры! Хива рушится, Бухару вот-вот подмоют подземные воды, дворец Тимура в Шахрисабзе развалился... Ремесла исчезают, портятся бесценные книги... Или хранятся в институтах, не нужные никому... Страшно сказать, их некому читать. Мы не знаем своей письменности... Мой сын работает в институте востоковедения. Недавно он задал этот вопрос президенту Академии наук, и, как вы думаете, что тот ответил? Страшно повторить. Вы, говорит, лучше бы поразмыслили, как выйти на международный уровень по производству станков, а не с этими книжками... Вот и жалуйтесь после этого.

Усманов говорил в эту ночь еще о многом: о бездарном строительстве в Бухаре и Самарканде; об идиотских памятниках, возникающих в каждом кишлаке, как поганки после дождя; о том, что даже в Ташкенте не на что посмотреть, кроме метро, да дворца Дружбы народов; о том, как повсюду царствует серость, причем не просто царствует, а возводится в роль божества.

— Я не в первый раз говорю об этом,— заметил он.— Я добился приема и обратился со всеми этими проблемами к ответственному руководителю республики Гафурову. Говорили мы откровенно и очень резко. Он ясно намекал на то, что, дескать, был ты подворотниковой вошью, а теперь на головку хочешь? Я тебя, мол, воспитал, а ты... В конце концов я был вынужден прервать разговор и сказать ему, что, если даже я дурак и бездарь, то не дурнее и бездарней его самого... Не обошлось мне, конечно, это даром. Очень скоро получил срок заключения. Потерял там здоровье, теперь сто граммов и от отчаянья не могу осилить. Честно говоря, и жить не хочется. Раз ничего не можешь добиться, никому не в силах помочь, какой

интерес жить дальше? Я иногда жалею, что меня и впрямь не прикончили там, в лагере. Оказывается, ошиблись и порешили другого. Когда это стало известным, замяли дело и помиловали меня актом Верховного Совета. Да, тут есть что рассказать... Били... И сами били, и прибежали к «услугам» уголовников, вот и попробуй не ^{МАЕ}признаться в том, чего никогда не совершал. Получается, что я сейчас живу взаимы, а может быть, и на сдачу. Ведь жизнь мою приравнили к грошу, слышите, милый Нурзоджан! Кровью теперь не смоешь! Только не думайте, что я всем рассказываю это. Те, кто ничего не понял до сих пор, вряд ли поймут теперь! Я, признаться, обрадовался, увидев вас. Захотелось облегчить душу. Устал я. И от разговоров, и от молчания. Здоровье мое худо. Вот и тороплюсь высказаться. Я долго не протяну. Неверие — это страшная болезнь, она убивает беспощадно. Вы удивляетесь, наверное, как я сюда попал? Рахимов зачем-то пригласил. Впрочем, и он из тех, кто бежит, не разбирая дороги, задрав штанины. К тому же нечистоплотен в отношениях с подчиненными. А я его когда-то рекомендовал в партию. Вот и терплю за свои ошибки... Простите мне мое многословие, очень уж захотелось раскрыться перед вами. Получится, расскажите хоть когда-нибудь об этом народу! Я очень вас прошу! Жалко, что наши писатели такие робкие, все вертятся вокруг да около... К чему это я? Просто мне кажется, что поговорить с журналистом в тысячу раз полезней, чем с этими креслодержателями. Говорят же у нас: лучше с умным есть дерьмо, чем с дурным — яства. Вы только не подумайте, что я вообще черный антисоветчик, напротив...

Усманово невозможно было прервать, но мое молчание не мешало ему. Он, казалось, понимал мое состояние и без слов, когда мы пересекались взглядами после каждого взрыва пьяного хохота, несущегося из ночного сада.

Голос его охрип от возбуждения, губы иссохли, он то и дело облизывал их или покусывал.

— Быть может, я не прав, но у нас лютой ненавистью платят тем, кто делает добро. На первом же шаге отсекают такого, и прощай вся его доброта. У меня теперь не осталось друзей. Но ведь были... И казалось — настоящие. А все предали... Вы думаете, может быть достойным отцом тот, кто не смог быть достойным другом? А ведь у них растут дети. Кем же станут они? Вот что страшно.

Когда я был при должности, когда нога моя была в стремени, они так и увивались вокруг, кланялись даже тени. Как это было противно! Упаси меня бог от друзей, а с врагами я сам как-нибудь справлюсь — так, кажется, говорят? Вот такие друзья и подписывали свидетельства, когда... Впрочем, я не жду ни от кого покаяния. Какое там покаяние, если мы давно разучились просто говорить правду. И вот эти свидетели теперь «вожди», «кормчие». Слепнуть бы или оглохнуть...

Странно, но самыми яркими обличителями становятся самые близкие люди. Я когда-то помогал очень многим, и именно они ненавидели меня впоследствии больше всех. Наверное, стыдясь своего прежнего просителства, они спешили расквитаться за свою слабость... У нас полно таких «ущемленных», которые не могут справиться со своей женой, а директорствуют в совхозе; не в состоянии воспитать ребенка, а учат жить весь народ. Взятчики переживают за «критическое состояние дел в республике», а бабник горюет об «издержках в нравственном воспитании».

А наши интеллигенты? При случае они с удовольствием прихвастнут именами Беруни, Ибн-Сины, Аль-Хорезми, Фараби, Навои, Улугбека. Дескать, народ, давший миру такие имена, — высококультурный народ. Но ведь не прошлым оцениваются нынешние заслуги! Беруни вычислил существование Америки, но она названа именем Америго Веспуччи и живет совершенно независимо от этого вычисления. Так что же говорить о прошлом? Ты похвалился настоящим! Где наши Айтматовы, Маркесы, Вознесенские, Евтушенко, Карповы, Каспаровы? Кого нам пестовать, если мы не смогли просто уважать при жизни Хабиба Абдуллаева, Абдуллу Каххара, Батыра Закирова?! А все лжевеликие, носящие сегодня на груди купленные золотые звезды, завтра лопнут, как мыльные пузыри. Вот увидите! Я-то, наверное, не доживу до тех времен, но вы...

Усманов совсем уже не владел собой. Голос его дрожал, речь стала прерывистой, мысли скакали, а из глаз непрерывно лились слезы. Он без конца тер лицо мокрым платком. И вдруг он весь как-то сник, будто последние силы покинули его.

— Вы только не подумайте, что я заговариваюсь, и простите мне мое невольное занудство, — снова заговорил он через некоторое время. — Просто накопело. Иногда хочется наложить на себя руки. Да только и это они обернут к своей выгоде. Скажут: нагреб миллионы и почувал, что расплата близка... Интересно, какие свои преступления прятали Есенин, Маяковский, Фадеев?

Он, казалось, путался в своих мыслях, окончательно потеряв путеводную нить столь продолжительного рассказа, а потому, уставившись в устрашающе темный сад, замолчал.

Подавленный услышанным, я тоже не мог произнести ни слова.

Молчали долго, но вот, видимо, отдохнув, Усманов медленно повернулся ко мне:

И все-таки надо делать людям добро, — сказал он тихим, но очень решительным голосом. — При всем при том, надо делать им добро. Построй мост или посади сад. И народ тебя не забудет. Даже если этот мост и этот сад возведены его собственными руками. Помочь людям осуществить их устремления — это такой же талант, как и написать, скажем, великое стихотворение или картину... Впрочем, слезами умиления пожара не потушить. Но хочется верить! Увы, я не доживу до этих дней... Я прошу вас, братишка, брат, не забывайте меня. Донесите мой рассказ до людей! Прокричите эти слова, прокричите, что надо бороться, что надо драться за правду и драться всем миром! — Последние слова Усманов произносил в каком-то лихорадочном бреду. Вдруг он замолк и схватился за сердце. Побелевшее лицо его казалась неживым в голубоватом лунном свете.

— Отведите меня до ворот... — прошептал он и положил руку мне на плечо.

У ворот к нам подбежал сторож сада дядя Эшмурад и предложил уложить Усманова в одной из комнат. Там Усманов сказал:

— Приходите, братишка, через час, я к тому времени постараюсь прийти в себя! Если подойдет машина, то отпустите ее, я сегодня наверно нетранспортабелен!

Мы вышли с Эшмурадом, и он многозначительно покачал головой. Но я уже был во власти других дум и, вышагивая по печальной дорожке ночного сада, повторял про себя любимую лермонтовскую строку: «Одинокое счастье, расцветший цветок...»

VI

Часа через полтора я заглянул в приоткрытую дверь комнаты, где мы уложили Усманова. Он спал. Я на цыпочках удалился от двери и, несколько раз вдохнув холодный воздух, стекающий с гор, напрочь забыл обо всем, что произошло. Там, далеко в горах, загорелись два огонька — наверняка, костры, ведь в такое время отдыхающие чабаны разогревают на огне лепешки и кипятят свой неповторимый чай с душицей. Я явственно ощутил его запах и вкус и проглотил слюну. Огоньки, мерцая, навевали воспоминания о том, как, провалившись на экзаменах при поступлении в институт, я сбежал от бесконечных нравоучений в горы, помощником к чабану Раббиму-ака, и жизнь моя, казавшаяся до тех пор невыносимой, вдруг стала вполне счастливой. Хотя я и стеснялся своего чабанства. «Слышали, что ты учился на «отлично», так неужели надо было маяться десять лет, чтобы потом крутить хвосты баранам? Да и отец бы мог помочь, посетился бы — глядишь, все уладил. А уж если на лбу написано стать чабаном, то к чему было терять время в школе?!» — Так говорили все, причем говорили открыто и грубо всякий раз, когда я приходил в кишлак. А потому я днем и ночью ходил в горах за стадом. Что я любил особенно — так это складывать монументы из камней. Я так преуспел в этом деле, что однажды дерзко уверовал в свои способности соорудить здесь памятники Навои и Ленину.

— Эге-гей! Бараны мои! Баранчуки! Смотрите, смотрите на мои труды! Вот что умеет тот, кого вы не ставите ни в грош!

Потом я стал делать статуэтки из глины и заселять ими нишу своего дома. Больше всех радовался бесплатному помощнику, который к тому же вскоре станет поэтом и художником (а именно в этом я клялся ему!), пастух Раббим-ака. Счастливым, он приносил из города сладости и закармливал ими меня, как любимого внука, ниспосланного ему самим Аллахом. А я, глядя на него, думал, что дни идут слишком медленно, как ходит старый пастух... Наверное это от безделья.

Жил со мною в горах и несчастный влюбленный — Умар-чабан, ушедший сюда, как и я, из Ташкента. Там он любил девушку, которую изнасиловал парень с юрфака. Умар десятки раз рассказывал, как всадил тому нож в его толстую задницу. Этим рассказом заканчивались все наши разговоры, и всякий раз я слушал со вниманием, как впервые, чтобы не обижать и без того обиженного Умара. Со временем у меня появилось желание записывать в старый блокнот его бесконечные рассказы, украшенные постоянно меняющимися подробностями.

— Я все равно женюсь на Улбусин! Когда я думаю о ней, у меня начинает голова трещать. Знаешь, она меня любит больше, чем себя. Верить? Я не могу без нее жить! Я сплю дом сучьего отпрыска! Я... я... я убью его! — кричал он и начинал сильно дрожать.

Не слушая слов утешения, он уходил в сторону и плакал, затем долгое время ни с кем не разговаривал.

Как помочь ему? Что бы сделать ему доброго? — думал постоянно я. Но все решилось так, как хотел он сам. Однажды он продал одиннадцать своих баранов, выросших здесь же, в стаде Раббима-ака, попрощался с нами и в ту же ночь, забрав

из кишлака Улбусин, уехал с ней в Пенджикент. Раббим-ака на всякий случай дал ему адрес знакомого пастуха, к которому можно было бы обратиться насчет работы.

В семье Улбусин было одиннадцать девочек. Самую старшую из них звали Норбуви. Вторую назвали Угилой — «Сыновий месяц», в надежде, что после нее родится сын. Но раз за разом рождались дочери, вот и называли их то Улбусин — «Пусть будет сын», то Ултувай — «Да родится сын», то Угилжон — «Сыночек». Вот почему у похищенной жены счастливого теперь Умара было столь странное имя. После нее очередную девочку назвали Васбуви — «Довольно баб». Но и это не помогло. Вслед за ней родилось еще четыре девочки. А бедный сторож Намоз все продолжал надеяться на рождение сына.

Уехал Умар, а вместе с ним его история о заднице, в которую всадили нож, и я чувствовал себя осиротевшим, как ягненок, отлученный от своей матери. И, мысленно продолжая наши беседы, я с укоризной смотрел на дальние снега Айкора и обижался, что они нас разделяют. А когда из-за этих гор выползал золотой рог месяца, мне становилось особенно нестерпимо без чужой далекой любви, которую отняли у меня. Я воображал, что этот месяц — послание Умара и Улбусин, живущих там, далеко за горами, где, может быть, бродит и моя любовь, моя невысказанная любовь, мечта о которой, я закрывал глаза от горького блаженства. После таких приливов чувств я несколько дней ходил молчаливый и задумчивый, будто прикоснувшийся к некоей тайне, охраняемой от людей звездами.

В то время я часто не мог понять самого себя. Возбуждался от какого-нибудь пустяка и не находил себе места, пока наконец через некоторое время не начинал разочаровываться в том, без чего еще вчера не представлял себе жизни. И тогда весь мир становился пустынным и никчемным. Таким, что с ним не хотелось и связываться. Словом, муть... И люди — уже не люди, а какая-то суебливая толпа, и жизнь уже не жизнь, а сплошное бесполезное страдание. Теперь я думаю, что так человек изживает в себе свое бессилие перед великой тайной подаренного ему бытия. Так или иначе, но уныние мое, к счастью, скоро проходило, и я опять начинал жить, как жил, — весело и бездумно...

Я пас своих овец и тогда, когда каким-то чудом поступил учиться заочно в институт. Пас так усердно, что однажды во время зимней сессии одна из красавиц группы Дилбархон из Маргилана написала мне без всяких церемоний: «Нурзоджон! От вас пахнет стойлом и фермой. Знайте, что в таком случае красавицы Ферганы на вас не станут смотреть...»

Треснула б земля и поглотила бы меня!

С тех пор я стал избегать девушек, хотя с чабанством покончил немедленно.. Некоторое время спустя я устроился пионервожатым в школе нашего кишлака и сразу же почувствовал себя руководителем какого ни есть, а масштаба. То ли оттого, что я был почти их ровесник, то ли потому, что кончил десятилетку-интернат, но даже самые отъявленные из неслухов и те уважали меня и считались со мной. К тому же в этой школе раньше не существовало должности пионервожатого, и потому осторожные школьники относились ко мне на всякий случай столь же уважительно, как к директору или завучу.

Была весна того самого года, когда я начал свою работу в школе. Мы с отцом вскапывали землю, как люди всей округи. А соседский сын, пятиклассник Назар, спрашивает у своего отца: «Пап, а пап, а разве пионервожатые копают землю?» Вот уж мы насмеялись!

Да, трудно я отвыкал от своего вольного пастушества. В памяти почему-то остались только картины величавой красоты гор, ноздри до сих пор ощущали пьянящий аромат неповторимого горного воздуха. А ведь были и трудности. На самом деле — это тяжелый и полный забот труд, когда, как говорил отец, вся жизнь проходит мимо. Двенадцать месяцев в году видишь вместо людей только своих овец и баранов и сам чуть ли не уподобляешься им.

Особенно тяжело во время массового окота. В такие дни мы уставали настолько, что спали стоя, прислонившись к стене или камню. Ведь за ночь рождалось по шестьдесят — семьдесят ягнят, и за всеми новорожденными надо было ухаживать: принимать, кормить, отводить в специальные места и не забывать при этом обо всем стаде.

Еще я часто вспоминаю своего старого осла — совершенно безобидное и ленивое существо. Он останавливался иногда как вкопанный там, где я спрыгивал с него, и мог бы неделями стоять на месте, не реагируя даже на мух, если бы не голод, который все же его изредка беспокоил... Он не кричал по несколько раз на дню, подобно другим ишакам, и, засыпая в стоячем положении, иногда лишь пофыркивал. Со мной ему жилось как никогда вольготно. Ведь другие чабаны практически не слезили с его спины, и вся его многотрудная жизнь прошла в услужении им. Со мной же он ходил на той скорости, которую предпочитал сам, поэтому мы обходились без понуканий. Вспоминая своего ишака, я всякий раз невольно вспоминаю известную историю об осле и его хозяине.

... Некий человек решил обучить своего осла чтению. Он много старался, много трудился, и все напрасно. Тогда к нему пришел сосед, который наблюдал со стороны за всеми страданиями владельца осла, и сказал тому: не лучше ли, если ты научишься у своего осла умению хранить молчание? Ведь и впрямь наверняка нет на свете более терпеливого животного!

* * *

Первое время я работал в школе с большим энтузиазмом, потом захандрил: понял, что учительствовать так, как хочу, не смогу. Дело в том, что, когда мне доверили преподавание, я взялся за него со всей серьезностью, посягая даже на составление школьных программ. Но возможностей у школы реализовать мои идеи не было никаких. Директор Саидкулов, дрожащий при виде колхозного руководства, мыслил другими масштабами, и для него указом был, к примеру, даже бригадир Мураткул-усатый. Стоило Мураткулу пошевелить усами, как директор Саидкулов тут же прекращал уроки и гнал детей то на коконы, то на прополку, а то на сбор хлопка.

Трудно было работать в таких условиях. Вернее, невозможно. Ученики приходили в школу, как на хоздвор, за распределением работы. А директору это было глубоко безразлично. И тогда мы решили с несколькими старшеклассниками написать обо всем в Ташкент. Приехала комиссия, и началась такая заваруха, что за короткое время было уволено две трети школьного педагогического коллектива. Правда, уволенных переводили в другие школы, хотя их, согласно квалификации, полезней было бы использовать на сельскохозяйственных или земляных работах.

— Вы требуете от нас того, что станет возможным на стадии развитого коммунистического общества!— трещал хоть и молодой, но ужасно толстый заместитель начальника отдела министерства из Ташкента... (Фу, насилу выговорил. А он, между прочим, представился без сучка и задоринки!) — И так в республике не хватает педагогических кадров!

— Не фальсифицируйте идеи коммунизма!— оборвал я явную демагогию субъекта, на физиономии которого невооруженным глазом можно было увидеть следы жестоких запоев.— Я думаю, что вы на все эти «педагогические кадры» смотрите, как нерадивый пастух на отару: вот с этой овечки — шерсти клок, вот с этой — курдючок, а вот с этой — тушечку! Вот и весь ваш коммунизм!

Сотрудник министерства поперхнулся каким-то невысказанным словом и забегал глазами по лицам сидящих. Комната была полна людей, но помощники потягивали головы, и тогда замначотдела, не найдя поддержки, заорал:

— А сколько вы сами дали, чтобы устроиться в институт? Вы знаете, что я вправе подать на вас в суд за клевету?!

— Если бы я дал, то разве учился бы на заочном? А в суд, конечно, поспешите. Там наверняка сидит такой же взяточник, как вы. Он обязательно поддержит вас.

Разъяренный гость воззрился на директора и на завуча, как бы призывая их к ответственности за грубость своего сотрудника. Но те, напуганные до предела, сидели не поднимая головы. Зато остальные наслаждались скандалом.

А министерский посланец никак не мог успокоиться:

— Какое вы имеете право оскорблять незнакомых людей?— вопрошал он тоном пониже.— Не понимаю!

— Такие, как вы, никогда не понимали меня и не поймут! Я бы поступил учиться в любом случае. Годом раньше, годом позже. Жаль только, что там полно преподавателей, которые не знают своего предмета даже в объеме средней школы. Так почему я не могу стать студентом? Кстати, вам известно, что педагогический институт — самый неprestижный в смысле размера взятки за поступление. Всего четыре тысячи! То ли дело — юрфак или медицинский...

— Не знаю. Не приходилось иметь дела,— пробурчал гость, вытирая со лба липкий пот.— И вообще, оставьте меня в покое. У меня слабое сердце...

— Имели дело. И еще какое. Вы посредник высокого класса. Ведь у вас есть министр, у него заместитель, у обоих дети, и всю эту братию надо кормить, одевать, обувать. Вот вы и стараетесь! А попробовали бы не стараться... Вы взяточник! И я готов утверждать это повсюду! Это видно по вашим глазам, это написано на вашем лице. А иначе бы вы не стали пересаживать Саидкулова в другое директорское кресло! Иначе бы вы признали недействительным его купленный диплом! Но вы не станете этого делать! Думаете, я не знаю, сколько денег вам напихали учителя через Саидкулова? А сегодня один из них пришел к моему отцу просить в долг сотню, другую. Для вас! Отец стал стыдить меня, дескать, неужели и ты станешь давать деньги?! Так неужели вы появляетесь, как стервятник, только там, где падаль? Неужели вы не боитесь, что награбленное вами ляжет пятном и на вашу мать, и на ваших отпрысков?!

Замначотдела министерства понял, наконец, что со мной иметь дело небезопасно, и, с проворной ловкостью подхватив шапку, выскочил из учительской. Вслед за ним бросились директор и все остальные. В комнате остался лишь преподаватель математики — мой бывший учитель Мирза Рахматов.

— Ты высказался?— спросил он, чуть ли не скрежеща зубами.— Если ты такой умный, то почему бы тебе не поехать в Ташкент?! Стань министром! Наладь работу. Чего здесь копыя ломать?

— И поеду! И министром могу стать. Но этим дела не выправишь. А вы на меня не кричите!

— А что, по-твоему, этот бедняга должен отвечать за всех взяточников республики?

— Он не бедняга, а подонок! Не путайте! Вам столько лет, и вы, наверное, можете отличить подонка от бедного!

— Не болтай лишнего! Если хочешь знать, то я твой Учитель! Я в отцы тебе гожусь! Тебе не стыдно говорить такое?

«Да,— подумал я.— Вполне возможно, что и гость был некогда приличным человеком, но его сбили с пути такие вот рахматовы. Это они приучили его к взяткам! И, видимо, настало время сказать об этом!»

— Вы не стыдитесь защищать взяточника и лицемера?— ринулся я в бой с новыми силами.— Скажите, это учительское дело? Оно достойно вас? Да если говорить откровенно, то никакой вы не учитель! Только и знаете, что дважды два — четыре, как будто никто, кроме вас, этого не знает. Не дай бог, вам достанется какая-нибудь должность, так вы станете ничуть не лучше своего подзащитного. Такие, как вы, только и рассчитывают на это. Пусть дух самого аль-Хорезми проклянет таких! Мне больше нечего вам сказать!

Рахматов, видимо, решил, что у меня мозги сдвинулись по фазе и уже сочувственно улыбался. А я глядел на него широко открытыми глазами: что он скажет после этого?

— Нет, сынок, дай-ка я уйду подобра-поздорову, пока ты не приложил ко мне руку!— Он сказал это, не глядя на меня, как будто некая брезгливость мешала ему бросить взгляд на нездорового умом человека...— Ты и в детстве был таким же. Никому от тебя нет пользы. Оставь-ка меня в покое. Я, кажется, провинился перед тобой, сказав, что старших надо уважать. Прости! Следуй дальше этой дорогой. Доберись до самой сути! А я с тобой поговорю тогда, когда ты вернешься из своего похода с разбитой мордой! Запомни это! Видели мы таких! Грмишь, как пустая бочка! Видели, видели! Ты только собираешься зарезать курицу, а я ей уже ошипал перья! Понял? Ты заявил, что будь я на должности, то стал бы взяточником. Посмотрим, каким станешь ты, когда тебя посадят на белую «Волгу». Обвяжут галстуком — станешь шелковым, как ишак под уздой. И вспомни тогда, что ты не имел права говорить со мной в таком тоне. Я как-никак учил тебя. Плохо ли — хорошо, но грамоту тебе дал я. Ты еще ничего из себя не представляешь, а плюешь в колодец, из которого пил. Страшно представить, какой ты будешь, когда получишь высшее образование!

— Я могу и не получать высшего образования. Мне оно ничего не даст. Валяем на сессии дурака, едим плов да пьем водку — вот вся учеба.

— Ты наверное и там всем уже надоел,— огрызнулся раздраженный Рахматов.

— Вот мы работаем с вами уже три года. И никто вас не понимает,— сказал я более миролюбивым тоном.— Но, впрочем, вы и сами себя не понимаете. Вы всегда говорите совершенно противоположное тому, в чем вас хотят убедить. Вы на всех смотрите, как на щенят, дескать, что с вас взять. А подумайте, отложив на секунду тюбетейку в сторонку, чего вы стоите сами? Учите всех, а сами, как слепой, идете по кривой дороге. Это самое страшное в человеке. Правда, вы не давали этому толстомордому денег и не дадите. Но ведь вы могли бы выступить против него вместе со мной. Так почему же промолчали? Да потому, что вы боитесь. Вам чьи-то заботы — как с гуся вода...

Кстати, я помнил его всегда таким. Еще с ученических пор. Он противоречил всем не из желания добиться истины или проявляя принципиальность, а из дурного упрямства. Ему всегда, видимо, казалось, что на свете нет ни одного порядочного человека, ни одного повода к доброте, а потому всегда он смотрел на людей и на их дела как бы через черные очки, подозревая во всем подвох и обман.

И вдруг, пока я предавался воспоминаниям, Рахматов схватил в сердцах чернильницу (ах, эта страсть к очернительству!) и запустил ею в меня, как Лютер в черта. Но чернила, прежде чем полететь в мою сторону, успели разлиться ему на щеку и плечо. И тогда он выматерился и бросился к дверям.

Постепенно я успокоился и теперь сидел, глядя на печальные поля. Под окнами перешептывались десятиклассники — мои настоящие союзники, мои соратники. Я позвал их в учительскую. Немного погодя они вошли, подталкивая друг друга.

— Ну как, не берут вас на пушку?
 — Пытаются пугать. Дескать, выгоним из школы,— сказала рыжая Бувраджаб.— Ну и...
 — Идемте, поговорим на улице,— предложил я.
 Мы пошли на пустырь за школой.
 — Учитель, вас выгонят из школы?— трагическим голосом спросил один из учеников.
 — Знаете, если выгонят вас, то уйдем и мы,— решительно заявил другой.
 — Меня никто и никогда не выгонит. Я уйду сам. Но это не значит, что мы с вами расстанемся... Я стану помогать вам еще в большей степени оттуда, куда направляюсь,— сказал я им как можно более оптимистично.
 — А куда вы уходите?
 — Куда?
 — Зачем?
 — Не уходите!
 — Мы к вам привыкли!
 — И я к вам привык, но скоро вы разлетитесь в разные стороны. И ничего с этим не поделаешь. А меня приглашают работать в районную газету. Будем бороться силой пера!
 — Ура!— крикнул кто-то в рифму.
 — Ура!— подхватили другие.
 — Вы станете писать о них фельетоны!
 — Устройте им трепку!
 — Ура!

Я не знал, чего было больше в этих восторгах детей: желания насолить учителям? Стремления к справедливости? Простой детской игры? И все же, когда мы прощались, меня вдруг прошибли слезы, как заговорщика, уходящего со сходки в неизвестность. Ведь эти, подросшие за три года, мои ласковые баранчуки так искренне не хотели расставаться со мной...

VII

...Так, глядя на дальние предгорья, я за несколько минут пережил в своих воспоминаниях огромный период жизни, и какое-то тревожное блаженство темными волнами разлилось по мне. Вдруг защелкал соловей, и я по непонятной причине тут же взглянул на часы: прошло полтора часа, как я оставил Усманова.

Высоко над Айкором зависла луна, и снега вершины отливали таинственным зеленоватым светом. Я вернулся к комнате, где оставил Карима Усмановича, вспоминая: а было ли открыто окошко в этой комнате?

Я заглянул в приоткрытую дверь. Усманов лежал, уставившись в потолок.

— Я давно жду вас. Вы, наверное, прогуливались по саду?— спросил он усталым голосом.— Если не трудно, приоткройте окошко. Хочется свежего воздуха. Я немного вздремнул.

— Да, я наведывался разок. Вы спали,— сказал я и, открыв окно, сел на стул у его ног.

— Какой чудесный воздух!— блаженно вздохнул Усманов.

— Простите, что я не приоткрыл окно еще тогда,— произнес я смущенно.

— Ничего страшного. Спасибо вам за то, что вы оказались рядом. Иначе... Я боюсь третьего инфаркта. Обычно после второго долго не живут. Эти два я пережил там... Интересно, где поджидает меня третий? Уж лучше бы дома... Наверное, такое счастье умереть на руках у любимой жены, единственного на свете человека, который тебя понимает до конца и принимает таким, какой ты есть. Господи, о чем это я! Страшно подумать...

— Карим Усманович, я не считаю вас пессимистом. Это не вяжется с вашими словами и с образом мыслей. Мне кажется, что вы никогда не отступите от своего!— воскликнул я взволнованно.

Взглянув на Усманова, я увидел, как две слезинки сбежали по его щекам. Скрывая свое смущение, я отвернулся к стене и уставился на картину, висевшую на ней. Это была «Неизвестная» Крамского. Казалось, эта неизвестная красавица смотрела сквозь меня на Усманова и говорила ему: «Не переживайте, рано или поздно все мы начинаем думать о конце жизни. Будьте спокойны, ведь ваши переживания — всего лишь дым, пробежавший по лицу мира. Что эти предательства, что эти измены? Плюньте на все! На все...»

Я обернулся: Усманов тоже пристально смотрел на картину.

— Крамской интересней своими мыслями об искусстве, нежели самим искусством,— сказал я, цитируя какую-то искусствоведческую статью.

— А портреты его бесподобны, — ответил взволнованно Усманов. — Вон, взгляните! Это же настоящая Настасья Филипповна! Она смеется над нами сквозь слезы!

— А мне кажется, она больше похожа на Анну Каренину. Хотя внешне, может быть, и впрямь Настасья Филипповна. Настасья Филипповна все же прямее, решительней. А эта, смотрите, печальней и выше духом. Она всем желает добра. Но люди топчут ее желания. И она пойдет даже на смерть, чтобы доказать людям свою правоту... Я очень люблю Крамского. Вы знаете, я был на его могиле на Волковском кладбище...

— Ох, братец, братец! Дай бог, чтобы жизнь наградила вас за вашу сердечность! Ведь никто сейчас не ценит сердечность и бескорыстие. Я вспоминаю, когда мы с женой жили в Москве, то ни одного дома, связанного с культурой, не оставляли без внимания. Я учился на факультете экономики, она на филологическом. Она и просвещала меня. А однажды в Ленинграде в Пушкинском доме мы видели портрет Достоевского на смертном одре, работы Крамского. Я был потрясен. Даже мертвый, он излучает свет гениальности. Каким же он был при жизни?! Немыслимо! Страшно! Неужели человечество так безгранично и в своей гениальности, и в своей низости не жить достойно этой гениальности?!

Мы опять замолкли, глядя на картину.

— Я видел оригинал этой картины в Третьяковке. Люди плачут около нее. Вот это сила воздействия искусства. Родится ли в нашем искусстве такой, кто сумеет отразить всю непознанность, всю боль, все цвета Узбекистана? Мерка, к сожалению, у нас не та. Планка сбита. Мы все меряем на свой старый, привычный аршин. А если талант в него не вмещается — а это ведь естественно, всякий талант должен взрывать привычное, устоявшееся, — мы начинаем его карнать: срезаем ухо, руки, ноги, оставляем квадратный живот и тем довольствуемся. Может быть, я говорю банальности, но вы простите во мне бывшего партийного деятеля с устоявшимся лексиконом. И даже то, что я доктор экономических наук, меня не спасает. Сейчас, кстати, куда ни кинь камень — попадешь в доктора или кандидата. А все — полуграмотные люди, и что страшнее всего — руководят, политиканствуют... Но это тоже банальности...

Он устало вздохнул.

— А меня хотели лишить и этого. Вообще-то я сам виноват. Надо было заниматься себе наукой и, как говорится, не высовываться... Чин — ступень гордыни, так ведь говорят. В каждом из нас есть это честолюбие. А к чему, зачем? Никто не задумывается. Кажется, что за первым же поворотом должность готовит тебе вечное благоденствие. А добираться до этого поворота — там тебя ждут или с ножом, или с подножкой...

Усманов замолчал, уставившись в потолок. Я боялся его взволновать неосторожным вопросом или фразой и, глядя на его побледневшее лицо, посиневшие губы, думал о «Неизвестной», странно соотносившейся с предметом его мучительных размышлений. В голову лезла пословица о том, что лучше поименованная высота, чем безымянный герой.

— Не жалейте меня, Нурзоджан, — сказал он утомленным голосом. — Теперь уже поздно. Надо смотреть правде в глаза. Я чувствую, вы хотите что-то спросить, спрашивайте, не стесняйтесь. Не только ведь мне философствовать. Я занимался в жизни почти всем, а поэтому, может быть, бесполезно поговорить о проблемах, которые волнуют и вас.

— А вы не устали?

— Да нет. Теперь мне все равно не уснуть. И вы вычеркните одну ночь из своей спокойной жизни. Не только ради беседы, но и ради меня. Что-то я чувствую себя как никогда одиноким и беспомощным. Никогда со мной не было такого.

— Знаете, что я хочу спросить у вас? Когда вы были первым секретарем обкома, на мукомольном комбинате возбуждались уголовные дела. И тогда в народе ходили слухи, что вы приложили руку к прекращению этих дел, а потому, дескать, вас и привлекли к ответственности. До сих пор никто не знает истинной причины происшедшего...

— Смотрите, как мы одинаково мыслим. Я только что хотел рассказать вам об этой истории... Ну, ладно. Слушайте... Эти безобразия творились там не один год. Еще до меня, при предыдущем секретаре. Впрочем, продолжают и сейчас, да еще в значительно больших размерах! Правда, теперь прибегают к другим, более изощренным способам. Причем, эти способы и не сняты ревизорам, которые возвращаются с порога комбината, умиротворенные пачкой десятирублевки в кармане. Истоки этого дела уходят туда, наверх — в Ташкент и в Москву. Так вот, если бы я был стоворчивым, то ничего бы со мной не произошло. А произошло, как я узнал, по указке самого Гафурова. Была организована ловушка, в которую я попал, как они и рассчитывали. Дело в том, что я всегда требовал самого строгого наказания за промахи в работе. А им только этого и надо было. В совхозе «Ударник» тут же пало

сто коров: в корма им был подмешан цемент. Кто виноват? Усманов. И это известие тут же раструбили на всю республику. Потом обнаружили, что в пищевую муку примешивают известку. Кто виноват? Усманов. А они тем временем хапали и хапали на миллионы рублей! Все делалось точно так же, как и с хлопком, — на бумаге: приписывали, получали премии, ордена, звезды, журналисты строчили о них ура-материалы, и преступления становились геройством. Я пытался бороться, но только всколыхнул болото, в котором они меня же и утопили...

Усманов некоторое время помолчал, пристально вглядываясь в портрет «Незнакомки».

— Такова наша жизнь, — сказал он. — Смотришь в сторону горизонта — подсекут, станешь смотреть под ноги — лоб расшибут о стенку.

— Хотя и неловко мне, но я хочу спросить вас еще кое о чем. — Усманов подбадривающе улыбнулся. — Вы прошли путь от простого научного сотрудника до первого секретаря обкома, члена ЦК, депутата Верховного Совета. Так вот скажите мне, можно ли заключить из этого, что у нас в стране есть все-таки возможность для роста способных, талантливых людей? А то мы давно привыкли к мысли, что большими людьми становятся только при помощи больших денег, сложенных в «дипломаты» и распределяемых по нужным адресам. Но вот выбрал же Гафуров именно вас среди остальных?

— Есть правда в ваших словах, — сказал Усманов после долгого раздумья. — Но не считайте, что мне, как тому плохому танцору, помешало какое-то невидимое препятствие. Просто все мои старания были очень похожи на старания человека, который купил барана, кормил, растил его, но не продал, а съел сам. Все дело в том, что я не оправдал ожиданий Гафурова. А таким, как он, личная преданность дороже всего. Кроме того, распространилась сплетня, что Усманов скоро займет место Гафурова, и тут же эту сплетню компетентные, как говорится, люди донесли ему. Человек, не уверенный в себе, услышав такие разговоры, не то что подчиненного, сына своего родного не пощадит. Кроме того, когда я вернулся с Кубы, в Москве поинтересовались моим мнением о Гафурове. Я ничего хорошего сказать не мог. Как мне стало потом ясно, и это было донесено до ушей Гафурова.

— А как же тогда с вашим назначением завотделом ЦК? Не совсем это укладывается...

— Это называется политикой. Во-первых, тот, кто со мной разговаривал, человек не маленький. Один из членов Бюро. Во-вторых, он понимал мою правоту. Вот почему он сказал об этом Гафурову не сразу, а некоторое время спустя, при случае. И, наконец, я вернулся в республику с хорошей рекомендацией Центра. Остальное известно лишь Гафурову. Вот когда он окажется в моем положении, тогда и спросите у него.

Мы надолго замолкли.

Затем он тихим голосом продолжил:

— У Гафурова есть такое свойство: когда вы обращаетесь к нему по работе — его всего сводит от злости: дескать, все вешаете на мою голову; если же дело каким-то образом коснется его личного благополучия или близких ему людей, то он весь превращается во вниманье. Таких он признает своими и оказывает им всяческое содействие. С теми же, кто просто работает, ему не по пути. Думаете, я один такой? Еще многое, даст бог, станет явным. То, что он до сих пор разыгрывает роль безгрешного ангела, — это игра коварного актеришки. Если понадобится, он пойдет и по трупам...

— Ну уж, наверное, не совсем так... — усомнился я все-таки. Мне показалось, что Усманов слишком субъективен, что ли? — Гафуров уже двадцать с лишним лет руководит республикой. Неужели в Москве за столько лет не заметили бы того, о чем вы говорите?

— А вы уверены, что в Москве все безупречно на сто процентов? — сказал совсем уж невероятное Усманов. Честное слово, я себя всегда считал в достаточной степени радикалом, но услышать такое... — Рыба, говорят, тухнет с головы. Правильно, нельзя обвинять во всем Гафурова. Он многое делает с ведома московских покровителей. Но мы ведь самостоятельная республика. У Москвы множество забот и помимо нас. И далеко не все оттуда углядишь. А завтра нам самим придется отвечать за плоды сегодняшних «трудов». Вот тогда и в Москве напомнят: вы самостоятельная республика, с вас и спрос.

— Да-а, — сказал я огорченно. — Стало быть, совсем нет у нас бескорыстных и стоящих людей? — Я допускал, что взяточником мог быть директор школы, председатель колхоза, секретарь райкома, еще кто-то... Но сам Гафуров, перед которым все преклонялись...

— Надо повертеться среди них, повариться в их котле, только тогда все станет ясно. Впрочем, самое страшное, что не всякому и там это становится ясным. Ведь Гафуров окружает себя себе подобными людьми, такими, кто занят не рассуждени-

ями о том, что происходит, а только лишь удержанием — есть борцовский термин — кресел. А потом он ловко использует их пещерный уровень и, не очень маскируясь, наталкивает на преступления. С одной стороны, легче держать таких «сообщников» в повиновении, а с другой, в случае чего, отправить их в места не столь отдаленные. В Сибирь, например. Он действует по принципу: «Бери больше, кидай дальше». Пусть пропадает республика, но честь Самого должна оставаться незапятнанной.

— И все-таки я не понимаю... К примеру, с позором освобождают одного из руководителей от должности. Он, как правило, считает себя невинной жертвой произвола. И нет у него возможности доказать свою правоту. Приходит на его место другой, который прав до тех пор, пока у него много прав. Но вот и его гонят взащей. И опять та же история. Тогда, предугадывая свое будущее, очередной руководитель начинает копить деньги. Вернее, грабастать, грести обеими руками. На завтрашний бесправный день. А народ, тем временем, безмолвствует, народ не знает, кому верить, и все же верит тем, кто у власти. Так где же здесь истина? Неужели все кругом неправы? И те, кто строили, и те, кто крушили?

— Вы правы! — сказал Усманов и улыбнулся. Не знаю, то ли он пошутил, то ли согласился со мной. — Наша непростительная вина в том, что за шестьдесят с лишним лет Советской власти мы так и не воспитали народ. Мы лицемерно учим, что коммунист должен бороться с ложью, несправедливостью, беззаконием, а сами этим же беззаконием, этой же ложью и несправедливостью беспощадно ломаем хребет всякому инакомыслящему. Странно, но мы за эти шестьдесят лет так и не добились простых, искренних человеческих отношений. Я пришел к такому выводу: там, где утрачена ценность отдельной человеческой жизни, там не может быть и речи о морали, о нравственности, да и вообще о прогрессе. И если это будет продолжаться, то на пути к правде возникнут все новые и новые бастионы лжи, и мы никогда не пробьемся к настоящей жизни честным путем...

VIII

У Усманова была привычка: в котором бы часу он ни засыпал, вставал всегда ровно в семь. Привычка эта осталась еще с поры его секретарства в райкоме. Ежедневно надо было объездить поля по меньшей мере двух хозяйств и успеть на работу за полчаса. Говорят, по дороге большого каравана идут и караваны маленькие, так и сотрудники райкома: стали приходить на работу за полчаса. На одном из совещаний он сказал своим подчиненным, что начало работы в девять и не обязательно во всем следовать ему. Ведь тому, кто не выполняет своих функций за день, едва ли помогут эти полчаса до работы или после нее. Не обязательно показывать людям, что мы работаем и день и ночь. Люди все видят и без того. К тому же, полчаса работы добросовестного человека — конечно, на пользу, а вот работай хоть все двадцать четыре часа бюрократ или крючкотвор — все равно от этого только вред.

Эти же мыслы Карим Усманович высказал на аппаратном совещании обкома партии, когда был избран первым секретарем обкома.

...Жена Усманова — Раъно Мардоновна, женщина с тихим и печальным голосом, сообщила тем утром мужу, сидевшему за газетами, что его просит к телефону начальник областного управления внутренних дел Норкулов. Норкулов звонил домой крайне редко, и Усманов решил, что случилось нечто серьезное.

— Да, слушаю, — сказал он тем не менее будничным голосом.

— Здравия желаю, Карим Усманович! Как спали, Карим Усманович? Как ваше здоровье, Карим...

— Спасибо, спасибо, — унял Усманов повышенный интерес Норкулова к своему самочувствию. — Что случилось?

— Приехала оперативная группа из Министерства и накрыла ночью мукомольный комбинат. Видимо, по указанию сверху, поскольку старший группы разговаривает со мной чуть ли не свысока... — весьма взволнованно ответил запыхавшийся Норкулов.

— Если выявлено преступление, то разве важно, кто его пресечет: вы или группа из министерства. Разве что этот факт говорит о том, что мы с вами плохо работаем, — одернул его Усманов.

— Но это к добру не приведет, Карим Усманович. Многим придется не сладко, — как-то очень уж значительно проговорил Норкулов.

— Приезжайте в обком, поговорим, — предложил Усманов и положил трубку.

Когда он вышел из машины, то с удивлением увидел шагающего перед входом в обком прокурора области Насруллаева. И тут же вслед за машиной Усманова с визгом подкатила машина начальника милиции. Усманов, признаться, был удив-

лен беспокойством прокурора и генерала, но виду не показал, а, тепло поздоровавшись с постовым милиционером, прошёл в здание. Милиционер лихо оттрапортовал, что никаких происшествий не случилось, и Усманов на ходу подумал, что на этот раз постовой, видимо, не прав. Разве не об этом свидетельствовали тяжёлые торопливые шаги Насруллаева и Норкулова по ступенькам лестницы, устланной ковровой дорожкой?

— Видимо, у вас общая забота?— спросил он уже в приемной, заметив взаимную неприязнь обоих правоохранителей и чувствуя некую тайну, разобщающую их. Прокурор и генерал оказались в неловком положении, и Усманов, решив, что нельзя принимать их по отдельности, поздоровался с секретаршей и вошел в кабинет.

Секретарша последовала вслед за ним с почтой и свежими газетами, и когда она пригласила в кабинет обоих, их лица свидетельствовали о том, что они уже обо всем договорились. Впрочем, Усманов именно для этого и оставил их в приемной.

— Слушаю,— сказал Усманов, глядя в лица, отражающие государственную озабоченность. Норкулов посмотрел на Насруллаева. Насруллаев нехотя начал свою партию.

— Саид Норкулович уже дал вам знать... Дело в том, что в той самой оперативной группе есть и представитель республиканской прокуратуры. Дело приобретает, видимо, серьезный оборот. Наверняка обнаружатся большие недостатки. Если начнут копать, то пойдут и прошлые дела, которые могут упереться в весьма уважаемых теперь людей. Вот и решили посоветоваться с вами. Может быть, следует быть поосторожнее?

— А вы как считаете?— обратился Усманов к Норкулову.

— Я согласен со сказанным. Если раскручивать дело по закону, то надо сажать подряд всех работников комбината.

Неожиданно их разговор прервался звонком красного телефона.

— Здравствуйте, Немат Назарович... Спасибо, как вы сами? Как район? А-ха.

Норкулов и Насруллаев отчетливо слышали голос первого секретаря Узунбулакского райкома партии.

— Здесь такая жалоба. Пекари не могут выпечь лепешки из муки с нашего десятого комбината. Говорят, к ней примешан белый песок. Я сам выезжал на место и убедился. Это действительно так. Я пробовал и готовый хлеб — позор, да и только. Я стыжусь показываться на улице. Да, и еще... Вообще-то это не телефонный разговор, но... в корма, завезенные в совхоз «Ударник», оказывается, был примешан цемент. Сто голов скота пало. А руководители совхоза молчали весь этот месяц, поскольку приезжали представители с мукомольного комбината и просили не поднимать шум, возместив им убыток деньгами. Вот и маракую, как быть. Дело в том, что теперь, оказывается, прибыла какая-то оперативная группа...

— Все ясно, Немат Назарович! У меня именно по этому вопросу сидят сейчас товарищи Насруллаев и Норкулов. Сейчас товарищ Норкулов со своими работниками придет к вам. И я буду действовать по обстановке. Но надо дать всему законную оценку, и никак иначе! Пусть едят сваренный ими плов сами! Смотрите, чтобы ни один виновник не остался безнаказанным.

Он положил трубку и обратился к Норкулову:

— Узнайте обстановку и позвоните мне оттуда. Со всеми подробностями. Не может быть и речи о приостановлении дела!— Норкулов отдал честь и вышел из кабинета. Усманов не мог не заметить, как облегченно вздохнул при этом прокурор.

— Вы что-то хотите сказать?— спросил он Насруллаева.— Я думаю, между нами не должно быть никаких секретов. Ведь там, где тайны, там рождается недоверие, Омон Насруллаевич. Работай мы рука об руку, глядишь, и не было бы этих преступлений. Но, видите, мы не справились...

Насруллаев на мгновение смутился и, когда Усманов закурил сигарету, подойдя к окну, сказал:

— Простите меня, Карим Усманович. Я должен был поставить вас в известность с самого начала работы, да вот не решался. Ведь в свое время мы сами возбудили это уголовное дело. Но сверху посыпались устные указания, дескать, комбинат — передовой в республике, выполняет решения партии и правительства, кормит народ, и его забота — это благосостояние наших людей... А ведь они сплоскими приписками выводили область на первое место по заготовкам зерна. Причем, об этом знали до вас и в обкоме, и в облисполкоме. Вот и пришлось закрыть дело. И получилось, что мы занимались выискиванием грязи под собственными ногтями. А сегодня... Дай бог, чтобы нам не пришлось расплачиваться за плов, который не мы варили и не мы ели...

На лице Насруллаева была неподдельная тревога. Усманов понял, что про-

курор сказал правду, но не всю. Его двойной подбородок продолжал дрожать от волнения.

— А вы представляете себе, что будет, если преступления раскроются сполна?— спросил Усманов, гася сигарету.

— Да,— ответил Насруллаев после недолгого молчания.— Те, кто руководили этими преступлениями, вернуться, как и раньше, а виноватым останется стрелочник.

— Вы можете назвать непосредственных виновников в этом деле?

— Прежде всего это те, кто толкал людей на преступление: директор комбината Акрам Аминов и директор областной заготконторы Хасанов. К тому же, я не уверен, что в стороне были ваш секретарь по сельскому хозяйству и председатель облисполкома. Да и бывший первый вряд ли не был в курсе. Вы меня простите, Карим Усманович, но я хочу вас предупредить вот о чем. Мне кажется, что ваша работа в области, смена кадров, в частности, не нравится кому-то в Ташкенте. Я за последние пятнадцать лет работал прокурором в трех здешних областях, и на таких делах, как говорят, собаку съел. И вот я думаю: не против вас ли направлено острием это дело? Ведь никогда они не начинают так раскручивать в тех областях, где сидят их люди. Кого-то из нас они хотят, видимо, крепко наказать. Если предположить, что кого-нибудь помимо вас, то вы давно бы уже об этом знали. И вот я думаю, что вам следует быть десятикратно осторожным. Если есть возможность, то приставьте к вашим воротам пост, что ли. Дело в том, что человек по имени Акрам Аминов способен на все. А потом, не секрет, что ваша работа не по нутру и многим членам бюро, поскольку они не привыкли к такому стилю, когда все делается в открытую. Здесь давно привыкли людей откровенно дурачить. А люди — что люди? Им бы теперь какую сплетню — вот и вся политика с двух сторон. Говорят же, гони дурака в ту сторону, куда он сам убегает. Вот и бегают один дурак за другим...

Насруллаев увлекся, а потому озабоченно посмотрел на часы, дескать, не отнимаю ли ваше время?

— Вы правы, — согласился Усманов. — Надо все хорошенько обдумать. А потом поговорим поподробнее. Да, скажите честно, как коммунист, какого вы мнения о Норкулове?

— Трудный вы задали вопрос, — замялся прокурор. — Не лучшего мнения. Среди милиционеров поговаривают, что он «берет и копейку». И это наверняка беспочвенно. Вообще-то любой его уровня был бы на его месте точно таким же. Боже мой, кого только они не берут на работу! Ни умения, ни профессионализма, лишь бы была рекомендация да командный голос. Такой забросит документы на заочный факультет любого института или техникума, где уважают его форму, и терпеливо наращивает на эту форму звезды. Глядишь, тихо-тихо станет генералом, который еле таскает свое пузо...

— Верно. Но ведь и состав прокурорских и судебных органов не лучше, — заметил Усманов. — Вам-то уж, наверное, приходится читать кипами их безграмотную писанину?

— Да, — согласился прокурор. — На юрфаке учатся не по способностям, а по состоянию, вернее, состоятельности.

— Ну да ладно. Посмотрим. А вы присматривайте за ходом дел. В частности, и за действиями Норкулова.

Усманов проводил Насруллаева до двери. И, вернувшись к столу, набрал номер телефона начальника областного управления госбезопасности...

IX

Карим Усманов вернулся домой вечером, около десяти часов. Когда он умылся и собрался было пить чай, жена с недовольным видом позвала его к телефону.

— Кто-то незнакомый, и обращение какое-то странное, — сказала при этом Раъно Мардоновна, встревоженно глядя на мужа. — И ночью не дадут покоя. Усманов взял трубку.

— Здравствуйте, товарищ Усманов, — произнес незнакомый голос.

— Здравствуйте.

— Вы меня не знаете! Но слушайте меня внимательно! Это важно и для вас, и для нас. Если вы вздумаете действовать по-своему, то нам придется с вами встретиться, и предупреждаю, что встреча ничего хорошего вам не сулит. Вот какая к вам просьба или требование: не вмешивайтесь в дело по комбинату. Это может вам дорого обойтись. Пусть занимается комиссия. В противном случае, ничто не спасет вас от несчастий. Будьте здоровы, дружище!

Усманов не успел опомниться, как незнакомец выпалил этот явно заученный текст и тут же положил трубку. Безликие короткие гудки, казалось, расстреливали

самое сердце Усманова. Стряхнув оцепенение, он сел к столу. В памяти всплыли слова Насруллаева о директоре мукомольного комбината Аминове. Наверняка кто-то пытается спасти Аминова! И с ним заодно, конечно же, и председатель облисполкома и все остальные руководители области. Но отступать Усманов не собирался. Теперь он станет разговаривать совсем в другом тоне. Первым побуждением было сообщить о телефонном звонке начальнику КГБ, но он тут же отказался от этой мысли. В последнее время тот стал избегать Усманова, а на бюро угрюмо от-малчивался. Вполне возможно, и он на их стороне. Словом, готовится что-то серьезное. Что-то тут не так... На следующее утро около десяти тридцати зазвонил правительственный телефон. Усманов поднял трубку.

— Здравствуйте, Карим Усманович! — произнес хриплым голосом один из секретарей ЦК. — Что там с мукомольным комбинатом? Неужели вы допустили такое безобразие? Позор на всю республику... пятно на всю республиканскую организацию...

— Пятно на всю республику ляжет чуть позже, — сказал сдержанным голосом Усманов. — Это предупреждение всем нам. Проверьте любой из мукомольных или хлопкоочистительных комбинатов республики и увидите ту же картину. Ничего, это даже хорошо, что мы начнем первыми раскручивать государственные преступления. Послужит уроком для других. Завтра я вылетаю в Ташкент, вот и поговорим более обстоятельно...

Секретарь не ожидал такого ответа, а потому потерял дар речи. Покашляв, пробормотал нечто вроде: «Ах, Усманов, никак не успокоишься... Ну, давай, давай...»

Усманов же по-своему истолковал этот звонок. Обычно, когда случалось нечто чрезвычайное, звонил сам первый. Видимо, и этот звонок был по его указанию. Но раз он сам ушел от разговора, значит, ничего хорошего ожидать не приходится. Кроме того, такие операции не проводятся без разрешения сверху. Стало быть, там, наверху, ждут некую выгоду от этого хода событий. «Да, видимо, плохи мои дела. — Первые ростки безнадежности уже давали о себе знать. — Эх, Усманов, Усманов, боюсь, что не хватит твоих сил. Мышь не должна играть с кошкой... А этот вчерашний телефонный звонок. Нажим и снизу и сверху. Вот тебе и театр жизни, Усманов. Какую хочешь, такую роль и выбирай. Может быть, позвонить Насруллаеву? Впрочем, нельзя теперь доверять и телефонам. Лучше вызвать. И лучше в обеденный перерыв. Посидеть, поговорить в неофициальной обстановке. Ведь он, этот старый лис, чует и «гадов подземный ход»...

— Я вызвал вас в обеденное время, чтобы не спеша поговорить. Заранее прошу прощения, если что не так. Может быть, наша еда вам будет не по вкусу. Но угощаю от души, — улыбнулся Усманов, отхлебывая морковный отвар и посыпая перцем поджаренный на кукурузном масле лук.

— Я обычно еду на обед домой. Честно говоря, невозможно питаться в ресторанах и столовых. Никак не наведем порядок, — посокрушался прокурор, принимаясь за обкомовское угощение.

— Вы думаете, что-нибудь изменится, пока мы сами не начнем ходить в эти заведения? Нам ведь обычно как? Готовят в тени, отдельно, поштучно. А что ест народ — никому никакого дела. Поедешь туда представителем от области, так тебя не только накормят, но и еще полную сумку «боеприпасов» насуют. А что с нас? С нас только липовая справка, что все в порядке, скажем, в том же колхозе, где большинство жителей месяцами не видят мяса. Зато с трибуны мы горы сворачиваем... Кстати, я пришел на собственном опыте к выводу, что тот, кто говорит, никогда не умеет работать. Если он, конечно, не гений. А таких, как правило, приносят в жертву богу, поскольку не в правилах бога давать людям и то и другое умение разом.

Насруллаев слушал Усманова и из уважения не ел.

— Простите, я вас отвлек. Берите, ешьте. Вы — гость. Вот видите, других критикую, а сам и во время обеда воображаю себя стоящим на трибуне... — усмехнулся Усманов.

— Встреча красна и беседой, — поддержал Насруллаев своего собеседника.

— Авиценна советовал съедать утром гранат, в обед — побольше лука, а вечером — мед, и тогда, дескать, кровь будет чистой, как слеза ребенка. Я следую его рекомендациям и вам советую, — сказал Усманов, меняя тему разговора.

— И я пью на ночь молоко с медом, — похвалился Насруллаев.

Беседуя о том о сем, они продолжили свою нехитрую трапезу. Когда же пересели в кресло пить чай, Усманов приступил к главному.

— Ну, какие новости по мукомольному комбинату? — спросил он, невольно отмечая про себя, что Насруллаев стал какой-то то ли рассеянный, то ли смущенный.

— По всей видимости, этого дела опасаются многие большие люди области. Вчера вечером, например, нежданно-негаданно ко мне домой явился весьма на-

груженный председатель колхоза «Ленинград» Акбар Хакимов. Мне было страшно неловко. Дело в том, что в одной машине приехал он сам, а в другой понавез всякой мелочи — подарки.

— Неужто завились черви и в портянках нашего героя и депутата? И что он говорит?

— Как бы то ни было, — говорит, — а не вмешивайте в это дело Акрама Аминова. Он, дескать, не виноват. Виноваты безграмотные начальники цехов по производству муки и комбикормов, плюс завскладами.

— Сам он больно грамотный, — съязвил Усманов.

— Я попытался объяснить ему, что этим делом занимаются люди из Ташкента и что никто не в состоянии повлиять на них. Бесполезно. Наверно, считает меня бригадиром своего колхоза, стал поучать. Назвал имя даже самого главного в республике, говорит: с таким-то джаном я переговорю сам, а вы не подливайте здесь масла в огонь.

— Первый прислушивается к нему, — согласился Усманов и отвернулся в задумчивости к окну.

— Я сегодня просмотрел данные по заготовкам зерна за последние десять лет, так вот, даже в годы засухи колхоз «Ленинград» выполнял и перевыполнял план. Надо думать, что у колхоза с комбинатом особые отношения, как, может быть, и особые отношения у Хакимова с Аминовым.

— Неужели они и в засуху шли на такое? Неужели не боялись, что когда-нибудь это раскроется? — искренне удивился Усманов.

— Вы знаете, тогда приписки были не столь распространены. А потому кто-то чувствовал это, а кто-то и не замечал. И даже те, кто знали, — боялись Хакимова. Он очень умело расправлялся с теми, кто вставал на его пути. Аминов грамотный человек, прекрасный бухгалтер. А вот Хакимов — тот неуч, из породы горлохватов и грубиянов. Он очень хочет заполучить вторую звезду Героя, а потому не допустит, чтобы хоть по какой-то графе его колхоз не выполнил план. Зерно, якобы сданное на комбинат, возвращалось под видом комбикормов в колхоз, а там, глядишь, через месяц-другой и концы в воду: коровы все съели. Вот почему в колхозе теперь трезвонят не об этом многолетнем безобразии, а о падеже скота от комбикормов, смешанных с цементом. Надо отвлечь внимание!

— Ну а почему бы этим людям из Ташкента не заняться хлопковыми делами? Ведь начини они копать хоть на одном из хлопкозаводов — там же миллионными делами пахнет. Что ж они делают вид, что ничего не замечают?!

— Вам это лучше знать, Карим Усманович, — пробормотал покрасневший Нарсуллаев. — Или хотите испытать?

— Испытывай — не испытывай, вас трудно распознать. Я хочу услышать ваше мнение с точки зрения закона. Наверняка вы знаете и то, чего не знаю я.

— Понимаете, уже давно существует запрет на возбуждение дел по хлопку. Правда, об этом не принято говорить. А если и говорить, то только намеками. Поймешь — поймешь, не поймешь — снимут. Побробуй скажи что-нибудь плохое о хлопке — «национальной гордости и интернациональном вкладе»!

— А совесть? Совесть?!

— Что совесть? Какая совесть, если, скажи одно слово поперек — и ты уже бессовестный отщепенец и очернитель благородного труда целого народа.

— «Враг народа», говоря прежним языком.

— Можно сказать и так.

— И сколько это, по-вашему продолжается?

— У всего этого глубокие корни. Боюсь, что значительно глубже, чем мы можем подозревать. Любого преступника, если в нем есть сознание, можно перевоспитать. Но когда совершается некое коллективное бессознательное преступление... Не знаю, но мне кажется, что народ наш еще не совсем... готов, что ли... или не так мы его воспитываем?

— Вы хотите сказать, что мы не были готовы к социализму? Вы хотите сказать, что революцию можно совершить в любой стране, а социализм построить не в каждой? Так, что ли?

— Слишком уж вы прямолинейны. Но я убежден, что для Востока нет лучшего строя, чем социалистический. Сравните Узбекистан с любой из зарубежных стран Востока, ведь вы долго работали за границей, — пошел на мировую прокурор.

— Я вас понял, — не уступал Усманов. — Вы хотите сказать, что для полугодного, нищего Востока нет строя лучшего, чем строй, обеспечивающий всеобщее равенство. А вот я бы сказал, что для восточных людей, с их стремлением к богатству, к накопительству, подошел бы и капитализм. Тем более, что и он провозглашает равенство. Ну как? Что вы на это скажете?.. Так вот... Мне кажется, все дело в том, что род человеческий склонен от природы к консерватизму. Согласитесь: даже вещь, переставленная в вашем доме с места на место, и та лишает вас равновесия.

А что тут говорить о целом народе? Станут зубами и ногтями цепляться за старое. Пообещай в будущем целую лепешку — он предпочтет кусочек в руках, но уже сегодня.

Насруллаев слушал витиеватые речи Усманова и попивал свой чай.

— Мышь и сама не помещается в нору, а все привязывает к хвосту сито. Так и мы: осложняем себе жизнь, а потом сидим и философствуем, — сказал Уманов и, как бы отряхнувшись от всех разговоров, встал. Он прошлеуся по комнате, скрестив руки на груди, и наконец произнес: — Легче философствовать и раздавать советы, нежели дело делать. Вот вы, опытный работник, скажите мне, чем закончится дело с мукомольным комбинатом? Как нам вести себя? Что предпринимать? Я вас, честно говоря, затем и вызвал.

— Вся трудность в том, что я совсем не допущен к делу. Впрочем, как и вы. Видимо, кто-то хочет, чтобы мы с вами попали в ловушку. Хакимов к вам домой прийти не осмелился. А потому пришел ко мне. Он Герой труда, депутат. Предполагает, что я обязан считаться с ним. И вы тоже. Но вы не стали советоваться с ним с первого же дня, как наш предыдущий первый секретарь. А ведь всегда выходило так, как считал нужным Хакимов. Станете требовать действовать по закону, он вас зачислит во враги. Он хоть и неуч, но считает себя вправе добиваться всего, вплоть до снятия любого секретаря с работы. Так и делал раньше. А с вашим приходом несколько ограничился круг его возможностей. Вот он и мечется. Не успокоится, пока не насытит кровью или сам не напорется на что-нибудь. Те, кто вам звонили, это несомненно люди Хакимова и Аминова. Аминова еще не арестовали, но арестуют наверняка. А Хакимов не услышал от меня ничего путного. Стало быть, и меня занес в черный список. Теперь надо ждать расправы.

— Вся сила закона в ваших руках, а вы говорите такое... Не знаю, на кого тогда опираться?

— Карим Усманович! Вы простите, что я столь откровенен с вами. Вы говорите обо мне. А ведь мы и вдвоем не справимся с ними. Хакимова называют государством в области. У него столько стукачей, что, если понадобится, он сейчас же узнает, чем вы обедали сегодня и о чем разговаривали с женой. Вот пример: я вчера затребовал из райстата данные за десять лет по заготовке зерна. И что же? Он знал об этом немедленно! Даже устроил слежку за мной. Хочу вас заверить, что он прекрасно осведомлен и о нашем с вами обеде. Думаю, что здесь нет подслушивающего устройства, а стало быть, дословно наш разговор он не узнает. Хотя о сущности его конечно же догадается.

— Неужели ему больше нечем заниматься?

— А чем еще? Дисциплина у него в колхозе — железная. Все, как на конвейере. Идет своим чередом. Люди боятся Хакимова больше, чем божьего гнева. Вот вам еще пример. Когда я только приступил к работе, ко мне пришли муж с женой, лет пятидесяти. Перепуганные, говорить боятся. После долгих препирательств и слез рассказывают. Они женили своего сына, работавшего в колхозе после окончания института. Пригласили на свадьбу Хакимова, который, увидев невесту, тут же затаил про себя некую идею. Написал и говорит первому секретарю райкома: «Если не пересплю с этой красоткой сегодня же ночью, то откажусь от своего имени!» И в эту же ночь пропал жених. Участковый по этому поводу вызвал к себе на опрос невесту и вручил ее Хакимову. Несчастная девушка вернулась домой через неделю. И можно себе представить, в каком состоянии. Еще через неделю нашли труп жениха в канале. Вот как было дело. Все это я вам рассказываю своими словами, зная, так сказать, суть дела. Рыдающие же старики говорили только о пропаже сына и невестки и о своих подозрениях на Хакимова. Но на следующий же день приходит ко мне отец погибшего и говорит: «Товарищ прокурор, все, что я говорил вчера, — это неправда, потому вы этих слов не слышали, а я не говорил». Вот теперь сами и решайте. Сейчас в области нет силы, способной справиться с Хакимовым. Тот, кто с ним не считается, тот должен сушить сухари. Этот басмач переломил хребет стольким, что... И вот мне кажется, что дошла очередь до нас с вами.

— Вы так считаете?

— Да. Ведь не зря говорят: у кого гора за спиной, у того и камень в сердце.

— Вы думаете, у него крепкие тылы?

— Еще бы! Ударись по ветке дерева — отдается в корнях. Тронешь Хакимова, содрогнется вся земля. За ним целые горные массивы. А для того, чтобы хребты были целы, надо беречь предгорья и холмы. Вот их закон. Честно говоря, мы сдали многие позиции, Карим Усманович. Теперь придется отвоевывать, но как?!

— Значит, будем все перестраивать.

— Перестраивать можно лишь в том случае, если остается хоть что-нибудь из старого. Так я думаю. Уж лучше ничего не делать, чем становиться героем на несправедном пути. Странно, но человек привыкает и к откровенному обману. Вот

Хакимов явно несправедливыми средствами стал героем, а ведь народ верит ему. Верит и боится. Нет... Не перестраивать надо, а взрывать до основания.

— Да, но взрывать придется прежде всего внутреннюю сущность каждого человека, и если революция, — то прежде всего в самом себе, в собственной совести, — прибавил Усманов.

— Если эта совесть еще есть, — заметил Насруллаев и вытер пот платком. Было видно, как он непривычно взволнован.

— Люди становятся бесхребетными. Хамелеонами, меняющими окраску по десять раз на дню. В зависимости от обстановки. Никому нельзя верить. Каждый преследует только собственную выгоду. Ведь казалось бы, чего не хватает этому Хакимову? В семнадцать колхозных отарах у него по пятьдесят баранов. Если даже он дарит шерсть с овец пастухам на подушки, то в год по меньшей мере продает по тысяче ягнят. Пусть по сто рублей за голову — это целых сто тысяч! А ведь и в стаде у него около пятидесяти коров. Он и с них живет, что называется, на проценты: забирает телят. А молоко сдает в счет колхоза. Таких «приписных» коров в колхозе около трехсот голов. Вот специалисты и удивляются: как это в «Ленинграде» удается надаивать по пять с половиной тысяч литров от каждой коровы. Кроме того, он продает пастбища пастухам, пригоняющим отары из Таджикистана. В месяц по тысяче рублей с отары. По закону эти деньги должны поступать на счет колхоза, а текут в карман к нему... Я не говорю уже о мелочах: к примеру, о распределении премиальных «Волг» и «Жигулей», когда сверх цены берется по десять или пять тысяч, в зависимости от марки машины. А ведь еще есть, так сказать, текущий счет, на который поступают взятки, подарки, подношения за устройство в вузы, на работу, еще куда-нибудь. Куда девать столько денег?! Да что девать, как хранить их? По-моему, это уже клинический случай. Психопатология, которая равносильна копанию ямы и для себя, и для всего своего рода!

Насруллаев замолчал, утомленный собственным красноречием.

— А мы с вами видим, знаем все, и тем не менее, каждый день в модном костюме, при галстучке, чистенькие и сытенькие, благополучно проживаем день за днем, как награжденные за доблестный труд. Не так ли?! Но ведь придет день — спросится с нас! И с вас, и с меня!

Насруллаев поблдевел. Он потянулся рукой к воротнику, растегнул верхнюю пуговичку. Затем медленно снял пиджак и набросил его на спинку стула. Усманов продолжал вышагивать по комнате, скрестив руки на груди.

— Что вы все-таки посоветуете мне? — спросил он в упор, встав лицом к лицу с Насруллаевым.

— Продумайте меры собственной защиты, а лучше всего ответного нападения. Тяжелей всего придется вам, — сказал прокурор.

— Прежде кого? — спросил конспиративным шепотом Усманов.

— Прежде тех, кто вас недолюбливает в Ташкенте, а потом — прежде известных вам лиц здесь. Они не остановятся ни перед кем. Они воспользуются, причем демагогически, сложившейся ситуацией и все обернут к своей выгоде, которую выставят как высшую справедливость... И все же это организовано двумя-тремя лицами, — предположил прокурор.

— Вы что-нибудь хотите мне еще сказать? — спросил Усманов, взглянув на часы.

— Голова идет кругом. Не знаю, что и сказать. Да, кстати, на всякий случай я поднял из архива уголовное дело, которое по распоряжению из Ташкента было приостановлено два года назад. Касается того же мукомольного комбината. Если оно вас интересует, могу привезти. По крайней мере, это дело напомнит им, что приостановить расследование, это еще не значит спрятать все концы в воду...

— Будьте осторожны. Судя по вашим словам, если они узнают об этом, то могут... ликвидировать дело.

Насруллаев согласно кивнул головой.

Когда они вышли из кабинета, в обкомовских коридорах уже вовсю шла обычная послеобеденная суэта. Насруллаев попрощался с Усмановым. В этот день Насруллаев сказал Усманову все. Почти все. Но последних слов Хакимова все же не передал.

«— Дни Усманова сочтены. Можете с ним не заигрывать, и не ищите в нем опору, — сказал он, уставившись в Насруллаева своими желтыми кошачьими глазами. К этому времени он уже опустошил бутылку «Золотого кольца», принесенную им самим. — Не стоит опираться на падающего. Можете упасть вместе с ним. Я сказал все, что думаю об Усманове, нашему батюшке. И то, что он насаживает здесь своих земляков, и то, что он взяточник, и то, что бабник. Посмотрим, до каких пор он не будет считаться с нами. Я мог бы и не приходить к вам, но вас лично я уважаю. Больше того, даже люблю! Вот почему я не хочу, чтобы вместе с этим подлецом падали и вы. Вы можете прожить без меня, как и я без вас, но

должна оставаться любовь и доброта. Даст бог, буду жив, не дам вас в обиду. Ни одна пылинка на вас не сядет. Вам управляться не только с областью — с республикой! Стукнем кулаком по нужному столу — добьемся и этого! Даст бог, и у вас прекрасное будущее, как у всякого, кого благословляю в дорогу я. А от вас, от вас... только дружеская верность и преданность. Остальное все с меня!»

Прошло два дня. Насруллаев позвонил Усманову и сообщил о своем намерении съездить в Ташкент. Когда же он возвращался обратно, водитель уснул за рулем, и случилась катастрофа... Может быть, это было случайностью, но кто его знает... Всякое тогда говорили. А впрочем, что разговоры, если никаких улик... Усманов остался один. Наркулову нельзя было доверять, начальник УКГБ все еще скрывался, а исполняющий обязанности прокурора ни в чем не разбирался.

К этому времени арестовали директора мукомольного комбината Акрама Аминова.

В последние дни Усманов не выходил из кабинета. Повсюду ходили слухи, что его снимают с работы. Некоторое время спустя, стали говорить, что его исключат из партии и посадят в тюрьму...

Х

Внеочередной пленум областного комитета партии освободил Усманова Карима от обязанностей первого секретаря обкома за серьезные недостатки в работе. Выступавший первым председатель колхоза «Ленинград» Зарбдарского района, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР Акбар Хакимов с праведным гневом говорил о моральном облике коммуниста, облеченного партией и народом доверием и вопреки этому доверию разлагающе действовавшего на областную партийную организацию, насаждавшего командные методы, режим единоначалия в партии, окружившего себя подхалимами и льстецами.

— У меня в руках письмо двух рабочих десятого мукомольного комбината, направленное мне как депутату Верховного Совета СССР! — сказал он и для пущей убедительности потряс какой-то бумагой. — В нем говорится, что начальник цеха комбикормов Камилов и начальник склада Ходжакулов передали Усманову при посредничестве бывшего теперь прокурора области Насруллаева 50 тысяч рублей в общем исчислении. Насруллаев затребовал данную сумму у указанных лиц под угрозой ареста. Я как коммунист требую, чтобы Усманов вернул эти деньги в пользу государства и был строго наказан перед лицом коммунистов всей области!

Продолжительные аплодисменты, разразившиеся в зале, долго не смолкали. Усманова парализовала эта неслыханная клевета. Он вдруг встал и вышел из зала. Выйдя за кулисы, он прислонился к стене, не в силах сдвинуться с места. К нему подбежал его помощник.

— Прошу вас, вызовите машину! Пусть отвезут меня домой! — сказал Усманов дрожащим голосом. Потом, казалось, что-то вспомнил и прибавил: — Впрочем, теперь я не имею права на эту машину. Пойду пешком...

Усманов не помнил, как он пришел домой. Сознание было отключено. Все происходило как во сне. В дурном сне.

Раэно Мардоновна уже узнала обо всем, а потому ее давно увезла «Скорая», и теперь сгорающий от стыда и позора Усманов то и дело курил и пил воду. Два дня и две ночи он, словно заведенный, ходил из дома во двор и обратно, пока на третий день не пришел человек, представившийся работником прокуратуры СССР, а с ним следователь местной прокуратуры, которые в присутствии понятых сначала зачитали ему свидетельские показания двух рабочих о передаче Усманову через Насруллаева 50 тысяч рублей, а затем стали обыскивать дом вместе с еще четырьмя только что подоспевшими работниками в гражданской одежде. Усманов, не глядя на следователя, отвечал на вопросы.

— Вот! Больше шестидесяти тысяч рублей! Были закопаны среди роз, — бросил стопку денег на стол перед следователем один из работников. — Ценные вещи опишем отдельным списком.

Усманов, не веря своим глазам, оцепенел.

Ему зачитали санкцию на арест. Один из работников, извинившись, замкнул на правой руке Усманова кольцо наручников, второе кольцо было замкнуто на запястье самого работника. Боялись, видимо, что Усманов может застрелиться.

У Усманова мутилось в голове. Он не смотрел на тех, кто рыскал по его комнате, к чему-то приносясь, что-то подбирая, осматривая. Нет, это не вмещалось в его сознании. Сон, ей-богу, сон. Вот только сделать усилие... И вдруг он подумал: интересно, куда Раэно спрятала партбилет? Лишь бы эти «гестаповцы» не нашли его. А может быть, это сон про отца, про тридцать седьмой, когда он был еще ре-

бенком. Ведь говорят, что детские воспоминания самые прочные. Нет, эти одеты получше. Эти не в черных куртках. И все же, и все же... Долго еще эти люди сливались в его сознании с некогда виденным и ставшим дурным, навязчивым видением.

Он был уже под арестом, когда его исключили из партии и вывели из состава Центрального Комитета. Лишили его и депутатского мандата. Но Усманов с затаенным интересом ждал окончания этой ужасающей клоунады. Все, начиная от усов, которые он материл в детстве, и до сегодняшних его заявлений о первом лице республики, как о ловком карьеристе, достойном разве что председательствовать в райисполкоме, — все было изучено по слогам и под лупой. «Да, — сказал Усманов, — я говорил это и сейчас готов сказать хоть перед Москвой. А впрочем, если я и раньше плохо отзывался об усах, то теперь готов перенести свое отношение на брови», — заметил он. Но следователи на всякий случай этих слов записывать не стали. Их усилия направлялись на те самые «изобличенные» пятьдесят тысяч рублей и другие, еще не найденные миллионы. В поисках этих миллионов его держали год то в изоляторе, то в тюрьме. Но не найдя ничего, кроме шести костюмов самого Усманова да десяти платьев его жены, решили передать дело в суд.

Дело, надуманное и доведенное до суда под руководством самого Акбара Хакимова, лопнуло в процессе судебного разбирательства. Камиллов и Ходжакулов, запуганные всеильным Хакимовым, вдруг почуяли, что и сами могут оказаться за решеткой, а потому отказались от того, что давали Усманову взятку. Но о том, что действовали по указке Хакимова, они говорить, видимо из страха, не стали. Все же суд, располагая их письменным свидетельством, устного заявления во внимание не принял и по совокупности нескольких статей приговорил Усманова к десяти годам лишения свободы.

Именно тогда с ним случился первый инфаркт. Он долго лежал в лагерном госпитале. Раз в месяц к нему пускали его жену. Но даже тогда ей удавалось увидеться с ним, только уплатив предварительно «пошлины» мелкому и крупному начальству. Усманов, перенесший столь сокрушительный удар судьбы, теперь просто глядел на нее, не в состоянии промолвить ни слова, и молча плакал. Потом клал голову на колени жены и вытирал свои слезы.

— Не считайте мои слезы признаком бессилия. Человеку надо выплакаться, пока он в состоянии размышлять о своей жизни и смерти. Хорошо, что вы не отдали партбилет! Когда я умру, вшейте его в мой саван!..

Раъно Мардоновна ничего не сумела ответить на эти слова мужа. Она просто расплакалась.

Усманов лежал в палате на шестнадцать человек и вспоминал ташкентский правительственный стационар с палатой из четырех комнат на одного, когда не прерывался поток посетителей, желающих его навестить и поддержать в минуту болезни и одиночества. Думал ли он тогда о возможности такого! Человек надеется, что с каждым днем жизнь его будет улучшаться, а на самом деле... на самом деле день ото дня накал борьбы становится все... — И вдруг ему пришло в голову, что здесь, в лагере, кто-то ему слегка покровительствует. Ведь кормили его лучше, чем остальных, приносили даже овощи и соки. Усманов попросил не делать этого. Но ему с испугом ответили, что таково указание сверху, и они не могут послушаться. Кто им дал сие указание, они не говорили. Тогда Усманов стал раздавать приносимую ими пищу своим соседям. Но и после того, как он стал ходить, его не обременяли тяжелой работой. И даже урки как будто бы не замечали его. А ведь они люто ненавидели всякого мало-мальски начальника и в условиях лагерной демократии отыгрывались за прежнюю жизнь сполна.

В один из бесчисленных лагерных дней ему вдруг прекратили давать вообще что-либо. Даже воду. Он пожаловался надзирателю. Тот сделал вид, что не расслышал. Усманов повторил заявление. Тогда надзиратель втолкнул его в одиночку и запер на замок. Это наказание продолжилось и на следующий день. Полуживой Усманов лежал в углу своей одиночки и ждал, когда ему дадут хотя бы глоток воды... А потом лишился всяких надежд и на воду, и на жизнь. Он уже не понимал, жив он или мертв. И вдруг его привел в чувство резкий удар в поясницу. Кто-то его пинал. Он с усилием открыл глаза и увидел нависшее над ним безобразное лицо матерого бандюги — грозы всего лагеря — Кукнара¹. В руках его поблескивал какой-то самодельный колющий предмет.

— Вставай, падла! — прорычал он.

— Воды! — прошептал ему в ответ Усманов.

— Вставай, говорю! Воды захотел, а мочи моей не хочешь? — И выругался трехэтажным матом.

Усманов еле-еле поднялся, дрожа руками и ногами, и оперся о стенку.

¹ Кукнар — опий.

— Помоги, дружище, — попросил он урку.

— Вали, вали, вонючий труп! Еще вахлаков не подымал!

Усманов потащился в коридор и опрокинулся навзничь. При падении он разбил себе голову и, тут же подскочивший к нему надзиратель, посадил его, прислонив к стенке.

— Воды! — прошептал Усманов высохшими губами.

Надзиратель побежал по коридору. Некоторое время спустя он вернулся с водой и что-то сказал торчавшему здесь Кукнару. Тот махнул рукой, дескать, вали и ты! Надзиратель, потоптавшись на месте, ушел.

— Теперь пойдешь, начальник?! — спросил Кукнар. — Ну ты даешь, обком. Позырили бы на тебя твои дружки! Подожди, они еще прикатят сюда. Так что бадей! — Кукнар вывел его во двор.

В хате¹, под навесом, сидели человек десять заключенных и что-то ели. Наверняка принесли кому-нибудь передачу. Когда Усманов добрался до порога, Кукнар приказал остановиться.

— Ни с места. Упадешь — запинаям!

Усманов стоял, свесив бессильные руки, из глаз его катились слезы, а голова звенела, как наковальня после удара. Наконец один из бритоголовых оглянулся на Усманова. Он показался Усманову вроде бы знакомым, но вспомнить, где видел этого человека, ему не удалось.

— Что, жрать охота? — спросил другой.

Усманов кивнул головой.

— Бери, ешь! — бросил тот ему почти обглоданную кость.

Усманов поглядел на кость, но подбирать ее не стал. Голова его закружилась, в глазах потемнело то ли от злости, то ли от слабости, и он еле устоял на ногах.

— Не возьмешь? — спросил угрожающе все тот же голос. — Тогда получишь пинков.

— Отвали! — раздался другой голос. — Отвали и баста.

— А я хочу пощекотать этого начальника, — не унимался первый.

Усманов узнал его. Это был заключенный по кличке «Плеть», которого постоянно использовали для наказания неугодных эзков. А исполнял он эту карательную миссию, надо сказать, с превеликим удовольствием.

— Веди его сюда! — приказали из-под навеса.

— Шагай, — продублировал команду Плеть.

Усманов, еле волоча ноги, поплелся вслед за ним. Тусклый свет лампы едва освещал помещение. Когда Усманов дошел до середины «хаты», он наконец узнал этого человека. Акрам Аминов — вот кто с тупым равнодушием продолжал жевать редьку и рассматривать Усманова.

— Аксакал, мы встали и пошли, — сказал Кукнар Аминову. — А вы можете побалакать с этим начальником под завязку. Надо будет, примем экзамен еще раз!

— Ну, вы теперь поняли, куда приводит ваша правда? — спросил после недолгого молчания краснощекий Аминов, испепеляя Усманова взглядом. — Как вы чувствуете себя, Карим Усманович?

Усманов молчал. Он весь оцепенел от унижения и потому старался не смотреть в сторону тех, кто был свидетелем его позора. Наконец они остались в хате одни. Аминов развалился у дастархана, на котором стояло блюдо плова с редькой поверх горки риса.

— Хорманг, Карим Усманович! Не уставайте, как говорят у нас в народе, — обратился он с усмешкой к Усманову.

Одеревеневший Усманов попытался было что-то ответить, но язык его, казалось, прирос к небу.

— Наверняка год назад вы и в мыслях не могли предположить такой встречи. А ведь все было в ваших руках. Мы вам говорили и по телефону, и через Насруллаева. А вы не послушались. Вот вам результат. Сами себе заказали такую судьбу. А ведь все могло быть иначе. И я бы не попал в сегодняшние условия, — заметил Аминов, отхлебывая чай.

— Это зависело не только от меня, — сказал Усманов еле слышно.

— Ну да ладно. Ведь, говорят же, глаза видят то, что выпало на долю. Не умрем, так выйдем на свободу с чистой совестью. А пока ешьте, не гнушайтесь. Вот вам чай. Небось, изголодались за два дня? Делать здесь нечего, так что наговориться еще успеем.

Аминов натянул ватник на голову и, забросив ногу на ногу, растянулся на скамье. Он потягивал сигарету, разглядывая холодными и бесстрастными глазами

¹ Хата — прогулочный двор.

потолок. Усманов, дрожащий от голода, притянул к себе блюдо с пловом и схватил кусок лепешки с дастархана.

— Ну как, вы теперь выздоровели? — спросил Аминов, продолжая дымить.

— Выздоровел. Хотя иногда жалею, что не умер тогда, — едва проговорил Усманов, с лихорадочной поспешностью набивая рот едой.

— Нет! Вы не должны умереть, Карим Усманович, — сказал Аминов каким-то странным голосом.

— Лучше... лучше, чем это... лучше умереть...

— Умереть всегда успеете. Придет время, и все мы отправимся в мир иной. Вот я могу умереть хоть сейчас, потому что на мне достаточно грехов. Предположим, я завтра освобожусь. Ну и что? Опять мне жить среди тех, у кого брал взятки или кого обирал. Глаза будут натывать на глаза. Скольких я замучил, скольких посадил! Их взгляды, взгляды их родственников, ей-богу, испепеляют меня вместе с волосами!

«Этому человеку, — думал Усманов, — мешала жить должность. У него и голос на должности был другим. Более басовитым. А теперь как ишак под муллой, — паинька паинькой».

— Хорошо, что вы осознали хоть это, — сказал Усманов, отхлебывая чай из алюминиевой кружки.

— У вас все по-другому, — вздохнул Аминов.

— А вы, оказывается, здесь шеф... — заметил Усманов, оборачиваясь к нему. — Меня прямо воротит от этих бластных. Я и не представлял, что в лагерях творится такое.

— Никто из руководителей не знает об этом, — авторитетно заявил Аминов. — Потому-то у нас вместо исправления человек проходит здесь стажировку готового преступника. У меня ведь чуть больший стаж, чем у вас. Я на вас наткался пару раз, но вы меня не заметили или сделали вид, что не видите... — притворно обиделся он.

— Ей-богу, не узнал, — заверил его Усманов.

— Я так и подумал. Я понял, что вы не в себе. К тому же, вы ведь жертва несправедливости, — рассуждал Аминов.

Усманов бросил на него недоверчивый взгляд. Аминов был спокоен и безразличен.

— Вы, наверное, не раз слышали обращение «аксакал»? — спросил Аминов, уводя разговор в сторону.

— Да, не раз.

— Так это я — собственной персоной. Там мы были главарями воров, здесь — всякой шпаны. Яд нейтрализует яд. Я многих из них использовал и там, на воле, так что хорошо разбираюсь в их языке. А потом, они рассчитывают на меня и в будущем...

По тому, как держался Аминов, было ясно, что здесь он действительно не последний человек. Видимо, не только шпана, которая боялась наказаний, но и лагерная администрация считалась с бывшим директором мукомольного комбината. Он мог поспособствовать тому, что количество встреч заключенных со своими родственниками увеличится, передачи не будут проверяться и вообще наладятся те мелочи, из которых складывается тамошняя, полная негласных законов жизнь.

Теперь Усманов понимал, кто заботился о нем во время болезни и почему так трудно было встретиться ему со своей женой. Но что-то кроется в этих заигрываниях Аминова. Наверняка со временем откроется что-то новое.

«Аксакал» был в лагере бригадиром. Учили его руководящий опыт директора. Усманова же — кличка «Чинушка» — определили при нем счетоводом. Они в часы отдыха подолгу беседовали о днях минувших, и Усманов благодарил судьбу, что в таких условиях не остался одиноком. Кроме того, ему теперь была обеспечена безопасность среди этих воров, насильников и убийц.

— Не понимаю я всех этих дел, — осторожно и с сомнением сказал как-то Аминов. — Я-то наказан поделом. Но вот вы... Очень мне хочется понять... Не стали бы вы вызывать этих работников из Ташкента, и не было бы этого дела. И вы, и я жили бы себе припеваючи.

— Каких работников? — удивился Усманов.

— Тех, что накрыли наш комбинат.

— Что, что? Так я ведь узнал об этом последним! Каким же образом я мог их вызвать?!

— Вы меня не держите за мальчика! — вспылал Аминов. — Какие работники каких органов осмелятся начать дело без ведома и разрешения первого секретаря обкома? Вы не доверяли Норкулову и вызвали людей из центра. Не так ли?

— Кто вам сказал такое?

— А разве обязательно, чтобы сказал кто-то? Все и так понятно.

— Эх, Акрам Насырович! Я-то думал, я недотепа, оказывается, и вас провели на мякине! Теперь все понятно!

— Почему это меня провели? Что понятно? — заерзал Аминов, выпучив глаза. — Я знаю все детали этого дела.

— Увы, вы, видимо, знаете не все. Нам с вами уже ни к чему дуриль друг друга. Не то время. Но, как вы говорите: умереть всегда можно успеть. Даст бог, я выйду отсюда, а может быть, и доживу до того дня, когда меня оправдают перед лицом моих родных и близких. Так вот, слушайте меня. Оказывается, я знал чуть больше, чем вы. И было бы более уместным адресовать ваши подозрения вашему дражайшему другу Хакимову, а не мне. Он очень ловко расправился с нами, убрав с дороги и меня, мешающего ему жить по-прежнему, и вас, не дающего ему жить по-новому. По-моему, вы все еще не поняли того, что произошло. Вполне вероятно, что он не хотел подобного оборота дел с вами. Но для того, чтобы убрать с дороги такого врага, как я, он поступит, как пить дать, десятью такими друзьями, как вы. А потом, откуда господам ташкентцам известно о вашей с ним дружбе? Ведь истинной причиной всего этого сыр-бора стали отношения первого со мной. Я его неоднократно оскорблял, он понимал, что со временем я обязательно открою его настоящую личину очковтирателя и взяточника, и что таких, как я, в республике — раз-два и обчелся. Вот почему так лихо было спровозировано мое освобождение от должности. А потом и водворение сюда как организатора и вдохновителя всех преступлений, совершенных на вашем мукомольном комбинате. Именно Хакимов организовывал такой ход дела. Даже тогда, когда с наслюнявленными глазами ходил к вам домой, провеживать вас. Наверняка он говорил вам, что, в случае чего, он станет присматривать за вашей семьей, как за своей собственной, позаботится и о вас самих, не так ли? Да и соки с фруктами во время моей болезни присылал наверняка он. Как и плов, который мы едим через день. Я слышал, что он устроил вашего сына на исторический факультет. Мог бы и на юридический, да помешало то, что вы здесь. Так ведь? И вы считаете это проявлением настоящей дружбы. А от вас ему нужна лишь ваша преданность. Главное — чтобы вы его не предали. И вы с честью справляетесь с его доверием. Он вам за это готов поставить памятник при жизни. А ведь ваши преступления — невинное баловство по сравнению с тем, что вытворяет Хакимов. И он прекрасно знает, что если обнаружатся его делишки, то не найдется тюрьмы, куда б его можно было поместить, — уж лучше сразу пулю в лоб. Он знает, что, случись что с ним, обвалятся его скалы в Ташкенте, обвалятся, как потрескавшаяся глина... А впрочем, об этом знают и они...

Аминов сидел с отвисшей челюстью, выпучив глаза. И вдруг он захрипел:

— Я его, как барана... прирежу! Догадывался я, но... Я его не оставляю в живых! — Аминов топал ногами о бетонный пол, тяжело дышал и хрипел. Сейчас он действительно был готов на все. — Живым не оставляю! — без конца выкрикивал он истерическим голосом.

— Успокойтесь, успокойтесь, — пытался его урезонить Усманов. — Я-то думал, вы здесь потому, что не хотели подводить своего друга Хакимова, и всю вину взяли на себя.

Едва отдышавшись, Аминов, размахивая от возбуждения руками, заговорил снова:

— Вы не знаете его. Он может все... Ну хорошо, случилось такое. Так что же он, сукин сын, не сказал мне обо всем откровенно? Своих работников на ложные показания уговаривал я сам. Правда, с его подсказки. И вот, стало быть, сделав всю черновую работу своими руками, мы своими же руками затянули на себе петлю, так, что ли? Ей-богу, никогда не думал, что он станет дуриль и меня. Его слова я принимал на веру, как указы Верховного Совета. Он мне твердил, что операцию возглавляет лично Усманов, то есть вы, и что Насруллаев просит слишком большие деньги за посредничество в прекращении дела. Стало быть, он дурил меня с самого начала и по самый конец!

— Вы все привыкли мерять деньгами. Благодарите бога, что все еще обошлось так легко. Могло быть и хуже. Хакимов и его вдохновители бывают куда страшнее, если им наступают на хвост. Даст бог, еще увидим, когда им все-таки наступят на их хвост. Если не умрем. А умрем — так увидят наши дети.

— Да, но как случилось, что вы, первое лицо целой области, не могли справиться с обыкновенным председателем колхоза, а? — искренне сокрушался Аминов и хлопал себя по коленке. — Будь я на вашем месте, я бы показал этому сукину сыну!

— Вы опять рассуждаете, как пацан. Политику сейчас делают те, у кого деньги. Это все издержки культа личности. Сейчас ничто, даже преступления, не меряются по шкале «верх-низ». Сейчас в силе тот, у кого широкий карман. А еще лучше, когда широких карманов побольше — иначе деньги некуда девать. Другим же приходится потуже подпоясываться и удивляться: куда же делось с прилавков

мясо да почему везде очереди. Но вы к таким наверняка не относитесь? — спросил, усмехнувшись, Усманов.

Аминов зыркнул на Усманова с нескрываемой злостью и отвернулся. Он все еще нервно стучал каблуками своих кирзовых сапог по бетонному полу.

— Дурак я, дурак. Пораждала все всяким следователям да судьям. А в конечном итоге — ни денег, ни свободы. Хотя можно было замять дело и с известкой в муке, и с цементом в кормах. Ребята мои возили сто тысяч одному типу в Москву — тот побоялся взять. А ведь мог замять. Бывает такое, и еще как бывает. Просто надо найти нужного человека на нужном месте в нужное время и явиться к нему с нужной суммой. Теперь вот осталось разве что каяться.

— Лучше возьмите отстающую бригаду и выведите ее в передовые, — посоветовал бывший первый секретарь. — Вину можно искупить только добросовестным трудом.

— Верно, — ответил Аминов. — Вы ведь знаете зэка по кличке «Могильщик»?

— Да, а что? Слышал несколько раз, как его окликали. Отчего у него такая кличка? — поинтересовался Усманов.

— Мать его...! Он делал такое, что не приснится и в кошмарах! Он работал могильщиком на русском кладбище в Ташкенте. Вместе с бригадой. И вот они каждую ночь вскрывали могилы и снимали не только золотые зубы, но и просто одежду с мертвецов, чтобы сдавать ее в комиссионки. А трупы расчленили и сдавали на близлежащую звероводческую ферму в качестве корма. Об этом писали газеты. По какой-то случайности их преступления раскрылись. То ли кому-то потребовалась эксгумация, то ли еще что-то... Ах да, вспомнил... Пришел чей-то сын с просьбой раскопать могилу отца, а трупа, как я сказал, там уже не было. Могильщики долго выясняли с ним отношения, пока сын не сказал, что случайно захоронили в новом пиджаке и его документы. Они едут в комиссионку, отыскивают нужный пиджак и в кармане его сын покойного находит нужную себе бумагу — лотерейный билет, на который выпал выигрыш машины. Он не предъявляет официального иска этим могильщикам, а едет за выигрышем. Отец, оказывается, написал номер билета на обоях. Вот так эта история пошла по людям.

Челюсть Усманова отвисла, и он не знал, верить или не верить такой чуши.

— А вы говорите — бригада! — усмехнулся Аминов. — Да, кстати, вы правильно делаете, что не разговариваете ни с кем. Тут все психи. Один вы здоровый.

— А Хакимов, наверное, беспокоится, что мы здесь оказались вместе, — сказал после долгого молчания Усманов. — Это может нам дорого обойтись.

— Верно, — согласился насторожившийся Аминов. — В последнее время я, кажется, чую, что здесь есть люди Хакимова. И среди администрации, и среди зэков. Не удивлюсь, если замечу, что за нами следят. Будьте осторожны и вы. Нам надо поменьше разговаривать на людях, — тоном профессионального конспиратора сказал Аминов.

— Я давно ожидаю какой-нибудь провокации, — хладнокровно ответил Усманов. — Плеть уже несколько раз подходил ко мне и пытался заговорить.

— Вы угадали. Это скорей всего его человек. Когда он приносит пищу, найдите предлог, чтобы уклониться от еды. Я переговорю с нужными людьми, возможно, удастся переправить его в другой лагерь. Заметьте что подозрительное, немедленно сообщайте мне. Здесь никто не знает, что произойдет с ним завтра. Нельзя никому доверять! И чем больший ты подлец, тем легче здесь тебе живется. Таких и администрация побаивается. Если бы вы знали, что вытворяет здесь Плеть, у вас волосы дыбом бы встали. Он единственный зэк, который не подотчетен мне. Он поднимается ночью, выходит во двор, ликвидирует намеченную жертву и опять ложится спать как ни в чем не бывало. Такие нужны Хакимову, как воздух. Иначе, если не прорезивать тех, кто стоит на его дороге, о кого-нибудь можно и споткнуться. Откровенно говоря, и я не в силах справиться с ним. Я могу его ликвидировать. Но пропаду и сам. Начни я раскрывать его преступления — убьют обоих. Такие вот дела, Карим Усманович. Но перед вами я виноват. Чувствовал я еще тогда, да... Что поделаться, не мог его послушаться.

— Что уж об этом поминать, Акрам Насырович. А вот здесь, не будь вас, я бы, наверное, погиб. Меня несколько раз избивали анашисты. То ли кто им приказал, то ли просто в охотку? Не знаю.

— Первое ваше предположение вернее, — тихо проговорил Аминов. — Простите, но в этом участвовал и я. Но теперь, где бы вы ни были, — заявил он торжественно, — никто вас пальцем не посмеет тронуть. Мы уже достигли чуть ли ни возраста Пророка, а живем все еще, как пацаны. Обидно. Обидно перебирать седину в бороде и вдруг обнаружить, что это поводок, с помощью которого управляют тобой, как марионеткой. Нет, я все равно не оставляю его в покое, Карим Усманович! Пусть не за себя, так за вас заставляю его встать на колени! Вспомнить страшно, как он помы-

кал мной. Чего я только не делал ради него?! Сколько оборовывал, сколько предавал. Но теперь я заставляю его купаться в помоях!

— Будьте осторожны, Акрам-ака, — предупредил его Усманов, не скрывая своей обеспокоенности. — Смотрите, как бы он вас не опередил. Если он задумает мстить, то разом расправится с нами обоими.

— Теперь пусть не ищет дураков, которые покорно взойдут на плаху. Сначала я должен вернуть деньги, потраченные мной на этого подлеца. А потом рассчитаюсь в остальном.

Глаза Аминова диковато мерцали в каком-то нереальном вечернем свете. Таких трудно удержат, если они решились на серьезное дело. Аминов, казалось, удостоверился в своих сомнениях и подозрениях. Предательство человека, которому он поклонялся, потрясло его до предела. Он был готов вершить возмездие, сметая все на своем пути.

Но Усманов все равно не верил ему.

Прошло три дня после этой беседы. И вот в темном коридоре чей-то сокрушительный удар опрокинул Усманова навзничь. Ударивший успел еще и пнуть со всего размаха кирзовым сапогом в лицо. Усманов почти в бессознательном состоянии слышал топот бегущего по коридору человека. Когда он открыл глаза, над ним сидел, склонившись, Аминов. Лицо его просияло, когда Усманов наконец посмотрел на него.

— Все в порядке, Карим Усманович? Как с сознанием? — спросил он тихим голосом. Усманов сомкнул ресницы, давая понять, что он в сознании. Но тело его выше пояса было словно парализовано: он не мог двинуть ни руками, ни головой. В ногах Усманова сидел тщедушный лагерный врач с зубами, росшими враскорячку, сидел, не спуская своего преданного взгляда с Аминова.

— Расскажи ему, что произошло, — обратился Аминов к врачу.

— Человек, который покушался на вас, метил ударить свинцовым кастетом по сонной артерии. — Усманова в большей степени поразил его женский голосок, нежели то, что он сообщал.

— Но удар, к счастью, пришелся не по ней, а по верхнему позвонку. С позвоночником все в порядке. От пинка была вывернута челюсть. Вообще, состояние ваше нормальное. Скоро выздоровеете.

Врач пропищал свой диагноз и опять уставился, как отскулившая собака, на Аминова.

— Слушай обоими ушами! — сказал он врачу угрожающе. — Не сойдешь с места, пока он не выздоровеет. Пищу будешь пробовать сначала сам. Если что случится, ответишь головой! Ну а будет все в порядке, то соответственно и благодарность!

Врач часто-часто кивал головой в знак согласия, попеременно поглядывая то на Аминова, то на Усманова, лежавшего, бессмысленно уставившись в потолок.

— А теперь ступай! Эту ночь я буду сидеть при нем сам, — сказал наконец Аминов.

— Я думал перевести их завтра в больницу, — доложил врач, вставая.

— Хорошо, готовь место, — согласился Аминов.

Усманов лежал в больнице недолго, но, спустя два месяца после этого происшествия, с ним приключился второй инфаркт. На этот раз пришлось лежать долго. И как всегда, единственной его опорой оказался Аминов. Однажды он явился в усмановскую палату сияющий и с букетом цветов. Тяжело опустившись на стул у изголовья кровати Усманова, он торжественно произнес:

— Поздравляю, Карим Усманович! Самое большее через месяц вас освободят подчистую! — Гордость и удовлетворение звучали в его голосе. — Вы знаете, я наверняка не стану так радоваться собственному освобождению.

— Ну и выйду, а чем заниматься после этого?! — безнадежно вздохнул Усманов, тоскаиво глядя на довольное лицо Аминова. — Опять наткаться на острые, как пила, взгляды людей и опять страдать? Или опять воскресить то, что только что забылось?

— Не будьте столь непримиримы, Карим Усманович, — мягко укорил его Аминов. — Выходите на свободу, если даже не ради себя, то ради нас! Это ведь ваша первая победа: вы освобождаетесь, не отсидев и полсрока.

— Расскажите мне подробнее, что творится вокруг?

— Хакимов был тут четырежды. И всякий раз слал вам приветы. Извините, что не передавал их вам вовремя. Я сказал ему, что, как бы то ни было, вы должны быть освобождены, иначе ему несдобровать. Скажу по секрету: я под страхом его разоблачения снял с него приличную сумму. У таких брать не грех — деньги-то несправедливые. Он говорил, оказывается, с божком из Ташкента. На ближайшей комиссии Верховного Совета по помилованию они будут прощать вас. Вот и все. Теперь все станут вас остерегаться. Но вам следует самому быть осторожным.

Лучше всего уехать в ваш родной кишлак. Я скажу нужным людям — построят вам дом. — Аминов разволновался и стал ходить по палате.

— Спасибо! Но мне ничего не нужно, — сказал расчувствовавшийся Усманов. В нем боролись чувства унижения, веры в конечную справедливость, а также любви к ближнему и к земле, на которой он живет. Усманов разрыдался, вздрагивая плечами. И даже Аминов, уже не помнивший, когда он плакал в последний раз, то и дело тер платком глаза.

XI

— Вы не устали от моих печальных воспоминаний? — спросил Усманов, отхлебывая остывший чай из пиалы. — Ей-богу, никто, кроме моей жены, ни разу не слышал этих слов.

— Нет, я не устал. А вот вы, мне кажется, притомились, — сказал я, решительно поднимаясь, чтобы уйти.

— Оставайтесь еще на некоторое время, если и впрямь я вам не надоел. Хочу поведать вам еще одну историю. О своем детстве. Тогда вы сумеете представить мою жизнь в полном объеме, — улыбнулся печальный Усманов. Он прикрыл глаза пальцами, вздохнул и, растерев лицо, оперся поудобнее на подушки.

— Знаете, мне ведь довелось быть и могильщиком, чтобы хоть как-то выжить.

Поначалу я удивился, а потом рассмеялся. Улыбнулся и Усманов. Казалось, мы оба обрадовались этой нелепице после столь тягостного рассказа о недавней жизни первого секретаря.

— Но, правду говоря, здесь не над чем смеяться, — погрустнул он снова. — Да, братишка, здесь не над чем смеяться. Слепая судьба, как говорили наши слепые предки. Все началось после того, как однажды после полуночи к нам пришли четверо в штатском и увели отца. Отец тогда работал председателем Янгикурганского райисполкома. Мне к тому времени исполнилось девять лет. Была поздняя осень. Листья, побитые морозом, еще не успели пожелтеть и, искореженные, трепетали на деревьях. В горах выпал снег. Помню как сейчас: мы не собрали еще айву, а вода уже текла по арыкам прозрачно и звонко.

Мы поначалу ничего не поняли. Я увидел в окно, как отец надел свой чекмень и шапку и идет в тихом окружении по двору. Откуда мне, девятилетнему пацану, было догадаться, что своего отца — его статную фигуру, его прекрасную улыбку — я вижу в последний раз?! Человек, замыкающий эту процессию, еще раз оглядел двор, и на мгновение его взгляд задержался на нашем окне... Я понимаю теперь, что отец не хотел видеть ни наших, ни своих слез, потому и не стал прощаться. Мы узнали потом, что мать наша бежала, рыдая, вслед за ними, пока хватило сил. До сих пор не могу понять, как она сумела не показать своего отчаяния, когда вернулась домой растрепанная и заплаканная. Мы обступили ее и наперебой спрашивали, куда увели отца.

— Папа поехал в город Ташкент. Есть такой большой город. Правда, очень далеко — месяц туда, месяц обратно... — Так успокаивала нас мама и укладывала спать.

— Ура, папа привезет мне шелковую косынку! — радостно заверещала старшая из моих сестренок Ойниса, высовываясь из-под одеяла.

Мать спрятала лицо в платок, чтобы скрыть свои слезы.

Из четверых детей я был в семье старшим. В то же утро мы заметили странную штуку: те, кто вчера увивались возле отца, вдруг стали избегать нас. Когда я приблизился к ребятам, игравшим на клеверном поле в «чижика», они вдруг молча разошлись. И Ойнису девчата не приняли в свой круг. Я вернулся домой понурый. Ойниса и вовсе плакала. И тогда мать не сдержалась: разревелась навзрыд, стуча себя кулаками по коленям. И мы расплакались в четыре голоса. Именно с тех пор тяжелей камень беды придавил нашу семью и превратил нас в изгоев, которых избегал весь свет. Родственники и те были рады не видеться с нами. Учителя в школе смотрели теперь с презрением. И даже пастух Эгамберди-бобо — древний старик, вслед за которым я увязался в горы — и тот поглядывал на меня недоверчивыми глазами. Наконец и его прорвало:

— Так твой отец-то, оказывается, тоже из прихвостней Файзуллы Ходжаева и Акмаля Икрамова, а? — заявил он, уставившись на меня немигающими глазами. — Неужели такой длины их хвост, что тянется аж до самого Бахмаля?.. — Я, конечно, ничего не понял. Потом ребята объяснили мне, что я сын «врага народа» и что нас могут арестовать всех и отправить в ссылку. Тяжко было слышать это от своих друзей, но с тех пор я разом повзрослел, замкнулся и оказался один на один с собой. Мать говорила, что от меня остались тогда лишь кожа да кости и еще глаза — какие-то волчьи, тоскливые глаза.

Через неделю после того, как забрали отца, выяснилось, что дома нечего есть. Мать не знала, что делать, и без толку металась по двору. Сестренки протягивали

к ней руки и просили хлеба. Ойниса все еще убеждала себя и их, что папа привезет из Ташкента булочки и сладкую халву. Я чувствовал, что матери необходимо поделиться со мной своим взрослым горем, чувствовал, но страшился той минуты, когда она начнет разговор. Слава богу, что у нас тогда была корова. Она нас и кормила: из молока мы делали кислое молоко, кислое молоко разбавляли водой, из остатков варили кислый суп. Но ничто не могло заменить хлеба.

От отца не было известий, мать не спала ночами, пряла, выполняла чужую работу. Только под утро она могла вздремнуть лишь час-другой.

— Скажите Эгамберди-бобо, пусть возьмет меня в помощники, — попросил я ее как-то. — Я бы справился с целой отарой.

На глазах у матери появились слезы. Веретено выпало из ее рук. Я поднял его и протянул ей. Помню до сих пор ее позу, ее затравленный и усталый взгляд.

— Ты ведь крохотный малыш, чего доброго, упадешь от бессилия, бедный мой, — сказала она и приложила край платка к глазам. — Я боюсь тебя отпускать. Теперь у меня нет защитника, кроме тебя. Любая твоя заноза будет вонзаться мне прямо в сердце. Понимаешь? — Так мы сидели и плакали всю ночь. Мы скорбели по отцу с ней вдвоем, потихоньку от сестер. Как мне тогда хотелось умереть, вы представить себе не можете! Я даже прикидывал, каким образом можно сброситься с вершины скалы... Вот только жалость к маме да к сестренкам остановила меня.

На следующее утро мы с мамой пошли с Эгамберди-бобо...

— Возьмите его в помощники, бобо. Мы согласны на что угодно, только не откажите... — стала слезно упрашивать старика мать.

Старик нехотя, но все же согласился. Дело в том, что ему и впрямь нужен был мальчик на побегушках. Ведь в его возрасте бегать, высунув язык, за козами, распозаючимися по всем склонам гор, было довольно непросто.

Вот и взял старик себе в помощники покалеченного душой мальчика Карима, готового на всякий труд. Станный был старик — этот Эгамберди-лизах, как его называли в кишлаке. Борода его прилипла к груди, а голова была столь удлинненной формы, что на ней не держалась ни одна чалма: все время распутывалась и волочилась под ногами. Он часто-часто, как змея или ящерица, облизывал свои потрепавшиеся губы и постоянно пытался смотать в моток чалму. Он был тощ, несмотря на то, что ел непомерно много. Я часто видел, как он доил коров, когда приступ голода схватывал его на склоне какой-нибудь горы. Однажды я спросил его:

— Бобо, почему вы доите только коров Майрам-момо и Шодмонкула-арбакеша?

— А что же мне делать? Голод берет свое. Ничего не поделаешь. — И он покраснел. — Но смотри, не говори хозяевам, — обеспокоился пастух. — У этих коров вкусное молоко. А я стал разборчивым, порази меня бог!

— Просто у Майрам-момо никого нет. Так ведь? — допытывался я.

Старик растерялся. Он не ожидал такого от молчуна, отвечавшего прежде редким словом на все десять.

Это был мой первый бунт против нечестности. Чтобы я скорее забыл об этом разговоре, старик протянул мне целую лепешку. Я наотрез отказался. И все же старик уговорил: дескать, отнесешь своим сестрицам, обрадуешь их. Пришлось взять. С этого дня стал я получать с пяти дворов одну ржаную лепешку за свой труд подпаеса. Пшеничные лепешки собирал со дворов сам старик. Теперь я приносил домой по две с половиной лепешки, чему несказанно радовалась мама, а еще больше мои сестрички. Мне было даже неловко от их бурной благодарности «кормильцу». Ночами я читал книжки, да так много, что старик вскоре стал удивляться познаниям мальчишки. А настроение его, я вам скажу, менялось по семь раз на дню. Глядишь, готов молиться на того, кого минуту назад облакадывал отборным матом. Людей он подразделял на святых и безбожников, в зависимости от того, какой они давали ему хлеб: белый — значит, святые, ржаной — безбожники. А вообще он очень любил, когда о нем говорили добрые слова — последнего куска тому не жалел, кто восхищался или удивлялся какой-нибудь мелочи, на которую никто, кроме него, не обращал и внимания.

— Бисмиллаху рахмону рахим, дай, о Аллах, благоденствие моему нутру, — начинал он молиться за дастарханом. — Интересно, наступит ли время, когда можно будет наесться досыта? — Он жевал лепешку своими беззубыми челюстями и поглядывал на меня. — Ну и времена пошли, не поймешь. Вчера тот из кожи лез, чтобы опрокинуть белого царя, а сегодня его другой называет «вираг наруд» (так старик произносил это выражение) и расстреливает. Каждый боится собственной тени. Станешь говорить правду — тебя отправят черт знает куда. Голова идет кругом. Продают друг друга, чуть махни хвостом. Да, странные времена. Вот твой отец, разве сделал что-нибудь плохое? Даже с нами, с пастухами, не считал заторным первым здороваться. Подбежит, бывало... А тоже взяли и того гляди — расстреляют. Жалко, хороший был парень! Это такие, как я, в воде не тонут, в огне не горят,

потому что никому не нужны, а такие, как твой отец... Но говорят: мужчина рождается для себя, а погибает за народ. Есть разница между смертью и Смертью. Еще говорят: у горного козла вина — его рога. Вот только одного не могу понять: убивают всех умных, образованных и грамотных. Неужели же дела наши останутся на таких, как этот болван Шодмон-желтушник? Говорят: повесь на пса ожерелье — будут плакать и пес и бриллиант...

Вот какие речи заводил этот Лизач, изливавший на меня свои незатейливые размышления. И тогда я понимал, что отец никогда не вернется, и уходил в горы плакать...

«О, горы, — взывал я к немым великанам, — о, горы, почему же не вернется мой отец? Что же мне делать теперь? Что делать моей матери? Сестричкам? Как все это вытерпеть? За что забрали моего отца? За что? Почему люди смотрят на нас с ненавистью? Эй, люди! За что вы забрали моего отца? Почему вы не жалеете нас?! Что мы вам сделали плохого? Папа! Папочка! Почему ты не попрощался с нами? Почему ты согласился уйти? Нам так плохо без тебя... Вот стану солдатом и перестреляю их всех поодиночке! За что они забрали отца! Эй, горы, эй, люди, что мне делать, что?!»

... Мать, казалось, была довольна тем, что я вдали от людей — среди гор и баранов. И, как раньше ждала она своего мужа, приходившего поздно с работы, так, грея пищу на очаге, дожидалась теперь моего прихода с пастбища. Теперь она даже обращалась ко мне на «вы».

— Вы не устали? — спрашивала она и тут же отводила взгляд или начинала заниматься каким-нибудь делом, чтобы не расплакаться и не смыть с души дневные обиды.

Я здоровался с ней и тоже отводил глаза — нечем мне было порадовать мою бедную маму. Сестрички стали послушны как никогда. Постелит им мама постель, они тут же ложатся. Пусть и не спят, но лежат тихонько, никому не мешают.

Однажды старик Эгамберди рассказал мне о том, как моя мать ходила к своему брату за мукой и как его жена выпроводила ее со словами: «Мы не хотим, чтобы тень от «врага народа» падала и на нас!»

Что-то перевернулось в моей душе. «Ничего! — сказал я себе. — Еще посмотрим...»

Впервые я не заплакал, а сухими до дна глазами стал рассматривать наши ледники на горах. Вон мой «Белый конь», на котором я стану приезжать к своим сестрам. Вон «Слон», любимец Ойджамол. На нем она мечтает уехать в Индию или же привезти папу. Вон «Барашек» Ойнисы, вон «Зайчик» Ойнигор... Мы обязательно, обязательно вернем своего отца...

«Маленькая, — думал я с нежностью о самой младшей, Ойнигор, тянущей свои худенькие ручки к горам. — Маленькая, золотая...»

Когда на склоны гор выпадал снег, стадо уже не гнали на пастбище. Коровы зимовали по дворам или же бродили вокруг кишлака и, когда я встречался с ними, — а я знал каждую из них, — они вытигивали шеи и мычали, как бы вспоминая наши с ними походы по сытным джейляу.

— Человек не устает от лета — длись оно даже всю жизнь. А один день зимы надоедает тут же до смерти, — ворчал Эгамберди-бобо, развешивая на ветру свои стиранные-перестиранные одежды. Впрочем, он не унимался и знойными летними днями. — То ли дело раньше. И летом не было такого пекла. — Он находил какую-нибудь тень и располагался там пофилософствовать. — Погода и та уподобляется, видать, людям. Вредная! Таков и человек. Ни жары не терпит, ни холода. Господь придумал их для испытания. — Он забрасывал отработанным движением насвай под язык, щечка кончиком своей козлиной бороды открытую грудь, и тут замечал, как я посмеиваюсь над этой его привычкой.

— Смеешься, пострел? Над моими словами, небось? Смейся, смейся, а вот парнем станешь, все равно будут помнить как подпaska старика Эгамберди. И куда от этого не денешься. Вот тогда и вспомнишь мои слова... — Потом, взглянув на тень, безошибочно определял время и говорил:

— Пора идти, скоро пойдет дождь, вон, видишь, вода в Сангзоре убывает.

Тихо-тихо я так привык к старику, что когда и впрямь шел дождь и стадо разбредалось по подворьям кишлака, я шел к Эгамберди, где мгновенно становился слушателем бесконечных жалоб его жены на скопидомство старика. Эта толстая женщина по имени Бозогуль была намного моложе своего мужа и по мере его старения все более и более входила в характер. А потому старик, прежде поколачивавший свою благоверную, теперь на самом пике ее проклятий мог лишь сказать: «Вот те..!» И продолжать невозмутимо слушать ее причитания.

— Этого дохляка не прошибешь никакими проклятьями! — не прекращала свару Бозогуль. — За собаку не считает. Самый умный, видите ли! Сам еле ходит, а слова — толще меня!

Потом старуха принималась за детей или же, как ни в чем не бывало, начинала заниматься хозяйством.

И тогда старик заговорщически говорил мне:

— Возьмись со стадом, чтобы поменьше ее слышать. Приятнее видеть корову, чем эту женщину. Жалко, дети стали большими, испугаются, а то спустил бы шкуру с этой стервы!

Тогдашняя зима, помнится, была по-настоящему лютой. Айкор завалило снегом. Коровы месяцами не выходили со дворов.

Однажды, изнывая от безделья, я сидел и наблюдал за людьми, идущими на кладбище, расположенное неподалеку от нашего дома. Как и водится, чаще всех там мелькали могильщики Мурадкул и Бекназар. Они частенько просили меня принести им чаю или еще чего попить. Зимой это повторялось чаще, поскольку я торчал у них на глазах. Земля наша, надо сказать, и зимой и летом была тверже железа. Пока выраешь могилу — семь раз самому захочется лечь в нее.

И вот в тот день один из них позвал меня.

— Пацан, иди-ка сюда. Ты поменьше, полезай-ка в яму. Поможешь прокопать хандак¹, держи тяпку.

Поначалу мне было жутко лезть в яму, но потихоньку унялась моя дрожь, то ли оттого, что я разогрелся, то ли оттого, что привык к этому нехитрому делу. Копать было не очень трудно, потому что нижний слой земли оказался мягким. Когда щель стала достаточной ширины, чтобы в нее могли протиснуться взрослые, копать продолжили они, а я отбрасывал землю наверх. Выкопав могилу, мы умылись в медном тазу и принялись за совместную трапезу. Надо сказать, что хлеба для могильщиков никто не жалел, и этот хлеб оказался куда вкуснее, чем ржаные лепешки старика Эгамберди. С тех пор, лишь завидев двух грузных людей, проходивших мимо нашего дома, я тут же бежал им вслед, и после каждой ямы приносил домой по огромной лепешке. Мать, узнав о моем промысле, расплакалась и наотрез отказалась пускать меня к этим двоим, но привыкшие к моей помощи Мурадкул и Бекназар уговорили и ее.

Стояли теплые дни мая, когда я бросил школьный мешок в угол и устремился в горы, где уже раздавались вольные голоса моих коров, овец и коз.

Старик Эгамберди, лишь завидев меня, вспомнил, что у него за зиму прохудилась крыша и, оставив стадо мне, сам поспешил в кишлак. Так повторялось и в последующие дни. Я гонял скот по склонам, а старик то заготавливал дрова, то ставил заново развалившийся от снега забор. А однажды он велел мне нести в кишлак председателю Мустафакулу новорожденного теленка от его только что отелившейся коровы. Я поглядел на эту громадину размером с самого меня, к тому же всю покрытую слизью, и засомневался:

— Я не подыму.

— Подымешь, сынок. Что такое теленок для такого богатыря, как ты!

Старик повернулся и, сев на своего ишака, отправился сгонять коз. Я проклинал про себя старика, пожалевшего для меня даже своего ишака, и рассматривал это новорожденное существо, облизываемое теперь коровой, и думал о том, как красив этот теленок в закатных лучах весеннего солнца. Когда я приблизился к теленку, корова забеспокоилась. Глаза ее следили за каждым моим движением. Я согнулся, полез под теленка, и когда хотел поднять его, придерживая за ноги с двух сторон, корова оттолкнула меня вместе с теленком, и я упал лицом вниз. Тут же вскочив, я стал отгонять корову. Потом поднял теленка и потихоньку двинулся вперед. Пройдя шагов сорок, обессилел и остановился отдохнуть. Корова обнюхала своего детеныша, и мы пошли дальше.

Когда я добрался к вечеру до ворот председателя Мустафакула, у меня уже не было сил даже позвать кого-нибудь со двора. Помню, как я уселся у единственных в кишлаке ворот, весь в этой теленочьей слизи, едва дыша и страдая от нестерпимой боли в ногах, и тут вышла мать председателя — Улбозор-момо. Мне внезапно стало дурно: не помню, что говорила мне старуха, что я отвечал ей. Наверное, она проклинала Лизача, пожалевшего своего осла и заставившего меня тащить такую непосильную ношу.

И в самом деле, она проклинала этого скупердяя, от которого никому не было пользы в кишлаке, и плакала надо мной — сиротинушкой. Дело в том, что и своих детей она воспитывала в свое время в безотцовщине. Правда, в те времена и поднаском стать было не так-то просто. Сделавшись по этой причине «настоящим мужчиной», она, как говорится в сказках, прядением и бесконечным радением вырастила троих сыновей. И вот теперь, увидев в таком состоянии сына бывшего председателя райисполкома, Улбозор не смогла сдержать себя. Прижала меня

¹ Хандак — само место захоронения, уходящее вбок от могильной ямы.

к своей груди и стала плакать то ли над моим сиротством, то ли над своими воспоминаниями. Помню, она не только вычистила меня, но и накормила... А потом сидела со мной, вытирая слезы кончиком марлевого платка. Я и впрямь был ужасно голоден, а потому ел, не глядя на старушку. Натруженные руки дрожали, и это, как я подумал позже, еще больше выдавало мой голод. Но старуха, видимо, понимала все, поэтому, когда я, кончив есть, сложил ладони для молитвы, она насыпала мне в горсть изюма и орехов на дорогу.

— Передай привет матушке, айланай,— сказала она дрожащим голосом.— Беда бы твоя нашла на меня! Ничего, есть и на них управа, им тоже не поздоровится от твоих слез, сиротинушка... Когда будешь проходить мимо, заходи обязательно. Бедный мой...

Тогда я забыл, что такое усталость, и, казалось, полетел на крыльях к своему дому. Шутка сказать, я нес сестричкам то, что приносил наш отец: изюм и орехи. Изредка я проверял, на месте ли в кармане орехи и сушеный виноград, и снова вспоминал лица своих сестер в те минуты, когда отец, вернувшись с базара, одаривал этим желанным лакомством своих детей. А как обрадуется мама!

Каждое утро мы делили работу со стариком Эгамберди так: он собирал стадо по ту сторону оврага Каттаджар, а я по эту сторону. И два полустада сгонялись воедино у мельницы Хонназара-бобо. Однажды, когда я выгонял на улицу коз Махмуда-кузнеца, возле своих единственных в кишлаке ворот появилась Улбозор-момо. Я поздоровался с ней, и она сказала:

— Вечером обязательно зайди, поешь творожку от Буренушки.— И она опять стала заговаривать меня от бед и дурных глаз, вручив при этом масляную лепешку.

Я, как величайшую драгоценность, положил ее за пазуху и погнал коз дальше. Запах лепешки пьянил меня, обещая неземное блаженство, и труд мой казался мне таким благородным, таким необходимым... Но, к сожалению, день, так хорошо начавшийся, закончился весьма печально.

Много раз во сне я снова и снова переживал свое тогдашнее горе и даже удар палки ощущал как наяву. А дело было вот в чем: в тот день мы как обычно сели перекусить у одного из наших горных ключей. У нас было заведено так, что на первом привале выставлял свою лепешку Эгамберди, а на втором — я. Пока я разводил костерок, чтобы вскипятить воду для чая, старик, как правило уже успевал съесть почти всю лепешку, и мне доставался маленький кусочек. Но я был доволен и тем. Впрочем, и чай старик выпивал сам.

— Маленьким пить чай вредно, они перестают расти,— приговаривал он, допивая последнюю пиалку и протягивая мне кусок подгоревшей лепешки.— Зато от этого кровь приливает к щекам. Будешь настоящим красавцем.

Что ж, приходилось макать этот драгоценный кусок в родниковую воду и смаковать его подольше.

... Так вот, в тот день, когда старик выставил свою лепешку, я вспомнил о подарке Улбозор-момо и достал эту пышную маслянистую лепешку, чтобы положить ее сверху.

— Вот, Улбозор-момо дала, бобо.

— Что? Дала тебе масляную лепешку? С какой это стати ты, ублюдок, стал получать мою долю?

— Да я не просил! Она сама дала.

— Ах, мать твою..!— разбушевался старик и схватился за палку. И когда палка разбилась о мое плечо, слезы сами по себе потекли из глаз, и тогда я вдруг бросился в сторону кишлака, забыв у родника и свою бесценную лепешку, и орехи с изюмом. Я плакал всю дорогу до кишлака; казалось, какой-то родник обиды и унижения изливался нескончаемыми моими слезами.

И еще помню одну историю. Мы с мамой возвращались с базара. Нас на полдороге догнала скрипучая арба Шодмонкула, бывшего друга моего отца. Я попросил его подвезти нас, но он сказал:

— Я не извозчик для врагов народа!

Эти слова выползли из него, как выползает из норы змея, и я оцепенел.

Как часто в моих горьких воспоминаниях оживал и этот арбакеш, и руки, протягивающие подгорелый хлеб, и недобрые взгляды соседей. И почему-то образ матери, женщины, идущей впереди с узелком на голове, всегда омрачался этими призраками моего несчастного детства... Откуда в ней было столько терпения и всепрощения, думал я, и понял лишь тогда, когда уже потерял ее, когда женился на девушке, похожей на мою маму, и когда ощутил огромную ответственность за свою жизнь и за жизнь своих детей.

Начавшаяся война внесла полную сумятицу в жизнь далекого узбекского кишлака. Всякое тут случалось.

Помнится, однажды пастух кишлачного стада Ибрагим спросил у председателя Мустафакула: «Если немец захватит и наш Усмат, то куда лучше бежать — на Айкор или же за горы, в Пенджикент?»

Разгневанный председатель не знал, что ответить, и решил на всякий случай вклеить оплеуху паникующему чабану. Опозоренный перед всеми чабан кричал от злости: «Чем ты лучше своих пашистов?!» — и лез с кулаками на председателя. Люди долго разнимали их. И тогда Ибрагим сказал угрожающе:

— Помни, раис, буду жив — распорю тебе твой жирный живот! А погибну — сам лопнешь!

Старики, знавшие о дурном нраве черного Ибрагима, насилу уговорили его уйти домой, а председателя предупредили об осторожности впредь. И впрямь, народ в кишлаке был скор на гнев и расправу. Неведомо как, но это зловерное качество передается из поколения в поколение и сидит чуть ли не в каждом втором жителе кишлака. Черный Ибрагим попадал, видимо, в эти вторые.

Рассказывали, как однажды Ибрагим поехал на ишаке в горы, и ишак, пока хозяин собирал хворост, оторвавшись от привязи, убежал. Разъяренный Ибрагим вылавливает в кишлаке ишака, приводит на место, откуда тот сбежал, зверски отсекает ему голову топором и, расчленив на мелкие куски, разбрасывает по сторонам. При этом он приговаривает: «Пусть другие ослы и шакалы видят, чего ты был достоин!» И, наконец, окончив свою казнь, нагружается седлом и подпругой и возвращается в кишлак пешком. То же самое он продельывает и с собакой, бежавшей с охраны его отары.

Месяц спустя после ссоры с председателем, когда люди все еще грешным делом ожидали продолжения истории, черного Ибрагима отправили в Сибирь в трудовой батальон, и кишлак забыл о конфликте. С тех пор перестали ходить и слухи о том, что немец такого-то числа займет Ташкент, такого-то Самарканд, а потом и кишлак Усмат.

По-разному относились люди к войне. Мало-мальски грамотные почти все были арестованы еще в довоенное время как враги народа, но тем не менее и они верили в Сталина, в победу. Редкий из них относился к происходящему равнодушно. А впрочем, кто его знает, может быть, и эта вера была в них круто замешана на страхе?

Страшные в те годы были зимы. Усманов рассказывал, как однажды с матерью они держали совет. Он, мальчик, понимал, что полтора-два пуда зерна, заработанные матерью прошлой осенью, едва ли позволят им пережить эту зиму. И тогда мать пошла к Мустафакулу-раису. Преодолев тысячу сомнений, постучалась в дверь. Дверь открыла Улбозор-момо. Встретила, как и всегда, с открытыми объятиями. Выслушала. Они вместе дождались возвращения председателя с работы. Тот, правда, поздоровался с женой бывшего председателя райисполкома более чем холодно. Но когда Улбозор-момо поведала сыну о жизни этой семьи, он несколько мягче сказал:

— Приходите завтра в правление. Там и поговорим.— Затем добавил:— Сейчас много таких, просящих хлеба.

Когда мать вышло со двора, старуха сунула ей две лепешки. Мать хотела было отказаться, но Улбозор и слушать не стала.

Мальчик был счастлив. Раис, которого боялся весь кишлак, взял его погонщиком лошадей, работавших в полях: на пропашке, косьбе, вывозе урожая.

— А зимой будешь смотреть за волами в Тайпаксае,— сказал раис, недоверчиво оглядывая его с ног до головы.

Потом он вызвал кладовщика и приказал выписать мальчику полтора метра материала на штаны.

Работа была трудной. В первые дни мальчик не замечал этого и везде и всем старался помочь, чем только мог. А когда рабочие садились обедать, уводил лошадей поить на речку, и хоть бы кто из здешних: пусть Мардонкул, пусть Шарифнавайщик, сказали бы: «Посиди, отдохни, да и лошади устали!» Где там!

На третий день он натер себе зад до такой степени, что уже не мог сидеть в седле, поэтому изобрел способ ездить целыми днями на лошади, стоя в стремени. Мутилось в голове от бесконечного кружения вокруг деревянной молотилки, придуманной Мардонкулом, и тогда он, приспустив поводья, смотрел далеко в горы, на своих старых знакомцев — «Слона», «Зайчика», «Ягненка». А лошадь все ходила по кругу, изредка взмахами хвоста разгоняя бесцеремонных воробьев, слетевшихся на дармовое угощенье. Старушка ворона была профессионалом в своем деле. Ходила,

как позднее говорили, на «автопилоте». Мальчик не уставал удивляться, как покорное и такое разумное животное всегда мгновенно и в точности выполняло его команды... Тяжелая, скучная работа. Так хотелось иногда поболтать с пацанами соседями, да нельзя — боялись Шарифа-насвайщика.

— Мясоголовый,— говорили про него за глаза рабочие.— И нашел же председатель нам надсмотрщика!

А этот начальник мог рассвирепеть по самому зряшному поводу. И тогда он сквернословил, таких слов и бывалые мужики никогда не слышали. На хирмане было восемь лошадей. Два пацана поочередно выводили их в ночное на клеверное поле колхоза в восьми километрах от хирмана, к самым предгорьям. Ранним утром мальчик возвращался домой и привозил с собой пол-лепешки, не съеденные им ночью, и тогда мать начинала журить его за это, но после первых же слов умолкала, утирая слезы, и, видя, как он засыпает на ходу, провожала его до расстеленного уже тулупа, чтобы тихо-тихо массажировать ему ноги, изгоняя из них суточную усталость. Он тут же намертво блаженно засыпал.

Через некоторое время она будила его, и он уводил лошадей на хирман... Только-только начиналось утро, пели жаворонки, и казалось, что на их крыльях подымалось небо солнце... На какой-то миг мальчик забывал даже о своих горестях — так прекрасно было вокруг!

... Через некоторое время двух его товарищей по работе призвали в армию, и лошади перешли целиком на его попечение.

— Неужели они достигли призывного возраста? — шептал Мардонкул-бобо Астанкулу.— По-моему, их забрали вместо кого-то. Вот не видать что-то сына Насыра-кладовщика. И в армию не провожал. Наверняка, собака, что-то придумал! Неужто Мустафакул ничего не знает?

— А что вы думаете, раис — святой? Да если и святой, и тогда ничего не решит без своего завскладом. Ведь и он не без рта и не без желудка — наш раис,— шептал в ответ Астанкул и огляделся по сторонам.— А этот кладовщик никому не даст воды, пока сам не напьется. Весь их род такой. А что можем мы с вами?

— Да,— согласился Мардонкул.— Опять все на плечах сирот да бедняков.

— Не говорите! Ваша правда.— И Астанкул потряс своей мудрой бородой.— Пусть падет сорокалетний мор, а умрет тот, кому положено.

— Ничего не разберешь. А этот фашист, как бык, которого не возьмет топор.

— Дай бог, чтобы «Исталин» был жив. С этим фашистом никто не справится, кроме него. Только он может...

— Почему же? Вот умер «Лелин», пришел «Исталин». Будет жив люд, кто-нибудь да найдет. Вы помните, когда умер «Лелин», как мы перепугались. Слава богу, он написал, оказывается, как жить дальше. Вот это пророк!

— Ваша правда! — покивал головой Астанкул.— А чего немец прицепился к нам?

— Э-э, простак вы, Астанкул. Тот, кто берет в руки меч, тот не ищет причины.

— Ваша правда, ваша!

Так они сидели и шептались, а мальчик кружил вокруг них на лошади. Потом, когда настал вечер, эти двое пошли умываться, а мальчик стал готовить лошадей к ночному. Вдруг откуда-то вынырнул Шариф-насвайщик и, что-то бормоча себе под нос, приказал мальчику вести лошадей за ним.

Они подошли к накрытой куче пшеницы, и насвайщик, приоткнув брезент, вытащил из-под него мешок, велел подогнать вороного поближе.

— Зачем? — удивился мальчик.

— Делай, что велено! Вот бестолковщина! Отвезешь до клеверного поля и катись домой. Дальше — не твое дело. Но, смотри, никому не проговорись. Завтра получишь пуд зерна, понял?

— Не-ет! — стал отказываться мальчик.— Что скажут люди, если увидят?

— Какое тебе дело до людей? Делай то, что тебе велят! Что за неблагодарный пацан! — стал раздражаться начальник хирмана.— Давай-ка побыстрее, а то те уже подойдут. Сказал ведь, что и тебе дам.

— Нет! — решительно заявил мальчик, не шелохнувшись.— Я скажу председателю.

— Чего? Скажу председателю?! Ну-ка, только попробуй! Язык выдерну с корнями, сучье дитя. Так, стало быть, ты довел отца до такого?! А ну, катись! Вон! Выродок! А я тебя... за человека...

— А что вам сделал мой отец?! — крикнул мальчик. И тут же, чтобы не показывать своих слез, поскакал в сторону клеверного поля. Слезы от ветра застыли на его щеках. Осадив, наконец, коня, он дождался оставших лошадей из своего табуна и, оставив их до утра на приколе, сам вернулся домой. Умылся, чтобы не показывать своих слез, и когда мать спросила, почему у него раскраснелись и опухли глаза, ответил, что слишком быстро скакал на ветру.

— Не гоняй лошадей! — забеспокоилась мать. — Увидит раис — несдобровать. Сейчас в колхозе лошади и быки дороже нас с тобой.

С тех пор он перестал здороваться с Шарифом-насвайщиком. Но напуганный начальник долгое время опасался, что мальчик проговорится, а потому все искал возможности помириться. Но мальчик был неприступен. В середине лета заканчивалась молотба. Теперь они перевозили зерно за сорок верст на станцию Куропаткино на тридцати ишаках, согнанных со всех дворов кишлака, а сами ходили пешком. Солнце жгло нещадно, и лишь изредка его спасала тень от начальника колонны — Шарифа-насвайщика, не дающего покоя ни своей лошади, ни пешим людям.

— И я бы не знал усталости, попадай в мой карман ежедневно деньги за проданный мешок пшеницы, а еще — слушайся меня раис, а еще — продавай я насвай, — ворчал Мардонкула, завидев, как скачет, подымая пыль, этот Шариф. — Странные у нас люди. Никто и не подозревает его в воровстве...

— Ваша правда! — соглашался Астанкул. — Ваша!

Мальчик делал вид, что не слышит их разговора, и плелся рядом со своими ишаками. Дорога тяжелая, да и там, на станции, не легче: приходится ругаться до хрипоты за каждый мешок с весовщиками, а потом надо искать тенистое место и, если удастся, то перекусить чего-нибудь.

— Наверняка насвайщик снюхался и с весовщиками, — предполагал Мардонкула. — Странно все это. Кто-то проливает где-то кровь, а кто-то на этом жиреет. Нет, пока бог не образумит людей сам, то никакими расстрелами их не запугаешь. А ведь каждому-то — два метра земли на могилу, вот и все. Так чего уж там старается этот насвайщик, неужели с собой хочет забрать?

— Правда, ваша правда, — соглашался Астанкул, погоняя своего осла. — А ведь он каждый год назначается начальником хирмана! Неужели нет другого человека?

— Там, где нет кошки, там правит мышка, махсум. Говорите потише, а то тут и ишаки подслушивают. Еще, чего доброго, донесут!

Прошло два дня. И восемь ишаков остались без погонщиков. Забрали Мардонкула и Астанкула. Будто бы говорили они что-то против Сталина страшное, о чем и помышлять не приведи господь... И только насвайщик победно объезжал строй своих груженных ослов.

— Я слышал! Они не говорили ничего против товарища Сталина! — доказывал мальчишка Салиму-хирманщику. Тот оглядел его молча и продолжил свою работу, наполняя мешок в руках у пацана зерном.

— Они не говорили против товарища Сталина! Я слышал! — крикнул мальчик опять. И вдруг он заплакал от бессилия и уронил мешок с зерном.

В их сторону двинулся было Шариф, но потом внезапно осадил коня и повернул обратно. Перепугавшийся Салим прошептал:

— Ты думаешь, что говоришь? Ты думаешь, такие дела делаются у всех на виду? Государство знает все. У него повсюду есть уши. И виноватых оно хоть изпод земли достанет. Запомни это!

Мальчик испуганно замолчал. Ему впервые стало страшно от сознания, что никто-никто никогда ни скажет правды, даже стоя на волосяном мосту, соединяющем рай и ад. И тогда он понял своего отца, смиренно шагавшего по предутреннему двору впереди четырех штатских, исполняющих свой долг. О, как ему хотелось кричать на весь мир!

Позже мальчик понял суть происшедшего по поведению самого начальника хирмана — Шарифа-насвайщика. Наверняка ему кто-то донес. Но кто? Кто вертелся вокруг них? Неужели этот тихоня Салим? А может быть, хохотун Хамдам? Нет, нет, ему ни до чего, кроме собственного желудка, дела нет! А может быть... Нет, наверное, все же Салим, глаза которого уж больно блудливые. И тогда он стал остерегаться Салима.

Усманов рассказывал, как люди боялись Шарифа-насвайщика. Стоило появиться в кишлаке мало-мальскому начальнику в кепке, как тут же его сопровождал по полному этикету сам Шариф. И даже Мустафакул-раис, и тот был вынужден считаться с насвайщиком. Потому и назначал каждый год начальником на обмолот, хоть и догадывался, что он приворовывает. Старухи кишлака даже сочинили приговорку о Шарифе, дескать: освободишься от собаки в день варки шурпы, от вшей и блох — в день стирки, а от Шарифа — под могильным пригорком! Старики боялись повторять такое: чего доброго, уведут и не приведут! Получалось так, что, попробуй только скажи его кошке «брысь», и ты окажешься во врагах Советской власти. Вот и выслуживались все перед ним. Как могли...

Кончился сезон обмолота. Лето уже вышло за свой круг, и в потрескавшиеся арыки упали первые искореженные листья. Начальник хирмана рассчитывался теперь с каждым из своих работников. Страдал при этом ужасно и, будь его воля, опускал бы гири не на тарелку весов, а на головы своим просителям.

Мальчик получил причитающиеся ему два пуда пшеницы и отвез их домой. Мать не могла нарадоваться и все целовала своего кормильца, который гордо пощипывал едва пробившийся пушок будущих усов. «Господи, как ты похож на своего отца! Дай бог, чтобы только не судьбой...» — плакала она.

Пришла зима. Дети не ходили в школу, поскольку износили всю свою теплую одежду и обувь. Мальчика послали работать на ферму в Тайпаксае. И тогда мать со слезами на глазах достала из сундука последний чапан и желтые замшевые сапоги отца. Шапка из овчины оказалась велика, и мать вшила в нее старую тюбетейку.

Тайпаксайская степь окружала близлежащие кишлаки и простиралась по левому берегу реки Сангзар. В снежные месяцы зимы ходить в степь было смерти подобно. В старом и низком закуте, называемом стойлом Шодибая, колхоз «Свет солнца» держал дюжину тягловых быков. За уход платили по килограмму ржаной муки в день, независимо от того, сколько человек занималось этим делом.

Атаджан довез его на своем коне до Тайпаксае. Снег шел беспрерывно. Дорога на ферму была ужасно скользкой, и у несчастного коня то и дело разъезжались все четыре ноги. Атаджан до самой фермы не переставая матерился. Навстречу приехавшим вышел продавец молока дядя Ербек. За крутой нрав и рыкающую манеру разговаривать его называли еще и Дардаром.

— Ар-р, детка-рр, я живу ар-ради тебя-рр... — так объяснялся он своему сыну Сафарали, оставшемуся без матери, а потому почти что оседлавшему своего странного отца.

Вот теперь он вышел навстречу Атаджану, который поприветствовал его и объявил:

— Вот, привез вам помощника.

— Не нужно мне никакого помощника! Хватит. И за золото не стану теперь заниматься вашими быками! — затараторил Дардар-ака. — Вот и хорошо, что привезли человека. Можете мою недельную зарплату отдать ему. Пусть он и смотрит за скотиной!

Атаджан спешился и, привязав коня к низко торчащей стропиле, вошел под навес.

— Ну и старик! Решил делать все навыворот!

— Да-да! Так и скажи своему Мустафакулу: лучше быть могильщиком, чем оставаться здесь! — не унимался старик.

— Ну останьтесь хотя бы на сегодня! А завтра я привезу еще кого-нибудь. Хотя бы друзей Каримджана! — стал упрашивать заведующий фермой.

— Нет, Атаджан! Я решил окончательно! — оборвал его Дардар.

И тогда Атаджан вдруг заорал:

— Останешься! Еще как останешься! Попробуй-ка не остаться — весь род твой стною в Сибири! Вот и будешь там свободным лесником. А то... с ними по-хорошему, так они...

Дардар мгновенно сник. Стал стирать пот с лица. Атаджан воспользовался заминкой, бросил к порогу полмешка муки и стал отвязывать коня.

— Приеду завтра, — сказал он мальчику. — Надо опасаться воров и волков, понял?

— Я подожду до завтра, — бросил ему вслед Дардар. — Но если не привезешь человека, то хоть вешай, я не останусь!

Атаджан промолчал.

— Вот сукин сын, ар-р! — выругался старик, когда всадник исчез из вида. — Вчера еще ходил на четвереньках, подтирал сопли! А теперь, видишь ли, стал ар-распорядителем Сибири? Вот те, ар-р!

И он тут же забыл о соре с начальством. Сбросил с себя чекмень и стал складывать дрова под чайник.

— Садись, сынок, попьем чаю, а-рр? А там видно будет! Государственные быки стоят. Не помрут. Если бы не таскать воду из а-р-родника, то ар-работать можно.

Он расположился на своей соломенной лежанке по правую сторону длинного навеса. Другую сторону занимали два ряда быков.

— Можешь принести два ведра воды, пока еще чай не вскипел, — предложил он мальчику. — Я уже месяц, как тут. Упросил меня председатель. Не сумел я ему отказать. Вот они и пользуются. Не знаю, что творится дома: что с коровой, с ишаком?

Остального мальчик не слышал. Он пошел за водой к роднику, вниз по склону. Дорожка была столь узка, что пронести оба ведра оказалось невозможным. Пришлось нести их в «колонку» с собой: одно впереди, одно сзади. Над родником поднимался зыбкий столб пара, сквозь который вдруг пролетела стайка птиц. «Холодно, небось, пить воду из сая, вот и летят», — подумал мальчик. Приглядевшись, он увидел, что это были келики.

Он приходил за водой несколько раз. Быки, давно не поенные ленивым стариком, припадали к ведрам огромными головами, и мальчик чувствовал, как их благо-

дарное причмокивание дарит ему первое удовлетворение от работы. Затем он стал чистить каменные ясли, заросшие мерзлыми остатками пищи, и в конце дня уже ненавидел старика Дардара, хотя тот и изготовил к вечеру отменные жареные лепешки.

Ербек-бобо женился четырежды после своей первой жены. Разумеется, он приводил вдов из других кишлаков — ведь никто из родного кишлака не стал бы выходить за него замуж. Временами этот человек был в тягость самому себе и, привычный к одиночеству, расставался с очередной женой, пока, наконец, вовсе не отказался от женского общества, считая, что пусть лучше будет пустой желудок, зато успокоятся и дух, и слух. Вот с тех пор он отворачивался при виде встречаемых женщин или, в крайнем случае, закрывал глаза в ответ на их приветствие.

Всю ночь старик рассказывал свои рычащие истории. Они пили чай у очага, выложенного из камней, сухие поленья арчи потрескивали и источали сладостный запах, и по морщинистому лицу старика Ербека бегали блики.

Ближе к полуночи послышался протяжный вой.

— Волки, — сказал старик и перевернулся на другой бок. Солома под ним зашуршала. — И каждый день одно и то же! До рассвета будут кружить вокруг фермы. Знают и то, что сюда не попадут, и то, что мы их не прогоним: нет ружья. Интересная история была в прошлом году... Мардонкул, который был здесь вместо меня, высвободил четырех быков, чтобы напугать волков, и открыл дверь. А когда вбежали два волка, он взял и захлопнул дверь. Так вот, даже те быки, которые оставались на привязи, и те сорвались и бросились на волков. Искромсали рогами в клочья. Наутро Мардонкул снял с волков шкуру, а мясо бросил в ту сторону, откуда приходили звери. И что ты думаешь? Волки, оказывается, не едят мясо волков: они зарыли его. Смотри, даже звери иногда бывают лучше людей! Их там штук пятьдесят. Правда, сытые: подбегают дохнувших овец Умирхана. Стоит мне выйти с огнем, как тут же разбегаются в разные стороны. Но ты этого не делай, когда меня завтра не будет: они чуют детей.

Мальчик дрожал от страха. Ведь волки были в метре от него — по ту сторону тоненькой деревянной стенки. Как жить после ухода старика? А что, если волки просто проломают дверь или стены? До самого утра он мучился этими страхами и никак не мог уснуть.

После полуночи вой прекратился, но стали слышны какой-то писк и шуршание. И тогда мальчик, взглядевшись в дверные щели, увидел лис, грызущих кость, оставленную волками.

... — Можешь, дитя мое, покормить быков, — произнес не раскрывая глаз старик Ербек. — А потом подчистить под ними. Эти волки, черт бы их побрал, никак не дают спать. И каждый день такое, аррр-р!

Мальчик разложил по пучку сена в каждые ясли и вышел на улицу. Он был потрясен открывшейся ему картиной: с одной стороны вздымались снежные вершины, а с другой, где-то внизу, виднелся весь Самарканд, вплоть до голубого купола гробницы Тимура.

Вставало солнце, раззолотив вершины, и мальчик подумал, что сегодня будет тепло.

В этот день Атаджан привез на смену старику Ербеку сына Насыра-кладовщика — Акрама. Этот рыжий, синеглазый парнишка был ровесником тем, кто уже воевал на фронте, но никто в кишлаке не знал, чем он занимается. Именно о нем говорил в свое время Мардонкул. Говорили, впрочем, и другие, что если понадобится, то Насыр-кладовщик самого председателя за пояс заткнет. Кто-то даже сочинил песенку:

Райком-бобо просит и ест,
Райисполком косит и ест.
Раис-бобо носит и ест,
А кладовщик — возит и ест.

— Вот теперь поезжай в кишлак и копай каждый день по четыре могилы! — со злостью заявил не остывший за ночь Атаджан старику Ербеку.

— С какой стати я буду копать четыре могилы? — всерьез удивился старик. — Какого черта ни здрастье, ни до свидания, а портишь с утра настроение? А-рр-р? Прошло твое время, поняла, ар-рарр? Что, раз ты — ферма, так теперь все тебе можно? Видали мы таких! Все, кто становились фермой, все кончили одинаково! Еще посмотрим, ар-р! — разбушевался Дардар-бобо. — С какой стати я буду копать по четыре могилы?!

— Сколько умрет от голода, столько и станешь копать. Четыре — так четыре, пять — так пять! Раз не стал заниматься быками, так и копай! — сказал Атаджан более миролюбиво.

— Ты успокойся, если я выкопаю могилу и для себя, а-рр?

— Вот здорово!— рассмеялся Атаджан.— Будешь работать без отлучки. Как и здесь.

— Ты меня не оскорбляй, сопляк, а-рр! Проклянуй!— пригрозил старик, изменившись в лице.— Я ровесник твоему отцу, а ты...

— С вами нельзя и пошутить,— перешел на «вы» Атаджан.— Сразу хватаете за глотку.

Старик молча собрал свои вещи и, забросив мешок с ржаной мукой на плечо, двинулся в путь. Шел он, как беременная женщина, выставив вперед живот.

— Погодите,— крикнул ему Атаджан.— Поедем вместе.

Ербек шел не оборачиваясь. Атаджан догнал его и заставил-таки взобраться на лошадь. Два подростка смотрели на происходящее и не знали, с чего начать разговор.

— Ну что, дружище, теперь займемся хозяйством. Сколько муки привез этот заведующий?— спросил Акрам, бросив взгляд сначала на Карима, а потом на мешок, стоящий у самой двери.— Пустой мешок, говорят, не стоит. Надо, чтобы казан кипел, тогда и работа пойдет.

Он старался казаться веселым и беспечным острячком, хотя бегающий, какой-то вороватый взгляд и тревога, написанная на его лице, выдавали истинное его состояние. Он говорил нервной скороговоркой и через слово повторял, что собирается в Сталинабад¹ на какую-то грандиозную и очень важную учебу. Акрам был года на четыре старше Карима. Мальчик хорошо понял из намеков старших, отчего сын кладовщика Насыра не в армии. Но выдавать себя он не стал.

По ночам они почти не спали из-за воя волков. Причем Акрам трусил гораздо больше, и Кариму было даже жалко его. А тот все нудил и нудил, снедаемый каким-то то ли страхом, то ли обидой:

— Наши — слабаки,— гнусавил он, ломая хворост перед очагом.— Неужели так трудно разделаться с немцами? Только отступают. Дерись, даже если насмерть! Ну, убьют одного, другой-то останется! Нет у нас хороших начальников, кроме Сталина. Будь он сам на фронте, давно бы все кончилось. Времени, наверное, нет. Но, говорят, немцы не трогают тех, кто пострадал от Советской власти. Мой дядя пострадал — выслали в Сибирь. Интересно, это засчитывается?

Потом он обещал помочь мальчику в учебе, еще бог знает в чем и посылал его за водой, а сам начинал готовить «кашу Амира Олимхона» — последнего эмира Бухары. Однажды, когда на ферму приехали представители района, Акрам вдруг пропал. Его, впрочем, никто и не спрашивал. А встретились они вновь через сорок лет, в исправительно-трудовом лагере, и вот тогда и вспомнили вместе, как некогда охраняли колхозных быков...

А тогда Атаджан повез Карима с фермы на помощь старику Ербеку — копать могилы, поскольку старик один не управлялся: много несчастных умирало от голода и от холода.

— Ты, говорят, и в этом деле не новичок,— вроде бы посочувствовал Атаджан. А мальчик думал о матери — опять будет убиваться, бедная. Но мать безропотно подчинилась приказу. Так и работал он в паре со стариком Ербеком за равную плату: килограмм ржаной муки в неделю.

Помнится, как однажды старик выступил на производственном собрании с рациональным предложением:

— Товарищ председатель! Вот мы с моим помощником выполняем свою работу как надо. Только, как вы знаете сами, скоро земля замерзнет настолько, что ее не пробьешь и ломом. Так, может быть, заготовить несколько могил сейчас...

В зале, как ни странно, засмеялись. Раис долго после этого ругал глупого старика и больше не пускал его на собрания. Но память об этом выступлении жила годы...

В один из тех дней произошло событие, которое круто повернуло жизнь Карима. Однажды он сидел на берегу Сангзора и кончиком серпа рисовал на песке сцены героических побед НАШИХ над фашистами; одну картину смывало водой — он начинал другую.

За этим занятием он не заметил, как к нему приблизились несколько конных, а среди них и председатель колхоза Мустафакул.

— Здорово, художник! — окликнул он мальчика.

Карим поздоровался с приезжими. Они тем временем рассматривали его рисунки.

— Учить бы надо парня, из него выйдет толк,— сказал один из гостей.

— Да, трудолюбивый пацан,— заметил председатель.— Сын вашего предшественника Усмана...

¹ Ныне Душанбе.

Плечистый дядя застыл на мгновение.

— Я как раз собирался послать на учебу человека. Интересно, возьмут его?— обратился он к председателю.

— Хорошо было бы. А с бычками да с могилами как-нибудь и без него управимся...

— Будешь учиться? — спросил плечистый.

Мальчик посмотрел на председателя Мустафакула.

— Он думает о матери и о сестрах,— объяснил раис.

— За них не беспокойся. Мы о них позаботимся,— сказал тот решительным, но очень добрым голосом.— Ты должен учиться!

Через два дня Карим распрощался с матерью и сестричками и, забросив на спину мешочек с сушеным творогом да толченым хлебом, поехал со слезами на глазах на колхозной арбе в районный центр...

— Я знал, что из него выйдет толк. Вот посмотрите, он еще будет райисполкомом, как и его отец,— приговаривал старик Лизач.— Только дай бог, чтобы судьбой не был на него похож...

XIII

Шариф-насвайщик работал летом начальником хирмана, а в остальное время занимался своими делами. Гнал насвай и гонял своих детей, дабы мешок с зелеными дробинками никогда не пустовал. Себя он считал непревзойденным мастером насвайных дел. А потому тех, кто не купил его продукции, он открыто презирал.

Табак для насвая он привозил из Самарканда, где приходилось торчать неделями. Люди истолковывали его долгое отсутствие по-разному: кое-кто поговаривал, что там у насвайщика есть жена-таджичка и что он пропадает у нее. Но Шариф не обращал ни на что внимания. Ни на что, кроме денег, ради которых он был готов и пострадать. «Воробей,— говаривал он,— даже и потолстев, едва ли станет вороной, так и я — разве же разбогатею на этом вонючем насвае?»

Он занашивал свои халаты до такой степени, что жене приходилось стягивать их с него чуть ли не силком, и тогда он приказывал ей шить из них одежду своим детям. Между тем, тайком от других он потчевал себя орехами и изюмом, а по четвергам — настоящим пловом и зеленым душистым чаем. А вот отказать от мерзкой привычки подбирать на улице всякую рухлядь и тащить ее в дом он никак не хотел: все старался приспособить в хозяйстве подобранную дрянь.

Но самым любимым его занятием был счет денег, когда весь дом уже спал. Волнуясь и пыхтя, он открывал свой сундук... От шороха денег он забывался, почти лишался чувств, и только пальцы проворно перебирали замусоленные бумажки. Поначалу он не подпускал к этому занятию даже свою жену, но потом, убедившись, что она не умеет считать, доверил ей ключ от сундука. И все же ему казалось, что жена, приобщившись к его тайне, не менее опасна, чем враг, этой тайны домогающийся.

Две причины заставили Шарифа переехать в город. В один из дней дети тех, кого он пересажал в далекие смутные годы, перепились на свадьбе и, возвращаясь домой, бросили его в общественную уборную снесенной им мечети, и он до утра барахтался в дерьме. Два года после того Шариф не показывался на улице. И даже насваем тоговал его сын Шакир.

А второе событие заставило его немедленно нанять машину и отправиться в Джизак вместе со всеми своими пожитками. Причиной явились все те же деньги. Бестолковая его жена положила целый пуд гранатов на сундук, в котором хранились деньги. Гранаты сгнили и протекли, и их сок испачкал купюры. Когда насвайщик открыл сундук, то чуть не помер от ужаса. Он бил жену, но деньги от этого не сохли. Пришлось разложить драгоценные бумажки по всему дому, а к утру, дабы не видели враги, он завернул их в молитвенный коврик и вышел из дому.

Изрядно запыхавшись и вспотев, он забрался на Кургантепу. Наверху могла бы разместиться целая отара, и эта мысль заставила Шарифа боязливо обойти площадку по кругу. Наконец, убедившись, что здесь нет ни души, он осторожно развернул коврик и стал раскладывать деньги по траве. Сначала сотки, потом пятидесятки, червонцы и т. д. На каждую не поленился приспособить камушки. Он вспотел за этим делом и, отойдя в сторонку, с облегчением отдышался. Господи, как он добывал эти деньги! Ни днем, ни ночью ему не было покоя. Скольких людей ублаgotворил, скольким дал блаженство! А ведь отнюдь не просто сидеть целыми днями над этим вонючем насваем, дышать его ядовитыми испарениями и заглядывать в глаза каждому прохожему! А деньги? Разве не копил их ради счастья и завтрашнего дня своих детей? Хотя им, честно говоря, лучше расти в нужде, будут ценить

копейку, а иначе как? Ведь деньги — ключ к счастью. Звенят монетки, смотришь — и друг тебя уважает, и враг тебя боится. И ума ни у кого не занимаешь, живешь своим собственным. Вот он прожил шестьдесят лет — и что же? Разве кто-то ему подсказывал, как жить? Даже когда он извещал органы в те самые смутные времена? Он делал все по совести, ради государства. Он так и считал, что наверно спустили план по арестам, и что его надо выполнять, как следует выполнять план на хирмане.

Так он сидел над своими деньгами и вспоминал о прошлом житье-бытье...

Разомлев на утреннем солнышке, он было задремал, но вдруг вскочил от ужаса: поднявшийся ветер вдруг взметнул его разложенные деньги и понес вниз, к могилам. Он бросился наперерез, замахал руками, потом свалился на землю, где лежали сторублевки, и распластался на них, покрывая собой пространство, насколько хватало рук и ног. Он боялся пошевелиться, потому что от этого могла улететь еще одна бумажка, и вдруг, не выдержав напряжения, разрыдался. Ветер постепенно стих, и он посмотрел себе под ноги. Там сплошь лежали пятерки да трешки. И тогда он взвыл.

Потом он запикивал в каком-то сумасшедшем неистовстве оставшееся по карманам и, очистив землю, бросился за ветром, подбирая то здесь, то там редкие бумажки. Он не нашел и трети утерянного.

Неделю после этого старик лежал дома, не подымаясь. Тем временем люди говорили, что с Кургантепе ветер принес деньги, и дети подбирали на улице то сотку, то пятерку, то трешку. Кто-то подался на кладбище искать остатки растерзанного ветромклада. Все знали, что это деньги Шарифа, но никто об этом не обмолвился ни словом.

Немного погода Шариф переехал в город.

XIV

Усманов кончил свой рассказ и обессиленно устался в потолок. Две струйки пота стекали по его вискам и пропадали в седых коротких волосах. Я протянул ему пиалку остывшего чаю, и он приложил ее дрожащими руками к губам. Мне было невероятно жалко его еще и потому, что наслышался я о нем всякого...И как все это было далеко от истины.

Я пожелал ему спокойной ночи и вышел. Не помню, сколько часов он рассказывал истории своей и чужих жизней, но впечатления от этих историй не вмещались в мое сознание. Я глядел на блестящие, как усы Шарифа-насвайщика, листья айвы и думал о своих земляках. Так уж ведется, что стоит кому-нибудь из кишлака обрести в этой жизни кое-какую власть, как все надежды его земляков сходятся на нем. Больше того, его имя используется ловкими соседями направо и налево и не всегда в праведных делах. Кроме того, бесконечные просьбы о помощи. Никому не по силам было бы выполнить их все, а отсюда недалеко и до всеобщего порицания этого лица со стороны тех, кто безуспешно надеялся на него.

Усманов рассказывал о том, как, будучи первым секретарем, он однажды встретил в Самарканде Эгамберди-бобо с сыном.

— Сделай сына человеком, Каримджан. И да воздастся тебе если не от меня, так от Бога! — обратился к нему давно уже сгорбленный старик.

Он не смел отказать старику. Помог мальчику поступить в сельхозинститут. По окончании добился того, что паренька оставили в аспирантуре. А когда однажды приехал в родной кишлак, то услышал от своей сестры Ойнисы, что сын Эгамберди — Арслан — взял с ее мужа три тысячи рублей за устройство их сына в сельхозинститут. Арслан объяснял это тем, что, дескать, для встреч гостей Усманова, да и для его расходов приходится устраивать в год по пять-шесть человек на тех же условиях. Он ничего не сделал новоявленному нуворишу, но жене запретил приглашать земляка в дом. Да и что он мог с ним сделать, если все поступали так же, и призывать их к порядку не было никакого смысла. Он скорбел лишь по своему добросердечию.

Я ходил по саду, а в ушах все звучал голос Усманова, повествующего о своей нелегкой жизни.

Уехав из кишлака, он поступил в зооветеринарный техникум, впоследствии учился в сельхозхозяйственной Академии в Москве. Трудно было в студенческие годы. Приходилось потихоньку от своей будущей жены Раъно бегать на товарную станцию, разгружать вагоны и зарабатывать хоть какие-то деньги, которые можно было бы отправлять матери и сестричкам. А однажды Раъно поймала его. Она просидела рядом с вахтершей всю ночь и дождалась его утреннего возвращения с мешком картошки за спиной. Поначалу Раъно не поняла, откуда он идет, настолько грязна была его одежда. Да и Карим оцепенел, потеряв дар речи.

Вахтерша что-то буркнула и перевернулась на другой бок.

Они поднялись в комнату молча.

— Я сейчас один, — сказал Карим. — Идемте ко мне.

В комнате, где он переоделся, Раъно взялась было за его одежду, чтобы постирать, но он устало пробормотал: — Я сам постираю.

С тех пор в часы его ночных absentий Раъно не спала и дожидалась его возвращения, чтобы постирать и погладить одежду своего нареченного.

А ведь самое счастливое было это время...

Время встречи двух влюбленных, двух ангельски чистых существ. Нет, нельзя быть в жизни столь простым и доверчивым. Ведь такие кончают унижениями и откровенностью, думал он впоследствии. И даже гении, сохраняющие непорочность своей души всю жизнь, и те беззащитны перед злом. Вспомните Моцарта или Цветаеву...

Он стеснялся девушек из-за своего бедного одеяния и душевной ущемленности. Он помнит, как при первой встрече с Раъно не мог найти слов, самых простых и обычных, естественных, как дыхание, которое вдруг запропастилось бог знает в какие глубины. Они ехали в одном купе — в Москву. Надо было о чем-то говорить, надо было преодолеть эту жалость к себе и человеку, что жметя напротив, и тогда он впервые подумал, что любовь, может быть, и есть эта жалость. Раъно была воспитанницей детского дома и никогда не знала ни жалости, ни ласки. И вот теперь...

Они прожили целую жизнь, прожили вместе...

Многим они помогали в этой жизни. Но едва ли один из сотни припомнит теперь эту помощь. Да, наверное, и не в этом вовсе дело. Человеку всегда кажется, что вершина, на которую он чуть ли не полз еще вчера, сегодня превратилась в пустырь под ногами, и только оттуда, от подножья, вершина опять покажется вершиной.

Потому Усманов на исходе жизни шел к вершинам. Он не посещал теперь свадьбы и торжества, где в пьяном угаре легкомысленных песенок люди не помнили ни прошлого, ни будущего, где ложь соседствовала с лестью, а лесть с новой ложью. Он уходил теперь к горам и плакал, зная, что через пять-шесть лет ему не дано будет смотреть на эти горы, вызывающие нестерпимую жалость к утраченной жизни, короткой, как полет птицы. Он плакал и думал теперь о травах, в которые обращается душа, о камнях, в которые облачается сердце... Он возвращался домой, и жена не решалась потревожить его. Дни шли тяжело. Как орел, который из-за старости не брезгует охотиться на мышей, так и он радовался теперь маленьким происшествиям, каким-то значительным словам. Он стал сентиментальным и, получая письма от своего сына из Ташкента или от дочери из Самарканда, то и дело плакал от переполнявших его чувств и лишь после этого получал облегчение.

Он постоянно вспоминал свою жизнь. Она текла у него перед глазами словно на киноленте, и он показал себе не постановщиком, нет, но неким художником-неумейкой, набросавшим какой-то мертвый рисунок или схему. И раз за разом он спрашивал себя: «Отчего же я отчужден от собственной жизни, бегущей параллельно, не пересекаясь со мной?»

Несчастье обездоленной старости тяжелым бременем легло на его обессиленные плечи. И ловкая жена его незаметно перешивала ночами костюмы, чтобы статный еще недавно Усманов не замечал происходящего с ним. А он между тем часто думал: «Неужели я и прежде был таким тощим?»

Теперь он жил в десяти километрах от родного кишлака, в районном центре, приобретя здесь недорогой дом. С родным кишлаком его ничто уже не связывало, да и дом, в котором он родился, был давно уже снесен. Бесконечные массовые переезды молодежи на освоение Голодной степи обескровили кишлак, и в нем остались теперь лишь старики. И кишлак Сутлибулак мало-помалу терял свой прежний зеленый облик: седел и зарастал степной травой. Люди оставались без воды: восемь мельниц, работавших прежде на воде сая, теперь превратились в место привязи ишаков.

Однажды, прогуливаясь вдоль бывшей речки, Усманов зашел к реабилитированному в конце пятидесятых годов Атакулу. Тот его поначалу не узнал, но когда Карим Усманович назвал свое имя и припомнил работу на хирмане, Атакул воскликнул:

— Э-э, да, да, Карим, который был обкомом?

— Да.

— О господи! Сон это или явь? Проходите, проходите, Каримджан. Ну-ка, давайте обнимемся, сынок! Когда нам еще придется увидеться... — Атакул прослезился. Расчувствовался и Усманов.

— Я знал, что когда-нибудь вы обязательно придете. Я ждал вас, — прохрипел сдавленным горлом Атакул. — Я виделся с вашим отцом, покойным Усманджаном,

там. И вот думал рассказать вам об этом. Но вы были на коне и забыли и свой кишлак и нас. Видите, в каком теперь он состоянии! Думаю, что стоило вам тогда только взглянуть в эту сторону, как районные начальники зашевелились бы. Как-никак, пуповину вашу резали здесь... Но вы не обижайтесь на стариковские упреки. Просто обидно смотреть. Да, я знаю, что и вам пришлось несладко. Но что поделаешь, человек человеку, говорят, волк. Так теперь стали говорить... Наверное, от сытости. Впрочем, плюньте на все это...

Атакул был прав. Усманов отхлебнул чаю и кивнул в знак согласия головой.

— Три дня я жил с Усманджаном. Я рассказал ему о вас, о том, что вы уже, как взрослый, работаете на хирмане. Как он радовался. А свел нас врач-азербайджанец. Помню, я говорю, а он буквально ловит каждое мое слово. А было нас в то время в подвале человек сто. Спали только на боку. Иначе не все бы улеглись. По команде переворачивались на другой бок. Был среди нас и писатель Абдулла Кадыри. Никогда не видел столь богоподобного человека. А я, неуч, тогда не знал, кто это такой! Люди целовали ему руки. Помню, когда его больного, а заболел он какой-то болезнью, которая называлась пилатра, уводили от нас, он обернулся к одному из нас и протянул кусок мыла:

— Вот, я у вас брал как-то махорку.

Все радовались его уходу. Думали, освобождают. Кто-то даже сказал:— Ну вот, Абдулла-ака, приедете домой, не забываете нас!

— Вряд ли домой...— ответил он печальным голосом.

Вот это сила, вот это воля. Ведь он, оказывается, шел на смерть! Как его любили люди в подвале. Каждый бы отдал за него жизнь! А как они сдружились с Усманджаном! Не расставались. Читали друг другу газели, что-то писали. А вечером того же дня увели и вашего отца. Через неделю еще сорок человек, и меня в том числе, погрузили в эшелон и отправили в Сибирь. Двенадцать лет я пробыл там. Уже потерял надежду на возвращение. Но вот, видите, не судьба, значит, была умереть! Правда, до сих пор просыпаюсь по ночам и не верю, что я дома... Хорошо, что теперь по старости не все помню, а то голова трещала бы от воспоминаний. До сих пор не могу понять, что я там делал,— бродил, как собака, целых двенадцать лет?! А потом вспоминаю, что Мардонкул не вернулся вовсе, и начинаю укорять себя в неблагодарности.

Когда был там, то все думал: вот вернусь и прирежу проклятого Шарифанасвайщика, да к старости человек становится, оказывается, трусом. Рука не поднялась. Да и сидеть в тюрьме надоело. И даже Салима, который доносил насвайщику за полпуда ржи в неделю, не стал трогать... Попробуй тронь, как тут же впихнут тебя за решетку, хоть тот в пять раз хуже фашиста... Да, я хотел вам еще сказать вот что... Если даже не перевезете прах вашего отца, то хоть памятник какой-нибудь поставьте. Пусть не пропадет его имя!..

После смерти Сталина и массовой реабилитации Усманов и впрямь рылся в архивах, отыскивая документы, касающиеся судьбы его отца. Узнал, что отец погиб в Сибири. Но места захоронения не нашел. И теперь по совету Атакула он привез из Сибири горсть земли и установил памятник отцу рядом с могилой матери.

Узнав историю ареста отца, Усманов долгое время не мог прийти в себя. Оказывается, тот выступал на одном из совещаний с критикой того, что дехкане для выполнения плана по сдаче хлопка вынуждены распарывать ватные одеяла...

Атакул прожил недолго после той встречи. Но каждую неделю до его смерти Усманов заходил к нему, и они без усталости вспоминали прошлое. В последний приход Усманова старик сказал ему очень важные слова.

— Каримбай, дорогой, еще придет время, когда к вам опять вернется сила, когда станут прислушиваться к вашим словам в области... Скажите им, чтобы вернули нам воду в кишлак, восстановили трубу. А то живем у гор, а как в степи! Куда это годится? Так и люди разбегутся... А без людей и горы не живут. И кладбище превратится в развалины... Разве можно умирать с такими мыслями? — пошутил он печально.

Атакул поднял голову и увидел, что Каримбай плачет, как ребенок. Старик подумал: был таким вельможей, а совести не потерял.

— Сегодня полнолуние,— прошептал он сухими губами.— И жизнь моя исполнилась. Я долго ждал этого дня. И там, в холодных чужих краях, и здесь. Сегодня родится новый месяц. А я не вернусь. Все...

Когда полная луна поднялась в зенит и стала спускаться к западу, старик подошел к себе сына и сказал свое последнее слово:

— Положите меня в могилу головой не к Мекке, а к Айкору, к солнцу...— И вдруг голова его резко откинулась набок и рука бессильно повисла. Луна на мгновение скрылась за тучей, но тут же вынырнула снова, и свет ее упал на снега Айкора и осветил весь кишлак.

— Долго вы гуляли, сынок. Устали, наверное? Уже светает, а вы так и не спали. Трудно вам, корреспондентам. Люди, вон, не могут и две строчки написать, а вы...— Так встретил меня сторож Эшмурод-ака, наверняка и сам всю ночь охранявший покой приезжего начальства.— Это мы, старики, можем не спать и все равно поутру плестись по своим делам. А вам, молодым, надо отдыхать по ночам!

— Что-то сон пропал,— оправдывался я, разглядывая шрам на лице Эшмурода.

— Усманов, видать, открылся вам? Знал я его бедного покойного отца. Славным был человеком. Смелым. Но смотрите, как оказались они схожи судьбами. А ведь во всей округе единственный совестливый и честный человек — это Каримджан. Два года, как езжу к ним по весне и занимаюсь чеканкой их виноградников. Вот и костюм на мне от них. И шапку дорогую подарили. К старости такие люди раздают все и остаются без единого гроша.

— Говорят, у Усмана Юсупова после смерти нашли в кармане всего-навсего тридцать три рубля, — вспомнил я к слову.— И когда явились дети и востребовали наследство, оказалось, что кроме этих тридцати трех рублей, ничего и нет.

— Вах, судьба! — воскликнул сторож, хватаясь за воротник.— Вот это да! Неужто ни кола, ни двора?

— Откуда?! всю жизнь жил в государственных домах. А умер в тугаях, под навесом на железной кровати. Но между тем, он даже с Хрущевым не церемонился! Смелый был человек! Вот так, дядя Эшмурод. А трус, он и должен шею гнуть.

— Об-бо, сынок, а вы себе на уме! Ну хорошо, а что вы скажете о наших сегодняшних руководителях? — спросил, хитро подмигивая, сторож.

— У нас не принято оценивать работу руководителей, пока они сидят на должности. Мы привыкли и подлеца, сидящего над нами, считать святым. Нет иного света в нашем окне. Если говорить более понятным языком, то у нас становится руководителем тот, кто не умеет делать ничего полезного. Не подумайте, что я говорю что-то против власти. Странно, но те, кто и впрямь умеют что-то делать и делают это — они становятся жертвами в первую очередь. Возьмите Абдуллу Кадыри, Чулпана, Фитрата и многих других... Ведь их убирают с дороги именно те, для кого народ — лишь средство для достижения личного благополучия! Вот вы, вы прошли войну, страдали, неужели вы не чувствуете этой несправедливости?!

Я дрожал от волнения. Дядя Эшмурод, казалось, вдруг почувствовал себя виноватым и молчал, безвольно свесив руки.

— Да, сынок, расцарапали вы мне раны! — заговорил он чуть погодя.— Я ведь иногда грешным делом подумываю, почему я не умер в то время, по крайней мере не видел бы этих безобразий. Живешь долго, наблюдений накапливается много. Идемте, поговорим! — И он повел меня в комнату. Усталость и впрямь уже подкашивала мои ноги, и почувствовавший это Эшмурод-ака решил предоставить мне отдельную комнату.

— Хотите,— говорил он на ходу,— могу разместить вас в комнате-люкс.— А потом прибавил:— В этой комнате отдыхает лишь первое лицо...

— Уж лучше бы вместе, заодно и поговорили бы,— слабо возразил я.

— Рядом со мной обычно спят шофера, прислуга... А вы же приехали из города... Как-то неуважительно! Директор завтра станет меня отчитывать.

Он расстелил мне белоснежную постель, и я, расчувствовавшись, признался:

— Когда я бываю дома, то сплю рядом с отцом. Он тоже сторож, только полевой.

Эшмурод-ака посмотрел на меня внимательным, каким-то говорящим взглядом. Трудно было выдержать этот взгляд.

У Эшмурода-сторожа было прозвище — Партизан. Живучая людская память хранила это прозвище Эшмурода со дня его возвращения в кишлак после окончания войны. «Партизан!» — орали с восторгом мальчишки. «Партизан», — говорили почтительно взрослые... Вот так и остался он на всю жизнь Партизаном. А в прошлом году на день Победы я написал об Эшмуроде-партизани очерк. Может быть, поэтому он почувствовал сейчас ко мне некоторое доверие.

А о Партизани ходили легенды. В прошлом году, после очерка, меня вызвали в райком и стали отчитывать за несогласованную публикацию. Оказывается, Эшмурод-партизан сказал где-то: «Я бы всех ваших райкомовских и райисполкомовских взяточников провел бы нагишом перед памятником Ленину!»

— Здорово сказано, почти как у Маяковского! — восхитился я тогда в присутствии третьего секретаря райкома товарища Акрамовой. — Вот вы меня отчитываете за очерк, а сами двух слов не напишете, речи свои читаете с бумажками. Зато вы тщательно редактируете то, в чем ничего ни смыслите. Вы так въедаетесь в эту работу, что если бы энергию, затраченную на нее, направить в обороты, скажем,

маховика, то машина, запущенная вами, крутилась бы бесконечно, как лист бумаги с вашей подписью. И я думаю, что люди запомнят вас именно такой. Разрешите посочувствовать вам...

Она, я видел, не совсем поняла меня, но безукоризненным нюхом почуяла какую-то опасность, таящуюся в этих нелепых словах, а потому тут же прекратила дискуссию, считая меня видимо конченным человеком.

Так вот, Эшмурод был на войне снайпером. Потом долгое время партизанил. Это, впрочем, наложило свой отпечаток и на его поведение, и на манеру разговаривать.

— На войне, — рассуждал он, — совсем не как в книжках. Забываешь обо всем и помнишь только о смерти. Святое чувство, очищающее. И если хочешь, чтобы не убили тебя, убивай как можно больше тех, кто это может сделать с тобой. И все!

Вот такая вот философия была у старого солдата. А вообще Эшмурод-партизан не любил рассказывать о войне, потому что ему казалось, что от него ждут не тех историй, какие знал он. А врать не хотел. Но вспоминал эти дни часто — и всегда убитых и раненых, искалеченных и униженных, тех, кому не досталось на этой земле ни женской ласки, ни расцветшего счастья, ни девичьей улыбки, ни детского смеха.

Эшмурод-партизан не очень стеснялся выражать свои чувства, а потому однажды хорошо отделал приехавшего к нему строгого дядю. «Ты меня лучше не тронь, — спокойно сказал ему бывший фронтовик, — я видел множество таких, как ты, — гладеньких патриотов. Так вот, когда тебе, с твоим ошейником под воротником, понадобится помощь, зови меня, я помогу!» Так и ушел начальник, распространяя слух, что у Партизана не все в порядке с головой.

... — Эх, сейчас бы ввести военные порядки! — вздохнул старик. — Дехканин двумя килограммами мяса кормится целый месяц, а здесь за раз съедают по барану. На базаре его тоже не очень купишь — восемь рублей за кило. А получает дехканин... Впрочем, что я зря языком мелю... Вы все это знаете лучше меня. Вот скажите, сколько получает ваш отец?

— Восемьдесят, — сказал я, и в горле запершило от этого слова.

— А сколько вас душ?

— Всего одиннадцать.

— Мать наверняка не работает?

— Да, не работает.

— Ну вот. На эти восемьдесят рублей он должен растить, одевать, обувать, обучать вас, не так ли?

— Да!

— Ну вот! Все вы понимаете. А теперь считайте! Тяните хоть вдоль, хоть поперек! Ну что, хватает?! И что же делать? Учить детей за деньги, которых нет? Так не лучше ли, чтобы он чуть ли не с детских лет становился рядом и начинал махать кетменем?! Вот вам и обучение! А учится кто? Учится сын вора и взяточника. Учится, чтобы стать таким же вором и взяточником! Вот наш сосед из заготконторы устроил своего сына учиться. Тот отучился, приехал, проработал полгода учителем. Смотрит, никакого навару. Опять поступил учиться. Теперь на юрфак. Будет защищать закон! — Партизан уже горячился и рубил направо и налево. Да так, что мне стало стыдно за свое высшее послепастушье образование.

Усталость между тем брала свое, я уже не мог разлепить глаз, но даже сквозь сон отчетливо услышал гневные слова сторожа:

— Жалко этот сад, а то бы давно ушел, куда глаза глядят! Да и сад уже загадили своими банкетами. Хвала аллаху, половина господ уехала кутить на дачу в Дуланасай! Хуже фашистов, ей-богу! С фашистами все ясно, а с этими — не знаешь, с какой стороны подобраться. Того и гляди, сам окажешься в дураках и врагах народа!

Уже совсем рассвело. Сквозь смежившиеся веки я увидел, как разъяренный сторож сплонул на ковер и вышел на улицу. Какие-то дикие образы постепенно овладевали моим отключившимся сознанием. То ли во сне, то ли наяву я видел множество чудовищ, которые молились друг на друга и возносили благодарение небу. Кто-то кому-то пихал в карманы взятки; гигантский паук сновал по своим тенетам, потом вдруг сорвался и стал тонуть в болоте, захватывая своими паучьими лапами все и вся вокруг. Зеленые мухи кружились вокруг гниющих с головы рыб. Дураки лезли на головы мудрецов, спасаясь от поглощающей бездны болота...

«Что же я хотел сказать? — мучительно вспоминал я... — Что же я хотел сказать?»

— Что я вам хочу сказать еще... — раздался вдруг голос сторожа, вернувшегося в комнату. — От вас веет духом Усманова. Будьте осторожны. Люди не любят правды. По их мнению, лучше есть неправедный хлеб, чем умирать от нагой истины. Не забывайте этого. Как-никак, я прожил подольше вашего и износил на несколько

рубашек больше. Нельзя никому верить. Каждый готов продать и предать тебя. Таков, наверное, мир. Зло хлынуло через край. И как бы нас всех не затопило...

XVI

... — Но вы ведь сами участник всего, о чем вы рассказываете! — заметил я своему собеседнику. — И если это все раскроется, то, стало быть, и вы ответите со всеми наравне!

Шакир Шарипов пласивым голосом прервал мои размышления:

— Я рассказал это, чтобы облегчить ваш труд. Вы припугните ее и призовите к порядку, вей! Мне кажется, у вас получится. Вы честный и порядочный человек. Если понадобится, я за вас хоть в петлю и горло любому перегрызу. Давайте побратаемся! Если хотите, на крови! Вы помогите мне, а я всю жизнь буду в вашем услужении! Вы добрый и искренний человек! Но и мы многое видели на свете. Мы из тех коней, которые тянут овес не из яслей, а с поля. Любой улак¹ берем с ходу. И будем брать. Лишь бы вы болели за нас! Говорят, не хлещи плетью по крупу скакуна! Обидно, если какая-нибудь мелочь собьет с дистанции. А все, что вы сказали, останется, разумеется, между нами. Помогите, ради бога! Пусть сохранится наша советская семья! Как вспомню пятерых детей, так мир кажется тесным. Если есть возможность, то пусть переговорит с этой стервой ваш начальник! Объясните ему сами, она боится авторитетов. Но должность не дается навек, верно, сегодня — вы, завтра — мы. Так ведь? Чем мы хуже тех, кто опрокидывается на заднее сиденье «Волги» и глазеет на баб? Голос — не ум, но и не дурак! Я ведь кончал юрфак. Самое главное — делать друг другу добро...

Он так и сыпал, так и сыпал словами, как овца сыплет горошины своего помета. Назвал меня журналистом-гуманистом, оповестил о своих связях с милицией, пожаловался на испортившиеся нравы и еще бог знает на что.

Наконец он откинулся на спинку дивана и вытер мокрым платком вспотевшую шею. Привычным жестом прикрыл лысину пучком волос, и тут я невольно вспомнил историю, рассказанную одним из руководителей области, брат которого работал водителем у председателя облисполкома Ахтамова.

...Однажды Шарипов, выехавший на «гастроли» в соседнюю область, к утру неожиданно вернулся домой. Видит, стол в гостиной завален всякими яствами. Бутылка «Наполеона» скатилась к видеоманитофону, где все еще мелькали кадры порнофильма.

Услышав шаги мужа, Рахимахон вошла полуголая и полупьяная в гостиную. Муж схватил пустую бутылку и бросился было на нее, но жена, приложив пальчик к губам, прошипела:

— Тихо! Икрам Ахтамович!

Шарипов тут же осекся и, услышав храп начальника, заглянул остороженько в спальню.

— Почему его ноги раскрыты?! — воскликнул он, негодуя. — Неужели не могла прикрыть?!

— Сейчас, — ответила Рахимахон и исчезла в спальне до следующего полудня. Шарипов долго думал, что же ему делать в пустом зале и, наконец, порывшись в кармане руководительского пиджака, достал оттуда пятидесятирублевку и с чистой совестью испарился на целый день...

— Не могу терпеть! Устал жить! Боюсь, что наложу на себя руки! Слышите? Помогите! — продолжал канючить начальник, прикрыв свои пухлые веки.

— Успокойтесь. Умереть всегда успеете, — оборвал я его не очень вежливо. — Дайте изучить вопрос, вынести суждение, а потом уже поговорим. Я позвоню вам в филармонию.

— Вы там меня не найдете.

— Почему?

— Я там не работаю...

— А где же вы работаете?

— Не спрашивайте, братишка...

— Не понимаю.

— На комбинате стройматериалов. Прохожу обязательную повинность на керамзитобетонном заводе.

— Ах, вон оно что... Так за что же?

— Я вас прошу, не спрашивайте, дорогой мой. Какой из меня рабочий?! Видите

¹ Козел на козлодранин.

сами. Так себе. Подо мной машина, езжу с начальством по чайханам. Дело в том, что в свое время я им немного послужил. Вот и воздаётся теперь. Ничего, и эти дни пройдут. Шрам, говорят, останется под тубетейкой. Я дал оплеуху этому «гастро-леру», а мне дали два года. Вот такая история. А эта шляха клюет зернышки и с прокурором. И я им мешаю. Вот и успокоили меня. Но я им еще устрою. Доберусь до Москвы. До журнала «Человек и закон»! Я покажу, как сажать отца пятерых детей!

Он еще долго опорожнял свое нутро, как на сеансе психотерапии: безо всякой логики и системы проклинал ее, увещевал меня, угрожал кому-то, жалел себя, вспоминал пословицы и науськивал редакцию.

— Но будьте осторожны, она все власти держит на приколе за счет... Но это между нами. Говорите с ней при свидетелях... Я прогрессивный, думающий человек, и я ее прощал до сих пор. Я даже плакал вместе с ней, когда она рыдала по ночам, вторившись в одну из новых знаменитостей. Да, вей. Я сам вожу ее туда, куда она просит, сижу до утра под дверью и сторожу, а потом везу домой, укладываю в постель и кружусь вокруг нее то с молоком, то с таблеткой... Да где она, вей, найдет второго такого мужа?! Где же справедливость-то, а?! Я готов простить ей и теперь, слышите, что же мне еще делать?!

Он опять откинулся на спинку дивана и, трагически прикрыв глаза, стал следить за мной из-под опущенных век.

— С сердцем плохо. Я перенес микроинфаркт. Правда, доктора все путают, говорят, что от частых выпивок. Какие выпивки? Выбивки! Это она выбивает меня из колеи. И подлечиться негде. Врачи хуже милиции. Кровать в больнице — пятьдесят рублей. Правда, в Ташкенте, говорят, — все сто, а в Москве... Дороже, чем в вытрезвителе. А за лекарства платишь по отдельному счету. Сам платил за племянника. И как я не потерял еще охоту к жизни? Говорят же, что и на краю могилы растет надежда. Вот, наверное, потому я и живу. Но ничего, братишка, будет праздник и на нашей улице! А, вей?

— Ну хорошо, созвонимся, — закончил я сеанс. — Где-нибудь через неделю.

— Как скажете, братишка. Ваши слова для меня — закон. Но все же, прошу вас, держитесь с ней постороже, посолиднее, иначе тут же сядет на шею, — сказал он у самых дверей. — А то отобедали бы вместе. На «Лысой горе» есть отличный ресторанчик, где делают пашлык из свежайшей баранины, а? И начальника захватим...

— Спасибо, как-нибудь в другой раз, — ответил я от имени редакции.

— Но если случится какая надобность, говорите, не стесняйтесь.

— Спасибо. Если понадобится ваша помощь, то непременно сообщу.

Я, к удивлению своему, находил в себе еще огромные залежи дипломатичности и терпения.

— Ну, будьте здоровы. Было одно задание от Акбара Хакимовича, поеду исполню. Ну ладно...

И он, наконец, ушел.

Я сидел, забрызганный его словами, как ядовитой пеной, и не мог подняться. Потом насилу встал и распахнул окно. Стоял знойный полдень, пульсирующий от стука редакционной машинки, и издали доносилась игривая песенка:

Лаълихон, скажи мне, где пасти твоих овец?

Я на губах твоих лушу фисташки, как птенец...

Я глядел на улицу, и улица казалась бессмысленной, поскольку по ней не шел тот единственный, нужный человек. Шло множество людей, и каждый был похож на другого в своей бессмысленности, в своей тщетной спешке, в своей полуденной беготне. Но... останься улица без людей, и мне станет горько без этого мельтешения, дающего тень раскаленной земле, тень мгновенного успокоения и отдохновения...

Я мечтал работать в областной газете. Ее работники казались мне, тогда еще районному газетчику, людьми совершенно другого масштаба, недостижимыми и величественными, воплощением чего-то возвышенного и справедливого.

Но вот я стал областным газетчиком и тут же ощутил неудобства иного порядка. С первого же дня меня невзлюбил замредактора Кушшаев. «Где тебя, такого, выкопали?» — так и читалось в его курином взгляде, и он был готов заклевать меня лишь за то, что я не такой же, как он, что я моложе, что я жадный до жизни, что я бесшабашный. Было ясно, что с ним мы никогда не найдем общего языка.

Тогда уже вышли из моды расклешенные брюки и бакенбарды, но, поскольку других штанов у меня не было, я все еще «подметал бульвары». Да и зима выдалась такая, что длинные волосы вкуче с баками спасали от менингита.

— В редакции не могут работать пижоны. Приведите себя в порядок! — кричал он своим истеричным, каким-то бабьим голосом. — Вы работаете не где-нибудь,

а в областной газете! Это вам не районная настенная ваша печать, где дуи себе из бюллетеня УзТАГа или крути радио!

Первый раунд я проиграл. Я не был готов к такому разбойничьему налету. Пришлось склонить повинно лохматую голову и выйти. Затем началась долгая окопная война, когда в каждой информашке или заметке он убивал мои «но» и вводил свои «однако», «и» менял на «а также». Впрочем, линия его фронта, оказывается, была значительно длиннее моей, поскольку он устраивал эти битвы почти всем сотрудникам редакции. И только хитрец Шакиров изучил его язык в совершенстве, да грозный Норматов все угрожал «вторым фронтом».

С первого же дня Кушшаев жил одной мыслью сделать мой грядущий день в редакции последним, и это нескрываяемо явствовало из его ядовитых зеленых глаз, обрамленных многострочными морщинами. И только Джабиров спасал меня тем, что забирал материалы со стола своего ретивого заместителя и явочным порядком отправлял их в набор. От злости Кушшаев чуть не выл и считал меня человеком Джабирова. Наверняка в своем благородном рвении он решил разрубить все клубки редакционных отношений и с некоторых пор стал ночевать в редакции.

Однажды я вернулся из командировки в два часа ночи. Спрыгнул с попутки возле редакции, увидя, что одно из окон редакции светится. Свет лился из кабинета Кушшаева. «Прекрасно! — подумал я. — Подпишу командировочные и завтра же получу деньги!» Я вошел в коридор и вдруг услышал, что Кушшаев говорит по телефону. Дело в том, что прежде он жил в соседней области и, видимо, жена не согласилась съезжать с насиженного места. Теперь он уговаривал ее:

— Я не могу жить здесь без вас, Санобархон! Видели бы вы наш новый дом. Рядышком с обкомом, живет в нем только руководящий состав, дом построен по специальному проекту и представляет собой незабываемое зрелище... — После третьей фразы он, как обычно, сбился на свой газетный язык. — Четыре комнаты, обширная лоджия. Кухня размером с комнату, в которой вы живете. Рядом с домом детский сад, школа, словом, весь комплекс социально-бытовых услуг. Я обещаю вам, что здесь не будет никаких проблем, я уже договорился с хоздвором обкома относительно питания...

Странно, я чувствовал себя неловко, но продолжал идти по длинному коридору, теперь уже профессионально вслушиваясь в нелепый разговор.

— Я готов просить прощения за все неувязки в нашей жизни и обещаю посвятить ее оставшуюся часть вам, детям и делу народа! Я прошу вас, Санобар! Ведь дети...

Он уже плакал и шмыгал носом.

— В пятницу приеду ночным поездом. Я скучаю по вас, — сказал он почти игривым голосом. Видимо, жена ляпнула нечто вроде: «Вы ведь были только что на прошлой неделе!» Кушшаев укоризненно запрочитал:

— Что, уже не хотите видеть и раз в неделю? Ладно, вы можете жить без меня. Но я без вас не могу, знайте это! Если вы настаиваете, то я могу вернуться и устроиться простым чернорабочим...

Ну уж этого не вытерпел и я, а потому резко повернулся и вышел во двор. Прогулявшись, я вернулся обратно и постучался в его дверь:

— Простите, можно?

Он дремал в кресле и, увидев меня, изумился, как святому явлению. Я приблизился к нему, чтобы показать себя во весь рост.

— Так это вы стучали дверью в коридоре? — спросил он хмуро.

— Да, я. Я услышал, что вы разговариваете по телефону и вышел. Распишитесь, пожалуйста. Задание я выполнил, завтра до обеда дам материал.

— Рабочий день не до трех часов ночи! — воскликнул он и отбросил протянутые ему бумаги. — Принесите завтра!

Бумаги разлетелись по комнате. Я на миг растерялся. А потом развернулся, прикрыл за собой дверь и стал надвигаться на него. Он нелепо улыбался, дескать, не понимаете, что ли, шуток? Но меня уже было не остановить. Я схватил его за голову и несколько раз приложил ее к голландской печи за его спиной. Обычно, когда я расхожусь, то уши мои гложут. Не помню, что он кричал. И даже не почувствовал, что он расцарапал мне лицо. И только когда голова его бессильно свесилась набок, я оставил его в кресле, а сам уселся напротив, ожидая дальнейших событий. Он пришел в себя и вдруг сказал:

— Простите меня, Нурзоджан. Я виноват! Нервы никуда не годятся... Да и вообще, я сам уже никуда не гоюсь...

Я почувствовал струйки на собственной щеке и, нащупав, к удивлению, кровь из царапины, вышел из кабинета. Утром кассир выдал мне командировочные деньги.

С тех пор наши отношения пошли на лад. Но, или, как говорит он, «однако», на ближайшем открытом партийном собрании, Кушшаев вдруг набросился на меня и еще на нескольких других сотрудников. Стал утверждать, что во время обеденно-

го перерыва мы употребляем спиртные напитки. Именно так и сказал. Никто не протестовал, и тогда я попросил слова.

— Товарищ Кушшаев прав. Были такие случаи. Но такого больше не повторится. Однако, — я сделал паузу, — в эти обеденные перерывы и сам товарищ Кушшаев употреблял спиртные напитки вместе с нами. А стало быть, мог бы высказать нам свое порицание, не дожидаясь партийного собрания. Но я хочу сказать о другом. Я говорил об этом с нашими сотрудниками, и они соглашались со мной. Не знаю, какую сторону пластинки они предпочтут прокрутить здесь. А дело в том, что товарищ Кушшаев не достоин должности заместителя редактора. Я думаю, что он не справится с должностью и обыкновенного корреспондента. Не знаю, кто формировал штат редакции, но главный редактор должен бы уже разобраться в интеллектуальном уровне своего заместителя. Я прошу рассмотреть этот вопрос на ближайшем партсобрании.

Кто-то хмыкнул, кто-то зашушукал. Джабиров, решив погасить разбушевавшиеся страсти, выступил с огромной миротворческой речью, где призывал быть взаимно уступчивыми и взаимоуважительными.

— Там, где нет человечности, там не может быть и коммунистической морали! — закончил он речь своей коронной фразой. Из Сухомлинского. Раздались жидкие аплодисменты.

Но не зря опасался меня Кушшаев. Немного погодя я был назначен инструктором по делам печати отдела пропаганды обкома партии. Вот так, и не меньше! И вот когда зашла речь о кадрах, я предложил секретарю обкома партии кандидатуру Кушшаева на должность директора типографии. Впрочем, я сказал, что и там он может провалить дело. Секретарь удивился и пожал плечами. А потом предложил мне самому заняться этим вопросом. Теперь, по заведенному порядку, я должен был переговорить с Кушшаевым сам...

XVII

Знаменитый Акбар Хакимов любил рассказывать своим приближенным о том, как он стал председателем колхоза. А знакомство с ним определяло и статус, и общественный вес всякого деятеля в округе и далеко за ее пределами. Людям уже казалось, что быть ему родственником — значит быть причисленным к братству святых. Он единолично распоряжался абсолютно всем: и личные дела односельчан, и государственно важные, как он любил говорить, проблемы — все ему было подвластно.

Я познакомился с ним еще будучи редакционным работником, когда сопровождал прибывшего в область спецкора республиканской партийной газеты. Наш главный, не желавший слышать имени Хакимова, перепоручил задание секретаря обкома мне.

— Хорошенько приглядитесь к Хакимову. Еще пригодится, — двусмысленно сказал он, протирая свои красные от непрерывного чихания глаза. Каждую осень его мучила аллергия. Врачи относили ее на счет какого-то таинственного цветка, растущего на хлопковых полях, но вылечить не могли. Это, как выяснилось впоследствии, было от неумелого применения на полях ядохимикатов. Редактор ушел отслеживать, а мы с корреспондентом поехали в хозяйство к Хакимову.

Журналист, прибывший, видимо, по личному распоряжению кого-то из республиканских руководителей, с Хакимовым был знаком давно, поскольку без лишних слов они стали обниматься и целоваться с причмокиваниями. От этих причмокиваний мне стало тошно, и я брезгливо отвернулся, пока Хакимов не поздоровался кончиками пальцев и со мной. Мы сели в машину, за рулем которой расположился сам Хакимов, и поехали по территории агропромышленного объединения. Везде нас встречали с распростертыми объятиями, и если на одном из прелестных полевых станов нас угощали запеченным мясом горных кекликов, то в другом месте, к примеру, — в современной гостинице, кормили жареными спинками осетрины.

— Вот в этой резиденции два месяца назад жил Шариф Гафурович, — сказал с гордостью Хакимов. Журналист, которого уже величали писателем, записывал, Хакимов продолжал: — Вон в том месте к их следующему приезду хотим построить зону отдыха. Климат здесь, как в Швейцарии. А они, они — святые...

Узколобый столичный «писатель» уже довольно приличных, я бы сказал, неоправданно приличных, лет то подпирал щечку рукой, то устремлял мудрый взгляд в сторону, а то, сплевывая сквозь зубы, приговаривал: «Вот мы, писатели...» Словом, глубокомысленно слушал Хакимова и старался произвести впечатление на меня. Время от времени он упоминал о некоем «большом полотне», которое он

посвящает Хакимову, а в перерывах между этими краткими ремарками заливался соловьем сам Хакимов.

— Хочу вам сказать, что территория нашего объединения в три раза больше по площади, чем Хорезмская область. Целое государство! Все производим и перерабатываем сами. У меня дома десять овец и две коровы. Сам занимаюсь дехканским трудом. Ни соломинки не позволю принести с поля. А взяточничество надо рубить под корень! Иначе... вы ведь знаете, какие люди. На каждый роток не накинешь платок... Дай им только повод, так они такое наплетут... Да даже и без повода. Вон, послушайте, что обо мне болтают. А кто болтает? Те, кого не заставишь работать. А начнешь заставлять — плохой, значит... Словом, демагоги. Не хочу иметь с такими ничего общего. Видите, и еду свою вожу с собой, и машиной управляю сам, а ведь положены водители на две смены. В общем, ни днем, ни ночью нет покоя...

— Может быть, ваш метод не совсем верен, — почтительно заметил гость. — Может быть, вам следует лишь руководить?

— Я вам скажу так, дружище. Все эти словечки: метод, опыт — одна говорильня! Надо работать и волам, и ишпакам, вот и все разговоры! Деда наши безо всяких методов пахали тысячелетиями и жили ничуть не хуже нашего. Так вот, любой чабан или земледелец сам лучше меня все знает. Раз в десять, а то и больше. А вот работать — не хочет. Почему? Да потому, что время такое: все хотят поменьше работать, но побольше получать, — «Писатель» понимающе повздыхал и вдруг обратился к Хакимову с просьбой:

— Вы лучше расскажите вашему братишке, молодому журналисту, о том, как вы стали председателем!

— Вах-ха-ха! Это другой разговор! А братишка, видать, из наших, здешних? — проявил ко мне интерес Хакимов. — Да, интересно все это было... В те времена менялись по десять председателей в год. Самое начало пятидесятых. Сталин еще был жив. И вот в район назначили первым секретарем некоего Балтабаева из Бешбулака. В те времена не было машин: и секретарь, и председатель райисполкома ездили на лошадях. Лошадь по тем временам ценилась не меньше сегодняшней «Волги». Так вот, новоявленный секретарь очень рьяно взялся за дело. На первых порах собирал в сутки по восемь заседаний бюро. Не дай бог, кто проспит бюро среди ночи — он тут как тут. «Да как ты смеешь валяться с женой, когда весь народ строит социализм?!» — кричал он, собственноручно сдергивая одеяло с нерадивого члена бюро, и гнал его в райком, чтобы там освободить от всех занимаемых должностей. Да, скажу я вам, интересные были времена. Люди не знали, что делать. Ударит ему моча в руководящую голову — тут и весь закон! Была у него саврасая лошадь. Вечно стояла на привязи у райкома под карагачем. И четверо конюхов всегда при ней. Раза три на дню Балтабаев обкатывал ее. А люди так и ахают: «Смотри-ка, какой райком! А! Настоящий джигит!»

В тот год нам впервые завезли из России свиней. А возиться с ними, конечно, никто не хочет. Упрашивали двух русских, работавших в МТС, — ни в какую! Предлагали водки до отвала — нет и все! А я был в то время счетчиком на зерне. И надо же, увидел меня Балтабаев и зовет к себе:

— Все, все! Вот этот парень за ними и присмотрит. Чувствуется, парень — что надо!

— Не буду! — сказал я, вспыхнув до ушей.

— Будешь! Попробуй — откажись! Или выселю отсюда, или отправлю куда следует.

— А вот и не отправишь! Прошли твои времена! — сказал я, сам удивляясь своей храбрости. — А надо будет, дойду до товарища Сталина! — рубил я напропалую, хотя и не представлял, каким это образом я дойду до него.

Балтабаев ухмыльнулся и, поигрывая плетью, подошел ко мне. Я уже приготовился к защите. Но он взял меня за руку и отвел в сторону.

— А ты смелый парень. Я люблю таких. Лет пять — десять назад я был таким же: огонь, а не парень! Таким мужчина и должен быть. А иначе, чем он отличается от бабы?! Теперь давай договоримся. Ты мне пришелся по душе. Но не позорь меня перед людьми, возьми свиней на откорм, будь бригадиром месяц-другой. А потом я тебя сделаю председателем этого колхоза. Договорились?

— А если обманете? — недоверчиво спросил я.

— Если обману, то пусть бог... э-э, то есть молоко матери пусть станет мне отравой! — Он оглянулся по сторонам — не услышал ли кто о боге — и, успокоившись, продолжил: — Будешь слушаться меня — побратаемся. Все будет, как надо. Но это между нами. Через пару дней загляну к тебе. Приготовь батарею, понял? Потолкуем...

Мы распрощались. Я стал бригадиром без бригады. Видели бы вы тогда тех, кто теперь ест свинину за милую душу. Даже перестали со мной здороваться. Но я вам скажу, что и вправду нет животного грязнее и зловонней свиньи. Наверное, запах

так вьелся в меня, что жена стала отворачиваться. Разговаривает со мной сквозь платок. Не могу и детей приласкать. Откровенно говорят: какой ты вонючий, папа! Я начинаю кричать на них, дескать, вот как дается хлеб на ваш прокорм. Словом, гневался, гневался да и пошел к Балтабаеву.

— А есть свободные люди? — спросил он, гарцуя на своей савраске.

— Есть! Полный кишлак. От нечего делать играют с детьми в чижика. Вот им бы свиней и растить!

— Ничего, — сказал Балтабаев по-русски. — Не переживай, дружище, что-нибудь придумаем. — Он велел мне подсесть на его савраску, и мы направились с ним напрямик в отделение милиции. А тогда на весь район было всего четыре милиционера. Увидели Балтабаева и повыскакивали на улицу. Балтабаев стал разговаривать с ними для пущей официальности наполовину по-русски.

— Изначит дель так! — начал он вправлять мозги двум толстым милиционерам. — Вот с ним поедешь в кишлок, и она покажит вам два чуловек. Испросшь: будшь кармит и свиной, нет — в турму! Чорт мат! Ест вопросов? — спросил он и, не дожидаясь ответа, припустил саврасую в поле.

Приехали мы в кишлак и тут же к Маннапу-дровосеку. У того два сына-бугая — Ахроркул и Асроркул. Увидев милиционеров, они одеревенели. И уговоривать не пришлось.

— Ладно, если надо, сыновья мои будут растить и собак, только не бейте по носу! Мусульмане! Дай бог вам счастья! — причитал Маннап без умолку.

«Аха! — думаю я про себя. — Вот как ты не будешь возиться со свиньями?!»

Словом, дела в бригаде пошли. Каждые пять дней прилетает на своей саврасой сам Балтабаев. Упиваемся с ним до того, что я не чувствую собственного запаха. Балтабаев ревет русские песни. И мы ему подпеваем, как можем. Нет, оказывается, лучшей закуски к водке, чем свиное сальце. Этому нас научил Балтабаев. К тому же, это сало лечит кашель. Так вот, в каждый его приезд я напоминаю ему об обещании. А в те времена председателем был Мансур-фасон, который про всех знал и даже чувствовал, как змеи в земле шевелятся. Скрыга страшный. Никогда не ходил пешком, боясь, что сапоги сносятся. Балтабаев долго ждал случай скинуть его. И вот у председателя умирает отец. А незадолго до того он выдал дочь за сироту-племянника. Мы пишем анонимку. Дескать, в такое светлое время строительства коммунизма, будучи членом партии, он выдал дочь силком за нелюбимого человека, затребовав калым с сироты. А потом устроил поминки по отцу! Глядь, Мансура тут же — на бюро райкома партии. Я тогда не был партийным, но председателем стал. Стать-то стал, а печати на руках нету! Мансур-фасон не хочет ее отдавать. Пошли мы к нему целой армией во главе с Ахраркулом и Асраркулом — двумя бугаями. Смотрим — он в стельку пьяный. Увидел нас и давай ругаться последними словами. А потом возьми да проглоти печать. Три дня мы караулили около уборной, когда она вернется на свет. Ахраркул и Асраркул дежурили по ночам в две смены. Наконец получили. Правда, резинка отделилась до самой деревяшки... Так вот, я вам скажу, с тех пор прошло двадцать пять лет, а я все председательствую. Двадцать пять лет... Жизнь утекла, как вода в реке. Я вам скажу...

Хакимов рассказывал историю водворения в председатели упоенно, со вкусом, но все это время тербил замызганную по краям шляпу. Что-то его, видать, беспокоило. Уж не должен бы он, по его знатности, быть таким суетливым. Так мне, по крайней мере, казалось. Неужели все Герои Социалистического Труда такие же? Неужели с таких и надо брать пример?

— Но Балтабаев действительно был человеком слова! — продолжил Хакимов, вытирая пот со лба. — Помню, тогда опять пошли аресты. В колхозе Кагановича, например, каждую неделю менялся председатель. В маленьких кишлаках чуть ли не каждый перебивал на этой должности. Так и кузнец Уринбай попал в председатели. И вот сидят однажды на бюро все председатели, а кузнеца нет. Балтабаев стучит кулаком по столу. А потом скачет на коне к нему.

— Ты что, сукин сын, не являешься на бюро райкома партии? — замахивается он плетью.

— А ты что, ослеп? Я бос. В чем мне идти на бюро?! — рассердился кузнец.

— Неужели нет и драных башмаков? — изумился Балтабаев.

— Нет! — воскликнул председатель, пряча потрескавшиеся пятки.

— И кавушей нет? — не унимался секретарь.

— Нет!

— Хорошо, завтра приходи на заседание в райком, я тебе приготовлю сапоги. Если не найду, то заберешь мои, — заключил Балтабаев и повернул свою лошадь обратно.

На другой день уже собравшиеся председатели стояли у райкома, готовясь к бюро, когда вдруг увидели скачущего на лошади Уринбая. Обе ноги его были вдеты в хурджун.

— Позови Балтабаева! — попросил он меня не сходя с лошади. Среди председателей я был самым молодым. Вот почему они часто обращались ко мне со всякими мелкими поручениями.

— Ты что, смерти захотел? — удивился я. — Да ты знаешь, что будет с тобой, если он разгневется?!

— Он вчера обещал мне сапоги. Скажи, пусть вынесет! — сказал кузнец, не высовывая ног из хурджуна.

Через некоторое время Балтабаев и впрямь вышел из своего кабинета с сапогами в руках. Видели бы вы, как обрадовался Уринбай, надев эти сапоги!

— Председательство ты дал мне вчера, завтра можешь и отобрать, но вот за сапоги тебе спасибо, Балтабаев! Век не забуду! — Он не мог нарадоваться своей обновке.

— Да, удивительный был человек, этот Балтабаев! — добавил Хакимов, потирая бритую голову. — И детей своих называл странными именами: Октябрь, Революция, Коммуна, Тельман, Колхоз! Настоящий был человек...

Мы от души смеялись рассказу. Он, закончив, лихо подмигнул, дескать, и это мы умеем делать не хуже вас, людей пера. А уж свое дело — и подавно: цветы вырастим на этой голой скале — если захотим! Да только вот недооценивают нас, рабов божьих.

Но, впрочем, в выражении его лица, наряду с этой убагатворенностью, я замечал отблески некоего сомнения в нравственности собственных шагов. А может быть, это мне лишь казалось? Да нет, наверное, не зря он день и ночь работал, чтобы отвлечься от гнетущих мыслей, день и ночь творил добро, которое так щедро отдавал людям. Наверняка простые люди кишлака и впрямь боготворили его. И лишь внимательный наблюдатель мог бы заметить малюсенькую трещинку в поведении Хакимова, некое крошечное живое начало, которого следовало опасаться...

Откуда нам, молодым, знать было тогда, что не таким должен быть коммунист, настоящий человек. Ведь даже в школе Хакимову посвящались отдельные уроки, и учителя говорили о нем, как говорят о литературных персонажах. И вот теперь, встретившись с подлинным, так сказать, героем, я вдруг вспомнил слова, по-разному сказанные Пушкиным и Чеховым о том, что «тьмы истин низких нам дороже нас возвышающий обман»...

XVIII

В коридоре послышались шаги. Затем в комнату вошел Джабиров, как всегда поигрывая связкой ключей.

— Ну как, товарищ писатель? Увлек, видать, случай? Как насчет обеда? — Он взглянул на часы. — Очень странный человек, не правда ли? — спросил он уже по дороге.

— Таких я еще не встречал, — ответил я, все еще не осознав до конца свои впечатления.

— Что-нибудь получится?

— Как знать? Трудновато...

Мы дошли пешком до одной из дальних столовых. Джабиров любил обедать именно в ней. Знакомый официант пригласил нас в крайнюю, нашу «журналистскую» кабину, и только было мы приступили к обеду, как вдруг услышали знакомый тягучий голос того самого «пострадавшего», который совсем недавно отбыл из моего кабинета.

— Ты ведь знаешь меня, — говорил он. — Я никогда ни перед кем не пресмыкался и пресмыкаться не буду! Недаром меня зовут сыном гордеца Шарифа. Вот только что сам редактор обгазеты четыре часа беседовал со мной в собственном кабинете. В приемной полно людей, а он никак меня не отпускает. Даже на звонки из обкома не стал отвечать! Закрыв дверь изнутри и налил по пятьдесят граммов виски. Отлично пошло! Насилу ушел оттуда. Не хотел отпускать — и все тут. Мы с ним росли вместе, чуть ли не под одним одеялом. Короче, переговорил и о тебе. Ничего, говорит, все устроим. А то, что мы приготовили, я оставил ему на столе. Он стоит того. Золотой человек! Я говорю, если какое-нибудь задание, то без стеснений, дескать.

— Спасибо, Шарифджан-ака! Никогда не забуду вашей доброты! — прохрипел его собеседник. — Ведь шутка сказать, газета! Да еще областная!

— Обещал все устроить, но сказал, чтобы ты был повежливее с его сотрудниками. И правда, ты совсем не смотришь, с кем имеешь дело! Разуй глаза, погляди, как-никак, уже десять лет в торговле!

— Откуда мне было знать, что он из редакции. Весь замызганный какой-то!

— Шут с ними, с этими борзописцами! Все они такие, учат уму-разуму, а сами ботинки почистить не могут! Скажи: ваша правда, а делай по-своему! Их обдурить — пара пустяков. Скажи посolidней, что бык отелился, — поверят как пить дать! Все они такие, поэтому лучше, чем восемь пророков, — один бог, вот и переговорил я с их главным. Он сам вставит пистон своему подчиненному, дескать, ты шантажировал работника торговли! Вот увидишь, еще придет к тебе просить прощения. Но ты имей в виду: он просил деньги, но у тебя не хватило. Там, глядишь...

— Слава богу, что у нас есть вы, Шариф-ака! — И он своим хриплым голосом стал звать официантку, заказывая ей бутылку армянского коньяка.

— За ваше здоровье, — произнес он, чуть погодя. — Будьте всегда счастливым во имя нас и наших детей! А мы вас никогда не оставим!

Они чокнулись, и самодовольный Шариф сказал:

— Вот увидишь, я еще и Рахимахон заставлю прилететь ко мне на ладонь!

— Э-э, бросьте вы эту Рахимахон! Какая из нее вам жена?! Ее таскают направо и налево. Столько принесла вам страданий, а вы еще помните ее имя!

— Не перебивай! Я не дурак, чтобы жениться на ней заново. Ты ведь знаешь, что у меня есть и помоложе. Но понимаешь, я и прежнюю семью и последнюю содержал во многом благодаря Рахимахон. Машина и та куплена на ее деньги. Хорошо, что в свое время я перевел ее на имя братишки. Правда, его жена, стерва, уже скандалит, дескать, машина записана на моего мужа, верните нашу машину! Даже родному братишке нельзя уже верить! Так вот, расстался я с Рахимахон и всем уже стал в тягость. И молодая жена уже фырчит, и любовники Рахимы ни во что не ставят. В общем, она нужна мне, понимаешь. Я ей не мешаю, а она мне создает благополучие. Это между нами, но без Рахимахон дела мои плохи. Понимаешь, привык я. Ведь с ней мы делали в сезон по десять тысяч рублей в день. На летних свадьбах. Где еще зарабатываете такие деньги?!

Они перешли вдруг на шепот, а потом стали говорить о какой-то свадьбе.

— Теперь, дорогой брат, вы сами возглавите нашу свадьбу. Вот пока то, что нашлось. Это вам самим. А артисту назначайте любую цену. Когда он будет свободен, тогда и сделаем свадьбу. А то я уже пообещал всем корешам, что привезу именно его. Сами понимаете...

— Один? — спросил Шариф многозначительно.

— Да.

— Надо дать аванс. Принесешь еще один кусок, иначе не выйдет, дружище!

— Хорошо, хорошо!

Джабиров от волнения совсем помешался на своих ключах. Он теперь не только крутил их на пальце, но и пустил по большому кругу: рука — карман — рука — другой карман. Кстати, руки его заметно дрожали. Мы молча доели свой обед и встали. Когда мы вышли со двора столовой, Шарипов уже завел свою молочную «Волгу» и протирал лобовое стекло. Редактор попросил у первого встречного закурить. Курил он только в волнении. Ключ, готовый взлететь на палец, внезапно застрял в кармане, и редактор безуспешно тянул его, корча при этом невероятную гримасу.

— Теперь наверняка что-нибудь выйдет! — продолжил я наш предобеденный разговор, когда мы отделились от столовой на приличное расстояние.

Редактор бросил на меня быстрый взгляд.

— Да-а, — протянул он и взглянул в сторону гор. — Да-да!

Мне показалось, что он сейчас скажет что-то очень важное, и молча ждал.

— Подонок... — изрек он наконец. — Будьте осторожны, он и вам готовит какую-то гадость. Если не станете действовать по его сценарию, он вас ославит: мол, просил денег, но я ему не дал столько, вот он ничего и не устроил...

Затем Джабиров долго рассуждал о нравственной стороне происшедшего и «имеющего место быть».

— Я уверен, — горячился он, — что этот человек не прочел в своей жизни ни одной книги. Он неуч, а мы пишем о подобных ему — «строитель коммунизма». Есть приписки в материальном производстве, но вот такое — приписки в духовном... Мне кажется, он просто смеется над нами и над нашей, простите, духовностью! Посмотрите, через день-другой он будет нас водить по улицам напоказ, как обезьянок! Да и мы хороши: живем, как будто в пустом пространстве, точно одна муха в огромном здании: захочет — сядет на мед, захочет — потрет лапки о кишмиш, летает себе и гудит, обретает все новые и новые сферы жизни... Так вот, появившись в этом помещении человек, он, естественно, тотчас бросится убивать эту жирную муху. Но тот, кто захочет почитать книгу, вряд ли станет отвлекаться на такую мелочь — гундосящую муху. Пока она ему не мешает. А когда все-таки помешает, он сделает то же самое: прихлопнет муху в каком-нибудь углу.

Я уже запутался в хитросплетениях редакторской мысли, кружившей, как та самая муха, и стал просто ждать, когда он по многолетней привычке станет выво-

дить свои рассуждения на мораль, укладывающуюся в газетный заголовок. Но его всерьез разобрало, и он рассуждал и рассуждал о подавляющем преимуществе желудка над совестью, о необходимости введения статьи в Уголовный кодекс, предусматривающей наказание за порчу мировоззрения и нравственного здоровья людей. Правда — она тогда для нас правда, когда выгодна. Любимый нами человек никогда не совершает дурных поступков. И даже его преступление мы истолкуем как невинную шалость. Нет, мы защищаем не его — мы защищаем при этом себя, свое восприятие. Все, что вне нас, — то не наше, то против нас. И только когда обе ноги наши оказываются в одном сапоге, мы нехотя убеждаемся, насколько были глупы. И опять начинаем искать то ли утешения, то ли оправдания. Не находим в себе, так бежим к своему божку и вместе с ним погрязаем еще в более зловонном болоте... Наверное, вот тогда приходит к нам истинное покаяние, но всего лишь как агония перед смертью! Именно поэтому говорят: и вор к старости станет суфием, проповедующим правду, честь, мужество...

Джабиров долго говорил об отвлеченных материях, в которых я путался, как запутался бы в собственных тенетах паук, вздумай он гоняться за мухой в той самой комнате, а потому все с большим нетерпением ждал, когда наконец он выйдет из этого монолога, похожего на множество других, уже слышанных раньше.

— У нас много талантливых людей, — продолжал разглагольствовать Джабиров. — Но кому интересны их способности? С самого детства они оказываются совершенно бесполезны в этом отношении, а потому их способности развиваются в одном направлении, они же сами — в другом. Хорошо, если не в прямо противоположном. А потом, у нас почти невозможно проявить себя сполна. Надо воевать чуть ли не с собственной тенью. А это, знаете ли, надоедает. Вот и оказывается, что нам нужны не писатели, как Айтматов, или космонавты, как Гагарин, а безропотные и безгласные хлопкоробы, кочующие по слетам да совещаниям, бренча своими медалями да сверкая новенькими тюбетейками! Страдание — знать об этом, а еще большее страдание — работать рядом с такими. Сердце разрывается.

Я никогда не видел Джабирова таким. И дело даже не в том, что он говорил. Такое говорили почти все кругом, но мне было непривычно наблюдать, как он это говорит. Плечи его дрожали, впрочем, как и губы: он пытался успокоиться, но уже не мог остановиться и наконец бросился наперерез встречному человеку, чтобы «стрельнуть» у него сигарету. И вот с первой же затяжкой дым его мыслей пропал в дыму табака, и лицо его приобрело убитый, землистый цвет, который поразил меня больше, чем любой из мыслимых газетных заголовков. Я молча шел с ним рядом и сам уже невольно стал «работать на той же волне», стал думать о разных разностях, вроде того, что все мы ходим по земле в поисках своего пути и редко кто задумывается над тем, что и помимо этих ежедневных, привычных, обыденных дел есть еще нечто великое, что до сих пор способно приводить нас в восторг или повергать в смятение... Я думал о том, что какой-нибудь судьбоносный мерзавец может вертеть миром, а люди, запутавшиеся и заплутавшие в своей обыденной, обывательской жизни, распознают это лишь после смерти такого, и тогда начинается сыр-бор. Начинается новое мифотворчество, рождается новая вера, которая едва ли намного дальше от предыдущей и едва ли чем-нибудь с нею различна.

Ей-богу, на меня уже возымели действие подобные размышления вслух, и я сам постепенно привык говорить обо всем и ни о чем одновременно, размышлять о человечестве и его вековых традициях, как бы прорываясь через повседневность к неким нравственным глубинам. Вот и сейчас я доказывал кому-то мысленно, что не каждый постигает эти глубины. На словах это звучало бы так: «Неразумно считать, что все люди в детстве были ангелами, хотя и можно предположить, что способности переходят из поколения в поколение и живут в крови людской. Человек приобретает присущие ему жестокость и невежество еще в материнском чреве. И эти свойства растворены в его крови даже тогда, когда он становится в представлении окружающих образованным, просвещенным человеком. Иной же смотрит на мир добрыми глазами, осознает истинный смысл и значение происходящего и понимает, что люди обманывают сами себя, что предают высокие чувства человечности и невольно, чтобы защититься, сами начинают действовать точно так же, все больше и больше отдаляясь от чистого невинного берега детства. Таким образом начинается нравственное разрушение человека. Но он не замечает этого в пору своей неразумной молодости. И лишь когда жизнь его достигнет каких-то порогов и придет пора с нею рассчитывать, он страстно захочет снова превратиться в неискрушенного наивного мальчика. Захочет вернуться к тем забытым берегам. Кому-то пусть запоздало, но удастся к ним вернуться. Но берега эти окажутся заброшенными или опустошенными. И вот тогда он осознает, что напрасно не дрался за их сохранность и жизнеспособность.

«Ну что ж, — думал я про себя. — Приобрел какие-никакие навыки». Хотя, честно говоря, мне было скучно слушать самого себя. В душе у человека должна

таиться пусть небольшая, но таинственная мудрость, мерцать затаенное знание. Вот тогда его можно любить. Вот тогда он не скучен людям. Вот тогда все стремятся к нему.

Это было, как прозрение, как яркий лучик, осветивший потемки собственной души.

Я взглянул на Джабирова. Перехватив мой взгляд, он усталым голосом сказал:

— Я чувствую, вы удивлены моими словами. Мы еще поговорим. Ведь сейчас такая редкость — люди, умеющие слушать. Даже с друзьями теперь не о чем поговорить, кроме разных пустяков. Я за свои пятьдесят лет понял, наконец, что человек у нас ценится только по занимаемой должности. Не густо, не правда ли? Недавно у меня был сокурсник, с которым я не встречался пятнадцать лет. Мы с ним в свое время делили подушку, брюки и кусок хлеба. Сейчас он работает шофером на стройке. Странно, литератор с высшим образованием, а шоферит. Мне, честно говоря, даже стало жалко его за неприглядный внешний вид, и я сунул ему под мышку новый костюм. Но когда стали прощаться, мне было так неловко, так неловко... Потому что только тогда выяснилось, что не проснувшиеся воспоминания привели его ко мне, а необходимость похлопотать о шефе, которого не хотят поставить начальником стройтреста. И вот я, оказывается, должен позвонить в райисполком, чтобы те... ну, словом... А он, дескать, на всякий случай прихватил две пачки двадцатипятирублевки. «Не хватит, — говорит, — принесу еще столько же».

Вот так вот! А я полез со своим костюмом... Зря изводим мы с вами типографскую краску на бумагу, защищая правду-матку.

Закончил он свои рассуждения совсем неожиданным заявлением:

— Пока ограничимся статьей на нравственную тему для учащихся! А вы не спешите писать произведение, товарищ писатель, ведь сегодня вы его нигде не опубликуете! Вдобавок ко всему получите ярлык очернителя и вообще анти... Словом, ждите!

На следующий день, когда я пришел на работу, Тошбуви-опа поспешила сообщить, что меня несколько раз спрашивал редактор. Я застал шефа за раглядыванием видов из окна. Он был странно бледен. Или просто казался таким в клубах сигаретного дыма.

— Пусть полосу читает Кушшаев! — бросил он раздраженно корректору, вошедшему вслед за мной, и протянул мне для приветствия руку. Я сел напротив.

— Как дела? — спросил он.

— Так себе, — ответил я, чувствуя, что у него есть ко мне серьезный разговор.

— Да-а? Вот оно как...

— ..?

— Как со вчерашним делом?

— Пока никак. Я был занят материалами номера и не приступал к нему. Сегодня хочу вызвать жену. Вызвать-то вызову, да вот о чем с ней говорить? В общем, надо подумать.

— Так вы ее еще не вызывали?

— Нет.

— Хорошо, тогда не вызывайте вовсе.

— Почему?

Джабиров помолчал. Наконец, уставившись в угол комнаты, изрек:

— В общем, дела таковы, дружище... — Голос его звучал виновато, в глазах мелькнуло нечто вроде тревоги. — Но это между нами! Я думаю, вы поймете мое положение. Я вам доверяю, как себе. Так вот, вчера, когда я собрался ехать домой, позвонил председатель облисполкома Ахтамов. «К вам приходил с жалобой муж Рахимы Шариповой, — говорит. — Это совершенно ничтожный, мерзкий человек. Сиську матери отрежет, а добьется своего. Будьте осторожны, чтоб в газете не проскочило что-нибудь. Есть некоторые моменты, об этом знают и в обкоме. Я вам потом подробности расскажу. Так вот, завтра я вызову их к себе и во избежание сплетен помирю их. А его придется определить в горуправление культуры, работник он будто бы ничего». Вот такой случился у нас разговор. Мы как-никак их орган. Ничего в ответ я не сумел сказать...

Я посмотрел на Джабирова и вздохнул. Он избегал моего взгляда и кутался в клубы дыма.

— Вы ведь вчера узнали, кто таков этот Шакир, — сказал я с укоризной.

— Знаю, знаю, — печально согласился редактор. — Но нельзя уподобляться ему. Мы — орган, а он... Он назовет еще и меня любовником своей жены и газету опозорит. — Сказав это, он покраснел до ушей. Это было видно даже сквозь дым, который приобред зеленоватый оттенок. Я вынужден был отвернуться, чтобы он оправился от смущения.

— А что мне сказать, если придет Шарипов? — спросил я, собирая свои бумажки.

— С ним я переговорю сам, — поспешно сказал Джабиров.

Прошел день. Мы стояли у самых окон приемной, смеясь новому анекдоту Норматова о змее в кабинете Кушшаева, когда выглянула Тошбуви-опа и позвала меня к редактору.

— Шутки-шутками, но будь осторожен. Кушшаев твердо взялся за тебя, — напутствовал меня Норматов.

— Но я ведь неплохо работаю, — самонадеянно возразил я. Норматов последовал за мной и продолжил:

— Объясню: в двух случаях работник не нравится своему начальству — если он работает плохо и если работает хорошо. В первом случае никому не нужен балласт, во втором — никому не нужна твоя перспектива сменить начальство на его посту. Понял, братишка?

— И что же мне делать?

— Идти в серединке.

— Но я не могу.

— Тогда не играй в эти игры. За тобой ведь, насколько я знаю, никого. Вот и выбьют, как шар со стола!

— Не выбьют.

— Посмотреть будем, как говорят у нас. Я желаю тебе добра и потому говорю все как есть. Видишь ли, ни в одной редакции я еще не встречал человека столь решительного, как ты. Ты станешь или очень сильным человеком, или же тебе переломят хребет. У тебя, говоря в рифму, иного выхода нет! Ну а если будешь в середине, то придет время, когда посшибают и передних и задних, и весь мир достанется тебе, представляешь? Но ты, я знаю, не такой, ты предъявляешь к жизни слишком завышенные требования. Знай, такие сильно страдают и скоростижно умирают.

— Готов на любую судьбу, — ответил я ему в тон. — В нас есть готовность к риску, а в крови нашей бродит дух трагедии. Мне кажется, что я с детства живу с открытыми глазами.

— Но это так же хорошо, как и плохо.

— Спасибо, знаю.

— Ну ладно, ступай быстрее, шеф, наверное, заждался. Что-то он в последнее время то и дело скучает по тебе.

— Да так, скандальное одно дело...

— Все понял. Но имей в виду, что начальство как солнце: издали греет, а вблизи опалает!

— Быть вам Сократом, не меньше, — подзадорил его я. — Жить хочется после каждого вашего слова.

— Жить полезно, — подхватил он у самого порога приемной.

— Будьте уверены, — усмехнулся я.

— Ну давай, давай, на ковер!

Я вошел к Джабирову. Весь его вид говорил о страшном смятении и гневе. Он теребил в руках развернутую газету. Я увидел на первой полосе указ о присуждении солистке областной филармонии Рахимахон Шариповой почетного звания заслуженной артистки республики.

— Вот вам и поминки по статье, — съязвил Джабиров и достал для собственного успокоения сигарету из ящика стола. — Впрочем, идите, занимайтесь своими делами.

XIX

Карим Усманов переехал в районный центр и первые шесть месяцев лечился без перерыва. Сказались то ли два инфаркта, то ли многолетняя усталость. Он лежал по пятнадцать часов в сутки, то засыпая, то грезя наяву. Жена пыталась невинным голосом убедить его во вредности столь долгого бездействия и тут же, противореча себе, требовала покоя.

Доктор же прописал ходить как можно больше.

— Но как я стану ходить по улице? — спрашивал свою жену Усманов. — Ведь люди смотрят мне в глаза.

— А вы не отступайтесь от себя, Каримджан-ака! Правда все равно восторжествует, — несколько понизив голос, ответила ему жена. — Вы вытерпели столько страданий, так теперь, когда вас оправдали, стойте ли скрываться от людей? Надо жить назло тем, кто вас обрек на такую жизнь.

— Нет у меня сил воевать с ними. Если даже Москва оставила безответными

мои жалобы, значит, надеяться не на что. Не станут они делать что-нибудь через голову Гафурова. И куда он жив, навряд ли солнце станет светить и нам... Думаю об этом и падаю духом.

— Никто на этом свете не становился небодержцем. Когда-нибудь и в этой стране сыщется человек, который назовет белое белым, а черное — черным...

— Наверное и отыщется такой, да только я... — Усманов боялся лишиться чувств, потому перевел разговор на другое. — Сегодня ко мне должен прийти директор лесохозяйства Худайберды Эсонов. Хочу что-то предпринять. Я думаю, это вам понравится, — заключил он с лукавой улыбкой. А сам почему-то вспомнил свою встречу с пастухом и мальчиком-подпаском.

...В один из дней, когда Усманов стал чувствовать себя получше, он собрался в те ущелья, где в детстве пас овец. И с тех пор через день стал бродить по горам и холмам, забывая все на свете, кроме своего далекого и горько-сладкого детства.

Хмельное чувство свободы, упоение от красоты красно-зеленого луга и синего неба охватывали все его существо, и он застывал на горе Дунетепе, даже сквозь сомкнутые веки видя всю эту сверхъестественную красоту. До самого лета, пока не увяли тюльпаны и маки, Усманов пропадал за косогорами.

Однажды сидел он на верхушке округлой Дунетепы и высматривал последние пятна далеких маков, когда вдруг из ущелья вышло стадо коров. Двое пастухов гнали его на косогор щипать уже почти выжженную траву.

— Салам алейкум! — приблизился Усманов к пастухам.

— Алейкум салам!

— Давайте познакомимся. Меня зовут Карим-ака, я из верхнего кишлака...

— Меня зовут Эгамкул, его Абдукарим, — сказал пастух, внимательно приглядываясь к неожиданному собеседнику. — Так вы не Карим ли Усманов? — воскликнул он вдруг, приходя в волнение.

— Да, — ответил Усманов, опуская глаза.

— Так вы и вправду Карим Усманов? — не верил своим глазам пастух. — Вот это да! Мы нашли самого Хизра, слышишь, Абдукарим? Этот человек — тот самый вышедший из нас обком — Усманов. Простите нас, не признали... Смотрите-ка...

Опешивший было Эгамкул вскочил и снова стал трясти руку Усманова. Затем бросился к хурджуру и вытащил из него все содержимое. Абдукарим побежал за отбившейся коровой.

— Вы, наверное, знаете отца этого мальчишки, — проговорил Эгамкул, понизив голос. — Исломов, который был секретарем райкома в Гульбулаке, ну, которого арестовали за хлопок? Все у них конфисковали, вот и приехала семья в кишлак. Он самый старший в семье. Хороший мальчишка. Все делает. Никто не скажет, что отец его был райкомом. Целый день со мной, а вечером формует с братишками глиняные кирпичи. Хочет строиться... Вот так. Наверное, о таких говорят: совершенному миру не хватает единички.

Он слушал слова Эгамкула, а в груди вдруг что-то оборвалось... Он взглянул на загоревшего пастуха, затем на увядшие маки и пожелтевший клевер и глубоко вздохнул. А мальчик, наверное уже уставший от бесконечных расспросов о своем отце, бегал, гоняя коров, и не возвращался.

Усманов вернулся домой сам не свой. Его сокрушила эта встреча со своим прошлым, и порушенное его сердце, казалось, не выдержит случившегося...

...Когда пришел высокий и сухощавый Эсонов, Усманов поливал цветы во дворе. Отчего-то настроение его было светлым, а дух окреп. Он смотрел в сторону гор и напевал какую-то незамысловатую мелодию.

Эсонов, впервые попавший к Усманову, чувствовал себя не совсем уверенно. Усманов заметил это и всячески старался ослабить напряжение, вспоминая свое кишлачное детство.

— Интересно, янабулакская поляна будет в двести гектаров? — спросил он Эсонова через некоторое время.

— Да, но туда трудно загнать воду: арык не прокопаешь, техники такой нет, — понял директор, в чем дело.

— Арык мы выкопаем руками. Я имею в виду — вручную. И о насосах подумаем. Ну а теперь о главном. Я написал заявление на ваше имя. Возьмите меня на работу. Сторожем ли, лесничим ли — все равно. Простите, что пришлось вас звать для этого домой. Так вот, если вы поддержите, то мы бы могли разбить там, в Янабулаке, замечательный сад...

Голос Усманова отчего-то задрожал, и он замолк. Он уставился на журчащую воду арыка, чтобы слеза, повисшая на ресницах, ненароком не потекла по щеке. Потом кашлянул и, будто бы вытирая платочком рот, смахнул слезу...

— И Мухитдин Рахимович говорили. Мы хотели бы, чтобы вы стали начальником багмозорского участка, — выпалил Эсонов, справляясь со своим волнением.

— Спасибо, братишка. Я выполнил план по руководству. Чувствую, соскучил-

ся по простой дедовской работе. Жаль, я не способен теперь на тяжелую работу. Но это ничего... Самое главное, найти саженцы и вовремя их высадить, а там — все будет как надо...

— Все мы сделаем сами. С вас достаточно будет лишь давать указания, Карим Усманович... Мне было неловко к вам идти, а теперь я на седьмом небе, что могу быть хоть в чем-то полезным. Я всю ночь не спал, узнав, что вы меня звали. Вот, даже партбилет захватил с собой! В нем ваша подпись, вы его вручали мне лично! Вы не только в моем сердце, Карим Усманович... Вы в сердцах многих... — взволнованной скороговоркой выпалил Эсонов.

Тронутый этими словами, Усманов, сам не зная, что делать, молча взирал на партийный билет. Волнение Эсонова передалось и ему, и он стал ходить по двору. Подошла Раъно Мардоновна, не упускавшая из виду своего мужа. Но по выражению его лица поняла: все в порядке. Она вернулась в дом.

За пловом они почти не разговаривали. Увлеченные общей идеей, они, казалось, понимали друг друга и без слов. На самом доньшке истерзанного сердца Усманова после разговора с Эсоновым затеплились искорки надежды.

— Приступим к работе прямо с завтрашнего дня. Если сейчас вспашем землю, то до весны она будет набираться влаги под снегом, — с воодушевлением предложил Усманов. — Но поднимется ли трактор на Янабулак?

— Во время сенокоса мы загоняли туда косилку. Но вообще-то надо бы проложить дорогу, не то будет трудно, — ответил Эсонов, думая про себя, почему не созобразил об этом раньше. — Трех дней, думаю, будет достаточно. Понадобится, попросим помощи у «Сельхозтехники».

— Я завтра в девять подойду к тополям у подножия холма. Найдите время, приходите тоже. Там и посоветуемся поподробнее.

— Я заеду за вами на машине...

— Спасибо. Я лучше потихонечку, пешком, — улыбнулся Усманов.

Эсонов не стал возражать.

— Да, и еще... — замылся Усманов. — Будьте в своем отношении ко мне точно таким же, как и к остальным. И работа пойдет сама собой...

Эсонов ушел, а Усманов сел писать письмо своему старому товарищу — директору садоводческого института. Просил отобрать саженцы для горных условий, которые лесхоз закупит этой весной. Побольше бы орешин и чинар, — приписал он в конце.

С тех пор почти каждый день люди видели Усманова в урочище Янабулак, где вовсю кипела работа. Копали вручную арык, высаживали присланные саженцы — и не было в эти дни на свете человека счастливее, чем Усманов.

Ранней весной, когда в один из дней между саженцами зажурчала вода, он даже прослезился. Слезы катились по его щекам, а он ничего не замечал, весь переполненный светлым чувством благодарности к людям, которые всычески помогали осуществиться его мечте. Усманов постоянно чувствовал удивительную заботу и внимание своих соотечественников. Стоило ему в какой-нибудь беседе, к примеру, вспомнить о забытом в кишлаке блюде, как на следующий день его приглашали именно на это блюдо. Усманов смущался, ему было неловко, и он растроганно благодарил своих почитателей. Люди наперебой зывали его в гости, резали баранов, надевали на него халаты. Дом, куда он приходил, наполнялся праздничной суетой. И каждый раз Усманов терзался раскаянием, что не находил времени проведать своих сокишлачников, пока нога его, по выражению Атакула, была в стремени.

Только теперь постиг он самую, быть может, большую ошибку своей жизни: у человека, оторвавшегося от родных мест, хоть и пойдут дела, да не в струю. Редко, очень редко приезжал он в кишлак, где долго тосковала, а потом умерла его старая мать. Теперь он постарается исправить свою ошибку. И пусть его прах смешается с этой святой родной землей. Эти мысли делали его совершенно счастливым. Он даже пришел к выводу, что в конце жизни, наверное, полезно пережить несчастье — так легче проститься с этим светом, проще встречать смерть.

Душевный покой Усманова нарушался только одним: он помнил обещание, данное Аминову. Дважды за это время приезжали к нему люди и передавали привет от Аксакала. Была единственная возможность облегчить ему участь. Нет, не писать в Верховный суд или адвокатам — это бесполезно. Надо идти к Хакимову и, поблагодарив его за свое освобождение, затем просить за Акрама Насыровича. Но для Усманова это было смерти подобно. А Хакимов, между тем, не жалел сил, чтобы задобрить Усманова. При случайных встречах клялся, что не только восстановит в партии, но и похлопочет о должности куда более высокой, чем прежняя.

Пять лет понадобилось Хакимову, чтобы выполнить свое обещание.

В тот день Усманов как всегда был чем-то занят в саду, когда примчался на своей машине Эсонов и еще издали прокричал:

— Карим Усманович! Карим-ака! Вас вызывает к себе уважаемый Шариф-ака!

Он назвал имя первого руководителя республики с нескрываемой почтительностью. — Они все вас ждут. Садитесь скорее в машину, поехали!

Понимая, что отказаться невозможно, Усманов обреченно поплелся к машине.

...Высокий гость пребывал в совхозном саду. Люди ждали с затаенным любопытством встречи двух давнишних противников. Усманов довольно холодно поздоровался с председателем облисполкома Ахтамовым, первым секретарем райкома Мухитдином Рахимовым и направился в сторону навеса, под которым сидели первый секретарь обкома Шомирзаев и еще несколько человек. Гость, увидевший подходившего Усманова, встал, сошел со ступеньки супы и первым поздоровался с ним. Усманов видел по выражению его лица, что тот готов не только простить ему прошлые «грехи», но даже полон доброжелательности. «Забудем все. Не будем отрывать от важных дел ради дурных воспоминаний», — читал он в глазах первого.

— Давайте побыстрее решим вопрос с партийностью Карима Усмановича и порекомендуем его на должность директора нового национального парка республики, — обратился Гафуров к Шомирзаеву и Рахимову.

Затем они пили кумыс и о чем-то переговаривались. Все глядели в рот Гафурову. И только Усманов сидел, уставившись в землю и потирая свое левое веко.

— Построим на водопаде пятнадцатизэтажный санаторий для детей, а на Замине и Айкоре возведем с десяток домов отдыха.

Гафуров ронял эти слова, вроде бы ни к кому не адресуясь, — мечтательно и торжественно. Затем речь зашла о хлопке.

— В скором времени мы закончим строительство Заминского водохранилища. И впервые в истории засеем бывшие степи хлопком, уважаемый Шариф Гафурович, — рапортовал вспотевший от усердия Назаров. — Земли мы уже подготовили. Гафуров расцвел.

— Спасибо вам. Не затягивайте этой работы позже весны. Я подскажу министру водного хозяйства Турабекову. Он поможет. Запишите, — повелел он своему лысому помощнику. — Какой урожай вы думаете получить в первое время?

— Надеемся получить пять тысяч тонн. А по мере поступления воды доведем эту цифру до пятидесяти тысяч, — без запинки заверил Назаров.

— Молодцом! Вот это настоящее дело настоящего коммуниста! Партия и народ никогда не забудут вашего славного трудового героизма! Спасибо вам! — Гафуров покосился на угрюмо молчавшего Усманова: что, мол, скажешь на это?

— Все это, может, и хорошо-о, — сказал тот каким-то тугучим голосом. — Но я думаю, что горы мы обязаны сохранить для потомков в первоизданном виде. Ведь по существу в республике не осталось уже никакой природы. А понастрой мы и здесь всяких зданий — пропадут и растительность, и животный мир. Что же касается хлопка в Заминском районе, то это ошибочное решение. В горных районах надо развивать садоводство и животноводство. Примером тому — Гилляларальский район. Вообще в республике явный перебор с хлопковыми площадями. Придет время, и их все равно придется возвращать под сады и виноградники...

Казалось, в общий котел упала муха. От крамольных слов Усманова все обеспокоенно заерзали.

— Не меряйте сегодняшний день своим старым аршином, Карим Усманович! — воскликнул Шомирзаев, взмахнув руками. — Что же это получается: мы строим санатории, заботимся о здоровье людей, а вы — против? Я отказываюсь вас понимать!

Шомирзаев высказал, конечно же, общее мнение. Каждый из присутствовавших был готов поставить на место зарвавшегося... демагога!

— Еще ни одно благородное и великое дело не свершалось без чьего-то сопротивления. Но благо народа для нас всегда было главным! — заключил Гафуров и хлопнул ладонью по коленке, давая тем самым понять, что «заседание» окончено. — Спасибо всем, — сказал он и встал. Прощаясь он с Усмановым значительно прохладней, чем здоровался.

С этого дня Усманов думал лишь об одном: о восстановлении в партии. В райкоме и обкоме между тем не торопились. Основательно посоветовавшись, там решили не восстанавливать его в партии, а принимать заново.

Когда он интересовался, почему так затягивается дело, ему говорили по секрету, что «наверх» поступают анонимки, а потому следует немного переждать. И тогда в его сердце опять что-то надорвалось...

Стояли первые дни лета. Усманов спозаранок уходил в урочище, а возвращался почти за полночь.

В то утро Раъно Мардоновна вышла к соседке за молоком. Он подождал ее у калитки, но, не дождавшись, медленно направился в сторону Янабулака. Всю до-

рогу он почему-то думал о том, что не попрощался с женой. И только в саду развеялись его тяжелые мысли, и на душе стало легко и светло.

— Давайте вскипятим чай, — весело обратился он к Ташмуроду. — Я соберу хворост. А вы спускайтесь к саю и принесите чайник нашей самой целебной водицы!

И когда Ташмурод принес воды в чайнике, он жадно приник к этому родниковому благу. Ташмурод расстелил подстилку под тенью большой вербы и вынес из сторожки подушку. Усманов с каким-то священным трепетом посмотрел на ржаную лепешку, на сахарные карамельки... Вдруг сильно закружилась голова, сердце бешено заколотилось, а руки и ноги стали, как ватные... Он отчетливо понял, что начинается третий инфаркт, которого он столько времени ждал... Усманов глубоко вздохнул и обратил уже тускнеющий взор своих глаз в высокое, бескрайнее небо.

— Я не попрощался с Раъно... — шептали его губы, — я перед ней... перед ее добротой... пусть похоронят рядом с отцом и матерью...

Я шел на похороны в оцепеневшем состоянии и всю дорогу до кишлака вспоминал свои разговоры с этим человеком. Во дворе народу было столько, что не толкнуться. Простые люди, жители его кишлака, работавшие с ним последние годы, пришли попрощаться с уважаемым человеком... Впрочем, меж них были и те, кто подтолкнул Усманова на тот свет. Теперь они тихо перешептывались о его заслугах перед партией, перед государством...

Над притихшей толпой раздавался голос рыдающей тети Ойнисы:

Ты не был предателем, брат мой,
Кровь твоя в ведра не капала,
Ты гордым батыром был, брат мой,
Кровь в твоём сердце плакала...



Раим Фархади

«Быть рабом идеи, значит погубить идею и себя».

Из «Потерянной книги» Авентуса.

«На собрании столкнулись два мнения, одни ораторы выступали за двуязычие, другие ратовали за один язык».

Из протокола собрания.

Спор о языке

Я — тоже за одноязычье,
Но без прижатости слегка.
За настоящее величье
Реки, народа, языка.

За утоление высшей жажды,
За то, чему научит мать,
За пониманье, чтоб однажды
Друг с друга шапок не срывать.

Такой язык хочу постичь я,
Что побеждает злую ложь.
Чтоб не грозил вовек суд Линча
Тому, кто желт иль темнокож.

Чтобы росло Родное Слово.
И корни делались крепки

От притяжения земного,
А кроны были высоки!

Чтобы стволы не умирали —
Не опалил бы смерч вражды...
Чтобы в садах мы собирали
Добра и мудрости плоды.

Зачем, натягивая вожжи,
Губить себя и рушить кров...
Языческое бездорожье
Не избавленье от оков.

Не от прилавка и конторы,
Язык — пристанище певца.
Я — за один язык, который
Роднит свободные сердца!

Измеришь чем и как найдешь
Златую середину?
Здесь — тишина, а тут — галдеж,
Идет неистовый дележ,
Раздача туш, галет, галош:
«Уйди, а то как двину!»
Тебе защитник полулжи
Кивает, как говорится:
— Захочешь — веники вяжи,
Устанешь — на печи лежи.
Есть в жизни смак, что ни скажи,
И правды есть частица!
А ты чего ж? Всю правду хошь?
Так сразу вынь тебе положь.
Паси тогда скотину!..

Измеришь чем и как найдешь
Златую середину?
Квартира. И оклад хорош.
Безбедно, сытно проживешь,
Смешав с водою тину...
А полуправда — тоже ложь:
Продать — продаст за медный грош.
Поднимет и направит нож
Еще коварней — в спину...
И голос вкрадчивый: «Берешь?..»
Беру. Берем. Берут. И в дрожь —
Измеришь чем и как найдешь
Златую середину!

.....
Но я ее отрину.

Снег в Самарканде

Так непривычно: в Самарканде снег!
Он крыши и сады укрыл слегка.
И тут вдруг замечаешь — город сед.
И позади у города — века.
И на ветвях — замерзшая листва.
И тишина — застывшие слова...
И город наш в неспешный зимний час
Глядит глазами прадедов на нас.
И первым пробуждается базар.
Клубится над рядами сизый пар.
«Кар!»
«Кар!» «Картошку от мороза спрячь», —
Кричит исправно ворон, как толмач.

От снега он предупреждает всех.
«Кар» — по-узбекски означает снег.
Синеет регистанская стена.
Похожа чем-то на халат она.
И минареты — это рукава.
Под снегом купол — старца голова.
Седой старик в халате голубом,
Он в нашем дне и далеко — в былом.
А мы, друзья, упорствуя, хотим
Считать его ровесником своим.
Так непривычно: в Самарканде снег,
И остается поклониться мне
Его седой и мудрой старине.

* * *
Читаю свои дневники.
Листочки ушедшего времени.
И свет — от строки до строки —
Былой, отраженный, рассеянный...

Но луч наступившего дня
Забытой касается местности,

И тайнами снова маня,
Ее оживают окрестности.

Глаза вдруг увижу твои —
И встречи заветные вспомнятся.
И пламя далекой любви
Сегодняшним светом становится!

У Черного причала

Женщина стояла у причала
В черном платье. Черная скала.
Заглушив рыдания, молчала.
Никого на помощь не звала.

Дымом захламялись небосводы
На просторах моря и земли,
Поднимались яростные воды,
Гибли поезда и корабли.

Женщина в глухую даль смотрела,
Мир обняв холодной тоской.
Взгляд ее блуждал осиротело,
Огибая горизонт морской.

Женщина ушла тропею горной,
Сгорбилась и сделалась мала...
Скалы ей вослед смотрели скорбно,
И гудели волн колокола.

На лету подстреленная птица,
Женщина, сраженная бедой.
В черном небе вспыхнула зарница —
Взгляд ее метался над водой...

Я стоял у Черного причала.
И душа моя произнесла:
«Надо Красоту спасти сначала,
Чтобы мир спасти она смогла».

Храм Будды

Я в храме послушаю Будду.
Почувствовав сладостный слог,
Сомнениями мучиться буду:
Ужели ты истинно Бог?

«Сначала травой мы родились,
На сушу взошли из морей.
Древья в людей превратились,
А люди — в разумных зверей.

Какое родство между нами?
Мы долей равны — Ты и Я.

Наполнены всеми страстями,
Идем по кругам бытия.

Я видел Вселенной вращенье.
Она целиком из частиц
Терпенья, забвенья, прощенья, —
И нет ей конца и границ.

В полях наливаются злаки.
И солнце лучами палит.
И звезды — как вещи знаки,
Как Вечной Судьбы Алфавит».

Сандаловый нож

О, Калькутта!
Тебя обоймешь,
Только ежели Буддой родиться...
Твой подарок — сандаловый нож,
У меня на столе он хранится.
И не раз

Буду я вспоминать
Город ветхий,
Дремучий,
великий...
И смиренно ножом разрезать
И читать
заповедные книги.

Иудино дерево

Обликом странника древнего
Из мирового пятна,
Что ж ты — иудино дерево,
Выросло возле окна?

Из одеяния серого
Стебли твои и листва,
Что ж ты, иудино дерево,—
Чьи предъявляешь права?

Груза не взять непомерного:
Варева, камня, креста...
Что ж ты, иудино дерево?
Сомкнуты крепко уста.

В сумраке пира вечернего
Мы не друзья, не родня.
Что ж ты, иудино дерево,
Снова целуешь меня...

Фергана. Июнь. 1989 г.

Когда в трагические дни
Столетье отмечали Анны,
Темнели в сумрачной тени
Переплетенные лианы.

Тропическая духота
Лишала сил. Ко сну клонила.
Звезды-пророчицы уста
Желтели над разливом Нила.

Еще не кончился исход
Племен из пыльного Египта.
И был не обозначен год
На обороте манускрипта.
И трепетала кисть писца,
Ведома отсветом наитья,
И предрекала длань певца
Невероятные события.

Когда бывает сердце влюблено,
В нем кровь, словно кипящее вино,
Пьянящее, игривое, густое...
О, счастье, что испить его дано!

Кто хочет спорить с истиной такой?
Нелюбящее сердце не полно,
А сердце нелюбившее — пустое.

Жизнь и судьба

Распрей,
Войн
Чудовищны объятья.
Поняли,
И нам не по себе.

Люди, люди!
Мы — по крови братья,
Недрузи
Мы только по судьбе.

Кто я?
Узбек иль грек.
Славяноиудей,—
Я простой Человек,
Пришедший в мир людей.



Григорий Резниковский

Плач по дереву

Без стражи лиственной двор был бы гол,
Но часовых спасет ли твердость стана?
Отяжелеют ветви. Рухнет ствол.
И так свежа, и так смертельна рана.

Скол древесины яркой и живой —
Вот солнечность, таимая напрасно.
Над павшим сонный набухает зной,
Теперь уже всеильный и всевластный.

Мой тополь! Сам ли ты того хотел,
Зеленым вихрем небо занавесив?
Иль буйство соков перешло предел,
Дозволенный законом равновесья?

Ничья обида и ничья вина,
Но на дрова растрчено бессмертье,
И крона, как неверная жена,
К земле склонившись, надломила сердце.

Зеленый князь! Уже не станешь ты
Шептать и петь порою полуночной —
Зачем в ветрах так много доброты?
Зачем так плодородна эта почва?

И человек не спас...

Фотография А. И. Солженицына

В век сплошной полуграмотной злобы
Совершенство — лишь тягостный груз...
Так откуда ж он, высоколобый,
Так безудержно любящий Русь?

Как он выдюжил, ставленник Даля,
Кость мужичья, солдат и зека?
Столько скорби мы с ним отстрадали,
Что почти не осталось греха.

Колесатель железных устоев,
Супротивник чудовищных сил,
Он своей огнепальной судьбою
Нас, как Дух искупленья, крестил.

Он свершал православное дело,
Летописец, предтеча, пророк,
А его, словно сердце из тела,
Вырывали: «Вон Бог, вон порог!»

Эдак гонят убогих с котомкой.
Что с собою изгнанник унес?
Вот стоит он меж русских потомков,
Меж вермонтских российских берез.

Говорит это фото цветное
Нам, ограбленным в доме своем:
«Будет свет над родною страной.
Превозможем. Спасем. Доживем».

Смута

Корчмарям да расстригам крамолу ковать,
Величаться князьям да боярам.
Ну а черному люду досталось опять
Любоваться московским пожаром.

Разудалое пламя то жжет, то палит,
Пожирает лачуги да хаты.
Белокаменный терем, поди, устоит,
А домишко убогий — куда там!

Веселится в сторонке захожий народ:
Стольный город поджарили ловко!
Ванька-ключник ключи от Кремлевских ворот
Продает кому хошь по дешевке.

От угара, от смрада аж не прохохнуть.
По-над нивой дымы да туманы.
На закате вопит белоглазая чудь,
На восходе — татарские ханы.

Старый ворон хрипит: «Чую кровь! Чую кровь!»,
Клетку клювом железным ломает.
Все трясет бороденкой Борис Годунов,
Все серчает, царек, все серчает.

Задымилась, затлела великая степь,
Знать, людюшкам приходится жарко,
А на паперти нищий гундосит про хлеб,
В кабаке забуддыга — про чарку.

Конский топ. Птичий грай. Волчий вой. Песий рык:
По проулкам разбойничьи морды.
Вспоминает, поди-ка, опричник-старик,
Как гулял с Иоанном Четвертым:

«То-то времечко было! Тишь, гладь да покой,
Кто перечит — на цепь и в оковы.
Вот теперь бы да снова поганой метлой
Помести супостатов царевых...»

Эх, дорожка темна, среди белого дня.
Ох, лютует крапивное семя.
Где-то Гришка Отрепьев седлает коня.
Знать, надвинулось смутное время.

Старый ворон хрипит: «Чую кровь! Чую кровь!»,
На просторе хлопочет, ликует.
Знать, свирепая стая бездомных волков
Точит зубы на землю святую.

Или ратные люди уж вовсе без рук?
Или витязи сплошь перестарки?
Что ж казны не дочтется Кузьма Сухорук,
Не докличется войска Пожарский?

Как допеть, докричать до родимой земли,
Как у Господа вымолить чуда?
Гой вы, гусельки, ветхие гусли мои.
Гой вы, гусли мои, самогуды.

Чертогон

Спал я, как мертвец. Видел сон.
Боже, мимо не пронеси!..
Начинается чертогон
На веселой моей Руси.

Нам пришелец уж не гаркнет: «Цыц!»
Нам уж ведомо — бес рогат.
Наши пращурь, пра-отцы
С того света на нас глядят.

«Некрещеный безродный люд», —
Это нонеча не про нас.
И хоть ворог постылый лют,
Но уж брата брат не продаст.

Подымайсь! Да хоругви множь!
Тут лукавому и конец.
В шуйце щит из воловьих кож.
А в деснице меч-кладенец.

Всколыхнулись и близь, и даль.
Быть волкам без овечьих шкур.
То: проламывают асфальт
Кости строивших Петербург.

Это — снова наводят мост.
Это — сызнова зиждят храм.
За погостом встает погост
На подмогу живым бойцам.

В баньке выпарим злобных гнид,
Чтоб рубахи — белей снегов.
Вы, кто был нашей кровью сыт,—
Выжжет брюхо вам наша кровь.

Тьмами тем вы поклали нас
Во глубины земли сырой.
Только ныне — возмездья час,
Суд над дьявольскою ордой.

Не впервой нам держать заслон,
Бдить, на раны просыпав соль.
Поперхнулся Наполеон.
Захлебнулся маньяк Адольф.

Воскресать нам не привыкать,
Не в новинку огонь и дым.
Богатырскую плоть и стать —
Были б кости, так нарастим.

Время, время! Кричит петух.
Разлетайтесь, нетопыри.
Ишь, что вздумали: русский дух
Взять да вытравить изнутри?

Полонить нас навек? Шалишь!
Прозреваем — и за версту
Ваш намазанный маслом шиш
Разглядели мы на свету.

Что ж, кончается ваша власть,
Рассыпается кривда в прах.
Напоследок поуйте всласть,
Порезвитесь напоследях.

Выхваляйтесь, кто чем богат,
Возноситесь — да хоть до звезд.
Все равно провалитесь в ад.
Торопитесь — прищемим хвост.

Но за что ж нам то колдовство,
Этот горестный век нам дан?
Чтоб припомнил Иван родство,
Чтоб родства не забыл Иван.

Славный праздничек, чертогон
На пресветлой моей Руси...
Спал я. Видел я вещей сон.
Боже, мимо не пронеси!

Бессмертники

Горячечной порой кто б верить мог
В бессмертие, исчисленное днями?
День догорает. И испанский дрок
Цепляется за оползень корнями.

А выше плеск иных цветочных стай,
По-разному и жданных, и желанных.
Изгнанникам-татарам снится рай.
Но кто на этом свете не изгнанник?

Слепа тропа — колючки, камень, мох,—
Ее витки совсем не судьбоносны.
И в этом мире кто б поверить смог,
Что вечность — это так светло и просто?

На горный склон пролился странный дождь,
Чьи капли — цвета недозрелой вишни.
Бессмертники цветут. И назовешь:
Гора Бессмертников. И удивишься.

И окрылишься. Так ли далека
Гармония от наших буден дробных?
Коснись ладонью вешего цветка,
Чтоб сочетать подобное с подобным.

Прощальный взгляд. И побредешь отсель
Асфальтовой дорожкой подгорной
Туда, где затухает карусель
Земного огнеглазого курорта.

Закатная растает полоса,
Как терпкий вкус тех незрелых вишен.
День отгорит сполна. И небеса
Сольются с морем. Горизонт излишен.

* * *

Когда в величии спокойном
Ты вся — нездешний светлый сон,
И ликом девочки-мадонны
Становится твое лицо,

И исчезает мир бесследно.
Во всей вселенной — только ты.
И от твоей улыбки светлой
Свеча горит в моей груди.

Когда, сама о том не зная,
Даруешь счастье невзначай —
Я умолкаю. Ноты тайны
Во мне молитвенно звучат.

Минуты белого молчанья
И беспощадных стрелок такт.
И я опять с тобой прощаюсь.
Опять — как будто навсегда.

Считалочка

Высчитайте. Запомните.
В сердце четыре комнаты.

В первой: скупыми письмами
Дышат по крови близкие.
Строчки бегут поклонные.
Свечи горят бессонные.

Дальше: приливом гимновым
Спальня. Жена любимая.
Комната эта грозная,
Кровь здесь бурлит венозная.

Комната колокольная.
Дружеская. Застольная.
И мимоходом — встречные.
И звездопадом — вечные,

И, наконец, небесная,
В куклах и сказках — детская,
Невидалью наполнена...
Вот вам: четыре комнаты.

Лучше уж рухни замертво,
Если — четыре камеры.

* * *

Напев уютный, однострунный...
В духовке плавится обед...
А ты прекрасней всех в подлунной,
Во всей вселенной равных нет.

Бурчит угрюмый телевизор.
Журчит горячая вода.
И легион твоих капризов —
Певучей женственности дань.

И ты опять расческой мучишь
Волос пленительный ноктюри.
И быт возвышенно-излучист.
И под дверями спит Амур.



Аббас Усманов

ЦИРКУЛЯЦИЯ ЗАСТОЯВШЕЙСЯ КРОВИ

Мы говорим — демократия, мы говорим — гласность, мы говорим — плюрализм мнений. Но что стоит за этими словами, что за картина вырисовывается сейчас в нашей культуре, да и во всем нашем обществе, которое переживает необыкновенно быстрое структурное и нравственное обновление? Можно говорить устно и печатно практически обо всем. Но вот как этим «можно» пользоваться, чтобы обойтись без перехлеста, не ранить словом друга, соседа, единомышленника, мы пока не знаем. Плохо циркулирует застоявшаяся кровь, отсюда задыхания, перебои сердца, надрыв. Люди культуры, художники слова долгое время вынуждены были молчать о многих болях народа. Прорвав это молчание, опьянев от неожиданного обилия кислорода, сейчас они частенько срываются на крик. Нетерпение рождает тысячи и миллионы максималистов. Но уши, шумовые эффекты настоящей культуре противопоказаны. Как говорил поэт, «служенье муз не терпит суеты».

Конечно, мы переживаем сейчас переходный период. Идет ломка стереотипов, ликвидация «белых пятен», разработка всего многообразия тем и форм искусства. Всем «цветам», всем школам просторно, как никогда. Порой деполизация творчества соседствует с его крайней невиданной даже в застойные годы идеологизацией. Но, разоблачая прошлое, клеймя настоящее, не пора ли задуматься и о будущем?

Советский художник сегодня имеет широчайшие возможности для самовыражения. И большинство деятелей культуры восприняло перестройку как наказ народа: бороться за восстановление погранных принципов социальной справедливости, ограничить поле деятельности людей нечестных. В этой борьбе, очевидно, как ни в какой другой, необходимы терпение, знания, опыт, выдержка и, наконец, часто просто порядочность и интеллигентность. Но этого-то порой и не хватает.

Сейчас как никогда остро стоит вопрос об ответственности писателя перед обществом. Об ответственности за позицию, за нравственность, за видение будущего. Сегодня очень важно научиться, и, прежде всего, искусству и культуре ведения полемики как по общественным, так и по литературным вопросам. Излишняя эмоци-

ональность, свойственная литераторам, их крайние суждения, высказанные в полемическом zápale, использование недостоверной или непроверенной информации — все это способно свести на нет самые благородные устремления творческой интеллигенции. Писательское слово станет емким и веским, когда сочетается страстность со сдержанностью, пафос с логикой, точною приводимых фактов, с глубоким знанием предмета дискуссии.

Перестроечная литература сломала лед недоверия народа к писательскому слову. Читатель жадно просматривает газетные и журнальные полосы в поисках новых открытий, новой правды, ответа на исковые вопросы, задаваемые литературой: «кто виноват?», «что делать?» Для писателей и журналистов это строгий экзамен. Покривить душой, проявить недостаток гражданской зрелости в этой атмосфере — значит обмануть надежды народа.

Какими должны быть место и функции языка коренной национальности в многонациональном обществе? Как спасти Арал и возродить жизнь в Приарале? Как защитить землю, воду и воздух от дальнейшего отравления ядохимикатами? Как создать рабочие места для каждого юноши, вступающего в самостоятельную жизнь? Как вернуть дехканину чувство хозяина земли, своей судьбы? Каковы пути ликвидации монокультуры хлопчатника? Как преодолеть самое жестокое наследие застоя — коррупцию и протекционизм? Как развиваться Узбекистану до 2000 года и дальше? На все эти непростые, порой мучительные вопросы ищут ответ наши писатели.

Во многих случаях публикации глубоко анализируют действительность, звучат правдиво и взвешенно, и читатель, которому они адресованы, не путается в оттенках и оценках. Но так, к несчастью, бывает не всегда. Ну а когда речь заходит об устных выступлениях, тоже писательских, — тут чувство ответственности изменяет литераторам гораздо чаще.

Пышный расцвет трибунного, митингового слова кажется мне одной из болезней роста нашей демократии. Для многих в этом кроется великий соблазн. Раньше известность писателя завоевывалась годами вдумчивой, упорной работы, оттачиванием каждой фразы, тревожной за-

ботой — как пронести правду через издательские рогатки. А теперь? Произнес зажигательную речь и спустился с трибуны под аплодисменты возбужденной аудитории. Так уж не до взвешенности, не до точной аргументации — лишь бы поострее, лишь бы произвела сенсацию. Таков секрет нынешней популярности устного творчества, своеобразного сказа, к фольклору, впрочем, имеющего весьма отдаленное отношение.

Самый активный жанр в узбекской литературе, как и по всей стране, сейчас публицистика. Но и в этом жанре кое-кто продолжает ограничиваться легковесными и вторичными разговорами. А между тем проблемы уже названы, и надо бы идти вглубь в их осмысление. Правительство республики уже серьезно занимается выделением земли дехканам, водосбережением, ликвидацией наиболее вредных ядохимикатов, ищет пути резкого сокращения посевных площадей под хлопчатник, уделяет внимание и национальным, и культурным вопросам. Конечно, чем помочь не застрахованному от ошибок руководству конкретным предположением, поддержать начинания добрые и популярные, гораздо легче кричать о кознях партаппарата и становиться в модную позу единственного защитника народных интересов.

Ох и трудно стало иногда разбираться: где у литератора личные амбиции, а где гражданские позиции? Общеизвестно, что отношения художника со своими товарищами по искусству, именуемые творческим содружеством, не должны подменяться пустой комплиментарностью, приятельским похлопыванием по плечу, пустопорожним захваливанием или же напротив — огульным охаиванием и негласным зажимом. Ведь ни один из них не повторяет, не копирует другого. Однако именно такую фальшивую дружбу или необоснованную вражду мы наблюдаем при теперешнем усиленном делении людей культуры на «своих» и «чужих», на кланы и группы. «Чужой», будь хоть семи падей во лбу, вряд ли услышит о себе доброе слово. Ну а «своему», пусть дарование его серым-серо, как не подействовать? Не отсюда ли обилие посредственных публикаций?

Симптомом того же рода становится все большее раздувание противостояния «отцов» и «детей». Кому нужны попытки перерубить звено, связывающее поколения, сбросить творчество Уйгуна, Яшена, Зулфия, Аскада Мухтара («корабля современности»? Без старших, без идеи неразрывности и преемственности в узбекской литературе труднее будет подниматься молодой поросли. Злобные выпады в адрес аксакалов заставили некоторых из них обиженно отойти в сторону, замолчать. Узбекский народ издревле ценил то свойство старших поколений, которое дается лишь богатым жизненным опытом, — мудрость. Ныне мудрость молчит, зато кипят, переклещивают через край страсти. И это забвение одной из основ жизни узбекского народа, одной из самых почитаемых наших традиций может недешево обойтись нам в будущем.

«Мы не вправе сидеть сложа руки и позволять хаосу распространяться, как ему угодно. Мы должны стремиться к тому, чтобы формировать и определять его результаты», — говорил В. И. Ленин. Означает ли это призыв к командному управлению искусством? Ничуть. «Каждый художник... — далее пишет В. И. Ленин, — имеет право творить свободно, согласно своему идеалу». Формулы внешне противоположные, но только внешне, сила диалектики как раз и за-

ключается в примирении противоположностей. Вывод: искренне выраженные художнические идеалы неминуемо фокусируются возле идеала справедливого общественного устройства. Разумеется, речь здесь идет о большом искусстве, а не о ремесленных поделках на злобу дня.

Умение «управлять хаосом», если трактовать его по-ленински, — это вовсе не лобовые грубые приемы запрета и замалчивания, тем более не администрирование в искусстве. Если общество значительно отстает от художнических прозрений — это еще не трагедия общества. Но, с другой стороны, — горе художнику, который в своем творчестве отстает от развития общества, переходит к блужданиям вслепую, торопливой и спотыкивой пробежке неизвестно куда. Да, лучшие наши писатели своими произведениями предвосхищали перестройку, готовили ее приход, не изменяли своим принципам, когда их к этому понуждали. Ну а теперь, когда самое время наступило, они растерялись: вроде бы и бороться уже не за что. Отсюда — хаос современного литературного процесса, результатом которого хотелось бы видеть лепку нового общественного идеала.

Внушив себе, что у нас всегда и все в порядке, мы привыкли действовать посредством прямолинейных (в сущности, антиленинских) лозунгов и забыли, что нам дано мощное оружие диалектического мышления, что многообразие мнений присуще человеческому сообществу. Результатом нашего философского беспамятовства стал резкий скачок сознания определенных кругов интеллигенции от радужного утверждения к беспросветному отрицанию. Надо ли говорить, что оба эти способа мировосприятия одинаково бесперспективны? В обоих случаях — навязывание диктата, только гладкую указку приказаний сменила суковатая дубина вседозволенности. К чему может привести попытка девальвации всех нравственных и социальных ценностей? Старый, как мир, постулат, на котором обжегся еще Древний Рим, гласит: без положительных идеалов никакое общество существовать не может.

Поиск путей преодоления хаоса сейчас отнюдь не спокойный теоретический вопрос. Нельзя закрывать глаза на то, что перестройка — кризисный момент в истории страны. Ныне решаются судьбы миллионов людей. В этих условиях неосторожное писательское слово может стать спичкой, брошенной в пороховой погреб. К примеру, нельзя не приветствовать бурный рост национального самосознания народов СССР, в том числе и узбекского народа. Однако, грубо стимулируя этот рост, противопоставляя один народ другому, легко можно ранить трепетную ткань людских отношений в нашем многонациональном государстве. И мы, к несчастью, за короткий период времени уже не раз убеждались, что последствия бездумной страстности здесь всегда плачевны, а зачастую и кровавы. Тому пример события в Фергане, Куве, Паркенте.

Мы пожинаем сейчас горькие плоды былого нигилизма по отношению к истории, культуре, памятникам старины, невнимания к родному языку, пренебрежения народными традициями и обычаями. Но разве можно поправить дело оголтелыми лозунгами, противопоставлять одни народы и нации другим? Разве человек станет духовно богаче оттого, что причинил зло другому человеку? Процесс возрождения национальных и духовных ценностей — это длительный и трудный, но мирный путь. На этом пути совершенно недопустимы попытки противопоставить узбекскоязычное население всем иноязыч-

ным гражданам республики. Такого рода хаосу все разумные люди просто обязаны противостоять.

В трактате «Что такое искусство?» Л. Н. Толстой говорит о главных целях художественного творчества: «1. Оно должно изображать новые и важные стороны жизни. Для выполнения этой задачи художник должен быть нравственно просвещенным человеком (выделено мною — авт.), а не жить эгоистической жизнью. 2. Художник должен обладать мастерством в таком совершенстве, чтобы не думать о правилах мастерства, как мало думает человек о правилах механики, когда он ходит. 3. Искусство должно быть заразительно, то есть волновать людей. Этого может достичь только тот художник, который умеет любить и ненавидеть».

Слова классика всемирной литературы звучат в приложении к нашей литературной действительности на редкость современно. Особенно важным кажется ныне первый его постулат, ибо дает ответ на животрепещущий вопрос: чего же подчас не хватает нынешним талантам? Ответ: не хватает «нравственной просвещенности».

Односторонность, раздувание, распухание одной из черточек живой жизни в художественном произведении, отрыв фактов от общей связи явлений ведет к искажению действительности, к творческому провалу. Художник должен целостно воспринимать мир, а это требует от него высочайшей культуры и широкого кругозора. «Отдельное, — пишет В. И. Ленин, — не существует иначе как в той связи, которая ведет к общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть (так или иначе) общее. Всякое общее есть (частичка или сторона или сущность) отдельного. Всякое общее лишь приблизительно охватывает все отдельные предметы. Всякое отдельное неполно выходит в общее и т.д. и т.д. Всякое отдельное высочайшим образом связано с другого рода отдельными (вещами, явлениями, процессами) и т.д.» Теперь спросим: может ли «отдельный» взгляд из норы узкого мировоззрения хоть как-то помочь осмыслению нынешней необъятной новизны? А ведь то же живое единство, что и между частным и общим, наблюдается между действительным и возможным. Лишь всеохватное мировосприятие может позволить современному художнику выполнить завет Л. Н. Толстого и отразить в своем творчестве «новые и важные стороны жизни».

Полнокровного отражения «нового и важного» в современной литературе республики, к сожалению, пока не видно. Девизом наиболее заметных художественных произведений последних лет стало: критика, критика и еще раз критика! Клеймят позором сталинизм, развенчивают «застой», разоблачают мафию... Читатель, честно говоря, уже начал уставать от публикаций и книг такого рода. Ну, было ужасно, сейчас плохо, а дальше-то что? На этот вопрос писатели не отвечают, продолжая гонку по лезвиям острых тем. Создает впечатление, что между литераторами идет некое соревнование. Как у прыгунов с шестом: кто выше? — так и у писателей, кто острее? Да еще: кто первым выскажется по тому или иному «белому пятну»? Отсюда скоротечность, ломка сюжета и стиля, обилие дидактики.

Большой вред наносят кавалерийские наскоки на острые темы узбекскому литературному языку. Дело тут не в пробелах образования. Засилье публицистики принесло и на страницы масштабных произведений сухую информативность. Во многих романах царит смесь холодного газетно-

го стиля с мертвым языком канцелярий. Сегодня и писатель, и дехканин, и секретарь райкома, и молодой инженер, и старик-ветеран — разговаривают на одном и том же сером языке газет. Куда исчезла красочная речь героев Абдуллы Кадыри, Чулпона, Усмана Насыра, Айбека, Абдуллы Каххара, Гафура Гуляма? Неужели узбекский язык стал так беден и скучен? Неправда.

Перегибы, перекосы, переклесты... А для вдумчивого исследователя остаются попытки понять: какие же горизонты открываются за нынешним туманом? Какая же литература должна родиться, как Венера, в теперешней пене? Однако прежде, чем подойти к этой грани, предпримем небольшой исторический экскурс.

Некоторые горячие литературоведческие голы, спутавшие перестройку с пресловутым «разрушением до основания», нынче готовы объявить весь советский период чуть ли не пробелом в культурной жизни страны. Термин «социалистический реализм» становится едва ли не площадной бранью. Дескать, куда Лавреневу, Фадееву и Маяковскому до тонкого психологизма Чехова, Бунина и Ходасевича. В творчестве соцреалистов человек схематичен и недалек, оно антигуманно!.. Однако давайте обойдемся без восклицательных знаков и разберемся спокойно.

Любой процесс развития (в том числе и развития литературы) разворачивается по диалектической спирали теза — антитеза — синтез. Классический пример из области культуры: пышный расцвет индивидуализма эпохи Возрождения на почве полного подчинения личности требованиям религии (триада античность — средневековье — ренессанс). Подобный сдвиг культурных пластов произошел и в нашей стране. В то время, когда Достоевский исследовал глубины человеческого сознания, уже готова была выплеснуться на арену истории расплавленная магма классовых битв. Ну а в атмосфере столкновения стихий человека уже не спрашивали: кто ты?, у него допытывались: с кем ты? Естественно, тот же вопрос стали задавать и писатели своим персонажам. В такой литературе недостает психологических тонкостей? Да откуда им быть, если вся эта литература — о другом. Не об отдельно взятом человеке, а о человеке во взаимосвязях с классом, с общественным слоем, с самой стихийной историей. У этой словесности свои мерки, и ни к чему мерять ее чужим аршином.

В присталинское время идея «обостренной классовой борьбы» насаждалась уже искусственно. Сохранению в обществе не личного, а массового сознания содействовали и вторая мировая война, и необходимость восстановления хозяйства в послевоенные годы. Далее дело пошло по инерции, и классово-массовый подход к культуре стали поддерживать чиновники, которых В. И. Ленин некогда именвал «коммунистическими начетчиками».

Однако идеология социализма, изначально заявившая о своем служении людям труда (что в конечном счете означает выявление личности начала не «элиты» а подавляющего большинства человечества), не могла долго оставаться в подобном замороженном состоянии. Разворот советской литературы лицом к человеку начался задолго до перестройки. Здесь прежде всего надо отметить творчество так называемых «деревенщиков», в котором «крестьянин впервые сам рассказывает о себе». От тезы «отдельный человек» через антитезу «человек для общества» был наконец-то совершен переход к синтезу: «человек в обществе». Таков удивитель-

тельный литературный феномен, созданный В. Шукшиным, В. Распутиным, В. Беловым и многими другими.

Развитие советской литературы в целом представляется процессом слитным и закономерным. То же в полной мере относится к литературе узбекской. Из нашей романистики невозможно вычеркнуть ни «Минувшие дни» А. Кадыри, ни «Мираж» А. Каххара, ни «Навои» Айбека, ни «Совесть» А. Якубова. Ставшие в последние годы достоянием читателя, произведения Чулпана и Фитрата лишь дополняют эту картину, но не изменяют ее сущности.

Несколько слов в сторону — об одной из плодотворных ветвей узбекской литературы, историческом романе. К этому жанру некоторые чиновники до недавних пор также относились с подозрением, им чудились опасные намеки на современность. До определенной степени так оно и было. Уход в историю зачастую служил писателю спасительной отдушиной в замкнутом мире застоных лет. Однако истинное значение жанра далеко выходит за рамки замаскированной критики современных негативов. Без исторической памяти, чувства корней народа попросту невозможна та свободомыслящая и духовно богатая личность, проявляющая которой в общественной жизни мы ждем так нетерпеливо. История — это и пример, и остержение. Попыткой создания портрета гармонической личности — поэта, государственного деятеля, полководца — явился популярнейший в наши дни роман Пиримкула Кадырова «Бабур». Сейчас П. Кадыров продолжил свои исторические странствия через «Перевал поколений». П. Кадыров в своем творчестве никогда не был подвержен перепадам времени. Несмотря на прямые запреты и сладкие посулы в застоные годы, он всегда был предан своему писательскому принципу, оставался честным и правдивым в своих произведениях. И перестройку писатель встретил не на трибуне обличителей и соискателей лавров героя-мученика. Он жил и живет болью своего народа, его страданиями, переноса их на страницы своих произведений. Думается, что художественные исследования истории в эпоху гласности не только не приостановятся, но и обретут второе дыхание.

Время предъявляет советской литературе требование внимательного и широкого взгляда на личность и ее место в мире. Непонимание этого отбрасывает писателя на обочину литературного процесса. Сегодня мы не только по-новому оцениваем роль человека в жизни всего общества, но и судим, исходя из этого, о реальных успехах демократии в нашей стране. Говорим о зрелости общества.

Как же все это отражается в произведениях узбекской прозы последних лет? Чувствует ли себя ее герой свободным участником событий, ответственным за происходящее вокруг, или же это по-прежнему винтик гигантского механизма, от которого мало что зависит? Наша проза не всегда дает ответ на этот вопрос, но постоянно имеет в виду. Пример тому: новые произведения таких разных писателей, как Уткур Хашимов, Саид Ахмад, Шукур Холмирзаев и многие другие.

В лучших произведениях современной узбекской прозы герой все увереннее отстаивает свою точку зрения, свою индивидуальность. Через призму образов выявляется писательский взгляд на естественные права личности в обществе. Персонажи этих произведений мыслят независимо, берут на себя немалую ответственность,

способны на решительные поступки. В этом словно отражены особенности духовной ситуации нашего времени. Времени переходного, пронизанного токами новых идей, зачастую противоречивыми веяниями.

Серьезной удачей на этом пути представляет роман Уткура Хашимова «Меж двух дверей». Автору удалось создать панорамный портрет общества за сорокалетний период развития. Признанное мастерство бытописателя помогло У. Хашимову воссоздать общественно-психологическую атмосферу времен культа личности, проследить зарождение эпохи застоя.

«Меж двух дверей» — это своеобразный роман в монологах. Читателю раскрывают свою душу люди самые разные, принадлежащие к различным общественным слоям, и каждый имеет собственный взгляд на происходящее. Таким образом писатель высветляет любое событие с многих точек зрения. Читатель словно становится непосредственным участником романских коллизий, ему предоставляется право самостоятельно дать оценку той или иной личности, авторское мнение скрыто в тени.

Успех романа, за короткое время трижды изданного массовыми тиражами, объясняется тем, что автору удалось заселить страницы своего романа истинно народными характерами и судьбами. Каждый образ наделен неповторимой индивидуальностью. Исповедальная интонация романа, искренний антикультурный и антивоенный пафос, нигде не срывающийся в ложную патетику, позволили писателю приблизиться к воссозданию неприукрашенного портрета самого народа. Здесь вы найдете и вечную готовность к самопожертвованию, истинное трудолюбие, миролюбие и — увы! — ничем не оправданную покорность судьбе, а то и злой воле отдельных людей.

В сущности, все судьбы героев романа «Меж двух дверей» трагичны, и именно в этом художественная правда произведения. Трагедия каждого персонажа, будь это Ариф-акал или Джума-бобо, будь это вызывающий отвращение к себе Умар-законник или словно сотканный из света мальчик Музаффар, точно уготована им самой судьбой, или, говоря по-литературоведчески, социальное обусловлена. Трагедийность действия усиливается еще и тем, что эти простые люди не догадываются ни о надвигающейся на них беде, ни о ее истинных причинах. Они живут обыденно, как жили их предки, трудятся, радуются и горюют — словом, полностью доверяют мудрости вечнотекущего бытия, равно как и прозорливости «великого вождя».

Размеренность жизни, протекающей без особых волнений, светло-элегически переданной автором в мельчайших подробностях, внезапно нарушается грозным событием — началась война. И герои вдруг становятся трудно узнаваемы, резко меняется тональность романа, мази бытописательства делаются размашистыми и прерывистыми, речь — страстной. Выявляется огромная духовная мощь простого народа, олицетворением которого становятся эти приметные люди из самого обыкновенного узбекского кишлака. Роман переведен на русский язык, и вот что любопытно. По отзывам русских писателей, заботы героев Уткура Хашимова, простых людей, лишены национальной окраски. Русский крестьянин в их положении поступал бы точно так же.

Известно, каким тормозом на пути развития узбекской романистики стала присущая почти всем произведениям 60-х—70-х годов задан-

ность темы. В те времена авторы зачастую были заняты не размышлениями над событиями жизни, а конструированием псевдожизненных коллизий и подгонкой их под решение заранее поставленной проблемы. Теперь уже всем очевидна антихудожественность подобного подхода к творчеству. Подобные издержки есть у Уткура Хашимова в его предыдущем романе «Свет не без тени». Однако новая книга, «Меж двух дверей», создана им в совершенно иной манере. Заданности темы здесь нет и в помине. Более того, создается впечатление, что автор просто следует за своими героями по их трудному пути. Отсюда и появляется смело и правдиво воссозданный «воздух» четырех десятилетий жизни узбекского села.

Образ Умара-законника — одна из существенных удач писателя. Конечно, во многих произведениях литературы отрицательные персонажи выглядят ярче и выразительнее положительных, здесь проявляется так называемая «характерность». Однако у У. Хашимова удача иного плана — создан образ предтечи новоявленных «диктаторов» эпохи застоя, обнажена психологическая подоплека опасного общественного явления.

«Немало людей бездарных и озлобленных, вроде Умара-законника с грозной плеткой-камочкой, правило узбекским колхозом, — сказал сам автор в интервью «Литературной газете» — Но вот парадокс — жили они более чем скромно, без излишеств. Наверное, такие типы и привлекают нынче охотников до жесткой, до честной руки. Увольте, товарищи, какая там честность! Они бы рады, да вот просто не нашлось времени на шкурные интересы — необходимо было беспрестанно творить зло, чтобы самому не угодить в сталинские лагеря. Какие метаморфозы претерпел Умар-законник в 70—80-е годы, мы убедились на примере Каримова, Гаипова, Адылова и прочих».

Целью продемонстрировать как раз подобную «метаморфозу» личности, причем личности незаурядной, в условиях брежневского «застоя», в последнее время задался ряд писателей.

Здесь явно видно, что даже бойкость пера признанных мастеров не позволяет вписать разоблачительный пафос в изначальную «положительную фактуру» произведения. Хвалебная плюсовая конъюнктура, легшая в фундамент отдельных романов, не позволяет вытеснить себя конъюнктуре минусовой, несмотря на все старания писателя. И авторы идут по легкому пути, сбиваются на авантюрно-приключенческий тон, что никогда еще не позволяло создать обобщенный портрет социального явления. Читаешь тексты романов и ясно видишь, что автор сам прекрасно чувствует слабость собственных построений. Именно от авторской неуверенности появляются часто полуэротические сцены — проявляется желание во что бы то ни стало и чем угодно удержать читателя. Кстати, штрих этот очень характерен именно для литературы застойных лет: для придания произведению занимательности к безвкусному сюжету добавляют пряности; именуемые на редакторском жаргоне «койкой». Последние годы отдельные писатели спешат высказаться, еще не вникнув в суть и причины описываемых ими уродливых явлений. Ну а положительные герои, призванные, по их мнению, к победе над злом? Увы, нерешительны, предаются бесплодным колебаниям и вряд ли в реальной жизни могли бы сделать хоть что-то доброе. В результате сами не смогли избежать и новейшей конъюнктуры: в качестве позитива

у них представлены так называемые «ссылные» герои, преследовавшиеся в свое время Рашидовым.

В духовной жизни нашего общества, как и в политике, как и в экономике, идет напряженная борьба нового с отжившим. Однако мы наблюдаем сегодня совершенно неожиданное и очень опасное явление: на службу вроде бы всеми проклинаемой мертвечине становятся крайности в утверждении новшеств. Кому выгоден политический, экономический, национальный экстремизм? Да ведь очевидно, что выгодно это лишь теневым силам, уже создавшим в стране кризисную ситуацию и продолжающим «ловить рыбку в мутной воде» псевдоперестроечных процессов так же, как раньше те же круги занимались «рыбалкой» в тине «застоя».

Сейчас нельзя называть себя идейным человеком, не будучи совестливым, не обладая чувствами личной порядочности, милосердия, личной ответственности перед обществом. Не имея этих качеств, нельзя именовать себя и патриотом своего народа, своего края.

Ныне в советских людях все полнее возрождаются личностные качества, сознание своей нравственной, духовной, национальной и исторической значимости. Ну а в литературе, особенно в публицистике, все чаще дают о себе знать конфликты, связанные с обостренным чувством собственного достоинства, когда любое, даже непреднамеренное покушение на честь личности, окрашенное национальными эмоциями, вызывает резкий эффект неприятия и враждебности. Рост национальной самосознания, ставший как бы ответной реакцией на личностную и этническую нивелировку, выражается в почти повсеместном культивировании национальных чувств героев романов и повестей. Крайность — увы, новая крайность.

От писателя, который рассматривает болезненный вопрос межнациональных отношений, читатель ждет особого такта и осмотрительности, целительного, врачующего прикосновения. Только зло могут посеять обидные перекосы в трактовке характеров и событий, связанных многонациональной средой. Нельзя полагаться здесь на узкоэтнический опыт. Важен учет иной психологии, необходимо проникновение в специфический инациональный мир. Таков и только таков путь от национальных проблем к общечеловеческому, только тогда возможен неискаженный взгляд писателя на жизнь нашей многонациональной страны. Сама ткань художественного произведения должна подводить читателя к мысли о разумном преодолении противоречий, о справедливых и гуманных основах бытия в «общем доме».

Истинно народные обычаи и традиции прекрасны. Но нигде народная мудрость, народные верования не проповедовали вражды к иноплеменникам, радости при виде беды сотоварища, пренебрежительного равнодушия к духовному миру живущих рядом.

Расул Гамзатов писал: «Кто любит свой народ, тот не должен бы без конца, в каждом случае молотя себя в грудь кулаком, от его имени выступать, а обязан словом и делом служить ему. Подлинный патриот — это интернационалист. Кто хочет процветания своей нации, тот особенно сейчас должен иметь добрые чувства ко всем народам... Самоизоляцию, отчужденность, вражду, коли они возникают, необходимо выпалывать, как сорняк».



Георгий Владимиров

Из цикла «Рижские закаты»

Памяти Ольги Алексеевны Владимировой

«Красный в сером — это цвет
Надрывающей печали...»

«Нет в мире радости светлее, чем печаль...»
М. Волошин

Рижские закаты

Пленительные рижские закаты —
Символика мгновенной красоты.
В вас отцветают счастье и утраты,
Надежды, ожидания и мечты.
Вам чужды неподвижность, постоянство,
Вбирает вас в себя ночной кошмар,
Когда, не грея мертвое простанство,
Плывет в небытие кроваво-красный шар.
И в этом ослепительном сиянии
Последних догорающих лучей
Бесследно гаснут все переживанья
Усталых, исстрадавшихся людей.
И в душах их печали переливы,
Игра теней и охры золотой
Бывают так пронзительно красивы,
Как свод небес, подернутый тоской.

Морской прибой

О чем ропщешь, морской прибой,
И вал за валом куда стремится?
Но только шелест и шум глухой
Тоской на сердце всегда ложится.
Мне что-то волны хотя бы сказать
И в чем-то тайном своем признаться,
Но не могу их никак понять
И на призывы их отозваться.
Должно быть, сердце не тем живет,
Чем это бурное, во всплесках море,

И море тоже ведь не поймет
Ни дум тревожных моих, ни горя.
Но море ропщет, прибою шум
Зовет куда-то и увлекает,
От утомивших тяжелых дум,
Того не ведая, отвлекает.
Ропщи и бейся, морской прибой,
Свой ритм размеренный не меняя...
Пусть каждый будет самим собой,
Ни в чем другом не уступая.

Волшебство рижских вечеров

Я никогда не позабуду
Тот изумительный закат:
Все было розовым и всюду
Лучей струился водопад.
Гладь моря робко отражала
Узор пылающих небес,
Она стыдливо отвечала
Румянцем, полным тайных грез.
А в небе чудеса творились:
Его живая красота,
Узор меняя, торопилась
Дарить все новые цвета.
И только далеко в тумане
С той, незакатной стороны,

На серо-мертвенном экране
Бледнела рябь морской волны.
Так в миг торжественно прекрасный,
Когда закат весь мир обьял,
Цвет радости волшебно-красный
С уныло-серым враждовал.
И чувства также враждовали
В скорбящем сердце: тот закат
Они как дар воспринимали,
То грустно крылья опускали,
Когда на сером меркнул взгляд.
И той мучительной борьбою
Несовместимых двух цветов
Объединяло нас с тобою
Волшебство рижских вечеров.

Двойники

Сегодня солнца диск двоился, исчезая
В густой и темно-мутной синеве.
Он был кроваво-красен и, сияя,
Слепил глаза в вечерней полутьме.
Катились волны гневные, роптали
И создавали нервный непокой.
Они свинцовым цветом оттеняли
Тревожный мрак поверхности морской.
А солнца диск все медленней садился
На дальний небосклон, темневший полосой.
Он постоянно двигался, двоился,
И думал я тогда о нас с тобой.
Как будто оба мы, друг друга не бросая,
Сливались и на миг двоились на глазах.
Так жертвенно светило, умирая,
Тем двойником напоминало нас.
И если бы и мы так вместе угасали
И покидали мир в один и тот же миг,
То пусть бы волны гневные роптали,
Как музыку бы мы воспринимали
Свинцовый и холодный ропот их.

Две чуждые стихии

Когда встречаются две чуждые стихии —
Стихия солнца и морской простор, —
Рождаются узоры огневые
И буйство красок ослепляет взор.
И в жизни так же две враждебных силы,
Как близнецы, нас за руку ведут,
Одна — цвет юности, другая — зов могилы,
Сгорают юность, а могилы ждут.
В ней тех же красок буйное цветенье
И тот же путь — короткий, словно миг,
Исчезнет он, и, будто привиденье,
Нам вечность открывает страшный лик.
С иллюзиями трудно расставаться,
Но мир, как купол неба, голубой,
Где краски будут блекнуть и меняться,
Пока закат угаснет сам собой.

Память, боль земная

Вся растворясь в бескрайнем мире
И канув в мир небытия,
Простой и скромной иль в порфире
Ты предстаешь, любовь моя.
Ты для меня неуловима,
И ты всегда во всем со мной —
Неопалимая купина,
Сиянье радости земной.
И все слова и все мгновенья
Минувшей жизни обрели
Теперь иное воплощенье
И, слившись с прошлым, отцвели.
И как бы сердце ни стремилось,
Что было в жизни, повторить, —

То, что ушло, — испепелилось,
Теперь его не воскресить.
И только память, боль земная,
Как жизни прожитой печать,
Неизгладимо-роковая,
Нас будет с вечностью венчать.
И не стереть мне той печати,
И не хочу ее стирать,
Пусть горьких дней моих закаты
Та память будет озарять,
Как озаряют вечерами
Морской пустыни оком
Закаты рижские цветами —
Волшебной радуги огнем.

Последний луч

Осенняя на сердце непогода,
И мысли облака закрыли пеленой,
А где-то там, за гранью небосвода,
Мерцает отблеск жизни прожитой.
Возникнув, он незримо исчезает,
Лишь только память сердца бережит,
И трудно мне понять, что он в себе скрывает
И что душе неверящей сулит.
Быть может, тень его глаза мои туманит
И застывает в них то болью, то тоской...
Последний луч смертельно сердце ранит
И затухает сам в дали морской.

Раздумья

Когда сижу на берегу залива
И вдаль смотрю в молчании немом,
Вдыхая тишину, не чувствуя прилива,
Я думаю о самом дорогом.
Вот красный диск, закрытый облаками,
Спускается в сиреневую муть,
И розовый отсвет лишь слабыми штрихами
Ложится на воде, чтобы на миг блеснуть.
Блеснуть и умереть, как солнце умирает,
Не в силах одолеть густеющий туман.
На море штиль. Природа отдыхает,
И даже облаков растаял караван.
Но солнца обреченное движенье
В свое великое, как мир, небытие
В душе рождает тайное смятенье,
И ясно чувствуешь бессилие свое.
И если повелось в сем мире так от века,
Что солнце уступает мутной мгле,
Что значит смерть простого человека
С клеймом незримым на его челе?
Что значит это: много или мало
В судьбе людской и во вселенной всей?
Скажу одно — когда ты угасала,
Мне было страшно и в сто крат больней.

О вечном

Мне кажется, бывает у людей
И вещая тоска, и песня лебедей,
Когда закат горит над головой
И слышится в душе часов полночный бой.
И мысль о вечности смущает спящий ум,
Нарушив ход житейских скудных дум.
Лишь прикоснувшись к вечности, поймешь,
Что все сиеминутное есть ложь
И в этой лжи проводит человек
Короткий свой и зачумленный век.
Но как все это трудно осознать:
Не любим мы о вечном размышлять.
В угаре суеты и ближе и милей
Нам череда однообразных дней.

Сокровенное

Ни позабыть, ни пережить,
Ни вернуть, ни возвратиться,
Ни осознать, и не постичь,
И не принять, и не смириться.
Так в лабиринте бытия
И в катакомбах подсознания
Блуждает слепо мысль моя
В извечных муках покаянья.

Прощание с морем

В последний день, с чужим прощаюсь морем,
Я на скамье любимой посидел,
Где в дни тоски, убитый страшным горем,
Я на закаты рижские смотрел.
Сурово, недовольно море было,
Холодный ветер тучи нагонял,
Вокруг все мрачно, в сердце что-то ныло,
И я с тоской о доме вспоминал.
Том доме, без тебя пустом и неудобном,
Где одиночество давило, как плита,
И где я чувствовал себя так часто бесприютным,
Где в сердце жили боль и маета.
А волны в белых гребнях нагоняли
Тоску на все, что мог увидеть взор.
Они стремительно на берег налетали
И гасли в ярости. И я в упор
Смотрел на это бешенство стихии,
И было тяжело при мысли, что и там,
Куда лечу я, страсти роковые
Меня помчат по белым бурунам.

Дубулаты



Галина Одиссонова

В тридевятом царстве (сказочка)

Как из леса на равнину
богатырь спешит былинный.
Загнан конь, седок измучен,
еле держится в седле.
Плечи гнет в дугу усталость...
Отдохнуть; вздремнуть бы малость.
Сколько лет за долей лучшей
он блуждает по земле.

Перепутье. Вещий камень
полустертыми губами
что-то шамкает невнятно,
ничего не разберешь...
Темень. Ветер злой, колючий.
За спиною — лес дремучий.
Повернуть бы на попятный,
да дороги не найдешь

Впереди гора крутая.
Снежной шапкой подпирает
то ли небо, то ль гранитный,
в ярких звездах, потолок.
Справа — топкое болото.
Слева тускло брезжит что-то.
То ль — оконце, то ли — хлипкий,
Никчемный светлячок.

Пепелище под ногами.
В черной саже вещей камень,
что стоит на перепутье
с незапамятных времен.
Как согбенный, дряхлый старец,
в темень, дышащую гарью,
что-то шепчет, но о сути
слов своих не помнит он.

Жалкий, сырый и убогий,
он бормочет о дороге.
И об этой, что кривая,
и о той, что попрямей...
Мол, одна ведет в трясиину...
А другая, вроде, мимо...
Но куда ведет прямая,
он не помнит, хоть убей!

То ли к морю, то ли к долу,
то ли к Божьему престолу...
Помнит только, что мытарства
ожидают смельчака...
Перепутье. Вещий камень
что-то шамкает губами.
Где-то в тридевятом царстве...

И плывут века, века...

* * *

Несвобода моя,
ты — не рабство, где раб
человеком себя не считает смиренно,
и не черная немочь позорного плена,
и не недруг коварный со множеством лап,
и не склеп, из которого выхода нет
по причине тупого, глухого засова,
и не жаркая клятва священному слову,
и не Бога суровый запрет...
Несвобода моя — изнуряющий бег
в сне, похожем на обморок после падучей,
где я чувствую сердцем, что я — Человек,
что мне нужно спастись от беды неминуемой.

Только тяжесть свинцовая в ватных ногах
 не дает мне уйти от погони опасной,
 да скулящий, как пес, омерзительный страх,
 что бегу-то я, в общем, напрасно,
 да еще непонятная тихая грусть,
 да вериги тяжелые — годы...
 Я проснусь, непременно однажды проснусь
 и, быть может, умру от свободы.
 Но, покинув тяжелую вязкую суть,
 я пойму, что был бег не напрасен,
 и вернусь, непременно на землю вернусь
 в совершенно иной ипостаси.
 Беспричинной тревогой, вибрацией крон
 из Вселенной таинственным кодом
 я ворвусь в чей-нибудь изнурительный сон
 и шепну, как прекрасна свобода.

В балагане нашей жизни

Каждый миг — накануне
 чего-то грядущего, страшного,
 на натянутых струнах —
 смычок, иль пила, иль полено.
 что-то грянет сейчас?
 Танец с саблями,
 или дурашливый
 забубенный мотивчик,
 иль марш похоронный Шопена?
 Что-то будет сейчас...
 Возвращенье на Землю Мессии?
 Пир во время чумы?
 Представленья с названием «Омега»?
 За кулисами жмутся друг к дружке
 статисты босые,
 а какой-то Чудак ворожит
 над подобьем Ковчега.

Эй, чудака, погоди,
 ну куда ты отправишься, нищий?
 Ты ковчегом пустым
 опозоришь землян во Вселенной,
 если ты на Земле
 каждой твари по паре не сыщешь,
 изготовь муляжи
 и возьми их нам всем на замену.
 Паче чаянья, выплывешь
 Ноем из бездны кровавой...
 Обретя новый край
 и наполнив колчан сыновьями,
 ты на ярмарке жизни
 показывай нас для забавы,
 над зверюшками плачь
 а людей называй Дураками.

Приемыш

«Вот моя деревня...»
 Н. А. Некрасов

А дома нет.
 Наверное, спалили.
 А может, растащили на дрова.
 На месте сруба, чахлая от пыли,
 щетинится крапивная листва.
 Здесь жил прапрадед.
 А вон там, в лощинке,
 Где тоже пустошь, вроде жил другой...
 Вздохнув, уйду по узенькой тропинке
 к кладбищу за Маняшиной горой.
 Как ты крута, Маняшина гора!
 И я себе представила невольно,
 как я к тебе бегу стремглав с утра
 девчонкою в тулупчике нагольном.
 Как летом в лес по ягоды иду,
 как в Волге полощусь до посиненья...
 А дальше и представить не могу —
 отказывает мне воображенья.

Откуда этот колокольный звон,
 церквушка-то одна на всю округу?
 Маняшина гора, я на поклон
 иду к тебе по замкнутому кругу.
 Чужая я тебе, не обессудь.
 Мне и самой неведомы истоки,
 вспоившие загадочную суть
 души моей, приемыша Востока.
 Моя национальность — имярек.
 Был пращур русским,
 прадед стал лишенцем.
 Он умер на чужбине и навек
 остался в списках «спецпереселенцем».
 Дед с бабкой получили паспорта
 лишь в старости
 и горько горевали:
 уехать бы в родимые места,
 да боязно, ведь русские прогнали...

А мама вспоминает до сих пор
 вечерний звон тягучий колокольный
 и родников беспечный разговор,
 и Волги величавое раздолье...
 Ну вот, опять сбиваюсь на шаблон —
 мне, азиатке, помнить не под силу
 и шум берез, и колокольный звон,
 все это я, увы, не проходила.
 И для меня земли роднее нет,
 чем Азия,
 она — мое начало,
 на ней одной сошелся клином свет,
 я к русичам себя не причисляла.
 Забыла я, что путь исповедим
 по Кругу
 и что, поздно или рано,
 проснется Время — вечный Пилигрим
 и снарядит в дорогу караваны.
 И снова оголтеет суета,
 раздует распрей давние пожары,
 и побегут в родимые места
 армяне, турки, немцы и татары.
 Знать, русскою стать

пришла и мне пора.
 Да будет мудрость Азии предтечей:
 коль к Магомету не идет гора,
 то Магомет идет к горе навстречу.
 Иду к тебе, скрывая боль и грусть
 по родине оставленной — Востоку.
 Маняшина гора, не обессудь,
 неведомо мне, где мои истоки.
 Прости меня за горькие слова:
 я — русская по крови, а по сути,
 безродная, горячая трава,
 возвращенная странною на распутьи.
 И ты, Восток, приемный мой отец,
 прости мне недозволенные речи,
 «Бог не дал человеку двух сердец», —
 гласит Коран.
 Его истоки — Вечность.
 Вот и погост.
 Кой-где на бугорках
 заржавленные крестики слепые.
 О, будь ты проклят, идол вечный — «страх»,
 лишивший меня матери — России!

* * *

На Машине Времени
 по терниям,
 по бесплодным нивам
 и погостам
 в поисках Утраченного времени
 мчимся, позабыв про тормоза.
 Все быстрее, азартней
 и усерднее
 крутятся свирепые колеса,
 все смелей, упрямей и уверенней,
 зорче смотрят в Прошлое глаза.
 Там клянутся клятвою суровую
 и дают обет разговорения
 колокол разбитый,
 лес поваленный
 и могил слепые бугорки,
 черный ворон, что глаза выклевывал
 у Неподлежащих погребению,
 гимнастерка, белый шарф

и валенок,
 и перчатка с девичьей руки.
 То — простор,
 то тяжесть непомерная,
 то Орел,
 то Волк с улыбкой доброю.
 То тоска,
 то гнев неопиcуемый,
 то хула,
 то горькая слеза...
 На Машине Времени
 по терниям
 к звездам
 или в Царствие загробное
 в Прошлое,
 что так непредсказуемо,
 мчимся,
 позабыв про тормоза.

До и после полуночи

Документальный фильм. Париж.
 Каштанов стеллы.
 Кладбище. Мраморная тишь
 над прахом «белых».
 Кресты. Березка у креста
 «благорода».
 Мосты, сожженные дотла
 в огне без брода.
 О русские! По всей Земле
 могилы ваши.
 Доколе ж полниться во мгле
 кровавой чаше?
 Россия, то — твоя вина
 иль неизбежность,
 что стольким русским суждена
 роль «зарубежья»?
 Печальный колокольный звон.

Конец исканьям.
 Мысль неблагая в унисон:
 что будет с нами?
 И мы вдали от русских нив —
 чужое семя.
 И наших судеб негатив
 проявит Время.
 Зловещи улицы, пусты.
 Но тишь, как камень.
 Россия, мы не жгли мосты.
 Что будет с нами?
 Коль суждено сгореть в огне,
 что проку с башен?
 Мы — русские. По всей стране
 могилы наши.
 Документальный фильм...

Анатолий Ершов

ДОРОГОЙ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

СНОВА ПО ВЕЛИКОМУ ШЕЛКОВОМУ ПУТИ

«Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им никогда не сойтись», — утверждал Киплинг на пороге нашего столетия.

Но если действительно так чужды друг другу Восток и Запад, то почему между ними веками существует взаимное притяжение? Почему при глубоком анализе мы так часто обнаруживаем общность наших корней в культуре, науке, языке и даже обычаях? И не генетическая ли память вызывает у европейцев тоску по голубым горным хребтам и серебристым вершинам, безбрежным океанам суровых пустынь, а в самом воздухе позволяет почувствовать забытый горьковатый полынный аромат степей?

Это по ним, по просторам великого Евразийского континента, только за последние несколько тысячелетий не раз прокатывались волны народов-переселенцев. То с запада на восток, то с востока на запад.

Южнее пояса степей не менее грандиозно протянулся пояс пустынь и горных систем. И по нему также в течение веков проходила связующая людей тропа — Великий шелковый путь, готовый тысячами фактов поспорить с Киплингом.

Через пустыни, оазисы и горные перевалы соединила шелковая дорога народы Азии, Африки и Европы. Лишь эпоха великих географических открытий и вызванный ею прогресс морского судоходства привели к постепенному замиранию торговых и культурных отношений на древней караванной тропе.

Сегодня уместно вспомнить, что само понятие «шелковый путь» введено в науку лишь в XIX веке немецким ученым Фердинандом Рихтгофеном (1833—1905), прославившимся трудами по геологии и физической географии Китая, где его именем назван пятисоткилометровый горный хребет.

В наши дни намечено оживить контакты на историческом пути. Под эгидой ЮНЕСКО скоро по нему пройдет крупная международная научная экспедиция. Ее девиз — «Великий шелковый путь — путь диалога» — как нельзя лучше отвечает духу времени, ведь идеи развития экономических, культурных и научных отношений между народами приобретают все большее значение. Проект поддержали десятки государств Востока и Запада.

Экспедиция заинтересовала не только ученых, но и деятелей культуры, бизнесменов, представителей туристических фирм. Последние срочно прорабатывают собственные маршруты путешествий по Великому шелковому пути.

Через Среднюю Азию, один из важнейших участков караванной тропы, соединяющий Восток и Запад, международная научная экспедиция пройдет в 1991 году. К этому событию развернулась тщательная подготовка. Разведочная экспедиция состоялась уже в истекшем году. Ее участники спорили — как путешествовать? Заманчивой была идея по примеру предков снарядить караван верблюдов. И хотя у экологически чистой экспедиции было немало сторонников, решение приняли в пользу автомобиля. Специальные вездеходы в рекордно короткий срок изготовила западногерманская фирма «Мерседес».

В осуществление проекта активно включились ученые и общественность республик среднеазиатского региона. На отдельные участки будущего маршрута из Ташкента совершено несколько разведочных поездок. Их цель — выявить наиболее интересные объекты на пути международной экспедиции, внести свои предложения по уточнению маршрута. В подготовительной работе участвуют Узбекское республиканское отделение Советского фонда культуры, Узбекский

республиканский совет Общества охраны памятников истории и культуры, Академия наук Узбекистана, другие организации.

Один из маршрутов пролег от Ташкента через Ленинабад, Коканд, Фергану, Андижан, Ош до самого восточного города Ферганской долины — Узгена. Отсюда до границы с Китаем, как говорится, рукой подать. Если, конечно, лететь по воздуху. По земле же путь идет через горные перевалы. Не так просто пройти их сегодня, тем более сложной была эта караванная тропа в древности. Подтверждение тому — груды белых истлевших костей выючных животных и людей, погибших от метелей и холода близ седловин перевалов.

Китайские письменные источники утверждают, что первым одолел эти перевалы во втором веке до нашей эры посол Ханьской империи Чжан Цянь. Им был проделан путь в двадцать пять тысяч ли, или, в пересчете на современные меры, свыше четырнадцати тысяч километров.

Цель вояжа — поиск племени юэчжи, с которыми предполагалось заключить военный союз против общего врага — хунну. Именно это могущественное племя, перекочевав позже на запад, в Приуралье, смешалось там с аборигенами и положило начало новому народу — гуннам, своей воинственностью нагнавшим немало страха в Европе.

Во втором же веке до новой эры предки гуннов постоянно совершали набеги на Северный Китай, нанесли крупное военное поражение племени юэчжи (они же кушаны), которое после этого ушло в междуречье Сырдарьи и Амударьи.

В этот-то район через Ферганскую долину со многими приключениями и направилось посольство Чжан Цяня. В Кушании, главной ставке юэчжи, расположенной в долине среднего течения Зарафшана, китайский посол не застал вождя племени. Он, оказывается, только что покорил Греко-Бактрийское царство и находился на его территории. Посольству пришлось двигаться дальше на юг, к берегам Амударьи. Наконец встреча состоялась. Но, увы, вождь юэчжи о мести хунну не помышлял, от союза с Китаем наотрез отказался. Миссия Чжан Цяня, на первый взгляд, закончилась провалом.

Но на самом деле ее результат оказался прямо-таки бесценным. Путешественник, вернувшись через двенадцать лет на родину, первым принес в Китай сведения о степях и пустынях Центральной Азии, о великих центральноазиатских горных системах — Тянь-Шане и Памире, о сбегающих с них больших реках — Амударье и Сырдарье, текущих в Западное море (посол так и не узнал, что есть два моря — Аральское и Каспийское).

Китайские историки с именем Чжан Цяня связывают появление в Китае культуры люцерны, винограда, граната, огурца, грецкого ореха и фигового дерева. Как видим, не с пустыми руками вернулся предприимчивый дипломат и разведчик.

Однако экономические последствия путешествия оцениваются не только разовым его итогом. Ведь с рубежа второго и первого веков до нашей эры по маршруту Чжан Цяня надежно прошла постоянно действующая торговая дорога мирового значения, получившая позже вместе с северными и южными ответвлениями наименование Великого шелкового пути.

Это имя путь получил не случайно. Шелк был одним из главных товаров, который китайские купцы вывозили в западные страны.

Первыми, кто встречал караваны с китайскими тканями, были, естественно, жители Ферганской долины — страны Давань. Считается, что вместе с этими караванами, скорее всего тайно, завезли к нам и самого тутового шелкопряда, а точнее, грену — так шелководы называют яйцо этой бабочки.

Как было на самом деле, видимо, навсегда останется тайной. Нам же придется довольствоваться легендами. Одна из них повествует, что строжайший запрет вывоза тутового шелкопряда, грозивший смертной казнью, нарушила китайская царевна, выданная замуж за среднеазиатского правителя. Она в пышной прическе тайно провезла контрабанду. Вот с тех пор, гласит легенда, Средняя Азия и стала конкурентом Китаю в производстве шелка.

С IV—VI веков прекрасные ткани из этого природного сырья начали ткать и в Корее, и в Японии, и в Индии...

Те же легенды говорят, что с Востока в Южную Европу грена тутового шелкопряда совершила путешествие в выдолбленных посохах двух странствующих монахов. С XIII века шелководство получает широкое распространение в Европе. С XVI столетия шелкопряд разводят в России.

А что известно археологии?

При раскопках холма Сапаллитепе в Шерабадской степи (юг Узбекистана) было вскрыто поселение земледельцев, существовавшее около четырех тысяч лет назад. Здесь ученых ждала сенсационная находка — лоскут не истлевшей ткани из остатков одежды погребенного. Древний материал был отдан на экспертизу в Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности. Специалисты дали заключение: тонкая и эластичная ткань, составлявшая одежду древнего земледельца, выработана из натурального шелка!

До этой находки было принято считать, что история шелководства в Средней Азии насчитывает всего две тысячи лет и оно происходит из Китая. А так ли? Это пока загадка Великого шелкового пути.

И еще загадка: посол Чжан Цянь свидетельствовал, что ко времени прихода китайцев в Западный край от Давани до Аньси (Персии) знали шелк.

СТОЛИЦА ШЕЛКА

...Наш автобус стремительно преодолевает километры шоссе, пересекающего уютную Ферганскую долину — одного из крупнейших в мире районов по производству натурального шелка. По обочине дорог и полей, вдоль каналов — небольшие корявые деревца. Это — шелковица. Ее здесь для получения листьев — корма шелкопряда — выращивают на любом свободном клочке земли. Вспоминаю — где-то читал, что Петр I, энергично ратовавший за развитие в стране шелко-

водства, каждого, кто срубал шелковицу, карал смертной казнью. Бережно относятся к шелковице и в Средней Азии.

В долине действительно уютно. Всюду — тщательно возделанные плантации, ухоженные сады, поселки с тесно прижавшимися друг к другу домиками. И где бы ты ни оказался в этой долине, сквозь дымку будут вырисовываться грандиозные каменные гребни, накатывающиеся со всех сторон на древний оазис. Особенно впечатляет возвышающийся над всем южным горизонтом величественный Алайский хребет. Горы, начинаясь у края долины едва заметными увалами, постепенно образуют все более мощные гряды, вздымающиеся одна за другой, как будто набегаящие на берег волны. Сквозь вуаль пыли и тумана иногда просматривается самая могучая гряда — заснеженный гребень хребта, перевалы через который лежат выше всемирно известного Монблана, а вершин, соперничающих ростом с Эльбрусом и Казбеком, на нем — десятки.

Въезжаем в знаменитый Маргилан. Слава шелкоткацких мастеров этого города идет из глубин веков. По крайней мере, еще в десятом веке арабская рукопись свидетельствовала: «За один шелковый занавес, сотканный в Маргинане, стоит отдать все земли Бухары». С тех пор лишь немного изменилось само название города, а слава его как производителя шелка выросла и упрочилась.

Ныне в Маргилане шелковые ткани вырабатывают крупный комбинат, фирма «Атлас», предприятия местной промышленности и до недавнего времени подпольно-потомственные мастера. Продукция последних у местного населения всегда пользовалась повышенным спросом и ценилась дороже фабричной.

Первое предприятие шелкового комбината было заложено в 1928 году. Комбинат быстро расширялся. Но еще стремительнее рос спрос на его продукцию.

Тогда в 1963 году на базе мелких промыслов организовали еще и фирму «Атлас». Первоначально в нее вошло тридцать участков, разбросанных по всему городу. Теперь производство сконцентрировано на десяти участках, проведена реконструкция.

Экспедиция имела возможность посетить одну из пяти фабрик прославленной фирмы. В ассортиментном кабинете нам показали образцы продукции. Они поразили своей нарядностью и буйством красок. Хозяйка кабинета брала в руки сверкающий разноцветной радугой шелк, а он нежно струился между пальцев, переливаясь всеми мыслимыми оттенками. Красные, почти пурпурные, тона ткани мгновенно превращались в смолисто-черные, а те, в свою очередь, незаметно оборачивались сочной, как весенняя листва, зеленью, и тут же нас внезапно ослеплял, как полуденное солнце, желтый цвет, а рядом с ним возникала и спешила успокоить зрение холодная синь. Удивительную ткань с незапамятных времен называют «хан-атласом», и не случайно — она настоящая царица шелка, повторяющая все расцветки небесной радуги.

Секреты выработки этих тканей, общее название которых — авровые, из тьмы тысячелетий донесли до наших дней народные мастера. Что-то, конечно, со временем было утрачено, кое-что изобретено вновь. Сейчас ученые, используя достижения науки XX века, пытаются восстановить тайны чудесного шелка. Однако в этом, надо признать, нашим современникам не всегда сопутствует успех.

Но самый главный секрет — ему обязана своим существованием фирма «Атлас» — все-таки сбережен. Я имею в виду приемы изготовления авровых тканей. Их отличает ступенчатый рисунок и бесконечное разнообразие разноцветных полосок. Удивительно: цвет их ярких красок не режет глаза. Необъяснимый феномен? Давайте разберемся. Для этого присмотримся внимательно к ткани — по ширине полоски из разных красок четко разделены, а вот по длине один цвет переходит в другой плавно, через размытые границы. Не в этом ли кроется загадка мягкого восприятия столь контрастной окраски материала?

Уникальная технология производства изобретена народными мастерами еще в глубокой древности. По этой технологии принято красить не готовую ткань, а само волокно, нити основы. Поскольку же полоски должны быть разноцветными, то каждая прядь шириной в сорок нитей красится отдельно. Основа, как правило, состоит из шести тысяч нитей. Следовательно, для одной основы надо подготовить сто пятьдесят пучков. По их длине краски чередуются в нужном порядке и переходят одна в другую плавно, «как отражение облака в воде». Поэтому каждый пучок перед окраской через определенные расстояния туго-натуго перевязывают хлопчатобумажным шнуром. Под него краски лишь чуть-чуть просачиваются. Когда пучки вытаскивают из красильной ванны и развязывают шнуры, то под ними обнаруживаются неокрашенные промежутки с чуть размытыми границами. Теперь надо перевязать окрашенные участки основы, оставив открытыми те ее части, которые подлежат окраске в очередной цвет, и так далее — в зависимости от задуманной расцветки. На стыке участков останутся оригинальные мягкие заплывы одной краски в другую. Такой эффект до сих пор не удается достигнуть набивкой — печатанием рисунка по готовой ткани. Увы, «отражения облака» не получается.

Теперь уместно, наконец, объяснить, что значит «авровая ткань». Языковеды утверждают, что название это происходит от древнеперсидского слова «абр» — «облако». Одна из ответственных специальностей в производстве — авербандщик. Буквальный перевод — «мастер, занятие которого связано с облаком». Согласитесь, звучит для земной профессии весьма романтично, хотя и загадочно. Ответ опять же надо искать в преданиях старины глубокой.

Легенда сообщает, что способ изготовления своеобразной ткани придумал в давние времена, возможно тысячу или даже две тысячи лет назад, молодой ткач. Был он беден, а влюбился в девушку из знатного рода. Отец ее, узнав о чувстве юноши, сказал: «Я не стану препятствовать вашему счастью, но ты должен подарить невесте нечто прекрасное, чего еще не ведал мир». Долго ходил в поисках подарка молодой человек по родной ферганской земле, но так ничего достойного и не нашел. Однажды вечером присел он на берегу хауза — пруда. Сидел со своими грустными думами и не видел иного выхода, как утопиться, ведь жизнь, без любимой ему не мила. Решившись, привстал, и тут же замер, пораженный видом плывущих по воде облаков. Необыкновенно легких, разноцветных от заката. И не было на земле ничего прекраснее, чем эта картина отраженного в воде голубого неба с нежными облаками. Понял тогда юноша — подарок

для ненаглядной найден! Через несколько дней молодой ткач явился к отцу невесты с невиданной тканью. Ее рисунок, как зеркало, отражал вечернее небо.

Существует и другая легенда. Ткачу угрожала долговая яма — тюрьма. Но мастер, опять же, увидев отражение облака в воде, создал чудесную материю и принес ее во дворец хана. Новинка государю понравилась, и велел он ремесленника наградить, а ткань именовать «хан-атласом». Из него разрешалось носить одежду только самому хану, членам его семьи и придворным. Действительно, хан-атлас — лучший из всех видов авровых тканей и поэтому всегда был самым дорогостоящим и доступным не для всех.

В наши дни в среднеазиатских республиках нарядами из авровых тканей гордится буквально каждая семья. Особенно привлекательно выглядят в платьях из традиционного материала женщины. Улица любого города и селения, на которой появляется красавица в платье из хан-атласа, сразу становится праздничной.

Десятилетиями спрос на авровые ткани не удовлетворялся. В последние годы рынок насытился. Дефицита больше нет. Это потребовало от текстильщиков поиска новых путей сбыта своей продукции. Фирма «Атлас», например, начала торговать с Китаем, ведет переговоры о продаже тканей с европейскими и азиатскими странами. Да, торговые контакты на древнем шелковом пути стали возрождаться.

Совершенствуется и сама продукция маргиланских ткачей. В ассортиментном кабинете нам показали ткани десятков новых рисунков. Они созданы художниками производственного объединения в соответствии с традиционными мотивами. Среди художников, конечно, есть немало и старых потомственных мастеров.

В задачу художников входит также разметка рисунков по основе ткани. Делается это едва заметными штрихами, легко смываемой краской. По таким меткам авербандщик перевязывает жгутами пряди основы. Труд требует от исполнителей особой точности и добросовестности. Попробуй из многих тысяч перевязок лишь одну затянуть не туго — тут же нити примут чужую окраску и будет загублен шелк.

Опытные мастера привыкли хорошо работать, их руки сами все отлично делают, и получается то, что требуется, — оригинальные заплывы одной краски в другую, действительно облакоподобные узоры.

Работа эта титаническая — ведь на каждом отрезе хан-атласа делаются десятки тысяч перевязок. За год через руки мастера пропускается около семисот тонн обработанного таким образом шелка. Инженеры, конечно, попробовали создать машину, заменяющую пальцы мастера, однако всерьез соперничать с человеком техника в этом деле еще не в состоянии.

В старые времена авербандщики, как до сих пор мастера надомного труда, сами создавали рисунки. Подобрать узор для ткани могут многие, а вот почувствовать соотношение цветов дано не каждому. Такая способность, как говорят в народе, от бога. Не случайно истинные мастера всегда пользовались большим уважением. Их опыт переходил от отца к сыну, из века в век. Так передавались и наиболее полюбившиеся народу узоры. В рисунках, конечно, что-то менялось, совершеннее становилась их красота. Создавались и новые рисунки.

Мастерам помогают наблюдения за окружающим миром — явлениями природы, изменениями в жизни общества и в быту. В поисках узоров, рассказывают старые мастера, в морозные дни приходится поливать водой слегка покатые поверхности земли. Стекающая по ним вода замерзает, образуя причудливые узоры. Фантастические ледяные картины, сверкающие в лучах солнца, навевают динамичные образы. Хорошей подсказкой служат и радужные пятна масла, разливающегося по поверхности пруда. Игра света и цвета на гранях драгоценных и поделочных камней — не менее важный источник вдохновения. Растения, животные, предметы быта тоже рождают в воображении различные ассоциации, воплощающиеся затем в рисунках на тканях. Так, видимо, возникли ткани с узорами «барги карам» — «листья капусты», «чаен» — «скорпион», «илон изи» — «след змея», «коса гул» — «узор чаши», «галвирак» — «решето».

Многие зооморфные мотивы в рисунках дошли до нас из седой древности. В них с трудом узнается исходный образ — реалистическое изображение исчезло, сохранились лишь условные черты, несущие определенную идею. В представлении местных народов, например, змея и тигр испокон веков наделялись магическим значением, первая оберегала благополучие человека, второй был покровителем рода. Магический смысл этих рисунков давно забыт, узоры подверглись стилизации, и ныне осталось исключительно эстетическое их восприятие.

Наша эпоха родила свои рисунки. На тканях появились силуэты спутников и ракет.

Но главное, мы — наследники воистину бесценных сокровищ.

Современное производство, вобрав в себя все лучшее, что было создано поколениями мастеров, пошло дальше. Многие процессы автоматизированы и механизированы. А при индустриализации, конечно, что-то и теряется.

Может исчезнуть неповторимость, индивидуальность узора, особый колорит ткани — ведь в фабричном исполнении рисунки на материале, утвержденные художественным советом, становятся стандартом, отклонение от которого даже в лучшую сторону рассматривается как брак. В надомном производстве, которое после десятилетий запретов продолжается и сегодня, творчество мастера не сковано никакими ограничениями.

Я спросил у руководителей фирмы: много ли тканей изготавливают частные конкуренты? В ответ было названо примерно около ста тысяч метров в год.

— Но для нас это не помеха, — сказал генеральный директор фирмы «Атлас» Хабибулло Низаметдинов, — ведь мы выпускаем миллионы метров. Да и сама продукция надомников некачественная, нестандартная.

Мне показалось, что ответ генерального директора был неискренним. Да и как понимать слово «стандарт»? Покупатели, приобретая ткани, о стандартах, наверное и не думают. Им важнее общее впечатление, а не строгое соответствие покупки утвержденному образцу. И то, что кустарные ткани даже при насыщенном фабричной продукцией рынке пользуются спросом и за них платят дороже, говорит само за себя.

С этим приходится считаться и таким крупным предприятиям, как фирма «Атлас». Свежий ветер перестройки уже залетел в ее цеха и кабинеты. Здесь все больше стали задумываться над повышением качества продукции и над поиском новых рынков сбыта.

Перемены в обществе положительно сказались и на судьбе кустарей. Теперь право заниматься индивидуальным трудом закреплено за ними законом. А ведь всего десяток — полтора десятка лет назад к ним строго применяли совсем другие законы. Тогда в отношении местных кустарей была совершена варварская акция — собрали и сожгли их ткацкие станки. Сегодня кустарям уделяют внимание и государственные, и общественные организации.

Министерством местной промышленности Узбекистана в Маргилане, например, создана сувенирная фабрика надомного труда. Из восьмисот человек половина — надомники. Они заняты шитьем и вышивкой. В основном это многодетные матери. Другая половина трудится на самой фабрике — разматывает коконы и тклет ткани.

Полотнища выработывают на деревянных станках. Слово «станок» в данном случае звучит даже неправомерно громко — речь идет всего лишь о деревянных планках, между которыми тянутся радужные нити шелка.

Примитивное производство вызвало прямо-таки бурный восторг участников экспедиции. Это было настоящим открытием. Особенно радовались ему этнографы, специалисты по народным промыслам, журналисты. Видимо, такое же приподнятое настроение охватило бы зоологов при встрече с живым мамонтом. На девушек, обслуживающих станочки, обрушился град вопросов. Они, смущаясь от непривычного внимания, все же обстоятельно делились секретами приемов труда прадедов.

Но самое неизгладимое впечатление, пожалуй, произвело посещение «адской кухни». Так я назвал бы участок, где разматывают коконы. Представьте себе тесную закопченную и заполненную паром комнатушку с несколькими печами. В каждую печь вмазан чугунный котел, содержащий воистину ведьмино варево — своеобразный суп из коконов.

В бурлящей воде работницы палкой отыскивают концы нитей, прикрепляют их к деревянному колесу. По размерам оно немногим больше велосипедного. Колесо медленно вращается, наматывая на себя нити. В таком виде, надо полагать, это производство существовало во времена расцвета торговли на Великом шелковом пути. Еще в начале века в Ферганской области подобных производств насчитывались сотни. Встреченное же нами, возможно, единственное на весь край. Для размотки здесь используют нестандартные коконы. То, что не под силу современным машинам, с успехом решается способами, найденными человеком тысячелетия назад.

По преданию, свойство коконов разматываться в горячей воде открыла Лэй Цзу, жена китайского императора Хуанди, правившего страной еще за двадцать семь веков до нашей эры. Знатная дама пила в саду, под тутовым деревом, чай, но вдруг сверху в чашечку упал кокон. Лэй Цзу, чтобы выловить его, потянула за торчащую шелковинку и увидела — кокон разматывается! Нить отличалась приятным блеском, мягкостью и была прочной.

Кокон, своеобразный домик гусеницы, состоит из одной непрерывной нити, длина которой достигает двух тысяч метров. Эту нить гусеница, завивая кокон, укладывает крошечными петлями, совершая за время постройки своего жилища до полумиллиона колебательных движений головой. И трудится гусеница без всяких перерывов на отдых и обед...

Шелкопряд — удивительное существо. Из восьмисот тысяч насекомых, населяющих Землю, он — единственный совершенно ручной вид. Без заботы человека он не смог бы существовать. Эта бабочка за время тесного «сотрудничества» с человеком настолько изменилась, что сегодня весьма непросто ответить на вопрос — кто же был ее предком? Предполагается, что им является одна из живущих в Юго-Восточной Азии родственных бабочек. Лишь она способна вместе с шелкопрядом давать потомство. Но каким путем бабочка проникла в Китай? Удастся ли когда-нибудь с достаточной достоверностью восстановить маршрут этого таинственного путешествия?

Шелкопряд особенно быстро меняется в наши дни. Ученые открыли хитроумные приемы производить операции над наследственными клетками насекомого. «Монтируя» гены маленького труженика, исследователям удалось вывести новые породы, отличающиеся повышенной продуктивностью. Это был прорыв в геной инженерии. Открылись возможности улучшать породы и других прирученных человеком животных. Таким путем ученые надеются со временем создать высокоудойных коров, кур, отличающихся необычной яйценоскостью, овец с исключительно быстрорастущей и длинной шерстью.

Редко встретишь в среднеазиатских колхозах и совхозах современные червоводни. Они все еще остаются в чертежах, а шелковичных червей в разгар сезона по-прежнему выкармливают в приспособленных помещениях и даже в жилых комнатах. Тогда семьи крестьян переходят жить из дома во двор или сад, благо уже наступает теплая пора времени года. В освободившихся комнатах размещают коробки с гусеницами. Их располагают на специальных низеньких деревянных нарах, под ножки которых подставлена домашняя посуда. В нее наливают воду, считается, что таким способом предотвращают проникновение к «обеденным столам» шелковичных червей посторонних насекомых, но, возможно, этим приемом поддерживается и необходимая в помещении влажность воздуха, так как в иных случаях водой рекомендуется просто поливать глиняные полы.

Занимаются выкармливанием шелкопряда, как правило, женщины. Им помогают дети и старики. Мальчишки, забравшись на дерево, срезают и сбрасывают на землю ветви. Девочки и женщины стаскивают их на ровную площадку около дома, ножами или топориками разделяют крупные ветви на более мелкие, складывают в вязанки.

Если выращивание и кормление червей шелкопряда всегда считалось чисто женским делом, то размотка коконов и шелкоткачество — издревле занятие мужское. Правда, в некоторых районах это разделение труда было иным — в обязанности женщин входила и размотка коконов.

По традиции, в помещения, где выкармливаются черви, посторонних не пускают. Для предотвращения вреда от «дурного глаза» комнаты, особенно входы в них, украшаются оберегами. Ими иногда бывают интимные предметы женской одежды. Принято считать, что шелковичные

черви привыкают к запаху ухаживающей за ними женщины. Поэтому в некоторых местностях вся тяжесть труда по выкармливанию гусениц падает на одного человека. Другим же людям не только не дозволяется кормить червей, но даже смотреть на них, чтобы не слгзлить.

Бабочки тутового шелкопряда откладывают совершенно крохотные яйца. На чашечку аптекарских весов их надо положить почти две тысячи штук, чтобы перетянуть гирику весом всего один грамм. Оживляют микроскопические яйца в специальных мешочках испытанным веками способом — за паузой и под мышкой. Выполняют такую экзотическую работу только женщины. Делать это девушкам обычной запрещает. Считается, что лишь матери семейства могут обеспечить плодовитость шелкопряда.

Под влиянием человеческого тепла зарождается жизнь, и примерно через полторы-две недели на свет появляются «мураши» — крохотные гусеницы. Высиженные, а точнее выхоженные таким оригинальным способом, червячки с первых дней отличаются невероятной прожорливостью, стремительно растут, периодически меняют «одежду», быстро становящуюся тесной. На время линьки гусеницы теряют аппетит, ненадолго засыпают. Это дает короткую передышку и шелководам, не успевающим поставять «к столу» червячкам листья и побеги шелковицы. «Переодевание» происходит пять раз через каждые четверо-шестеро суток. Самый трудный и продолжительный возраст — пятый, когда почти за две недели гусеницы пожирают втрое больше корма, чем за всю предыдущую жизнь. В червоводне от неустанной работы их челюстей стоит шум, напоминающий звук энергичного летнего дождя. За время своей недолгой жизни гусеницы шелкопряда успевают съесть и переварить огромное количество корма: для обеспечения питания всего тридцати граммов грены требуется снять листву с двадцати пяти тутовых деревьев средней величины!

К концу своего последнего возраста гусеницы достигают восьми сантиметров в длину и весят в несколько тысяч раз тяжелее новорожденных. Теперь пора выставлять специальные приспособления — коконники, на которых гусеницам удобно завивать коконы. Но можно обойтись и веточками самой шелковицы или соломенными «ершами».

За несколько дней каждая из гусениц, выделяя из особых желез непрерывное волокно, строит домик. Небольшая часть коконов остается «на племя». В них катастрофически похудевшие гусеницы превращаются в куколки, из которых со временем образуются бабочки, готовые после непродолжительной жизни и выполнения брачных обязанностей отложить до восьмисот яиц. После этого бабочки умирают. Индивид заканчивает свою жизнь, но жизнь вида продолжается...

Местное население во все времена пуце глаза берегло грены. Ее раскладывали по небольшим мешочкам из хлопчатобумажной ткани. Затем их развешивали в затемненной и неотапливаемой комнате. Таким образом создавались оптимальные условия хранения.

Удивление специалистов, знакомившихся в прошлом веке с традиционным способом ведения племенного дела в этой отрасли хозяйства, вызвала нетребовательность шелководов к наследственному материалу — коконы перед закладкой на грены никогда не сортировались. Тем не менее, среднеазиатская грена в начале XX века считалась лучшей в мире и шла на экспорт. Она была достаточно неприхотлива и не подвержена болезням. В образцовых же шелководческих хозяйствах Европы, пошедших по пути искусственного отбора коконов, болезни порой уничтожали всю закладку грены.

В наши дни производство племенной грены сконцентрировано на специализированных государственных заводах. Перед сезоном выкормки тутового шелкопряда население получает отсюда коробки с греной. С одной стороны, несомнен прогресс, а с другой, может что-то и потеряли...

Но вот сезон заканчивается. Снова малая доля коконов направляется «на племя», а основная же их масса идет на промышленную переработку — для получения шелка-сырца. Не продают и куколки: после размочки коконов из них выжимают масло для технических целей. Иногда отходы шелководства направляют в корм пушным зверям. Но не только. У китайцев, например, с давних времен взрослые гусеницы или куколки тутового шелкопряда считались высшим деликатесом.

В Ферганской долине с секретами древнейшей технологии выращивания шелковичных червей вас могут ознакомить почти в каждом крестьянском доме. Правда, не во всех из них скрупулезно соблюдают описанные выше традиции.

В перенаселенной долине доходы от шелководства составляют важную статью семейного бюджета. А проблемы занятости и доходов здесь весьма актуальны. В Ферганской области на одном квадратном километре проживает почти триста человек. На некоторые районы соседней Андижанской области приходится еще больше — это самые плотно населенные места Советского Союза. Повсюду в долине остро ощущается нехватка земли, рабочих мест, жилья. К лету 1989 года только в Ферганской области более семидесяти тысяч человек, в основном молодежь, оказались безработными. На таком социальном фоне и разразились известные трагические события.

Наша экспедиция прошла по долине незадолго до этих событий. Там уже явно чувствовалась напряженность. В Маргилане нам сообщили, что тридцать семь процентов жителей города не имеют постоянной работы.

Один из способов повышения занятости населения — развитие старинных промыслов. Этому активно содействует филиал Фонда культуры в Ферганской области, организующий культурные центры. Один из них — в Маргилане. Здесь он расположился в древнем медресе Саид Ахмадходжа.

Сотрудники центра намерены помогать народным мастерам в возрождении ремесел и в сбыте продукции. Предполагается открыть выставочный зал и салон-магазин. Часть кустарей сможет трудиться непосредственно в самом центре. В их распоряжение предоставят необходимое оборудование и бывшие кельи — художры. За работой мастеров смогут наблюдать туристы — ведь Культурный центр задуман еще и как этнографический музей. Его посетители отведают здесь и национальные блюда. Не только общеизвестные, но и приготовленные по забытым старинным рецептам.

Об этих планах участникам экспедиции с энтузиазмом рассказывал заместитель председателя

областного отделения Фонда культуры Алим Исмаилов, представитель поколения энергичных молодых руководителей.

А что уже делается?

Начали с курсов по изучению арабского и персидского языков. Намерены также открыть группы по изучению китайского и хинди. Знание языков, конечно, понадобится при возобновлении контактов на Великом шелковом пути.

На языковых курсах пока сто двадцать человек. Обучение — платное. Это соответствует духу времени, ведь центр организуется на кооперативных и хозрасчетных началах. Правда, как нам говорили, не все руководители города согласны на это. Некоторые предлагали располжиться в пустовавшем бывшем медресе музеев. Еще один музей — на дотации из государственного бюджета. Старый образ мышления пока дает себя знать.

Косность сыграла свою роль и в нарастании социальной напряженности во всем регионе. На это, надо полагать, делали ставку силы, желающие воспользоваться перестройкой в корыстных целях.

И время, и место событий, получивших название ферганских, были рассчитаны довольно точно. Время — дни работы первого Съезда народных депутатов СССР. Место — перенаселенная долина. Учитывались и особенности характера местных жителей. Ведь еще султан Бабур, уроженец этого края, талантливый поэт, основатель династии Великих Моголов в Индии, писал о жителях Маргилана: «Это драчливый и беспокойный народ». В записках, изданных под названием «Бабур-наме», он отмечал, что большинство знаменитых кулачных бойцов в Самарканде и в Бухаре — маргиланцы.

Обо всем этом я размышлял, листая путевой блокнот, вчитываясь в постановление союзного правительства о неотложных мерах по повышению занятости населения в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях. В этом документе, принятом 28 октября 1989 года, предусмотрено создание десятков тысяч рабочих мест. Особое внимание уделено не только традиционной для долины легкой промышленности, но и новым отраслям, в частности, электронике. Пройдет какое-то время, и на рынке, возможно, появятся ферганские магнитофоны, персональные компьютеры... И кто знает, не станет ли эта новая для здешних мест продукция конкурировать с изделиями знаменитых японских фирм? Смогли же некоторые развивающиеся страны Юго-Восточной Азии выступить в этом деле соперниками Японии. Так почему же из древних азиатских городов не двинуться по шелковому пути современным караванам с изделиями, собранными по технологиям двадцать первого века? Думаю, что это будет под силу ферганским мальчишкам и девчонкам, наследникам замечательных мастеров, прославивших эту землю изобретательностью и трудолюбием.

ЗАГАДКА ВЕКОВ

Даже руины Ахсикета впечатляют. Мы стоим на отвесном обрыве. С пятидесятиметровой высоты жутковато смотреть на протекающую внизу могучую Сырдарью, колыбель древних цивилизаций, кормилицу миллионов нынешних жителей края.

С неприступных развалин древнего города открывается захватывающий вид на долину. Прямо на юг от низкого противоположного берега расстилается неоглядная степь, переходящая в пустыню с сыпучими песками — Центральную Фергану. На западе, куда устремляются живительные воды реки, взгляд ласкает зелень полей и садов. Среди них, в шести километрах отсюда, затерялось селение Ахсы. Оно да гигантский холм, на котором мы стоим, — это все, что теперь напоминает о некогда грозной ферганской столице. Город не раз разрушался завоевателями. Однако уничтожили его стихийные силы природы.

Из года в год с упорством и каким-то неистовством река подмывает здесь правый берег, с шумом, как прожорливый дракон, захватывает огромные глыбы земли, дома, улицы и целые кварталы, бывало, и вместе с жителями. Стал жертвой реки и правитель края Омаршейх, отец Бабура. Он был увлечен в пучину при обвале дворца, подмытого неистовой силой течения. Случилось это в 1493 году.

В те времена, свидетельствуют «Записки Бабура», во всей Ферганской долине лишь один Андижан мог соперничать размерами с Ахсикетом. Зато последний по неприступности не имел равных.

С юга — река, с остальных сторон — глубокие овраги, заменяющие рвы. Город защищала и крепостная стена длиной не менее шести километров. Внутри — цитадель с дворцом эмира и тюрьмой, соборная мечеть, несколько рынков. Обширными были пригороды Ахсикета. Все постройки, как принято в долине, — из глины.

И в городе, и в предместье — проточные воды и множество водоемов, — отмечал в книге «Картина земли» известный арабский географ и путешественник X века Ибн Хаукал. Каждые два ворот предместья, писал он, ведут в густые сады, а проточные каналы тянутся на протяжении двух фарсахов (около 13 километров). Надежную обеспеченность города водой подтвердили и археологические раскопки: обнаружена сеть разветвленных крупных гончарных труб — кобуров, подводивших воду к каждому кварталу. Самый главный водовод, построенный в десятом веке, не уступал по своим размерам современным. Выложен он был из жженого кирпича, и по нему вполне мог пройти человек. Правда, немного пригнувшись.

Со стороны обрыва нам показали сечение водовода — прямоугольное, с округлым сводом сверху. На вид — прямо железнодорожный тоннель в миниатюре! Спустя века европейцы стали прокладывать сквозь горы транспортные штольни именно с такими сечениями.

Забор воды производился не из Сырдарьи, как на первый взгляд можно было предположить, а из реки Касансай, впадавшей поблизости в главную голубую артерию долины.

Ниже кирпичного водовода мы увидели выход керамической трубы. По мнению археологов, это остатки более ранней системы водоснабжения, построенной в VII-VIII веках.

Но самым сенсационным открытием на раскопках городища стали обыкновенные кузнечные клещи.

— Мастера десятого века эти клещи изготовили из стали высшего качества. Она соответствует стандарту СССР 1975 года! — сообщил археолог Гулям Мирзаалиев, дававший пояснения при посещении нашей группой руин Ахсикета.

О древней металлургии в Ферганской долине имеются сообщения многих средневековых авторов. Эти сведения подтверждают и находки археологов. Еще в 1939 году развалины Ахсикета посетил известный археолог М. Е. Массон. При обследовании оврагов у подножья городища ученый обнаружил массу глиняных тиглей и глыбы спекшегося шлака. Но самое главное — тут же были найдены крицы — куски губчатого железа со дна старинных горнов. Из этого полуфабриката получали сталь для кузнечных поковок.

В наши дни на территории мертвого города поиск вела молодая исследовательница Ольга Папахристу, сотрудница Института археологии Академии наук Узбекистана. Свои находки она отвозила на анализ в уральские лаборатории. Собранный материал позволил успешно защитить диссертацию на тему: «Черная металлургия Северной Ферганы».

Металлургия здесь, оказывается, давала заработок тысячам людей. Оружие, инструмент, различные поделки из железа ферганских мастеров пользовались спросом на базарах Багдада, Бухары, Дамаска, Самарканда и других городов Востока.

Качество их должно было быть отменным. Иначе как бы они могли конкурировать с изделиями оружейников всего Ближнего Востока! Вспомним, что до сих пор непревзойденными принято считать клинки из дамасской стали. А может, под именем дамасских европейцы покупали ферганские? И исторически правильно было бы в литературе писать — ферганская сталь?

Не будем спешить с ответом. Давайте разберемся во всем по порядку. Вначале я попробую кратко рассказать о том, что удалось узнать о легендарных клинках из книг и трудов ученых.

Прежде всего оружие, изготовленное мастерами Востока, стоило баснословно дорого. Прославленный ученый-энциклопедист средних веков Беруни, уроженец Хорезма, свидетельствовал, что цена одного меча «равна цене лучшего слона».

Очень эффектно описал необычные качества восточного оружия Вальтер Скотт в романе «Талисман». Пожалуй, стоит пересказать эпизод встречи в 1192 году Ричарда Львиное Сердце с султаном Саладином.¹ Итак, оба соперника усердно расхваливают друг перед другом достоинства своего оружия, затем переходят к демонстрации его возможностей. Король для доказательства прочности двуручного меча одним ударом разрубает рукоять стальной рыцарской булавы. Крестоносцы награждают своего предводителя взрывом восторга. Тогда султан берет шелковую подушку, ставит ее на ребро и замахивается саблей... «Лезвие сабли скользнуло так молниеносно и легко, — пишет Вальтер Скотт, — что подушка, казалось, сама разделилась на две половины, а не была разрезана». Европейцы поражены, они не хотят поверить в увиденное, считают все просто фокусом. Саладин, чтобы окончательно убедить скептиков, подбрасывает в воздух нежный вуалевый платок и рассекает его на лету.

Необычайно острый клинок султана, отмечал В. Скотт, не блестел, как франкские мечи, а отливало тускло-голубым светом и был испещрен бесчисленными извилистыми линиями. Так выглядел знаменитый узор «дамаск». Получение его для мастеров той эпохи являлось своеобразным признаком качества. Есть узор, значит есть и отличное качество оружия. В Древней Руси сталь с таким рисунком называли «булатной». Оружие из нее не ржавело, отличалось исключительной прочностью. Оно было достаточно твердым, чтобы сохранить остроту лезвия, но одновременно металл обладал вязкостью и в поединке, даже при самых сильных ударах, не ломался.

Оружие из дамасской стали в течение веков оставалось предметом восхищения европейских кузнецов. Они упорно, но тщетно пытались выковать такое же. Но так и не смогли разгадать секрета. Не удалось это сделать, даже используя привозимые с Востока вуцы — стальные слитки, напоминавшие по размеру современную хоккейную шайбу и весившие около девятьсот граммов. Сталь, из которой на Востоке делали прекрасные клинки, на наковальнях европейских кузнецов крошилась. Не получался и знаменитый дамасский узор — «лестница Магомёта».

Средневековые кузнецы Европы терялись в догадках, хотя в их распоряжении имелось немало описаний способов изготовления непревзойденных клинков. Среди рекомендаций была и такая: клинок нужно закалять в моче рыжего мальчика или трехлетней козы, которую последние три дня следовало кормить только папоротником. А вот в храме Балгала в Малой Азии обнаружили следующий рецепт: «Булат нужно нагревать до тех пор, пока он не потеряет блеск и не станет, как восходящее солнце в пустыне, после чего остудить его до цвета королевского пурпура и затем вонзить в тело могучего раба... Сила раба перейдет в клинок, и придаст прочность металлу».

Что в этих описаниях истина, а что — метафора? Судить не берусь.

Разгадать секрет булата брались многие ученые. В наши дни еще одну попытку сделали американские материаловеды профессор Олег Д. Шерби и Джеффри Уодсворт. Последний — научный сотрудник исследовательской лаборатории хорошо известной компании «Локхид» — совместные опыты они провели в лабораториях Станфордского университета в Калифорнии.

Эти исследователи заинтересовались загадкой веков в связи с тем, что в старинных клинках и в хорошо известных нашему времени сверхуглеродистых сталях углерода содержится примерно одинаковое количество. Но в отличие от булата последние весьма хрупки и потому редко применяются в промышленности. Почему булат лишен недостатка современной высокоуглеродистой стали?

¹ Саладин (1138—1193) — египетский султан, основатель династии Айюбидов, возглавлял борьбу мусульман против крестоносцев. Более точное написание имени — Салах-ад-дин.

Шерби и Уодсворт поставили эксперимент. Взяли небольшую стальную отливку с содержанием 1,7 процента углерода и в течение пятнадцати часов нагревали ее до светло-желтого цвета каления — 1150 градусов.¹ Углерод в это время постепенно растворялся в железе, образуя сплав, называемый специалистами аустенитом. Затем слиток медленно (примерно со скоростью десяти градусов в час) охлаждался. При этом часть углерода из раствора выпала и образовала вокруг зерен аустенита сетку из карбида железа, или иначе цементита — весьма твердого химического соединения, состоящего из трех атомов железа и одного атома углерода. Из цементита сформировалась непрерывная грубая сетка. Ей-то, оказывается, и были обязаны своим узором дамасские клинки.

Но если на этой стадии остановить процесс изготовления оружия, то оно даже при слабом ударе моментально сломалось бы, ведь цементит при комнатной температуре хрупок. Разрушению помогает и его сетчатая структура, способствующая трещинообразованию. Однако известно, что металл в дамасских клинках отличается высокой вязкостью. Это качество стали, как предполагалось, восточные мастера придавали ковкой, разрушая сетку цементита. Она распадалась на сферические частицы высокой твердости, которые как бы плавали в более мягком основном материале. Получалось сочетание парадоксальных взаимоисключающих качеств.

Экспериментаторы, конечно, не со слепой точностью воссоздавали процесс труда древних умельцев. Им не было необходимости, например, вести ковку. Ее заменила прокатка. Вторично нагретый до 800 градусов слиток ученые прокатали с восьмикратным обжатием по толщине. Делалось это из предположения, что в такой же степени утончалась сталь и на наковальнях народных мастеров. В результате, как и у кузнецов Востока, цементитная сетка разрушилась. Это подтвердилось травлением кислотой образца — выявился видимый невооруженным глазом дамасский узор. Если сравнить фотографии микроскопических структур прокатного образца и участка лезвия старинной дамасской сабли, то можно обнаружить удивительное сходство. Но все же оказалось, что лабораторная сталь имела менее сложный рисунок, чем у кованого клинка.

Авторы эксперимента утверждают, что им удалось наиболее близко воспроизвести лишь один из многих способов получения дамасской стали. Мастера Востока, считая ученые, знали еще и другие. Они, вероятно, умели получать высококачественные сверхуглеродистые стали, вообще не имевшие дамасского узора.

Шерби и Уодсворт решили проверить и эту гипотезу. Опять ставится опыт в лаборатории. На этот раз исследователи прокатывают слиток из сверхуглеродистой стали, нагретой до температуры 1100 градусов. При прокатке — это очень важно! — слиток постепенно охлаждается. В итоге аустенитовые зерна измельчились, а цементит из раствора выделялся в виде мелких, равномерно распределенных частиц, а не грубой сетки. Полученный металл не имел поверхностного узора, но тем не менее обладал более высокими показателями прочности и вязкости, чем обычная сталь для автомобилестроения. И это еще не все преимущества. Обнаружилось, что при 600—800 градусах такие стали обладают свойствами сверхпластичности. Значит, к ним применимы те же технологии, что и к расплавленному стеклу — можно формировать сложные детали при последующих минимальных затратах на обработку и использовать методы массового производства. Это — путь к широкому применению сверхуглеродистых сталей в промышленности. По такой технологии можно, например, изготавливать шестерни — одни из самых массовых деталей современного машиностроения.

Американские ученые в своем поиске опирались на опыт многочисленных предшественников. Среди них был и сын кузнеца Майкл Фарадей, имя которого по школьному учебнику физики известно каждому нашему современнику. Это о нем известный русский физик А. Г. Столетов писал: «Никогда со времен Галилея свет не видал стольких поразительных и разнообразных открытий, и едва ли скоро увидит другого Фарадея...» В 1819 году, еще до изобретения электродвигателя и электрогенератора, принесших технологическую революцию в промышленность, Фарадей изучил привезенные из Индии образцы дамасской стали и сделал заключение: ее особые свойства объясняются присутствием небольшого количества кремния и алюминия. Вывод, как это выяснилось позже, оказался ошибочным, но сама работа Фарадея положила начало новому направлению поиска металлургов, и они научились выплавлять легированные стали, широко используемые в современной технике. Так что и ошибки гениев, бывает, приносят пользу.

По следам англичанина пошел француз Жан Роберт Бреан. В серии экспериментов ему удалось изготовить клинки с узором дамасской стали, однако до конца своих дней парижский металлург так и не дал подробного объяснения полученного результата. И все же заслуги Бреана в раскрытии секрета дамасской стали несомненны, ведь он первым высказал догадку, существенную для понимания природы булата: его необычная прочность, вязкость и вид объясняются высоким содержанием углерода. Там, где на клинке светлые участки, — это «науглероженная сталь», — утверждает Бреан, — а темный фон — просто сталь.

К открытию тайны ближе всех подошел выдающийся русский металлург Павел Петрович Аносов. Изготовленные им клинки, считали знатоки, были аналогичны лучшим восточным образцам. Исследования русского ученого легли в фундамент современной науки о качественных сталях.

А к своему открытию ученый шел с детства. Еще будучи воспитанником петербургского Горного кадетского корпуса, куда в 1810 году осиротевший мальчик был определен на казенный счет, Павел Аносов часами пропадал в музее учебного заведения. Здесь среди множества экспонатов будущего инженера прежде всего привлекали изделия из булатной стали. Он зачарованно рассматривал удивительные узоры на старинных мечах и саблях. Однажды перед творениями мастеров Востока он засиделся допоздна и заснул. Утром Павла застал на «месте преступления» инспектор классов. С вещественными доказательствами в руках — огарком свечи и расплющен-

¹ Здесь и далее градусы по шкале Цельсия.

ними каплями воска — служака направился с рапортом к директору учебного заведения А. Ф. Дерябину. Инспектор предложил в назидание остальным высечь виновного розгами.

— Но позвольте, милостивый сударь, — возразил директор, — за что же наказывать юношу? Ведь вся его вина в том, что он увлечен вопросом, решение которого сделало бы великую честь нашей стране.

Эти слова оказались пророческими. Прошли годы, были сделаны тысячи опытов, и заветная тайна раскрылась перед пытливым исследователем.

В известном труде «О булатах», опубликованном в 1841 году, Аносов с вдохновением писал: «Оканчиваю сочинение надеждою, что скоро наши воины вооружатся булатными мечами, наши земледельцы будут обрабатывать землю булатными орудиями, наши ремесленники — выделывать свои изделия булатными инструментами; одним словом, я убежден, что с распространением способов приготовления и обработки булатов они вытеснят из употребления всякого рода сталь, употребляемую ныне на приготовление изделий, требующих особенной остроты и стойкости».

Предсказание русского ученого не сбылось даже спустя сто пятьдесят лет. Огромные возможности сверхуглеродистых сталей остаются в основном неиспользованными. Зато и актуальность высказывания отечественного металлурга нисколько не уменьшилась. В связи с этим прогнозом его американские коллеги — Шерби и Уодсворт — писали, что они не так оптимистичны, как Аносов, но все же считают, что положение скоро изменится и секрет булата станет общим достоянием современной промышленности. Пришло время исполниться известному изречению: «Новое — это часто лишь хорошо забытое старое».

В свете современных данных стала понятна причина, по которой европейские мастера даже из восточных вуцев не могли изготовить настоящий булат: они вели ковку при более высокой температуре, чем это было необходимо.

Известно, что степень разогрева стали в горне кузнецы определяют без всяких термометров. При температуре 1200 градусов — сталь белая, при 900 — оранжевая, при 850 — вишневая, при 650 — кроваво-красного цвета. Предполагается, что булат на Востоке ковали при температуре от 650 до 850 градусов, то есть в диапазоне от кроваво-красного до вишневого свечения. Европейские же кузнецы вели ковку при белом калении — ведь они привыкли иметь дело с низкоуглеродистыми сталями, плавящимися при более высоких температурах. Отступить от шаблона они так и не смогли.

Современная наука имеет достаточные предпосылки для полного теоретического объяснения секрета булата. В распоряжении исследователей специальные микроскопы, быстродействующие ЭВМ и хорошо разработанная теория фазовых превращений в стали. Однако и до сих пор процесс изготовления дамасской стали остается неполностью понятным. Не случайно по американскому праву этот процесс считается открытием и может быть запатентован.

И как тут не восторгаться мастерством, наблюдательностью и, наконец, интуицией кузнецов Востока, создавших технологию, которой людям будет под силу вновь овладеть лишь в XXI веке.

Древние мастера не имели понятия о диаграмме фазовых переходов сплава железо — углерод, позволяющих инженерам получать материалы с заранее рассчитанным качеством. Так как же они вслепую получали булат? Может быть, их этому научили пришельцы из иных миров? Или готовые знания каким-то еще не познанным нами образом пришли в их головы из глубин космоса? А может быть, все дело просто в примитивном методе проб и ошибок? Сегодня точного ответа на заданный вопрос нет.

Но может быть, нам удастся ответить на более простые вопросы: где и когда был выкован первый булат?

В Европе самое раннее описание дамасских клинков относится VI веку. Однако настоящая слава к ним пришла позже. Свое название, считают Шерби и Уодсворт, эти изделия получили не по месту происхождения, а от того района, где европейцы впервые их увидели во времена крестовых походов. Но на Востоке сама чудо-сталь известна гораздо раньше. Можно предположить, что ее возраст не менее двух тысяч лет.

На право быть родиной булата могут претендовать Индия, Китай, Средняя Азия, Ближний Восток...

Самые серьезные основания для этого вероятнее всего у Индии. Еще три тысячи лет назад здесь был достаточно высокий уровень искусства обработки железа. Вспомним хотя бы знаменитую семиметровую колонну в Дели, выкованную за несколько столетий до нашей эры ручными молотами из «куска» железа весом более шести тонн! С незапамятных времен к этому своеобразному чуду света стремятся подойти богомольцы, в наши дни — туристы. Существует поверье, что людям, сумевшим прислониться спиной к удивительному изделию древних мастеров и обхватившим его руками, придет здоровье и счастье. Поэтому-то до высоты человеческого роста колонна блестит, отполированная прикосновением миллионов рук.

В этой колонне ученых больше всего удивляло качество железа — оно не ржавело в течение тысячелетий! Высказали даже гипотезу — колонна изготовлена инопланетянами.

Спор о происхождении удивительной поковки решил анализ ее материала. Он показал, что мы имеем дело почти с чистой железом, а оно, как известно, не ржавеет.

О плавке железа в Индии повествуется в священных книгах — Ригведах, написанных еще в XIII—XII веках до нашей эры. Железо в этой стране было настолько распространенным, что из него изготавливали даже плуги. В соседней Персии бытовала поговорка: «В Индию сталь возить», аналог распространенного в России выражения «В Тулу со своим самоваром».

Искусными мастерами в обработке железа были и китайцы. В их стране разработка собственных месторождений железняка, свидетельствуют исторические хроники, началась в конце эпохи династии Чжоу (1122—249 год до нашей эры). Выплавка железа быстро достигла расцвета. Китайцы чугуны называли «сырым железом», сталь — «великим железом», а ковкую сталь — «созревшим железом».

Во втором веке до нашей эры, ко времени вояжа в Среднюю Азию посольства Чжан Цяня, китайцы уже умели выплавлять из чугуна сталь. Это была технология, аналогичная ныне знамени-

тому бессмертовскому процессу, открытому в Англии лишь в 1856 году — спустя две тысячи лет. А в первом веке до нашей эры в этой островной стране черный металл был столь же драгоценным, как и золото — железные бруски здесь служили монетой.

Стоит вспомнить и такой любопытный эпизод из истории черной металлургии. В 1845 году некто Келли, житель американского провинциального городка неподалеку от Эддивилла (штат Кентукки), пригласил к себе четырех китайских специалистов по выплавке стали и с их помощью, внеся несколько собственных усовершенствований, впервые в Новом Свете налажил производство стали из чугуна. Произошло это в 1852 году — за четыре года до англичанина Генри Бессемера. Тем не менее, технология не получила имени Келли, а тем более китайской.

Китайские мастера знали великое множество способов придавать металлу требуемые качества. Им были известны разные методы отжига, отпуска и закалки стали. В пятом веке нашей эры они разработали процесс «сплавления» металлов для получения сталей с новыми качествами. Для этого в печь на несколько суток замуровывали помещенные рядом слитки и листы из чугуна и ковкой стали. Из «многосуточного железа» делали сабли.

Почти полторы тысячи лет спустя в Европе подобный процесс разработали Мартен и Сименс. А в наши дни на английском металлургическом заводе в Карби решили воспроизвести древнекитайские методы выплавки стали. Результаты превзошли ожидания экспериментаторов.

Способ же производства чугуна — железа с большим содержанием углерода — также был открыт в Китае. Это произошло не позднее четвертого столетия до нашей эры.

На чугун был большой спрос. Из него изготавливали инструменты, лемехи плугов, мотыги, прочие сельскохозяйственные орудия. Для точного литья применялись чугунные формы. Из этого материала делали даже игрушки. Незаменимым он стал и в быту. В чугунных котелках варили еду. Это делали, к месту вспомнить, не только предки китайцев, но даже и наши родители. Китайцы умели делать из чугуна горшки и лотки с очень тонкими стенками. Лотки с такими стенками использовались при выпаривании из рассолов соли. Эффективная технология стимулировала подъем соляной промышленности. При бурении же скважин на соляные рассолы добытчики наткнулись на месторождения природного газа. Так еще две тысячи лет назад возникла газовая промышленность.

Из чугуна в Китае создано немало шедевров. До нашего времени в провинции Хэбэй сохранилось шестиметровое чугунное изваяние под названием «Великий лев Цзанчжоу». Оно было отлито целиком по приказу императора Шицзуна в честь его похода на кочевников в 954 году. Толщина стенок скульптуры составила от четырех до двадцати сантиметров. Нам эти цифры ни о чем не говорят, но специалист оценит по ним высочайшее мастерство старых ваятелей.

Воображение человека XX века потрясает и возведенная в 1061 году в той же провинции 13-метровая пагода Юцюань. Она целиком... чугунная! Этот необычный материал обеспечил долговечность сооружения.

Однако настоящим триумфом старых мастеров явилось сооружение в 695 году 32-метровой восьмиугольной колонны из чугуна. Ее назвали «Небесной осью, знаменующей добродетель Великой династии Чжоу с ее сонмом земель». Колонну установили на чугунном фундаменте окружностью 51 метр и толщиной шесть метров. На вершине колонны расположен «облачный свод», а его в свою очередь увенчали четыремь бронзовыми драконами, поддерживающими позолоченную жемчужину. На изготовление «Небесной оси» было затрачено 1325 тонн металла.

В третьем веке до нашей эры китайцы открыли способ производства ковкого чугуна. По своей эластичности он напоминал ковкую сталь, но при этом обладал заметной большей прочностью и твердостью. От обычного чугуна он отличался меньшей хрупкостью. Лемехи, изготовленные из него, переносили удары о камни.

В Европе, кичившейся своей просвещенностью и достижениями науки, выплавлять чугун начали лишь в XV веке. При этом использовали его для простейших изделий — каминных плит и пушечных ядер.

Жители страны Давань, как китайцы называли Ферганскую долину, узнали секрет чугуна во втором веке до нашей эры. А произошло это во время пребывания здесь Чжан Цяня. В составе посольства были служители-ремесленники. Несколько из них дезертировали, или, как сказали бы в наши дни, — попросили политического убежища. Эти-то беглые мастера, утверждает «История Старшего дома Хань», научили ферганцев, которые к тому времени владели секретом производства железа, выплавлять чугун, а также приемам изготовления оружия. Средняя Азия, таким образом, один из немногих в мире регионов, где чугунолитейное производство существует свыше двух тысяч лет.

Возможно, что первые плавки чугуна были проведены в Гуйшане — так китайцы именовали древний Касан.

К этому городу, расположенному севернее Ахсикета, мы едем долиною Касанская. Слева и справа — холмы. Они ждут своего времени, чтобы рассказать о своих тайнах будущим поколениям археологов.

Проезжаем современный поселок Касан, и перед нами открывается вид на большой холм с руинами крепостной стены. В недрах этого теле скрывается немало загадок. Одна из них — почему город постепенно захирел, растерял жителей, последние из которых переселились на место нынешнего одноименного поселка?

Местное население именует древний холм Мугкала — Крепостью магов. Здесь когда-то, во времена неверных, то есть до арабского завоевания, утверждали жители, обитали великаны. После распространения ислама они в бессильной от отчаяния ярости стали скрести ногтями землю. И не переставали это делать до тех пор, пока их ногти не отскочили и не окаменели. Подтверждения этого предания, сказали нам, вы увидите под ногами. Действительно, всюду на поверхности холма можно наткнуться на странные окаменелости, называемые местным населением «мугтырнак» — «когти магов». Геологи же объясняют, что это останки грифей — крупных ископаемых устриц из моря мелового периода.

Касан, по свидетельству Бабура, всегда славился прекрасным воздухом и садами. В ближних же горах, писал султан, есть железные рудники.

Век назад на руины древнего города обратили внимание русские путешественники. Но археологические раскопки провели лишь в послевоенные годы. Раскопки позволили выяснить, что площадь города составляла семь-восемь гектаров. Нашли здесь и следы труда древних металлургов.

В упадок город приходит в восьмом веке. Именно тогда эстафету столицы Ферганской области Касан передает Ахсикету, экономика которого с того времени быстро поднимается в гору. Переходит сюда и громкая слава мастеров-оружейников.

О делах ферганских мастеров писали не только китайские хроники. В индийской эпической поэме «Магабарата», созданной две тысячи лет назад, рассказывается о приеме царем Юшиширом посланцев разных народов. Среди них были и представители среднеазиатских племен, в том числе из Ферганской долины. О них в поэме пишется: «Косматые люди со лбами, украшенными рогами, и с руками, заполненными данью». Особый интерес для нас представляет перечень подносимой в качестве дани продукции. Прежде всего обращаешь внимание, что это преимущественно изделия ремесленников — шерстяные, шелковые и хлопчатобумажные ткани, шкуры (нежные на ощупь!), длинные мечи с острым лезвием, сабли, железные копья, топоры... Как видим, продукция железных дел мастеров здесь представлена весьма широко.

Письменные свидетельства о производстве в первые века до нашей эры в Средней Азии железа и различных изделий из него имеются и в странах западного мира. В Римской империи большой известностью пользовалось парфянское железо. Оно получило свое название от имени страны-изготовителя — Парфянского царства, соперника древнего Рима. В состав Парфии входили обширные территории Средней и Передней Азии, в том числе древняя область Маргиана, располагавшаяся в низовьях реки Мургаб (ныне южная Туркмения). Интересно, что парфянское железо античные авторы называли и маргианским. Из него выковывали прочные брони и шлемы парфян, а эпитет «блестящие» позволяет предполагать, что эти предметы оснащения воинов были из вороненой стали. Некоторые специалисты считают, что синие шишаки на головах всадников, изображенных на фресках второго века пантикапейских склепов близ Керчи, сделаны именно из маргианской стали. Очень высокую оценку дал ей в первом веке нашей эры римский ученый Плиний. Из этого материала, по его утверждению, можно было сразу же отковывать чистые стальные предметы, тогда как другие сорта черного металла требовали предварительной добавки более мягкого железа.

Но на первое место по качеству Плиний ставил все же сирийское железо, получившее в средние века название дамасской стали.

Однако под сирийским железом, считают многие историки, на самом деле фигурировало китайское, так как Сирия в данном случае была лишь местом перепродажи товаров на Великом шелковом пути.

Известный знаток истории горного дела Средней Азии М. Массон в поисках расшифровки понятия «сирийское железо» предлагает свою версию. Он ставит вопрос: не расходилось ли по рынкам Римской империи среднеазиатское железо?

Подтолкнуло Михаила Евгеньевича Массона высказать такую гипотезу открытие, сделанное в 1938 году на развалинах древнего Термеза, города на северном берегу Амударьи, где издревле была одна из немногих переправ через эту богатейшую реку во времена функционирования Великого шелкового пути. В эпоху Кушанского царства, основанного, как помнит читатель, переселившимися в Среднюю Азию юэжками, это был довольно крупный город. В его пригородах в нескольких точках на незначительном друг от друга расстоянии археологи выкопали множество железных криц ладошкообразной формы. Их общий вес превысил тонну! Были обнаружены и другие следы древнего промысла. Время его существования помогли установить медные монеты кушанского чекана, глиняная посуда, фрагменты архитектуры каменных построек, найденные в том же культурном слое. Находки позволили сделать вывод: здесь в течение последних веков до нашей эры и первых веков нашей велась обработка железа. И дело это имело значительный размах. Тем же занимаясь, показали раскопки, буддийский монастырь в пригороде. Руда для плавки привозилась в Термез из близлежащих гор — Кугитангтау, где обнаружены следы древних горных разработок.

Следующую находку в районе Термеза археологи отнесли уже к X—XII векам. Под прахом столетий был открыт целый квартал металлургов. Он занимал площадь пять гектаров! Повсюду на этой территории обнаружены остатки мастерских и железные крицы. Правда, размером меньше, чем во времена кушан. Выходит, традиции античных мастеров продолжались.

Но вернемся в эпоху кушан и проследим за их торговыми связями. Известно, что на пороге нашей эры Римская империя присоединила к себе Египет. Следствием этого стало оживление торговли на морском участке шелкового пути — через Аравийский залив и Красное море. Тогда в Египте и Александрии, свидетельствуют историки, успешно действовали торговые фактории кушан. Надо полагать, им было на что содержать за тридцать земель целые поселения. Видимо, немалый доход среди прочих источников приносила и торговля железом. Однако в направлении Древнего Рима по этому маршруту оно шло не только из Средней Азии. Провозили этим путем также продукцию металлургов Индии и Китая. Теперь логично предположить, что если спросом пользовались железо и поделки из него всех трех регионов, то по своему качеству оно, вероятно, было равноценным.

А что знали о дамасской стали в самом начале Великого шелкового пути? В VI веке в китайских источниках она называлась «персидской». Вспомним, что южная часть Средней Азии в это время входила в состав государства иранской династии Сасанидов. Сталь эту считали такой «твердой истрой, что она может рубить металл и твердые камни». Позже — к X веку — сталь с запада китайские источники именуют уже «кашмирской».

Зато кольчуга — «доспехи из звеньев» — впервые попадает в Китай из Самарканда. Событие датируется историческими хрониками 718 годом. До этого времени о кольчугах они не упоминали.

Сообщал о среднеазиатской торговле железом еще в шестом веке византиец Менандр,

описавший путешествие посла этой страны Земарха к тюркскому кагану Дизавулу. По более поздним сведениям, приводимым Ибн аль-Верди, в городе Пакхаване, принадлежавшем токуз-огузам (девять племен), всякого рода оружие и прочие поделки изготовлялись из «китайского железа». Из текста, однако, не ясно: было ли это железо привозным или под таким названием обозначался способ его получения. Представляется, что скорее всего речь шла о способе производства. Это предположение косвенно подкрепляется данными топонимики, ведь один из расположенных к северо-востоку от реки Или городов назывался просто Пулад—Сталь. Не говорит ли это название само за себя? Кроме того, находки археологов свидетельствуют, что древние племена, населявшие территорию нынешнего Казахстана, действительно умели и добывать руду, и плавить металл.

В раннесредневековых китайских исторических хрониках можно найти сообщение, что много железа выплавляется в Фергане и особенно большое количество этого металла добывается в горах владения Маймург, расположенного на землях восточнее Самарканда. Однако «самое превосходное железо» добывается из месторождений гор Фаньхэна, тянувшихся к востоку от ташкентского владения. Эти исторические сведения подтверждаются последними находками археологов.

Об уровне развития черной металлургии в период, предшествовавший завоеванию Средней Азии арабами, свидетельствуют факты широкого применения железа в быту. Его здесь используют даже как декоративный элемент в архитектуре. На наружных фасадах дворцов и крепостных ворот стали, например, помещать крупные железные плиты, на которых обычно указывалось имя строителя. Такая плита была укреплена в VII веке на воротах замка правителя Бидуна в Бухаре. Доска с надписью в неприкосновенности просуществовала почти четыре столетия и исчезла вместе с воротами лишь в XII веке. Подобная судьба и у плиты с шахрисабзских ворот Самарканда — в десятом веке эти ворота были разобраны восставшими гражданами.

Следующий период расцвета железной промышленности в Средней Азии приходится на столетия после арабского завоевания. В это время проявили себя и старые металлургические центры, и возникшие вновь.

Само завоевание сопровождалось упадком экономики, даже разорением края. Но уже с конца VIII века наступает пора стабильного развития ремесленно-торговых городов, подъема сельского хозяйства. Вхождение края в состав огромной державы — арабского халифата — обеспечило благоприятные условия внутренней и международной торговли. Именно на этот период — вплоть до монгольского нашествия в начале XIII века — приходится самое большое количество открытых археологами следов металлургической деятельности в крае. Эти следы были обнаружены всюду, за исключением лишь Хорезма, не имевшего собственной сырьевой базы. Но и там на базарах продавались отличные панцири, правда, привозившиеся от булгар с Волги.

Самая же бойкая торговля изделиями из железа, пожалуй, велась в городах Ферганской долины. Здесь местные умельцы, чье искусство обработки металла было тогда широко известно на всем Востоке, составили в мастерстве изготовления стальных доспехов, мечей... Оружие караванами верблюдов доставлялось на рынки всей Средней Азии, сопредельных государств, вплоть до столицы Халифата — Багдада. Сообщения об этом содержат многие манускрипты. Об экспорте холодного оружия из Ферганы писал, например, Макдиси. А вот свидетельство Ибн Хаукаля: «В окрестностях Минка и Марсманда добывается железо для оружия, которое в общем употреблении в Хорасане¹ и вывозится в Багдад... А само то железо подвергается обработке в Фергане».

Обработанное здесь железо отличалось не только высоким качеством, но и художественной отделкой. А она всегда ценилась на Востоке. Истархи упоминал, что в X веке, вместе с прочими предметами, «в которых нуждаются цари», из Средней Азии на Запад вывозились даже «дикивинные изделия из железа».

Соперничали с ферганцами по качеству продукции мастера Сайрама или Исфиджаба, крупного средневекового города, руины которого располагаются невдалеке от нынешнего областного центра Южного Казахстана — Чимкента. Исфиджаб, располагавшийся на северной ветви Великого шелкового пути, считался признанным «местом купцов». Сюда стекались, и отсюда вывозились все богатства земли Средней Азии. Местные же мастера, как и ферганские, прежде всего славились производством стальных доспехов и клинков.

Зато среди изделий, которыми торговал с кочевой степью Ташкент, видное место занимали ножицы и иголки. Главными предметами торговли, вывозимыми из Самарканда, называли стрелы, удила и иголки. Мастера древнего Мерва славились клинками. Одно время городу при уплате в казну государственного налога вменялось сдавать натурой 1300 клинков.

Продолжалась традиция использования железа в строительном деле. Повсеместно в стенах оборонительных сооружений стали ставить крепкие железные ворота — «Дарваза-и-аханин». Двойные такие ворота были в Самаркандской цитадели. Железные ворота имели крепости Бухары, Ташкента, Шахрисабза и других крупных городов края. Из высококачественного железа, считавшегося долговечным материалом, в десятом веке построили даже отдельные помещения большой обсерватории в Кашмире.

Нашествие Чингисхана, следовавшее затем время смут и феодальных междоусобиц привели в упадок среднеазиатскую металлургию и связанные с нею ремесла. Не оправились полностью эти отрасли от нанесенного удара даже в годы правления Тимура, создавшего мощное государство со столицей в Самарканде. Грозный правитель из всех покоренных стран свез сюда тысячи ремесленников. Из Дамаска в центр империи он переселил оружейников, которые на новом месте в специальной государственной мастерской занялись изготовлением лат, шлемов, стрел, луков и других предметов вооружения для армии Тимура.

¹ В древний Хорасан входили северо-восточная часть современного Ирана, Мервский оазис, оазисы юга современной Туркмении и северные и северо-западные части современного Афганистана.

То ли сказывался подневольный труд, то ли слава дамасских оружейников была преувеличена, но вдали от родины их изделия отнюдь не отличались качеством. Вот какую запись сделал в своем дневнике испанский посол при самаркандском дворе Рюи Гонзалес де Клавихо: «Оружейники не делают оружие и латы довольно крепкими и не умеют закалять железо». Этими словами кастильский рыцарь, человек, достаточно искушенный в вопросах вооружения, засвидетельствовал регресс по сравнению с тем состоянием дела металлообработки, которое было в Средней Азии за три-четыре века до этого.

Не способствовала прогрессу края последовавшая за правлением Тимуридов эпоха феодальных междоусобиц. И снова приходит в упадок горная промышленность. Ее восстановлению не помогают и льготы в налогообложении. Например, в Бухаре кустари железодобытчики даже были освобождены от всяких податей. В лучшем состоянии находились железообрабатывающие промыслы. Видное место принадлежало чугунолитейному производству.

Чугун получали в примитивных горнах, сложенных из кирпича или камня и обмазанных внутри огнеупорной глиной. Несмотря на это, продукция была достаточно качественной. Этот факт подтверждается русскими экспертами, обследовавшими сто пятьдесят—двести лет назад местное чугунолитейное производство.

В Средней Азии из чугуна отливались кувшины, чайники, котелки, котлы, жаровни, пестики, ступки, втулки для колес, сошники для плугов-омачей, «башмаки» для пестов крупорушек-обдужувазов, светильники и другие предметы бытового и хозяйственного назначения. Отливались чугунные базы под колонны в медресе и даже стволы пушек. Своя царь-пушка, например, была изготовлена в прошлом веке в Шахрисабзе. Она, возможно, имела самый крупный в мире чугунный ствол. Его пришлось установить на станок из двенадцати колес! В 1920 году чудо-ствол попал на хранение в Самаркандский музей.

В отличие от чугуна, кустарное железо, выплавлявшееся в крае в небольших количествах, не пользовалось спросом. Ему местные кузнецы предпочитали заводное русское, хотя и более дорогостоящее. Постепенно привозные железные бруски и полосы вытеснили местные крицы. Лишь на далеком Памире кустарная выплавка железа дожила до XX века.

В начале 1917 года крупный геолог и знаток Средней Азии В. Н. Вебер писал: «Закончим наш очерк справкой о современной рудопромышленности — она не займет много места: ни одного пуда металла не выплавляется, если не считать опытов».

По-разному кончили свое существование центры древней металлургии. Для Ахсикета оказалось достаточно одного мига — качнулась земная твердь, вышли из берегов реки, выбросив на сушу рыбу, пробежали по почве глубокие трещины, ставшие ловушками для домашнего скота, обрушились, как карточные, дома и крепостные стены... Произошло это в XVII веке.

Уцелевшие от землетрясения люди в панике бежали и никогда больше не вернулись на руины. Часть мастеров из Ахсикета ушла на северо-запад и поселилась в Чусте. Потомки беженцев продолжают дело прадедов. И, видимо, совсем не случайно в наши дни далеко за пределами Средней Азии славятся замечательные чустские ножи, ставшие модными сувенирами туристов. Наследники мастеров ферганского булата свято берегут традиции предков.

Прошли века, но не остановила своего разрушительного бега Сырдарья. Она по-прежнему метр за метром поглощает территорию города, правда, уже мертвого. М. Массон, посетивший эти места полвека назад, отмечал, что цитадель Ахсикета смыта по крайней мере на две трети. Процесс разрушения продолжается и сегодня. Археологам надо спешить.

Но еще более ученым следует поторопиться из-за разрушения древних памятников человеком. Причина этого — все возрастающий размах хозяйственной деятельности. Примеров тому — множество.

В охранной зоне городища Канка, например, ведется строительство. Из старинных кладок соседнего Бенакета местные жители растаскивают кирпич, превосходящий по качеству современный. Окрестные древние холмы распахиваются тракторами. Строители, вооруженные мощной техникой, такие холмы запросто «пропиливают» при прокладке дорог. Безвозвратно исчезают следы воистину титанической горной деятельности минувших поколений. А вместе с ними навсегда теряются многие загадки веков. Среди них и окончательный ответ на вопрос — происходили ли дамасские клинки из Ферганы?

Продолжение следует.



М. Хасанов

АЛЬТЕРНАТИВА

ИЗ ИСТОРИИ КОКАНДСКОЙ АВТОНОМИИ

Предлагаемый вниманию читателей «Звезды Востока» материал посвящен одной из узловых проблем истории Средней Азии послеоктябрьского периода.

По ряду причин в последние десятилетия даже попытка объективного изучения этого «белого пятна» истории была невозможной. Сегодня приоткрылись двери пресловутых спецхранов, появилась возможность проанализировать причины зарождения и гибели так называемой «Кокандской автономии», оставившей неизгладимый след в памяти не только современников, но и последующих поколений.

I

Идея предоставления Туркестанскому краю автономного статуса родилась еще до победы Великой Октябрьской социалистической революции. Она была весьма популярной не только среди местных исламских фундаменталистов, национальной буржуазии и демократически настроенной интеллигенции, но и среди части простых людей коренных национальностей, входивших в небезызвестные «Иттифаки».

Пожалуй, впервые на официальном, если можно так выразиться, уровне стремление к созданию автономии было оформлено на съезде туркестанских и казахских мусульман, проходившем с 17 по 20 сентября 1917 года. Созванный по инициативе «Улема», он собрал свыше 500 делегатов, большинство из которых составляли «известные почтенные муллы, мударисы и чиновники, т. е. ранее работавшие на пользу народа, обремененные поддержкой большинства населения».

Принятые на съезде решения свидетельствовали о том, что ветры февральской революции резко политизировали сознание наиболее просвещенной части туркестанцев. Например, было решено активизировать борьбу за мандаты во Всероссийское Учредительное собрание, так как там «решается судьба мусульман». Но, пожалуй, самым важным решением было то, что по докладам «господ Мухамед Ходжа ишана и муллы Сиддик Ходжа ишана о форме управления съезд единогласно с молитвой в устах решил учредить Туркестанскую автономию». Это означало, что Туркестанский край внутренние свои дела будет решать самостоятельно. Весьма четко определились сторонники автономии в экономических вопросах. Отрицательно отреагировав на создание земельных комитетов, так как они придерживаются линии социализации земли и воды, «Улема» принял решение, интересное даже с точки зрения нашего современного понимания вопроса о собственности на землю. Он однозначно высказался

за то, что «земли и воды Туркестана должны быть в управлении всенародного собрания, т. е. в ведении народов самого Туркестана».

Октябрь существенно динамизировал популярность идеи автономизации в крае. Ведь в знаменитой «Декларации прав народов России» от 2 (15) ноября 1917 года подчеркивалось, что, исполняя волю народов, «Совет народных комиссаров решил положить в основу своей деятельности по вопросу о национальностях России следующие начала: право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства; отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений». А в обращении «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» от 20 ноября (3 декабря) 1917 года было сказано: «Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно. Вы имеет право на это. Знайте, что ваши права, как и права всех народов России, охраняются всей мощью революции и ее органов, Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».

Как отреагировало правительство Туркестана на эти документы? В специальной телеграмме на имя В. И. Ленина оно сообщило, что ставит «своей задачей проведение в жизнь всех ваших декретов» и просит «рассчитывать на полную нашу поддержку». Это, во-первых. А во-вторых; заверение из Ташкента о полной готовности выполнить все установки центра, следовательно, и в вопросе о самоопределении, фактически не получило адекватного отражения на практике. Иначе трудно объяснить, почему в известном воззвании Совнаркома Туркестанского края, избранного III Краевым съездом Советов, об этом ничего не говорится. Правда, в нем содержится туманное обещание, что «Совет примет все меры к распространению идей свободы, равенства, братства в среде мусульманского трудового населения, дабы ускорить объединение трудящихся масс».

Столь существенную расплывчатость планов краевых властей в вопросе о конкретных путях реализации ленинской национальной политики в регионе нельзя, видимо, рассматривать иначе, как недооценку остроты проблемы. И это при том, что буквально в те же дни вопрос об автономии Туркестана уже начинал воплощаться в конкретные дела. 12 ноября 1917 года в Ташкенте под руководством лидера «Шуро-Улема» Шер Али Лапина состоялось «Объединенное совещание различных мусульманских групп», где на обсуждение был поставлен вопрос об организации власти в Туркестане. И это далеко не случайно. Прибывший накануне из Петрограда Шаги-Ахмедов, один из видных активистов этой влиятельной среди коренного населения края клерикальной организации, привез известие о том, что мусульмане могут начать создавать свою собственную государственность.

На совещании были сформулированы ключевые идеологические принципы создания национальной государственности. В резолюции указывалось: «В связи с переходом таковой (власти — М. Х.) в руки Советов солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, Туркестанский краевой съезд мусульман находит, что мусульмане, составляющие 98% населения всего Туркестанского края, при общей численности своей свыше 10 миллионов душ, имеют все права на национально-культурное самоопределение на возвещанных Российской революцией основах свободы, равенства, братства». В отношении же Советской власти, начавшей в эти дни формирование органов краевой власти, мнение было таким: «Сосредоточение власти исключительно в руках военных, рабочих и крестьянских организаций, состоящих из небольших групп случайных и чуждых интересам местного населения людей, не отвечает демократическим принципам и не может гарантировать правильность устройства жизни коренного населения на началах свободного самоопределения народов». «Пути к самоопределению мусульман и к достижению ими общечеловеческого прогресса, — указывалось в документе, — не могут быть иными, как только те, какие указаны в Коране и шариате, а потому мусульмане на пути к осуществлению завоеванных революцией прав не могут всецело примкнуть ни к одной из существующих в России политических партий и принять участие в их партийной борьбе».

Выступая на III Краевом съезде Советов (15—22 ноября 1917 года), Шер Али Лапин отметил: «Мусульмане верят в обещание русской революции о самоопределении, но этого они ждут от Учредительного собрания»; «мусульмане не примирятся, если в крае будет властвовать только одна революционная демократия». Он заявил также, что «мусульманство могло бы потребовать себе всей власти, но делает уступку пришлым элементам, допуская их представителей к власти», и предупредил, что «в иной организации власти мусульмане участия не примут», поскольку «путь у мусульман самостоятельный, он указывается им Кораном и правилами шариата, поэтому они не могут примкнуть ни к одной из русских политических партий, но будут поддерживать ту власть, которая, опираясь на все народные организации, приведет страну к Учредительному собранию». После выступления Лапина меньшевики предложили ввести в состав Краевого Совета представителей от краевого мусульманского съезда, однако противники меньшевиков расценили это предложение как попытку усилить свои по-

зии и заблокировали его. Более того, в принятой Краевым съездом Советов декларации было прямо указано, что «включение в настоящее время мусульман в орган высшей краевой революционной власти является неприемлемым как ввиду полной неопределенности отношения туземного населения к власти Советов солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, так и ввиду того, что среди туземного населения нет пролетарских классовых организаций, представительство которых в органе высшей краевой власти фракция приветствовала бы».

2

26 ноября 1917 года в Коканде, бывшей столице одноименного ханства, городе, где на 50 тысяч жителей приходилось 382 мечети, 40 медресе, 6 тысяч мусульманских священнослужителей и 11 банков, начал свою работу IV Чрезвычайный краевой мусульманский съезд. Его открытию предшествовала широко развернутая агитационная работа национальной интеллигенции, духовенства и представителей деловых кругов. Приглашения на съезд были разосланы заблаговременно, но затяжная забастовка почтово-телеграфных служащих края привела к тому, что на местах они были получены с опозданием. Это и стало причиной переноса открытия съезда с 25 на 26 ноября. Однако 25 ноября в помещении кокандской штаб-квартиры «Шуро-и-Исламия» состоялось предварительное собрание, где обсуждались, в частности, вопросы о мандатной комиссии, примерный состав президиума, а также повестка съезда, предполагаемая рассматриваемая проблем: форма управления Туркестанским краем; о вступлении в известный «Юго-восточный союз казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей» (ЮВС); выборы исполкома, содержание наказа ему, перевыборы Туркестанского мусульманского Совета; доклады с мест; о Туркестанском Учредительном собрании; о создании милиции, финансах и др. Эти же вопросы обсуждались делегатами и на более узких совещаниях, состоявшихся на частных квартирах в ночь с 25 на 26 ноября и утром.

26 ноября 1917 года в помещении Общественного собрания в Коканде в 12 часов дня член Краевого мусульманского Совета и член оргбюро съезда, выпускник юридического факультета Петербургского университета Мустафа Чокаев объявил съезд открытым.

На съезде присутствовало: от Ферганы — 150 человек, от Сырдарьинской области — 22, Самаркандской — 21 человек. Закаспий был представлен одним делегатом, Бухара — четырьмя. Присутствовали также представители от «Шуро-и-Исламия», «Шуро-Улема», Совета воинов-мусульман, Краевой еврейской организации, а также туземных евреев.

Этому съезду на протяжении многих десятилетий клеили ярлык сборища националистов и реакционного духовенства. Мне представляется, что обозначить это событие таким образом, значит, покривить душой. Ведь целый ряд демократически настроенных представителей национальной интеллигенции высказывал в ходе работы съезда мысли, которые никак не могли прийти в голову узколобым националистам. В частности, известный узбекский просветитель М. Бехбуди в своем выступлении по вопросу о правомочности съезда особо отметил, что «решения съезда будут тем более авторитетными, что на съезде присутствуют представители европейского населения Туркестана». Бехбуди предложил сформировать президиум съезда таким образом, чтобы в него вошли представители от различных немусульманских групп — русских, евреев и т. п. Это предложение было поддержано представителем Андижана, а также Коканда. Последний вообще предложил: «приступить к выборам президиума не по областям и отдельным вероисповедальным и национальным группам, а просто толковых, знающих и работоспособных людей».

В результате открытого голосования в президиум были избраны: М. Чокаев, Уб. Ходжаев, Агаев, Акаев, Гернфельд, А. Махмудов, Шагиахмедов, Кишчинбаев, Камаль Казы, Абдулла Бадин, Уразаев, Тилиев, Каримбаев.

На одном из заседаний было принято решение пригласить для участия в работе съезда с правом совещательного голоса «сведущих людей из европейского населения, в частности, кокандского представителя Украины присяжного поверенного Данишевского».

Съезд работал три дня. На нем был избран Народный совет (правление), в который вошли: М. Чокаев, Шер Али Лапин, Х. Агаев, У. Ходжаев, М. Бехбуди и другие. Было избрано Временное правительство. Его возглавил инженер М. Танышпаев, министром финансов стал Шагиахмедов, юстиции — Махмудов, продовольствия — Потеляхов, военным министром — М. Чокаев. В состав правительства вошли также доверенный фирмы Кноппа — Зигаль, один из богатейших людей Ферганы, хлопковый предприниматель Вадьяев и другие.

Чего же хотели идеологи «Кокандской автономии»? Каким они видели будущее Туркестана?

Ответы на эти вопросы содержатся в принятых съездом документах. В частности, в резолюции указывается, что «съезд, выражая волю населяющих Туркестан национальностей к самоопределению на началах, возвешенных великой Российской революцией, объявляет Туркестан территориально автономным в единении с Федеративной демократической Российской республикой, предоставляя установление форм автономии Туркестанскому Учредительному собранию». Причем, съезд, как особо отмечено далее, «торжественно заявляет, что права населяющих Туркестан национальных меньшинств будут всемерно охраняться».

28 ноября было определено название формирующемуся образованию — «Туркистон Мухтариати» («Туркестанская автономия»).

Вся полнота власти до созыва Учредительного собрания сосредоточивалась в руках Туркестанского временного Совета (министров — М. Х.) и Туркестанского Народного правления (Совета — М. Х.). Численность Туркестанского временного Совета была определена по количеству ранее делегировавшихся депутатов от Туркестана в Учредительное собрание — 32 человека. В состав Народного Совета численностью в 54 человека предполагалось также включить четырех представителей от съезда городских самоуправлений. Восемнадцать мест в нем выделялось для представителей различных краевых европейских организаций — иначе говоря, треть мест была отдана европейской части населения края, удельный вес которого составлял в то время примерно семь процентов от общего числа жителей Туркестана. В плане подтверждения искренности намерений демократически настроенной части идеологов автономии можно сослаться на предлагавшуюся ими систему выборов. Она должна была строиться на принципе пропорционального представительства национальных курий, то есть каждой крупной этнической группе Туркестана фактически гарантировалась жесткая квота мест.

Очень шумные и продолжительные дискуссии разгорелись на съезде по вопросу вступления в Юго-восточный союз. И не только потому, что в сознании части демократически настроенных делегатов казачество было символом монархической власти, но и потому, что многие представители казахов и киргизов, присутствовавшие на съезде, слишком хорошо помнили зверские расправы казаков над их племенами в дооктябрьский период. Однако решение о вступлении было все-таки принято, и не последнюю роль здесь сыграла не только общность стратегических интересов представителей местной и российской буржуазии, как однозначно утверждалось на протяжении десятилетий, но и предложение Юго-восточного союза «помочь краю во время голода хлебом, на условиях обмена его на хлопок, шерсть и мануфактуру или по заготовительной цене». Это предложение для Туркестана было особенно заманчивым, так как его население уже вступало в полосу страшного голода.

Политическое значение такого решения съезда выходило далеко за рамки региона. Оно означало образование еще одного звена в той антисоветской цепи, которую плел генерал А. М. Каледин и Юго-восточный союз, опиравшиеся на политическую, военную и экономическую помощь Англии.

Фактически в эти месяцы противники Советской власти очень ловко использовали тягу определенных слоев региона к созданию национальной государственности. А краевые газеты «Курьер» и «Туркестанское слово», которые раньше отрицательно относились к идее автономии, вдруг резко изменили свою позицию — «чтобы привлечь мусульман на борьбу с Советской властью для осуществления своих интересов...»

3

Известным событиям 13 декабря 1917 года в Ташкенте предшествовало решение временного правительства «Туркестанской автономии» день религиозного праздника — 13 декабря назначить днем всенародного сбора денег в национальный фонд «для закрепления самостоятельности и свободы».

В эти же дни от жителей старого города в Ташсовет поступила заявка на проведение митинга и манифестации.

Одновременно по каналам военной контрразведки была получена, как позже рассказывал военный комиссар города Стасиков, информация о том, что «в старый город съезжается много военных, которые затевают тайный заговор с целью сорвать мусульманский праздник и воспользоваться этим для своих политических интриг».

Ташсовет, оказавшийся в крайне сложном положении, все же принял решение разрешить митинг и демонстрацию. Более того, И. О. Тоболин — фактический лидер большевиков края и в то же время зам. председателя Ташсовета — призвал Совет Народных Комиссаров вместе с исполнительным комитетом принять участие в мани-

фестации, быть на митинге, приветствовать собравшихся, объяснить отношение Совета к автономии края.

Проведение же митинга и манифестации в русской части Ташкента было запрещено. Тем самым горсовет «имел в виду не допустить, чтобы широкие массы мусульманского населения стали слепым орудием в руках интригующей контрреволюционной русской буржуазии». Именно с этой целью в 5 часов утра 13 декабря воинские части на Урде перекрыли основные проходы в старый город.

Утро 13 декабря 1917 года в старой части Ташкента было оживленным и праздничным. Со всех его сторон по улочкам и переулкам к Шайхантаурской мечети начали стекаться многочисленные колонны и группы людей. К 12 часам здесь собралась многотысячная толпа. К митингу присоединились лидеры партий правящей коалиции и члены Совнаркома края.

Оживленно было с утра и в русской части города. Отсюда рано утром в старый город направилась делегация к Шайхантаурской мечети с флагом, на котором значилось: «Автономия Турккраю». Делегация была пропущена военными.

В 9 часов 30 минут около Урдинского моста появилась еще одна толпа, но на сей раз численностью в 2—3 тысячи человек, и также потребовала пропустить ее в старый город. Военные, не желая кровопролития, пропустили и этих людей, и они влились в ряды митингующих у Шайхантаурской мечети.

В этот-то момент «выступили некоторые провокаторы, которые, — как потом рассказывал корреспондент «Нашей газеты», — в зажигательных речах стали призывать собравшихся пойти в тюрьму, освободить Дорера¹ и других заключенных и захватить власть».

Поддавшись на посулы провокаторов, часть участников митинга отделилась от основной массы и, перейдя Урдинский мост, по Московской улице направилась в глубь русской части города. Но здесь шествие начало быстро терять свой мирный характер. Группа офицеров и чиновников, шедшая в колонне демонстрантов, в качестве заложника захватила начальника охраны города Гудовича. После этого толпа направилась к тюрьме. Дорер и полковник Бек-Иванов были освобождены, посажены в автомобиль и в сопровождении толпы направилась к Кауфманскому парку. Когда солдаты попытались остановить машину, из толпы раздались выстрелы. Цепь солдат, как позже вспоминал Д. И. Манжара, не выдержала и открыла сначала ружейный, а потом пулеметный огонь. Были убиты шестнадцать жителей старого города, а Дорер и Бек-Иванов вновь схвачены и без суда расстреляны.

Сразу же после случившегося в Петроград, в адрес Совнаркома, ушла телеграмма с информацией о происшедшей трагедии и ее политической подоплеке. Сообщалось также, что в Коканде съездом мусульман, подготовленном буржуазным реакционным классом, провозглашена в принципе автономия Туркестанского края и что «образовавшееся автономное правительство, не признаваемое пролетарскими массами Туркестана, всеми силами подготавливается к провозглашению автономии в отдельных городах края. 13-го сего декабря, в день рождения Магомета, в Ташкенте провозглашена автономия». Ф. Колесов, занимавший в то время пост председателя краевого Совнаркома, просил в телеграмме директив центра.

16 декабря 1917 года вопрос о положении в Туркестане был обсужден на заседании петроградского Совнаркома с участием В. И. Ленина. А спустя несколько дней И. В. Сталин, выступая на заседании ВЦИК с докладом о взаимоотношениях с украинской Центральной Радой, особо отметил, что «областные центры, построенные по типу Советов Народных Комиссаров (Сибирь, Белоруссия, Туркестан), обращались в Совет Народных Комиссаров за директивами. Совет Народных Комиссаров ответил: «Вы сами власть на местах, сами же должны выработать директивы».

О широте зоны политической самостоятельности руководства Туркестанского края свидетельствует, по-моему мнению, публикация «Нашей газеты» по поводу событий 13 декабря. В ней «в ответ на слухи, распространяемые темными, безответственными лицами, что мы против автономии, что мы за автономию на бумаге, но против ее проведения в жизнь», подчеркивалось, что «мы неоднократно доводили до сведения наших читателей, и, главным образом, мусульманского населения.., что мы не только принципиально стоим за автономию, не только обещаем освобождение и раскрепощение угнетенного и обездоленного мусульманского народа, но мы искренне стремимся к возможно скорейшему прозрению и осуществлению национальных чаяний мусульман», в связи с чем «Совет Народных Комиссаров постановил и **Исполнительный комитет подтвердил его постановление о созыве Туркестанского Учредительного собрания, которое только одно правомочно провозгласить автономию Туркестанского края.**

¹ Дорер — бывший военный комиссар Туркестанского комитета Временного правительства.

События 13 декабря не охладили устремления идеологов и организаторов «Кокандской автономии» легализовать формирующееся образование путем получения мандата от народа. Его, по планам автономистов, и должен был дать 1-й Чрезвычайный съезд рабочих и солдатских депутатов-мусульман. Он был созван в Коканде 26 декабря 1917 года.

Краевые власти пытались повлиять на ход работы съезда. В частности, их эмиссар большевик П. Г. Полторацкий, выступив на одном из его заседаний, сообщил о том, что предстоящий съезд Советов Туркестанского края будет рассматривать и вопрос об автономии Туркестана: «Мы не против автономии бедноты,— сказал он,— но мы против байской автономии. Мы боролись за автономию и взяли власть из рук буржуазии не для самих себя, а в интересах рабочего класса и бедноты. Мы взяли власть из рук русской буржуазии не для того, чтобы вручить ее в руки мусульманской буржуазии. Власть мы взяли для Советов рабочих и солдатских депутатов. Мы работали и работаем для привлечения мусульман на свою сторону».

После принятия съездом решения о поддержке правительства «Кокандской автономии» была отправлена на имя В. И. Ленина телеграмма следующего содержания: «...просим Вас как высшую власть Российской демократической республики дать распоряжение Туркестанскому Совету Народных Комиссаров сдать краевую власть Временному правительству автономного Туркестана во избежание анархии, двоевластия, могущего привести Туркестан к величайшей катастрофе...» Полторацкий и часть присоединившихся к нему делегатов в момент принятия этого документа покинули зал заседания.

Требование автономистов о признании их как государственного образования поддержал Исполнительный комитет «Милли Шуру» — Всероссийского мусульманского Совета. Эта организация была создана в Москве еще в мае 1917 года на I Всероссийском съезде мусульман. Возглавивший его А. Цаликов, как и все руководство «Милли Шуру», в своей деятельности исповедовали тезис о том, что почти все мусульмане — середняки, среди них нет крупных баев, что классовые различия среди мусульман очень незначительны, и потому «наш лозунг — мусульмане, объединяйтесь!»

В Ташкенте тогда же, в декабре 1917 года, когда события окончательно вышли из-под контроля, было принято решение поручить П. Г. Полторацкому реквизировать все деньги на счетах правительства «Кокандской автономии», а также лиц, поддерживавших его. Эта мера дала бурную реакцию. Разногласия в кабинете министров «Кокандской автономии» резко обострились и привели к правительственному кризису. М. Танышпаев подал в отставку, его преемником стал М. Чокаев, обещавший реализовать программу более решительных мер в деле защиты мусульманских интересов.

Не исключено, что уход М. Танышпаева был вызван и скромностью результатов работы правительства. То, что вообще удалось им сделать за все время существования «Кокандской автономии», умещается в несколько строк. Это — покупка трех газет. Из них одна на русском языке («Свободный Туркестан»), одна на узбекском («Эль Байрак») и одна на казахском (киргизском) языке. Была предпринята также попытка выпустить государственный заем на 30 миллионов рублей. Единственным атрибутом государственной власти автономистов была армия. Правда, ее численность составляла всего лишь 60 человек, что объясняется не столько тем, что идеи автономистов не пустили корней среди народа, сколько своеобразием положения этого важнейшего государственного института во времена кокандских ханов.

Но кроме 60 человек, обучением которых занималось несколько антисоветски настроенных русских офицеров, в автономии были люди, способные носить оружие. Уголовник Иргаш, приглашенный правительством «Кокандской автономии» на пост начальника милиции, имел под своим управлением примерно четыре тысячи таких же головорезов. Фактически они и были единственной, хотя и плохо вооруженной силой «Кокандской автономии». Боевики Иргаша находились под очень сильным влиянием правых в лице националистически настроенных исламских фундаменталистов из «Улема».

Однако спектр политических настроений среди сторонников «Кокандской автономии» продолжал оставаться непростым. Отчетливо наблюдалось и стремление наладить диалог с Советами. Подтверждением тому может служить телеграмма, отправленная из Коканда в Ташкент еще в начале января 1918 года. В ней сообщалось, что в Ташкенте предполагается мусульманский съезд и что «инициаторы просят отложить съезд Советов до 25 с. м., дабы явилась возможность слиться с этим съездом».

Но И. О. Тоболин отрицательно отнесся к этому предложению. Почему? Мне представляется, что в Ташкенте к тому времени сложилось убеждение о глубокой враждебности процессов, развивавшихся в старой части Коканда. Не последнюю роль сыграло уже упоминавшееся решение мусульманского съезда по установлению договорных

отношений с Юго-восточным союзом. Ведь еще в декабре 1917 года «Наша газета», комментируя его, прямо отмечала: «Неужели же нужно доказывать, что казаки, предводительствуемые Калединым, Корниловым и другими, поднявшие восстание на Дону, объявившие открытую гражданскую войну всей революционной демократии, войну, способную затопить в крови все завоевания революции и чаяния народов... неужели, спрашиваем мы, Кокандский съезд находит их подходящим субъектом сотрудничества в устроении жизни Туркестанского края?»

5

Краевые власти оказались в крайне щекотливом положении, поскольку позиция Москвы по вопросу об автономии полностью определилась. Это произошло в ходе работы, развернутой советским правительством по прекращению войны с Германией.

Переговоры начались с оглашения знаменитой декларации, суть которой заключалась в том, что переговоры должны вестись на основе принципов, вытекающих из знаменитого декрета «О мире».

В основу переговоров было положено шесть пунктов, в их числе и такой: «Национальным группам, не пользовавшимся политической самостоятельностью до войны, гарантируется возможность свободно решить вопрос о своей принадлежности к тому или другому государству или своей государственной самостоятельности путем референдума». В другом пункте указывалось: «По отношению к территориям, обитаемым несомлыми национальностями, права меньшинств ограждаются специальным законом, обеспечивающим им культурно-национальную самостоятельность, и, при наличии фактической к тому возможности, административную автономию». В шестом пункте декларации особо отмечалось, что колониальные вопросы должны решаться на основе этих условий. Отмечу также, что одним из пунктов предусматривался вывод войск с данной территории.

Из изложенного видно, что сторонники «Кокандской автономии», приняв участие в работе съезда Советов края, могли бы потребовать немедленной практической реализации этого, да и ряда других документов Центра, о которых они, к слову сказать, были хорошо осведомлены.

Краевые власти также знали содержание документов. Причем, каждая из сторон, отстаивая свою позицию, апеллировала именно к основным положениям декларации советской делегации на Брест-Литовских переговорах. В частности, И. О. Тоболин, выступая на IV Краевом съезде Советов Туркестанского края, в январе 1918 года, посвященном проблеме автономии, отметил: «Если воля народа, выявленная посредством референдума, будет за то, что этот край должен быть отделен от России, мы оставляем за ним право отделения. Но говорить о проведении в жизнь автономии сейчас же, немедленно, нельзя, ибо первым условием был бы вывод войск из края». «Если же, — подчеркнул он далее, — мы исполнили бы это основное положение, вытекающее из понятия автономии, то мы этим самым нанесли бы удар в спину революции», а край «очутился бы опять во власти контрреволюции». «Принимая во внимание нахождение страны на положении войны, мы приступим к подготовительным работам, необходимым для создания автономной или даже самостоятельной страны».

Другой же оратор вообще заявил, что референдум применим лишь в странах с сильным пролетариатом. Для остальных же масс мусульманского народа референдум приведет лишь к реакции и торжеству контрреволюции.

После долгих дебатов Тоболин от имени фракции большевиков предложил съезду проект резолюции, в которой указывалось, что партии революционных социал-демократов стремятся к созданию пролетарской автономии, но важнейшей задачей объявлялась организация мусульманских пролетарцев в профессиональные Советы депутатов «для поднятия среди мусульманского пролетариата классового самосознания». Таким образом, вопрос о провозглашении автономии фактически отодвигался на неопределенное время. Этот проект резолюции был поддержан большинством голосов.

Примечательно, что в дни работы съезда правительство «Кокандской автономии» прислало в его адрес телеграмму о своем намерении созвать 20 марта 1918 года Учредительное собрание «на основе всеобщего, прямого, равного, тайного голосования с предоставлением немусульманскому населению 1/3 мест с применением принципа пропорционального представительства для каждой курии». В телеграмме вновь подчеркивалось, что «Туркестанское Учредительное собрание, призванное разрешить все чаяния и надежды народов, проводит в жизнь в автономном Туркестане демократические начала, обеспечивающие права меньшинства населения края и трудового народа в полном согласии с демократическими принципами, выдвинутыми великой российской революцией». В связи с чем Народный Совет автономного Туркестана счел своим долгом еще раз во всеуслышание заявить всем народам Туркестана, что Народным

Советом разрабатываются и принимаются меры к проведению в жизнь указанного положения.

Пользуясь случаем, приведу еще одно, крайне странное, свидетельство, непосредственно относящееся к тем дням. Член ЦК партии социал-революционеров, депутат Всероссийского Учредительного собрания от Ферганы В. Чайкин пишет: «В январе 1918 года я по телеграфному поручению туркестанского съезда дехкан (туземных крестьян-земледельцев) и рабочих мусульман обратился через члена Всероссийского Совета Народных Комиссаров Алгасова к комиссару по делам национальности Джугашвили—Сталину с запросом, считает ли он себя, как представителя интересов национальных меньшинств, идейно обязательным поддержать переход власти в Туркестане к туземным рабочим и крестьянам. На что Джугашвили-Сталин, как известно, разошедшийся на одном из съездов Советов со всероссийским комиссаром местных самоуправлений Трутовским именно по вопросу о сужении функций на местах (Джугашвили-Сталин остался в меньшинстве при голосовании его более централистской резолюции), ответил через того же Алгасова буквально следующее: **«Советы автономны в своих внутренних делах и действуют они, опираясь на соответствующие реальные силы. Поэтому туземным пролетариям Туркестана надлежит не обращаться к Центральной Советской власти с ходатайством о роспуске опирающихся, по их мнению, на посторонние Туркестану войсковые части Туркестанского Совнаркома, а распустить его силой, если таковая у туземных пролетариев и крестьян найдется».**

Может возникнуть вопрос: а насколько правдоподобно свидетельство В. Чайкина? Давайте вместе порассуждаем: а мог ли иначе ответить член правительства и один из руководителей правящей партии своему политическому противнику — ведь Чайкин был одним из лидеров правых эсеров? Мне думается, нет, не мог, по той простой причине, что иной ответ, в случае его огласки, дискредитировал бы официальные установки советского правительства, сформулированные в уже цитируемых выше документах.

Нельзя не отметить и того обстоятельства, что именно в это время, в конце января — начале февраля, начал существенно меняться характер поведения сторонников автономии: от мирного сосуществования с городскими властями курс резко начал меняться на конфронтацию. Кокандским Совдепом регистрировались симптомы, однозначно свидетельствующие о подготовке автономистов к вооруженному выступлению. Разумеется, городские власти не могли отнестись к этому хладнокровно, тем более, что ключевой объект города — военная крепость — охранялся всего лишь разуклопленной ротой в шестнадцать человек. Правда, в нескольких километрах от города находились еще восемь бойцов... (они охраняли восемь тысяч военнопленных, и в случае возникновения кризисной ситуации поведение этой массы трудно было предсказать).

В ночь с 10 на 11 февраля глухое противостояние между автономистами и Кокандским городским Советом рабочих и солдатских депутатов начало перерастать в открытые боевые действия.

Накануне участники пленума Кокандского горсовета приняли решение потребовать от правительства автономии немедленного разоружения и роспуска созданных военизированных формирований. Но автономисты опередили горсовет.

О событиях той ночи рассказывал много лет спустя ответственный секретарь Кокандского Совета рабочих и солдатских депутатов С. П. Вершинин: «Толпы фанатиков, руководимые головорезами из «автономистов», в первую же ночь устроили кровавую охоту на безоружных русских рабочих и их семьи. У очевидцев кровавые картины той страшной ночи вызывают и сейчас содрогание и гневное возмущение звериной жестокостью заправил «Кокандской автономии». Другой очевидец утверждает, что в ту ночь в одном только пограничном со старым городом Пугасском переулке было вырезано 30 человек — все жители переулка.

Этот эпизод в истории «Кокандской автономии», пожалуй, один из самых «глухих». Однако масштабы резни европейского населения в Коканде были таковы, что информация об этом попала даже на страницы «Правды», сообщившей читателям о «повальной резне русского населения» и о «грандиозности размеров убитых» в Коканде.

В эти же часы несколько офицеров — сторонников автономистов, прибыв на телефонную станцию, заставили перепуганных телефонистов отключить телефонную сеть нового города. Линия же, соединявшая станцию с абонентом за номером 73, была не тронута. Это был номер телефона канцелярии правительства «Кокандской автономии».

В эти же часы боевики автономистов, ворвавшись в здание Кокандского Совета и зарезав часового, начали ломиться в квартиру жившего здесь председателя Кокандского городского Совдепа Е. А. Бабушкина. Он забаррикадировался в квартире и на протяжении нескольких часов вместе с женой отстреливался от нападавших. Так они продержались до утра. А утром, когда нападавшие отступили, Бабушкин вышел на улицу, остановившись до пролетку, в которой ехал местный «хлопковый король» Потеляхов

с доверенным одной из хлопковых фирм, угрожая револьвером, высадил их и, заняв их место, помчался по встревоженному городу на железнодорожную станцию.

Здесь рабочие-железнодорожники в срочном порядке создали Ревком — для обеспечения безопасности города и его жизненно важных коммуникаций. В его состав вошли Бабушкин, Месхе, Коновалов, Рылов, Николаенко и Сазонов.

Одновременно в крепости началась концентрация рабочих, созванных сюда колокольным звоном и несколькими выстрелами.

Экстренные меры, предпринятые Ревкомом, позволили увеличить число вооруженных защитников до 400 человек.

Вся эта работа разворачивалась в крайне напряженной обстановке. По городу циркулировали упорные слухи, что Коканд блокирован чуть ли не десятками тысяч человек, что городские власти долго не продержатся против этой армады. Ползли черные слухи, настойчиво культивируемые агитаторами автономистов, о предстоящей резне европейского населения.

Член Ревкома Сазонов позже вспоминал, что он, находясь в те часы уже в крепости, получил записку от Бабушкина: «Зигеля, Чокаева и секретаря арестуйте».

Взяв с собой двух солдат, вместе с Николаенко, Сазонов выехал в старый город. Арестовать удалось лишь секретаря. Последний выдал списки членов правительства и русских офицеров, сотрудничавших с автономистами. С канцелярией кабинета министров автономии удалось связаться по телефону. После переговоров в старый город был прислан экипаж с проводником. Этот человек, по его словам, бывший член Народного Совета, разговорившись в дороге со своими пассажирами, признал, что «все же население смотрит на автономное правительство... как на чужое» и что «население не сочувствует правительству».

Далее Сазонов вспоминал: «Кокандское правительство расположилось в самом большом европейском доме старого города — в бывшем помещении «Проводника». Встретил нас Чокаев очень любезно, осведомился, кто мы и зачем. Затем распорядился о чае, угощении. В общем, принял как гостей. Когда мы рассказали, что за события были ночью, он побледнел, взволновался и вызывает помощника: «Я глава правительства, и без моего ведома проделывают такие дела! Ведь было же постановление миром договориться с Советской властью». «Тут,— рассказывает далее Сазонов,— я вмешался — договориться не поздно. Расследование событий пойдет своим чередом, а переговоры своим. Давайте запишем, что требуете вы». Чокаев ответил: «Видите, мы не против свободы, не за монархизм. Но так, как проводите вы,— это не про нас. Ваше население культурнее нашего, и то скрипит под вашим напором, а наше прямо стонет».

Далее Чокаев изложил политическую платформу автономистов: суд по шариату, «земельный вопрос не затрагивать», «женщин не раскрывать и оставить по-прежнему в подчинении у мужчин» и др. М. Чокаев прояснил и судьбу европейского населения. По его словам, предполагалось «оставить только культурные слои — железнодорожников, телеграфистов и т. д». Правда, оставшимся выплачивались бы хорошие деньги.

Потом, по словам Сазонова, произошло следующее: «Тут входит Юсуф Давыдов и бесцеремонным тоном спрашивает: «Вы что тут делаете?» Чокаев возмущенно: «Не я ли председатель Совета министров? Сейчас мы договариваемся с Советской властью. Выставляем требования». «Бросьте,— прерывая бесцеремонно Чокаева, говорит Юсуф Давыдов,— мы эти условия признавать не будем. Вы кто?»— спрашивает он Никольского. Тот нерешительно жмется. Тогда я предъявляю мандат. Он и говорит: «Вот я как официальное лицо говорю вам тоже официально: «Мириться мы не станем. Я заявляю: фактически, значит, будем вести гражданскую войну. Ведь и ваша беднота не за вас».

6

Кокандский Ревком до того, как окончательно была перерезана телеграфная и телефонная связь, успел все же отправить информацию о происшедшем и просьбу об экстренной военной помощи в Ташкент. В ответ поступило распоряжение об объявлении Ферганы на военном положении. Это означало, что «митинги, шествия, как вооруженные, так и невооруженные» запрещались. «Нарушение настоящего постановления,— разъярилось краевым правительством,— будет встречено пулеметным и ружейным огнем».

Однако краевые власти в тот момент не могли оказать какой-либо действенной помощи Коканду. Практически все воинские части, находившиеся в их распоряжении, были брошены на подавление мятежа казачьих частей в Самарканде или находились на Оренбургском фронте. Поэтому первым из откликнувшихся на тревожный сигнал Кокандского ревкома был Скобелев.

Отправке помощи предшествовало экстренное совместное заседание городской думы и Ферганского городского Совета рабочих и солдатских депутатов. Глава город-

ской думы Дориомедов в своем выступлении опротестовал решение Совнаркома «Об объявлении области на осадном положении и всеобщей мобилизации без достаточных к тому оснований. Вследствие непроверенной телефонограммы».

Ему возразил командир Скобелевской военной дружины К. П. Осипов: «Тревожным известиям из Коканда легко можно было поверить, так как достоверно было известно, что в Коканде вооружаются мусульмане. К стыду нашему, их обучают наши некоторые русские офицеры». Когда Осипов оценил меры Наманганской городской думы в этой связи как «саботажные», председательствующий попытался лишить его слова. Однако зал, взвинченный тревожным сообщением из Коканда, потребовал дать Осипову договорить до конца. И он сказал далее следующее: «Советы рассыплются. И теперь, в этот тяжелый момент, саботажники предлагают вынести власти порицание. Поступили тревожные телеграммы. Нас просят о помощи, и мы не можем остаться равнодушными. Едем мы, а они остаются здесь на месте. Мы проверим известия там на месте. Может быть, наша помощь окажется нужной. Увидим, может быть, порицание преждевременно».

Скобелевский отряд численностью в 120 человек (по другим данным — 140), имевший на вооружении четыре пушки и четыре пулемета, прибыл в Коканд 13 февраля 1918 года в 3 часа ночи. Член Кокандского ревкома Сазонов позже рассказывал: «Месхе сообщил: «Дали путь. Едет Осипов»(...) Я велел приготовить чай, хлеб. Вваливаются солдаты под хмельком, шумно (...)».

На станции, после короткого совещания, было решено переправить отряд в крепость, а Осипов потребовал от Ревкома постоянных там представителей. Командование всеми военными силами, находившимися на тот момент в городе, было возложено на Осипова. Один из бойцов Скобелевского отряда вспоминал: «Мы быстро скатили с платформ орудия, повозки, вывели из вагонов коней. Построившись у вокзала, отряд двинулся к крепости. Обычно оживленный и довольно большой торговый город — пустыня. В домах не видно огней, на улицах только усиленные патрули. Даже в центре, где возвышались двух- или трехэтажные дома, темно и безлюдно. Двигались в полном молчании — сама обстановка настораживала, заставляла быть начеку. Наконец подковы лошадей, колеса орудий и повозок зазвенели по мощной булыжной площади у крепости. Короткие переговоры с охраной. С лязгом распахнулись тяжелые железные ворота, отряд вошел за кирпичные трехметровые стены старинной крепости».

В ту же ночь Ревком принял решение предъявить правительству «Кокандской автономии» ультиматум: к трем часам дня съезди и сдать на Воскресенской площади все оружие, правительству сложить полномочия и признать Советскую власть. В старый город вновь была отправлена делегация. «Опять, — как рассказывал Сазонов, — встретил нас Чокаев. Все так же любезно предложил чай и угощение. Конечно, от угощения отказались. Вручили ему конверт. Он вскрыл, прочел и говорит, что передаст Совету Министров. Ибо сам не уполномочен решать такие вопросы, но, думает, мало надежды на выполнение автономным правительством ультиматума. Мы сверили часы и вернулись. Чокаев опять любезно дал нам проводника».

Ответа ревком так и не получил, поэтому вынужден был принять крайнее решение — арестовать правительство «Кокандской автономии».

Утром следующего дня Осипов, предварительно разделив свой отряд на три группы и оставив одну из них с пулеметами в крепости, с двумя остальными направился в старый город. По дороге они неоднократно подвергались обстрелу.

Но арестовать правительство не удалось. Имеющихся сил было далеко недостаточно, чтобы локализовать мятеж. Это, видимо, хорошо понимали и автономисты: пойманные разведчики давали стереотипные показания: «У вас мало оружия. Надеемся, что вы постреляете, а там мы вас палками перебьем».

В эти же дни автономисты вновь и вновь предпринимали попытки штурмом взять крепость. Тактика была та же: впереди шли хорошо вооруженные разбойничьи шайки. Это так называемое войско «автономного правительства». За ними шли подневольные безоружные мирные люди, имевшие в руках только топоры, кайлы и палки. За ними шли опять хорошо вооруженные разбойники. Они прикладами подгоняли мирное мусульманское население, совершая над ним ряд насильств, заставляя его идти на крепость. Протесты людей, понявших, что они попали в ловушку, оставались тщетными. Разбойники под угрозой смерти заставляли их идти вперед... Стоявшие впереди и позади разбойники насильно выгоняли их под обстрел. По некоторым оценкам, численность людей, использовавшихся в качестве тарана при штурмах крепости, достигала 10 тысяч. Достоверно известно, что в этих боях со стороны автономистов принимал участие и отряд смертников. От остальных участников штурмов они отличались. Одетые в кафаны, смертники шли в бой с убеждением, что попадут в рай за участие в газавате.

Конечно же, те несколько сот рабочих и солдат, на долю которых выпало противостояние многотысячным ордам погромщиков, были крайне изнурены. «Защитники крепости, — вспоминал один из участников этих событий, — сильно устали. Люди шата-

лись от напряжения, лица у всех посерели. Противнику было легче, отряды его действовали поочередно, не давая нам ни минуты передышки».

В этой обстановке руководство «Кокандской автономии» и предложило Ревкому сесть за стол переговоров. Условия, выдвинутые автономистами, сводились к следующему: создать объединенный орган управления городом с количественным преобладанием в нем представителей автономии, передать крепость под контроль этого органа. Разоружить всех, кроме милиции, отменить действие тех декретов краевых властей, которые противоречат законам шариата, и т. п. Иначе говоря, они предлагали: «Сдайтесь, у нас силы и оружия больше, казаки идут к нам на помощь. Мы не хотим вас огнем смести, жалея мирное население, укрывшееся в крепости. Сдайтесь».

Делегация Ревкома ответила отказом.

Примечательно, что представитель местного духовенства в лице священника Боряченского, ранее пожертвовавшего на нужды «Кокандской автономии» 60 рублей из церковных денег, совместно с мусульманским священнослужителем организовал рядом с крепостью шествие своих прихожан с призывом прекратить гражданскую войну. Однако в крепости восприняли эту манифестацию как провокацию с целью отвлечь внимание и дали несколько холостых залпов. Перепуганные демонстранты разбежались.

В эти же часы железнодорожники на станции отбивались от наседавших на них групп штурмовиков-автономистов, пытавшихся захватить станцию в свои руки.

Одновременно продолжались переговоры. В конце концов было достигнуто соглашение, что автономисты сдадут оружие. Однако условия, при которых они собирались это сделать, были крайне подозрительными. В 12 часов ночи по сигналу крепостного колокола они должны были собраться рядом с площадью у крепости, помолиться и сдать оружие. Сначала делегация Ревкома этот вариант приняла, однако при более зрелом обсуждении его с военными стало ясно, что готовится провокация. Разбуженные ночью тревожным колокольным звоном, жители города бросятся к крепости, а в тех условиях это означало «либо пропускать всех, либо расстреливать». Привлеченный к обсуждению условий автономистов Осипов «наотрез отказался впустить кого-либо в крепость ночью». Таким образом, условия автономистов были отклонены.

Это решение было принято, когда стремительно нарастала напряженность. Разведгруппами и патрулями были вновь обнаружены «толпы в белых одеждах, которые на пути чем-то обливают здания». По приказу из крепости красноармейцы и дашнаки оттеснили их в старый город.

В крайне раскаленной обстановке непрекращающихся провокаций, попыток штурмом взять крепость, угроз военные потребовали от Ревкома санкционировать применение артиллерии против погромщиков. Однако Е. А. Бабушкин и все члены Ревкома наотрез отказались, полагая, что такая мера приведет к неоправданным жертвам среди гражданского населения и вызовет в городе большие разрушения.

17 февраля были вновь возобновлены переговоры — под давлением на кабинет М. Чокаева представителей съезда рабочих и солдатских депутатов-мусульман, собравшихся в эти дни на свою конференцию. Если не все ее участники, то хотя бы уже та часть, которая состояла из рабочих, дехкан и демократически настроенной интеллигенции, не хотела кровопролития. Это настроение было настолько сильным, что лидеры «Кокандской автономии» не могли не считаться с ним. Как, впрочем, не могли не считаться и с фанатично настроенными клерикалами и националистами экстремистского толка, требовавшими от правительства решительных мер, означавших отказ от каких-либо контактов с Кокандским Ревкомом и активизацию боевых действий. Видимо, влияние именно этого крыла и объясняет то, что буквально в канун переговоров военный министр «Кокандской автономии» М. Чанышев прислал ультиматум. «Не имея возможности сдерживать массу, сильно возбужденную, если до 4-х часов не будет объявлено о сдаче крепости или иных мирных условиях, народ прорвет плотину дисциплины, (...) Я не отвечаю за мирное европейское и армянское население».

Но участники конференции рабочих и солдатских депутатов-мусульман потребовали отзыва ультиматума, и Чанышев вынужден был дать согласие. 18 февраля переговоры возобновились. В этот момент выступили открыто «Улема» и ее сторонники. Кабинет М. Чокаева был свергнут, а сам Чокаев и часть его приближенных бежали. Военный министр М. Чанышев арестован. Иргаш провозглашен Кокандским ханом.

Итак, 18 февраля произошел переворот, а в ночь с 18 на 19-е на запасные пути к окраине Коканда начали прибывать эшелоны с воинскими частями и артиллерией. Вместе с ними из Ташкента прибыл и 28-летний военный комиссар края, бывший по-

ручик царской армии Е. Л. Перфильев, в то время левый эсер. На этот пост в ноябре 1917 года он был рекомендован И. О. Тоболиным. Перфильев и возглавил операцию по ликвидации «Кокандской автономии».

Позже, вспоминая о первых часах, проведенных в Коканде, он рассказывал: «Мы получили известие о том, что русское население вырезается, что сторожа в путевых будках перебиты». «По пути наш поезд обстреливался всяким сбродом». «В Коканде мы застали перестрелку». «Крепость еще держалась».

Прибывшие войска блокировали город с трех сторон. В полную боевую готовность были приведены все артиллерийские расчеты. Переговоры, к этому времени окончательно зашедшие в тупик, были прерваны.

19 февраля в 10 часов 15 минут был отправлен ультиматум Иргашу. Ему предлагалось сложить оружие и сдаться. Срок ультиматума истек в час дня. В 12 часов 45 минут был получен ответ: Иргаш отказался выполнить условия ультиматума.

В это же время, как следует из рассказа Е. Л. Перфильева, «наши разведчики донесли, что по Ходжентской улице движется 2000 туземцев. Впереди них шла вооруженная пехота. За ними — масса вооруженных лишь топорами и секирами, а сзади двигалась вооруженная конная цепь. Ее цель была подгонять безоружную массу. С другой стороны приближалась такая же группа. Разрушив Наманганский мост, она двигалась также на нас».

Перфильев отдал приказ открыть огонь из всех 12 орудий, в том числе и зажигательными снарядами.

Артиллерийский обстрел города начался в час дня. С небольшими перерывами он продолжался дотемна. По словам военкома, в какой-то момент из старого города прибыли парламентарии, заявившие представителям командования следующее: «Мусульмане объявляют вам войну за то, что в ответ на их требования открыли по ним огонь». Перфильев ответил: «Войны этой не боюсь», после чего «наши батареи дали девять выстрелов по городу».

На следующий день — 20 февраля — в город вступила пехота. Как рассказывал очевидец, «постепенно борьба из нового города перешла на территорию старого... Возбужденные духовенством толпы фанатиков, подталкиваемые «автономистами», ни одного здания, ни одного склада, ни одного торгового предприятия и караван-сарая не сдавали без ожесточенной борьбы. Вооруженные отряды Иргаша окружили старый город и не давали уйти населению». Однако перевес сил был уже на советской стороне. Остатки отряда Иргаша бежали. В панике устремилось из Коканда и перепуганное гражданское население.

В городе начались многочисленные пожары. Горели дома, склады с мануфактурой, с хлебом, которого и так не хватало. Город горел трое суток.

По данным английской разведки, в результате этих трагических событий в общей сложности погибло три тысячи человек.

Сразу же после разгрома автономистов и бегства Иргаша из старого города прибыла делегация с предложением возобновить переговоры.

22 февраля 1918 года в помещении Русско-Азиатского банка был подписан мирный договор. Согласно ему все гражданское население города должно было сдать оружие, признать власть Краевого совнаркома и его местных органов, выдать ей участников кровавых событий. Кроме того, было достигнуто соглашение, что местное население будет оказывать полное содействие гражданским и военным властям в восстановлении разрушенных железнодорожных путей и телеграфных линий, а также в их охране и вообще в восстановлении нормальной жизни.

Со своей стороны, власти обязались помочь беднейшему населению, пострадавшему во время гражданской войны.

Воинские части и их командование отбыли в Ташкент, оставшиеся в Коканде солдаты и рабочие-железнодорожники, несмотря на запрет Ревкома, проводили Осипова салютом. Один из очевидцев утверждал, что в момент салютного залпа кто-то из своих стрелял и в самого Осипова...

Возникает вопрос: а насколько оправданным с военной и моральной точек зрения было использование артиллерии при ликвидации «Кокандской автономии»? Ответить на него сейчас уже трудно. Однако отмечу, что политический резонанс от перфильевской операции был очень широкий. Как позже вынужден был признать нарком внутренних дел Туркесреспублики, именно характер средств, использованных при ликвидации «Кокандской автономии», нанес незаживающую рану сознанию населения». Д. И. Манжара также отмечает, что эти действия были ошибкой. «Вместо того, чтобы окружить тесным кольцом старый город, где засели автономисты, — пишет он в своих

воспоминаниях,— и заставить всех их сдаться... вместо этого мы открыли артиллерийский огонь по старому городу, а потом пустили вооруженных дашнаков и другие отряды. В результате начались грабежи и насилия, от которых пострадало население, не только ничего общего не имевшее с автономистами, но даже являвшееся их противниками».

На особую роль этого эпизода в военно-политической истории региона указывает и то, что проблема «Кокандской автономии» неоднократно всплывала в последующие годы на переговорах представителей Советской власти и лидеров басмаческого движения. «Кокандская автономия» стала своего рода идеологическим символом. Подтверждением тому может служить известная попытка Мадамин-бека сформировать «Временное автономное правительство Туркестана».

И много позже, уже при проработке качественно новых вариантов борьбы с басмачеством, в партийных кругах Туркестана обсуждался проект предоставления Фергане статуса «автономной республики».

Небезынтересно и то, что кокандские события были использованы противниками Советской власти не только в качестве объекта самой жесткой критики, но и политических обвинений. В частности, бывший скобелевский городской голова В. Дориомедов в марте 1918 года в газете «Знамя свободы» утверждал, что причиной всему происшедшему является «демагогическая и двуличная политика Петроградского Совета Народных Комиссаров, который, с одной стороны, предлагает всем народам отделиться от России, говоря о полном самоопределении, а потом, когда зерно, посеянное им, взойдет, так устраивают кровавые бойни».

43-летний полковник Иван Цветков — один из руководителей заговора, завершившегося гибелью 14 туркестанских комиссаров, на суде прямо заявил, что его участие в мятеже в числе прочих было обусловлено и тем, что «в Туркестане значительная часть населения мусульманская, и с этим населением пришлось столкнуться совершенно новым людям, потому что, если вы вспомните то, что к власти попали люди, с Туркестаном незнакомые, люди случайные, связанные находждением в войсках, иногда прямо чуждые Туркестану. И эти люди, даже обуреваемые самыми лучшими желаниями, естественно, не зная быта, были не застрахованы от многих ошибок. Иногда эти ошибки бывали такого характера, что для людей, знакомых с бытом местного мусульманского населения, которое, как все признают, довольно фанатично, вызвали опасение, чтобы все не окончилось крахом, вроде всеобщего мусульманского восстания. Причем могло случиться так, что ничего от русского населения в смысле партий не осталось бы, потому, что к ним примкнули бы и другие государства, тоже мусульманские».

Выходившая в Ташкенте на казахском языке газета «Бирлик Туги» прокомментировала ликвидацию «Кокандской автономии» следующим образом: «Она (власть — М. Х.) окропила человеческой кровью улицы Коканда. Сравняла с землей населенный мусульманами старый город, погубила тысячи жизней невинных беззащитных мусульман, разграбила все имущество их... но только не под своим обычным знаменем, а под красным, не с обычным своим лозунгом, а именем свободы и революции».

Пожалуй, только английские спецслужбы стояли на иной точке зрения. Они расценили эту операцию как «успех» краевых властей. Из этих событий англичане в лице Генерального консула в Хорасане У. Грея сделали однозначный вывод: «Было бы нежелательно посылать в Русский Туркестан английских офицеров или индийских агентов, покуда продолжается успех максималистов. В настоящее время положение дел в их пользу. Они овладели Кокандом и предпринимают отчаянные усилия установить свою власть, где это возможно».

А как сами краевые власти оценивали факт ликвидации «Кокандской автономии»? Были ли из этого события извлечены принципиальные политические выводы? Да, итоги перфильевской операции обсуждались на заседании Ташсовета 23 февраля 1918 года. Обсуждение было бурным. В частности, большевик Г. М. Цвиллинг сразу же после доклада Е. Л. Перфильева поспешил заявить, что «фракция вынесла порицание факту захватов, имевшему место среди наших отрядов». Лидер фракции меньшевик-интернационалистов Х. Л. Вайнштейн, исходя из того, что «в Оренбурге и Самарканде контрреволюционные выступления были ликвидированы более или менее нормально», далее задал вопрос: «Куда девалась классовая борьба, во имя которой мы подняли свое красное знамя? Мы слышали о вражде между русскими и сартами, армянами, персами. Мы слышали проекты о том, как бы защитить себя от мусульман. Вместо классовой борьбы, таким образом, мы имеем борьбу национальную». Из доклада, говорил он, «мы видим лишь одно, что национальная рознь, которую поддерживало монархическое правительство и которая является злейшим врагом социализма, расцвела при господстве социалистической власти». Было сказано также, что «власть, прибегающая к приемам, на которые не могло рискнуть царское правительство, оказывается бессильной охранить жизнь русских людей». Вайнштейн подверг сомнению заявление о том, что трудовое мусульманство не хотело автономии, поскольку у Перфильева «основания те, что после того, как мусульмане были обстреляны из пушек,

они изъявили готовность к подчинению. Но разве они таким же образом не изъявляли своей покорности Куропаткину? И тов. Перфильев, рассуждающий и поступающий таким образом, является в таком случае Куропаткиным». В заключение Вайнштейн потребовал немедленного создания комиссии для расследования дела и привлечения к строгой ответственности всех, от рядового красногвардейца до руководителей отрядов, «кто виновен в образовании темного пятна на красном знамени революции».

И. О. Тоболин вступил с ним в полемику. Он отметил, что «речь самого критика рассчитана не на высокое собрание, а на невежественную публику». Далее он заявил буквально следующее: «Этой партии можно лишь сказать — спрячьте свою критику в карман. Ибо критиковать может лишь тот, кто творит, и не вам, трусам, сидеть в следственной комиссии. Ибо вы сами должны сидеть на скамье подсудимых». Обозвав далее меньшевиков «кликушами русской революции», Тоболин подчеркнул, что «вообще смешно говорить о жестокости в такой момент и в такой борьбе». Оценив факт грабежей и насилий как «позорный», И. О. Тоболин призвал в то же время рассмотреть его с психологической точки зрения, поскольку «никогда в истории не существовало столь организованных масс, чтобы не происходило подобного захвата». Предложение о создании специальной комиссии по расследованию фактов грабежей и насилий со стороны некоторых солдат и боевиков «Дашнак-Цутюн» И. О. Тоболин заблокировал, «квиду того, что оно не подано в письменной форме».

В конечном счете большинством голосов была принята резолюция, одобряющая деятельность военных в Коканде и осуждавшая имевшие там место инциденты. Разбор их, согласно резолюции, был передан непосредственно в те организации, откуда были призваны бойцы.

9

Ликвидация «Кокандской автономии» не сняла с повестки дня проблемы автономии Туркестана. Подтверждение тому — состоявшийся в начале апреля 1918 года телефонный разговор между наркомом по делам национальностей И. В. Сталиным и И. О. Тоболлиным. Поводом для него явилось то, что «Совнарком занялся вообще рассмотрением вопроса об осуществлении прав наций на самоопределение. В разговоре с И. Тоболлиным Сталин предложил «усилить работу среди мусульман с тем, чтобы отколоть мусульманский пролетариат от мусульманской буржуазии и создать мусульманский Совет». Из этого предложения Тоболин сделал однозначный вывод: «Центр имеет плохое представление о нашем положении; сказать, что мусульмане совершенно не организованы, таким образом нельзя, везде и всюду есть представители местного населения, а 3 и 4 съезды Советов Туркестанского края уже **разрешили вопрос об автономии в духе нашей партии** (выделено мной — М. Х.). 5 съезд, который соберется не позднее 15 апреля, рассмотрит и практическое разрешение национального вопроса».

Спустя несколько дней в Ташкент на имя Чрезвычайного комиссара советского правительства по Средней Азии П. А. Кобозева за подписью Сталина поступила радиogramма. В ней отмечалось, что «некоторые Советы на местах решили... отвергнуть всякую автономию, предпочитая разрешение национального вопроса путем оружия, но этот путь совершенно не пригоден для Советской власти». Он «способен только сплотить массы вокруг буржуазно-националистических верхов, а верхи эти выставить спасителями родины, «защитниками нации», что ни в коем случае не входит в расчеты Советской власти». Сталин особо подчеркнул, что «не отрицание автономии, а признание ее является очередной задачей Советской власти».

В связи с тем, что «буржуазно-автономные группы, возникшие в ноябре и декабре прошлого года на окраинах, и поволжских татар, и башкир, и киргизов Туркестанского края постепенно разоблачаются ходом революции» и «для того, чтобы окончательно оторвать от них их же собственные массы и сплотить последние вокруг Советов», Сталин потребовал «взять у них автономию, предварительно очистив ее от буржуазной скверны, и превратить ее из буржуазной в Советскую». При этом он предупредил, что «никакого деления на национальные курии с представительством от национальных меньшинств и большинств, как это предполагают некоторые буржуазно-национальные группы, не должно быть допущено. Такое деление только обострит национальную вражду, укрепит перегородки между трудовыми массами национальностей и закроет путь остальным народностям к свету, культуре». В радиogramме указывалось также, что «основой выборов в учредительные съезды и фундаментом автономии должна служить не разбивка трудовых демократических масс на отдельные национальные отряды, а их объединение и сплочение вокруг соответствующих образований».

Во второй половине апреля 1918 года состоялся V съезд Советов Туркестанского края. В отличие от предшествовавших ему, как сообщила «Правда», половина делега-

тов (120 человек) представляли «несколько миллионов мусульманского населения». П. А. Кобозев от имени советского правительства приветствовал «те мусульманские ряды, которые потянули нас своим присутствием. Вместе с ними мы рассмотрим вопрос о нашей пролетарской автономии, а не какой-нибудь буржуазной».

Делегаты съезда отправили в Кремль телеграмму, в которой заявили, что «все революционные лозунги будут твердо и неуклонно проведены в жизнь». В ответ из Москвы пришла телеграмма, подписанная В. И. Лениным и И. В. Сталиным, где было подтверждено, что «Совнарком будет поддерживать автономию вашего края на советских началах».

30 апреля 1918 года Краевой съезд Советов Туркестанского края, исходя из волеизъявления трудящихся масс, поддержав предложенную П. А. Кобозевым Декларацию, провозгласил образование Туркестанской Автономии Советской Социалистической Республики как составной части РСФСР.

Провозглашение автономии Туркестана явилось выдающимся событием в истории региона. И не только потому, что его народы обрели собственную государственность, но и потому, что унитаристские настроения в центре были тогда весьма значительны. Об этом свидетельствует признание П. А. Кобозева: «После отъезда моего из Ташкента... я сделал доклад Совнаркому об объявлении автономии Туркестана, согласно телеграмме наркома Сталина. Мне было предложено сначала, а затем, когда я отказался, то приказано принять пост наркомпути. Приказ был мотивирован катастрофическим состоянием дорог в России и отсутствием инженерных сил для управления ими. Положение же в Туркестане считалось вполне благополучным. Неофициально у меня возникли подозрения, что это был почетный отзыв меня из Туркестана, (...) у центра возникло сомнение и недоверие ко всему акту автономии, боязнь получить из Туркестана новую Украину...»

Принципиально важным результатом V съезда является и то, что в состав избранного им ЦИК вошло 11 представителей коренных национальностей. Они возглавили комиссары по делам национальностей, юстиции, внутренних дел и здравоохранения.

Провозглашение ТАССР сопровождалось делегированием ее руководством весьма широких полномочий. Причем, уже в ходе обсуждения компетенции туркестанских властей В. И. Ленин официально поддержал предложение представителей Туркеспублики о необходимости корректировки общефедеративных законодательных актов с учетом местных условий. В одной из радиogramм из Москвы, адресованной Председателю ТуркЦИКа, в этой связи, сообщалось: «Согласно личным переговорам с тов. Лениным ТуркЦИК имеет право изменять некоторые пункты декретов, которые резко противоречат условиям края».

10

Были ли использованы эти возможности в полной мере в 1918—1919 годах? По моему мнению, нет, иначе трудно объяснить принятие властями республики таких малопопулярных среди коренного населения мер, как ликвидация вакуфов, закрытие конфессиональных школ, запрещение судов казиев и др. К этому надо добавить и пресловутые перегибы со стороны местных властей. Их масштабы в Фергане в 1918—1919 годах носили беспрецедентный характер. А как же могло быть иначе, если «туркестанский Ленин», как называл себя тогдашний председатель ТуркЦИК И. О. Тоболин, заявлял следующее: «Есть древнее выражение: «Царь, помни об афинянах». И нам приходится сказать себе: «Республика, помни о Фергане»— и нужно теперь скорее и в первую голову покончить с Ферганой, разметать это надоевшее нам гнездо автономистов и из городов сделать кишлаки, сравнять их, а из кишлаков сделать города».

Чем это обернулось для населения Ферганы, свидетельствует Ф. И. Голощекин в своем интервью корреспонденту газеты «Известия ЦИК Туркеспублики» в декабре 1919 года: настроение жителей Ферганы «более чем подавленное», и, по его мнению, основная причина «главным образом, неправильная, подчас преступная политика ответственных органов. Под флагом Советской власти сплошь и рядом господствовал произвол и стремление использовать свое положение в личных интересах, что создавало привилегированные группы внутри европейского населения. Определенно выражаемое недоверие к мусульманским массам. Взгляды на мусульман, как на низшую расу, переплетенные с общей недоброжелательной политикой и наличием явных привилегий, получаемых европейцами, в целом создали атмосферу в высшей степени напряженную и родили недовольство мусульманских масс». Далее Голощекин прямо подчеркнул: «Антагонизм, рожденный указанными причинами, между европейцами и мусульманами, недальновидная общая политика представителей Советской власти в Фергане явились, можно сказать, главным фактором развития басмачества.

Мусульманское население, не имея поддержки у представителей Советской власти, стиснутое басмачами-разбойниками, запуганное и разоренное, с отчаяния шло в шайки. Деятельность отдельных представителей власти вместо успокоения раздражала население и фактически вела к дискредитации идей Советской власти, сущность которой эти деятели понимали по-своему, «по-Фергански», но не так, как ее понимают всероссийские съезды и Коммунистическая партия».

В одной из докладных записок на имя командующего войсками Ферганской области также отмечалось, что «период от «Кокандской автономии» до соединения Туркестана с Центром не нуждается в больших комментариях — он способствовал придаче басмачеству того размаха, который мы наблюдали. Действия власти по своему существу являлись чисто колонизаторскими и невольно способствовали развитию активного националистического течения». По мнению автора этих записок, только приезд Турккомиссии, располагавшей особыми полномочиями, позволявшими принимать самостоятельные решения во всех вопросах, помог в дальнейшем снять чрезвычайное напряжение в жизни Туркеспублики и в первую очередь в практической реализации программы по национальному вопросу.

* * *

Таковы уроки «Кокандской автономии» и тесно связанного с ней качественно нового раунда развития басмаческого движения, сопровождавшегося трансформацией обычной уголовщины в крайне политизированное движение, охватившее на определенном этапе весьма широкие слои населения Ферганской долины. Уроки, подтверждающие правоту К. Маркса, задолго до этого писавшего: «Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли из прошлого. Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых».

...«Кокандская автономия», ярко вспыхнувшая на историческом небосклоне Средней Азии и так трагически погасшая, оставила после себя тяжелый горький след. Изучая архивные документы, я неотвратимо приходил к выводу о том, что ведь, по сути, это была первая, хрупкая попытка демократического движения, вобравшая в себя естественную тягу к самоопределению, базировавшаяся на пришедшей в регион парламентской демократической традиции. Носителями этой идеи выступали неопытная в политике национальная интеллигенция, просвещенные люди края. Сочувствие к ней проявляли и живущие здесь представители российской интеллигенции. Ветры Октябрьской революции укрепили тенденцию к демократической автономизации края: ведь «Декларация прав народов России» гарантировала право народов на свободное самоопределение, и это право должно было охраняться «всей мощью революции и ее органов».

Но это первое демократическое движение, притянувшее к себе и узколобых националистов, и сепаратистов, стало в конечном итоге жертвой причудливой комбинации, разыгранной «отцом всех народов», комбинации, при которой и ташкентские власти, и сторонники «Кокандской автономии» оказались всего лишь шахматными фигурками в сложной замысловатой игре. И ее финал однозначно свидетельствует о том, каким опасностям подвергают себя молодые демократические силы в условиях тоталитарных политических структур. Эти структуры способны спровоцировать их на опасные действия, при которых официальные власти, безусловно, займут позицию защиты правопорядка.

Другая мысль, которая настойчиво просится на бумагу: жесткие — недемократические — властные структуры, приходя в соприкосновение с такой щепетильной сферой, как межнациональные отношения, неизбежно находят лишь единственный способ решения сложных вопросов — с позиции силы.



Абдурахман Гафуров

Почему-то принято считать, что мудрыми и афористичными могут быть лишь мысли живших минимум столетие назад людей, да непременно с великим именем. А тут, извольте: ни имени, ни столетия со дня смерти. Напротив — автор жив и здоров, капитан первого ранга в отставке. Причем не просто капитан, а участник войны, первый в истории Узбекистана капитан первого ранга — узбек.

Он не ставит своей целью поучать, наставлять, воспитывать. Он просто щедро делится с людьми своими наблюдениями, выводами, размышлениями. А их собрано за долгую и яркую жизнь достаточно.

Заговорил А. Гафуров афоризмами давно. Еще Борис Полевой, познакомившись с ним и обратив внимание на это, советовал: «Ты бы все это записал. Ведь интересно. Обычно люди записывают чужие афоризмы и мысли, а ты свои не записываешь». Может быть, именно с этого разговора и начались его стихи.

Сергей БОНДАРЧУК

* * *

В чем ищем выход из нужды, из тьмы?
Богов себе выдумываем мы.

* * *

Лишь сам расти детей своих,
Не полагаясь на других.
Твои ростки в чужом саду
Плодов хороших не дадут.

* * *

Тот, кто кичится заслугами предков,
Глупость свою маскирует нередко.

* * *

Добро и зло — сравнение точно —
С змеей и пчелами сравнят.
Пчела нам мед дает цветочный,
Змея, его отведав, — яд.

* * *
Женился бы на молодой,
Да... смерть-старушка под фатой!

* * *
В чем причина всех несчастий?
Злоба с завистью у власти.

* * *
На старте все равны умом и телом,
Но к финишу придут лишь те, кто занят делом.

* * *
О том, что сделал, — не кричи,
Что будешь делать — умолчи;
Поведай — только без прикрас —
О том, что делаешь сейчас.

* * *
Змеиного укуса ты не можешь избежать,
От жала негодяя тебе не убежать!

* * *
Пускай говорить ты умеешь искусно —
Умение выслушать — тоже искусство.

* * *
Случайно воробей в гнездо орла попал
И возомнил уж, что орлом он стал.
Хвост распушил и растопырил крылья,
Но струи ливня с ветки его смыли...
И вот вам, читатели, вывод простой:
Не всяк, кто в доспехах героя — герой!

* * *
Прекрасно, если те, кто под твоим началом,
Сочувствуют твоим делам в большом и малом.
Но во сто крат полезней будет,
Когда тебе помогут эти люди!

* * *
Отец великодушен, храбр, умен,
А сына скупостью природа наделяет...
Увы, природа знает сей закон:
Не всякий лебедь лебеда рождает.

* * *
Когда нам слово «надо» говорят,
Глупцы приказ исполнить в срок спешат,
За воз любой принявшись с ходу, дружно...
Не «надо» не всегда бывает «нужно».

* * *
Ты хочешь о себе узнать побольше —
Сегодня с зеркалом поговори подольше.

* * *
Что есть наш мир?
Клубок забот:
Печемся о себе
И с дураками спорим.
Невежеством мы сыты — полон рот.
А счастье — островок в житейском море...

* * *
Постылый состоит из недостатков,
А у любимого и недостатки сладки.

* * *
Пусть жемчуга глаза мужчины тешат —
Душа и тело женщины все те же.

* * *
Тогда лишь женщины уста нам милы,
Когда любовь она нам подарила.

* * *
И ум, и доблести мужчины
Зависят от прекрасной половины.

* * *
Как юбилей пышно мы справляем!
Как будто дочь свою ведем к венцу...
Да, рады мы, но мы не понимаем,
Что радуемся близкому концу.

* * *
И торжествуем — день рабочий кончен!
И сразу мы бодрей, смеемся звонче...
Но вдумайтесь, здесь истина простая:
День кончен, но и жизни миг растаял.

* * *
Один живет вчерашним днем,
Другой на завтра уповает.
Живи сегодняшним. Лишь в нем
Нам солнце радостно сияет.

* * *
Разрушив дом чужой, не ожидай прощенья —
И твой очаг подвержен разрушенью.

* * *
Приемли критику, мой друг, без раздраженья,
Тогда, клянусь, из дела будет прок —
Найди в ней зерна здравого сужденья,
Впитай в себя, — вот мой тебе урок.

* * *
Тогда лишь труд твой принесет плоды,
Когда ты знаньем, как струей воды,
Деяний почву орошаешь.
Тем больше совершишь, чем больше знаешь!



Габриэль Гарсиа Маркес

ТАЙНЫ СЪЕНАГО ДЕ ЛА СЪЕРПЕ

Что мы знаем о Латинской Америке, континенте не менее таинственном, чем Австралия и буддийский Восток? Только то, что говорят там по-испански, кроме Бразилии (бразильцы — по-португальски), что жители ее потомки индейцев, негров-рабов, привезенных когда-то из Африки, и креолов, выходцев из многих стран Европы. Латинская Америка окутана неизвестностью, «там один из самых заурядных эпизодов повседневной жизни принимается как торжество черной магии», — писал Габриэль Гарсиа Маркес — колумбийский авангардист, включенный в первую тройку прозаиков прошлого десятилетия, лауреат двух Нобелевских премий: за нашумевший роман «Сто лет одиночества» и «Хронику-репортаж» 1954—55 годов. Два репортажа Маркеса в стиле латиноамериканского фольклора мы предлагаем нашему читателю в переводе с испанского Александра Кирияцкого.

ЛЕГЕНДА О ЛА МАРКЕСИТЕ

*Малярия, волшебство и непонятные происшествия на атлантическом побережье.
Человек, наступивший на легенду.*

Как-то на консультацию к городскому врачу пришел бледный шатающийся человек с животом прозрачным и натянутым, будто барабан. Прошептал: «Доктор, сделайте мне аборт после того, как меня изнасиловал самец обезьяны уистити». Объяснил, что он житель Ла Сьерпе из департамента Боливар — юго-востока Колумбии, местности между Сан Хорхе и Каукой, устремляющейся в глубь материка сахарными плантациями Ла Моханы. Ла Сьерпе — легендарная страна атлантического побережья, где черная магия творит невероятные вещи, размножая дьявольщину в человеческом животе.

ПУТЕШЕСТВИЕ БЕЗ ВОЗВРАЩЕНИЯ

Не новость — разговор насчет Ла Сьерпе, ибо рисовые коммерсанты Сан Хорхе знают, что там культивируется особый сорт с зерном очень крупным и что можно приобрести его за приличную сумму. Вся трудность в транспортировке. Тому, кто горит желанием совершить путешествие в Ла Сьерпе, я советую взять в Маганке барку, которая за несколько часов домчит его до порта Сукре. Там он купит вьючное животное и в полдень достигнет Ла Гуарипы. Наконец, после двухдневного скитания по воде, грязный и мокрый по пояс, путешественник забредет в топь Ла Сьерпе. Дорога туда сравнительно проста, сложнее выбраться. Не произойдет ничего странного, если смельчак с осла или ламы собьют ударом мачете. Там же упавшего вероятнее всего

затянет трясина, или сраженный смельчак подохнет от перитонита, с брюхом, набитым лягушками.

Кто избежит этого, заберется в чащу джунглей, где солнце лишь на миг появится и тут же исчезнет за сплошным зеленым кровом. Через два-три часа наткнется путешественник на одну из хижин, в которой живут мужчины и женщины, зараженные малярией. Есть среди них в меру добрые и в меру злые. Единственное их развлечение — танец под барабан вокруг тинахи спирта (чан из глины емкостью 48,7 литра). Спирт они гонят в одной из комнат дома. Эти люди на судьбу не ропщут, ибо из принципа живут плохо и плохо питаются, хотя имеют возможность сделать свое существование более сносным.

ДЕНЬ, КОГДА ПОЮТ ГАЙИНАСО

Жителей Ла Сьерпе ничто не заставит покинуть Ла Гуарипу: ни черная магия, ни малярия, ни опасность подвергнуться насилию обезьян. Они выращивают рис в большом количестве, для продажи соседним народам, вырученные деньги идут на покупку топлива, одежды и медикаментов. Эти люди — убежденные католики, хотя проповедуют христианство в своеобразной манере. В среднем, как и все колумбийские крестьяне, они отмечают «Святой Вторник» обильной трапезой — отварами из голов крупного рогатого скота. «Святой Вторник» марта месяца у них, ко всеобщему удивлению, — не день весеннего пробуждения природы. В марте первый вторник — «день, когда исполняют Гайинасо».

Им свойственны яркие чувства, горит в них, как и в каждом народе, огонь поэзии, песни их лиричны. Одеваются красиво, костюмы ярких тонов. Свадьбы шумные веселые; бракосочетания отмечают торжественно, раз в год поминуют сраженных, верят в бога, почитают святую троицу, вместе с тем чтут все магическое и преклоняются перед дьявольщиной, обожествляют ими же придуманных властителей магии. Примером может служить легенда о Ла Маркесите.

ЛА МАРКЕСИТА

Обитателям Ла Сьерпе со слов дедов известна история одной женщины, творившей на этой земле чудеса. Красавица испанка, белоликая, с темнокаштановыми волосами, она пленила многих, но никогда не была замужем. Богатства ее были несметны — и золото, и драгоценные камни, и огромные стада, не поддающиеся подсчету. Звали ее Маркесита. Не богатство однако прославило Маркеситу. Она знала тайны колдовства, владела секретами черной магии. А черная магия — безраздельная владычица Ла Сьерпе. Говорили, что Маркесита могла поднять с постели умирающего, послать одной лишь мыслью своего врага в логово гремучих змей, одним желанием утопить его в трясине. Ее могущества распространились и на природу. Она знала язык животных и повелевала ими. Ла Маркесита способна была находиться одновременно в нескольких местах: например, гулять одиноко у пруда и в то же время беседовать с человеком в его хижине за несколько километров от этого пруда.

Единственное, в чем Маркесита была бессильна, — не могла воскрешать умерших: души их находились во владениях бога, туда доступ обладателям черной магии закрыт. Маркесита заключила союз с дьяволом, а он властвовал лишь на грешной земле. Жители Ла Сьерпе признали Ла Маркеситу как свою владычицу, покровительницу и прародительницу.

Дом Маркеситы и сейчас существует. Он построен из железа, потому вечен. Когда-то дом утопал в роскоши, теперь пуст, и кто верит в легенду о Ла Маркесите, может увидеть его. Он — в центре того места, что носит название Съенаго де Ла Сьерпе (болото аспиды). Только вряд ли кто-нибудь решится на это — путь к нему лежит через джунгли, болота, логова ядовитых змей.

ДРУГОЙ БЕРЕГ МОРЯ

По легенде, Ла Маркесита жила столько, сколько хотела. Одна из наиболее допустимых версий: двести лет. Смерть ее предвещали божественные сигналы, штормы и странные сны жителей Ла Сьерпе.

Перед тем, как умереть, Ла Маркесита созвала лучших слуг и учеников своих таинственных возможностей, но намного меньшей силы, чем сама бесконечная жизнь. Сконцентрировала огромное стадо и заставила в течение двух дней вращаться его

вокруг дома, пока не образовалось Съенаго де Ла Сьерпе — море хаоса и болотистой замкнувшейся безысходности. Тому, кто немного знаком с более-менее доступным берегом болота, известно, что Съенаго начинается вон за той кочкой, а заканчивается на противоположном берегу, где раньше, много лет назад, заканчивался мир, и где берег охраняется черным быком с золотыми рогами. Жители Ла Сьерпе считают, что в центре болота находятся сокровища Ла Маркеситы и секрет ее длительной жизни.

ЧЕЛОВЕК, НАСТУПИВШИЙ НА ЛЕГЕНДУ

Персонаж довольно избитый в деревеньках Ла Сьерпе. Это торговец рисом с опухшими, чудовищно уродливыми ногами. Данная личность ближе всех подошла и почти дотронулась до сокровищницы Ла Маркеситы. По рассказам, однажды он решил не собирать больше рис, а отправиться за сокровищами в центр Съенаги. Этот человек знал, что поиск возможен, и клад будет найден, но лишь в течение двух первых дней ноября месяца невисокосного года. Бывший торговец рисом наконец дождался этого времени. И уже в конце октября, выйдя на берег болота, соорудил плот с костерком, взял с собой короб риса, бананы, юкку, соль, нефтяной светильник и наполненную водой фляжку из тыквы.

Второго ноября, как рассказывает легенда, в центре болотистой массы на вечном дереве созревает золотой тыквенный плод. К стволу дерева привязано каноэ, которое приплывет само на то место, где мать-прародительница и погребла свои несметные богатства.

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ УДИВЛЕНИЙ

Описания его приключений настолько же фантастичны, как и легенда о самой Ла Маркесите. Оказывается, что в течение первых двенадцати часов первого ноября того года он спокойно плыл по акватической флоре, все более страшной и высокой. В тот день не произошло ничего сверхнеобычного. Но с наступлением ночи он вдруг ощутил сильные запахи съестного. Они разожгли в нем зверский аппетит. Торговец принялся пить и есть и занимался этим до самого рассвета. Запахи сопровождались странными звуками, чем-то похожими на выражение чувств соглядателей-обезьян и попугаев и на мычание быков.

Второго ноября он увидел парящих над круглыми бассейнами фантастических животных — четырехлапых пернатых с зубчатыми клювами, напоминавшими птички. Их перья сверкали металлическим отливом. Но ни на что не обращая внимания, он продолжал грести, и плот медленно продвигался по сельве, утомляющей и сбивающей с толку, к самому центру болотистой трясины, где внутри золотой тошноты спрятаны драгоценные камни и секрет долгожительства покойницы Ла Маркеситы.

Внезапно на закате второго дня стихли все звуки, окружавшая его растительность уже не проявляла к нему прежней враждебности, а на горизонте засияло разноцветной радугой удивительное дерево. На нем, как солнце, сверкала золотая тыква, окруженная плотным кольцом белых столбов. Но чтобы доплыть до того места, потребовалось еще три дня. На этот путь ему не хватило ни воды, ни пищи. Когда же он сошел с плота, почувствовал острую боль в ногах, они начали опухать. Но стоит ли на это обращать внимание, когда он получил неслыханное удовольствие — стал первым и единственным человеком в Ла Сьерпе, который все-таки наступил на легенду.

ДЕЛЕНИЕ МОГУЩЕСТВ

Недоступность определяла бытовое устройство жизни Ла Сьерпе. В избранных семьях лишь кто-то один владел секретами обработки рисовых плантаций или излечения от собачьей чесотки. Остальных в эти тайны не посвящали. Из века в век их потомки жили на землях, доставшихся в наследство, выкармливали крупный рогатый скот и растили детей ценой жестоких жертвоприношений, спасая их души от дьявола.

ЗНАХАРЬ

В стороне от социальных делений находился хранитель снадобий против змеиных укусов, ибо от него, от его усердия зависела жизнь живущих на этом болоте, кишасщем змеями. В Ла Сьерпе знахарь не имеет декоративных украшений, присущих, например, колдунам Африки. Он обрабатывает поле, выращивает рис. За лечение берет определенную плату. Но чаще всего пациент или семья пациента работают на плантации знахаря или обеспечивают его вещами и продуктами.

ЗМЕИ-ФАЛЬСИФИКАТОРЫ

Для знахарей не существует неизлечимых змеиных укусов. Чтобы вернуть, как обычно говорят, «силы, потерянные в злосключении», они готовят специальное снадобье. Читают шипящей змее заклятье, после которого яд ее становится безопасным. И «колдун» вносит его, как инъекцию, в кровь подопытного животного. А пациенту дает выпить это токсическое пойло с соком из внутренностей зверя, заряженное силовым полем знахаря.

Если же у знахаря не оказалось под рукой подопытного животного, и лечебное пойло не было заранее приготовлено, то знахарство проверяется сразу же на пациенте: смертельный яд можно обезопасить не только в ядовитом зубе змеи, но и в самой ранке.

Магическая сила знахарей, превращавших ядовитых змей в спасительниц умирающих, породила слух о выращивании определенной — обезвреженной «змеиной касты». Жители Съенаго де Ла Сьерпе дали им название «змей-фальсификаторов».

БЕЗРАЗМЕРНЫЕ ВОЛШЕБНЫЕ ТАПОЧКИ

Страшнее, чем змеиный укус, — оказаться десятым клиентом у знахаря. Укушенного укладывают на деревянные доски узкой кровати, а сам знахарь держится в стороне от проблем излечения пациента. А излечивают его «безразмерные волшебные тапочки», натянутые на это самодельное ложе. Больной не расстанется с жизнью, пока лежит на койке. Так может продолжаться около года, пока знахарь не освободится от своих неотложных дел.

Сила против укусов — дьявольский кредит, требующий в качестве дани одну жизнь из десяти спасенных. Система имеет свое название: «ИЗЛЕЧЕНИЕ ДЕСЯТКАМИ».

ВЕСЕЛЫЙ ПОКОЙНИК

КЛАДБИЩЕ ЛА ГУАРИПЫ. «САФРА СКОРБНОЙ БОЛИ» ВРЕМЯ УХОДОВ ИЗ ЖИЗНИ, КОТОРОЕ ТОЛЬКО БОГУ ИЗВЕСТНО

Гроб появляется перед рассветом. Ветер приносит запах мертвечины, напоминая людям Ла Сьерпе, что итог жизни — не труп, а одно из измерений ужаса, чей погребальный ящик из досок сколотит гробовщик. В любое время дня и ночи посланцы Ла Сьерпе стучатся в дверь его дома. С утра он принимается за работу, так как знает, что времени у него в обрез, вскоре прибудет вестник очередной смерти, и ему надо вытащить гниющие в курятнике или свинарнике доски и прибить их друг к дружке. Но иногда клиенты долго не являются, поэтому он вынужден останавливать людей в поле и предлагать им купить гроб. Ему помогает по праздникам выпивка, когда кто-нибудь из жителей Ла Сьерпе захлебывается собственными соплями и превращает ночное радостное бдение в похороны. Если гроб опаздывает, гуляние не прекращается до первых лучей зари. Всего лишь один раз за всю историю Ла Сьерпе положенный в деревянный ящик заставил людей сдвинуть в угол игровые карты и разойтись по домам, чтобы девять дней провести в трауре и только после этого продолжить прерванный праздник.

КЛАДБИЩЕ ЛА ГУАРИПЫ

По традиции, на умерших никто не оформляет гражданских документов, не ходатайствует о месте на кладбище. Безразличные ко всему, лежат, сваленные в одну кучу, мужчины, женщины и дети, умершие от малярии или дизентерии. Их вздувшиеся гниющие тела деформируются от времени. Среди них — погибшие от змеиных укусов — жертвы «излечения десятками». Только трупы утопленников и сраженных мачете не отдыхают на сыром скудном кладбище Ла Гуарипы. Утопленников первыми обглаживают рыбы, а тех, кто выброшен на берег, сжигают грифы: ведь утопленники отправились к богу нечистой смертью, — как гласит моральный кодекс Ла Сьерпе. Забвению предаются и те, кто сбит ударом мачете. Их тела отдыхают где-нибудь у болотных кочек, но они ближе к богу, чем утопленники.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ НА КЛАДБИЩЕ

До Ла Гуарипы труп сопровождается шествием мужчин и женщин. Они идут по своей воле, переживают за мертвого, высказывают ему свои сочувствия, простодушно зовут его продолжить празднество. Гроб тащат мужчины вдоль тыквенных грядок, а потом через болото по невидимому мостику, где вода не доходит выше пояса. Всех сопровождающих мостик не выдерживает, поэтому идут по нему в порядке очереди. У дома покойного похоронная процессия останавливается, чтобы помянуть хозяина.

Иногда труп до Ла Гуарипы за один день не успевают донести. Груз неудобен, дорога дальняя, да и шествие часто задерживается, превращаясь в веселый балаган. Ведь труп покидает дом на плечах полдюжины молодых в компании из двадцати человек. Они останавливаются, выпивают, шлепают по топи, исследуя новые дорожки, прыгая по кочкам, перекладывая с одних плеч на другие гроб, чьи стыки испускают кошмарный запах мертвечины. Назад они бегут быстро, чтобы восполнить потерянное время.

ВЕСЕЛЫЙ ПОКОЙНИК

Если кто беседовал с жителями Ла Сьерпе, то ему рассказали об эксперименте с веселым покойником. Пока усопший не приобрел еще фиолетового цвета и только что уложен в погребальный ящик, огромного размера свита бегаёт трусцой. Труп то и дело ударяется головой о доски гроба, что воспринимается свитой как сигналы покойного. Если сигналов никаких нет, то его молчание понимается как покаяние. Но чаще всего труп бьется головой о доски в ритме бега носильщиков, и эти звуки-сигналы радостно возбуждают участников церемонии. «Стучит веселый покойник! Стучит веселый покойник!» — кричат тогда они счастливыми голосами, уверенные в том, что за судьбу умершего теперь не надо беспокоиться.

«САФРА»

В двух случаях поется «Сафра» на полях департамента Боливар: в период сбора урожая и похоронного шествия. Но в Ла Сьерпе она исполняется только во втором случае, когда отпевают покойника на краю могилы. И эта надрывная песнь заставляет вспомнить мотив и слова Хорхе Монрике. Называется она красиво, мудро и просто: «Сафра скорбной боли».

Да, с покойником гроб — корабль
в вечном сне, от которого не пробуждается,
уплывают, но не возвращаются.
Откуда? Только Боже знает.

Беспредельна воля господня:
этот мир Богу послушный шарик,
Бог его не прекращает вращать
и в Завтра превращает Сегодня.
Падре влюбленную пару венчает,
любовь молодых — бессмертна,
но и они когда-то уснут

смертельным покоем
вечного сна.

Башни каменные с крестами
над католической церковью
рухнут естественной смертью,
ибо не повторяется прошлое.
«Жизнь каждым днем убивает, —
поют интеллигенты, —
богач беднеет, а бедняк, поверьте,
ничего, кроме жизни, не теряет».
Бушуют волны моря смерти.

К богатству уваженье,
но это лишь минутная радость,
постепенно спускается старость,
вся и всё уничтожает время.
Глупцу кажется, что спасает
богатство от вещего рока,
не зная, что в мгновение ока
умирает и нищий, и богатый,
как сказал Христос распятый:
«Смертный сон — это полет к Богу».

Бедность души не даст
смерть представить. Тем более,
зачем Бог дарит подчас
предчувствие хорошее и плохое?
Губы мои произносят:
«Человек должен зло оставить в покое
и в желтый песок превратить черную зависть,
тогда он почувствует Божью силу,
уходя из этого мира.
Куда? Только Боже знает».

Апрель 1954 г.



Абдурауф Фитрат

РАССКАЗЫ ИНДИЙСКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

БУХАРА, КАК ОНА ЕСТЬ

Абдурауф, сын небогатого купца Абдурахима, впоследствии ставший знаменитым под псевдонимом «Фитрат» (что означает «создание», «творение»), родился в 1886 году в Бухаре. Еще годы учебы в бухарских медресе выдвинули его в число людей, в которых старшие видели будущее культуры. «Мысли его открылись новой литературе, он образцово изучил политическое, общественное, экономическое и научное положение Бухары», — писал о Фитрате Садриддин Айни.

Судьба тесно связала Фитрата с джадидизмом — общественным движением, борющимся за социальные и религиозные реформы в Средней Азии. Фитрат примкнул к джадидам не без колебаний.

После Февральской революции в Бухарском эмирате — протекторате царской России — активизируется политическая деятельность молодых джадидов. Создается полулегальный Центральный комитет джадидской организации, Фитрат становится его секретарем. Выдвигается ряд требований по реформам в эмирате. Подготовленный Фитратом проект реформ предусматривал введение в Бухаре правовой государственности, замену средневековой деспотии просвещенной монархией европейского образца. Будучи очень осторожным в области политической, проект весьма решителен в сфере культурных и экономических нововведений. Сегодня мы, думается, в состоянии оценить политическую проницательность Фитрата.

В октябре 1920 года младобухарцы при поддержке Красной Армии свергают власть эмира и провозглашают Бухарскую Народную Советскую Республику. В бухарском правительстве Фитрат занимал должности заведующего вакуфным (финансовым) управлением, назира (комиссара) иностранных дел и просвещения. В 1923 году его обвинили в злоупотреблении властью, сняли с поста, и он порвал с политикой. Фитрат становится профессором московского Института восточных языков. В Москве он создает ряд художественных произведений, в числе которых «Судный день» и «Абулфаизхан», беспощадно развенчивающие начатки тоталитаризма.

Последние годы перед своим Судным днем Фитрат провел в трудах и исследованиях. Все это время он находился под непрерывающимся обстрелом «пролетарско-писательской» критики. В 1937 году Фитрата арестовали. Во всех энциклопедиях годом его смерти указан 1938 год.

Хамид Исмаилов.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Несколько лет тому назад я встретил одного из жителей Бухары и спросил его про этот город; он наговорил о ней столько похвал, что с того момента я стал считать посещение этого города для меня положительно необходимым и обязательным. В этом году мне представился

благоприятный случай, и я поспешил привести в исполнение свой план. Несколько месяцев я изучал Бухару и бухарцев и познакомился с большинством их дел. С полным прискорбием могу сказать: бухарцы не одни принимают участие в общем упадке мусульманского мира, они тащат за собой в долину беспечности и другие мусульманские племена. Прежде чем начать разговор и описание этого путешествия, я хочу познакомить уважаемых читателей вкратце с тем мнением, которое я составил о Бухаре и бухарцах.

Публикуется с некоторыми сокращениями.

Все жители Бухары могут быть разделены на три категории: ученые¹, правящие и жители. Теперь я кратко расскажу о каждой из них.

«УЧЕНЫЕ» (улемы)

Известно, что в древние времена Бухара дала миру много знаменитых ученых людей; ежедневно Авиценна, Фараби, Мухаммад-ибн-Исмаил Бухари и Улугбек «гоняли других по площади соревнования и поэтому благодарную свою славу, что называется, вешали на уши людей всего света»; прошло уже около двухсот лет, как бухарцы сбросили цену своей учености. После прибытия в Бухару Мирза-хана Ширазского здешние ученые стали заниматься только чтением написанных на полях книг комментариев. Мало-помалу они дошли в этих бесполезных занятиях до того, что совершенно забыли о названиях полезных наук. Прочие туркестанцы, получавшие свое образование в той же Бухаре, совместно с бухарцами попадали в ту же бездну глупости и нерадения. Следствием этого было то, что светлая звезда небес цивилизации, блестящая страница книги человечества, Туркестан очутился в таком положении, о котором стыдно беседовать не только между друзьями, но и с недругами. Эти люди, не имеющие ныне понятия об истинных науках, 20 лет учатся сами, 20 следующих лет учат других и только после этого достигают должности муфтия; тут, считая арабские книги трудными, они вынуждены заниматься по книгам шариатским, написанным по-персидски. Вот они-то и заняли высокое положение в Бухаре! Эта публика, решив, что дела Божьи должны зависеть от ее мнения и целей, толкует стихи Корана в том смысле, как ей захочется, и самостоятельно плетет предания. Так, в своем месте я подробно напишу о том, как они сами совершают всякого рода преступления, притеснения и проступки и всегда готовы подвести под наказание несчастного простолоудина, назвав его за незначительную вину «кафиром» (неверным). Бедные жители, не имеющие никакого понятия о науках, все, что имеют, жертвуют им на обучение учеников.

«ПРАВЯЩИЕ» (эмиры)

Эта возмутительная партия, достигшая разных должностей правления исключительно благодаря помощи слепого счастья, с полным усердием попирает имущество, жизнь, достоинство, честь и покой несчастных жителей. Общий состав сил могущественных управителей пополняется из людей двух сословий, ни в кои времена не пользовавшихся ничьим доверием: первое — это необразованные сынки правителей, все время пребывания своих отцов у власти проводившие жизнь в различного рода глупостях и гадких поступках; их не коснулись никакие человеческие добродетели, они подчас даже и неграмотны; второе — это лавочники и торговцы, признающие за единственное благо обоих миров наиплотнейшее наполнение своего желудка, а учение чему-либо считающие совершенно излишней людской обязанностью. Многие из них

¹ Включая и духовенство (ред.).

весьма странными способами достигают высоких административных постов.

Все эти милые люди никогда не видали школы и никогда не слышали о законах управления. Они не знакомы с правилами и обычаями отдачи приказаний! Откуда им знать, как прогрессирует нация? Каким образом управляется их область? Как пополняется государственная казна? Все это им совершенно неинтересно! Какие обязанности управителя по отношению к населению? Какие права у жителей перед правителем? Положительно ни о чем подобном они и не слыхали! Но стоит им получить в управление какую-нибудь область, почтя указ эмира об этом квантичей на адский огонь или разрешительной грамотой на грабёж, они отправляются в ту землю со всеми своими подчиненными и друзьями, подобно войску несчастья, и отбирают у несчастных жителей все, что возжелает их широкая душа, хотя в казну эмира передают опять лишь только, что пожелают сами. И никто не спросит у них о море поборов и капле передачи в эмирскую казну.

«ЖИТЕЛИ»

Эти несчастные ни в чем не виноваты, они готовы ко всему; но есть в них один недостаток, это то, что «они ничего не знают». Теперь, кажется, можно присоединить описание их положения к своей теме и начинать повествование.

Выйдя из вагона в Кагане, я положил свой багаж на фазтон, сел сам и отправился в священный город Бухару. По дороге мои вещи осмотрели сборщики пошлины. Вскоре я подъехал к воротам города и, когда экипаж остановился, спросил:

— В чем дело?

Кто-то сказал: «После заката солнца прошло 4 часа, поэтому ворота города заперли и никого не впускают».

Я сошел с экипажа и увидел, что множество других людей, очевидно не попавших своевременно в город, окружают какого-то человека и просят его открыть ворота, а тот упорно сопротивляется.

В это время раздался крик: «Дайте дорогу!» Люди миршаба, оттеснив народ, очистили дорогу и открыли ворота города; вижу—два-три армянина на своем экипаже въехали в город, и ворота снова закрылись. Тогда я подошел к привратнику и сказал ему:

— Брат! Армян ты пропустил, ничего с них не спросив, почему же не пропускаешь нас, мусульман?

Привратник, ничего не ответив, перешел на другую сторону. Снова послышался громкий голос: «Дайте дорогу!» Отогнав народ опять, привратники открыли ворота и пропустили несколько повозок с евреями. Я был очень огорчен этим обстоятельством, а потому громким голосом произнес:

— О, Господи! Чем провинились перед Тобой последователи Магомета?!

Некий молодой человек с симпатичным, интеллигентным и умным лицом, подойдя ко мне сзади, ответил:

— Своей глупостью!..

В эту минуту вновь открыли городские ворота, и один из тех армян, что первыми проехали в город, вышел из них и стал кого-то громко

звать. Вдруг откуда-то прибежала собака и стала вилять перед ним хвостом. Я, конечно же, догадался, что собака эта принадлежит армянину и осталась она вне города; по пути хозяин заметил это и возвратился, чтобы выпустить свою собаку в город. Забрав ее, армянин ушел, и ворота за ним снова закрылись.

Терпение мое истощилось, и я, оставив всех там, ушел и в великом сокрушении уснул в уголке какой-то чайханы. Проснувшись рано утром, я увидел множество спящих вокруг меня людей и догадался, что в эту ночь внутри города никого не впустили.

Совершив омовение и намаз, я сел в фазтон, положил свои вещи и сказал извозчику:

— Я впервые приехал в этот город и ничего здесь не знаю, отвези меня в какой-нибудь караван-сарай.

Он ответил: «Хорошо» — и поехал.

Мы доехали до середины базара, и экипаж остановился; я, полагая, что мы достигли места назначения, взял свой багаж и стал сходить. Извозчик предупредил: «Мы еще не приехали».

— Так почему же ты остановился?

— Потому что навстречу тоже едут арбы...

Я сошел с фазтона и вижу, что две-три ломовые арбы и несколько фазтонов съехались в одном месте; напротив них стоят еще несколько арб; дорога очень узка, и им трудно разъехаться. Я спросил извозчика:

— Что же нужно делать?

— Нужно подать все арбы назад в какую-нибудь сторону до более широкого места.

— В какой же стороне есть широкая дорога?

— И в этой, и в другой.

— Так почему же стоящие против нас не осадят назад?

— Важничают.

— Тогда вы подвиньтесь назад!

— А нам разве нельзя поважничать?

— Ну вот! Важничают вы, важничают они, а нам-то что делать?

— Посидите немного.

В это время затеялся сильный шум и гвалт; я, подумав: «Будь что будет — надо посмотреть», оставил извозчика и прошел вперед. Вижу, что два арбакеша, нечаянно встретившиеся друг с другом, бранят один другого отборными неприличными словами. И вдруг один из них, соскочив со своей арбы, бросился к другому и стал колотить его по голове; этот тоже спрыгнул с повозки и принялся тузить того по лицу обоими кулаками; все прочие извозчики-арбакешы бросились на помощь им с каждой стороны. В одно мгновение вокруг них собрался базар и поднялся крик: «Держи, бей!» Зрители с каждой стороны кричали еще сильнее. Я спросил у одного человека, стоявшего рядом:

— Брат, где же люди правителя, чтобы разнять их?

Тот, удивленный вопросом, отвечал:

— Какое дело до этого людям правителя?

— Ну, в таком случае, если людям правителя нет здесь дела, то попробую-ка убраться отсюда я.

Я сказал это, думая вернуться к своему экипажу, сесть в него и повернуть обратно, но оказалось, что зрители совершенно загородили путь; с большими усилиями я взобрался на уступ перед лавками и стал ожидать конца побоища. После весьма сильной потасовки народ разнялся драчунов, и та сторона, которая оказалась побежденной, стала осаживать свои повозки до первого перекрестка, где и остановила их, а мы объехали их другой дорогой.

Наконец мой экипаж остановился у караван-сарая; хозяин его взял мои вещи и внес их в тесную и темную комнату. Оставив багаж, я вышел, чтобы осмотреть город. Через два-три дня я очень стал скучать и, позвав хозяина караван-сарая, сказал ему:

— Укажите мне какое-нибудь интересное место, чтобы я осмотрел его и развлекся.

— Ступайте к пруду Диван-беги.

Он указал мне дорогу, и я отправился.

Придя туда, я увидел, что пруд этот очень велик. Вокруг него выстроены парикмахерские и чайханы, а по краям самого пруда разостланы драные ковры, на которых сидят народ и пьет чай. Я тоже сел там. Восточная сторона этого пруда представляет собой возвышенную площадку; на ней выстроена большая мечеть, в которой собирается на молитву большинство жителей Бухары. И все они совершают омовение перед намазом в этом самом «хаузе».

Некоторое время я сидел на берегу пруда; вижу, пришли два бухарских муллы и сели напротив. Заметив мое незнакомое лицо, они время от времени поглядывали на меня. Так как одиночество томило мое сердце, я подумал: «Поговорю с ними немножко» — и, сев напротив них, сказал приветствие.

Они ответили и протянули мне чашку чая.

Когда я выпил, они спросили:

— Вы откуда?

— Из Индустана.

Затем, увлекшись собственным разговором, они забыли обо мне; однако на этот раз я сам спросил у одного из них:

— Вот уже некоторое время я вижу, что люди, наполнив водой из этого пруда большие бурдюки, уносят их; затем, где-то опорожнив, приходят снова. Интересно, куда они носят столько воды?

— Разносят по домам жителей.

— А для чего?

— Для питья.

— Но разве вы пьете воду из этого «хауза»?

Муллы с пренебрежением спросил:

— Что же сделалось с этой водой?

— Эта вода вредна для здоровья.

— «Мы назначили воду, как жизнь для всего», — говорит Коран. Вода полезна для здоровья людей, а не вредна!

— Да, вода не вредна для здоровья людей; но вода этого пруда — не совсем вода; большая часть ее — грязь.

— Почему же большая часть этой воды грязь?

— Посмотрите, сколько людей совершают в ней омовение; полощут рот, сморкаются, моют ноги. Если же подсчитать всевозможные отбросы изо всяких парикмахерских, чайхан, лавок продавцов бараньих голов и жареной рыбы, то ежедневно в этот пруд поступает приблизительно 4 пуда грязи.

— Что вы хотите этим сказать? Вы хотите, чтобы мы больше не пили воду из этого пруда?

— Я не говорю: не пейте этой воды. Не совершайте лишь в ней омовения, не выбрасывайте в «хауз» отбросы, т. к. вода этого пруда предназначена для питья и должна быть чистой.

В это время раздался напев «азана», призыва на молитву, и я, встав, пошел в мечеть.

После молитвы я направился домой. По дороге со мною поздоровался некий молодой человек, вижу — это тот самый юноша, с которым я встретился за воротами города; я ответил на его приветствие. Он сказал:

— Я очень признателен вам за попытку по-

спорить с тем муллой по поводу воды этого «хауза».

— Очень рад, — отвечал я. — Я, покорнейший ваш слуга, в этом городе всего-навсего пришелец и никого не знаю; если вам не затруднительно, то изредка заходите ко мне.

— С превеликим удовольствием; где вы живете?

Я указал ему свой адрес, и мы разошлись. Придя домой, я спросил у хозяйки каравансарая, где еще в этом городе есть интересные места? Он отвечал:

— Завтра вторник, идите на мазар Бага-уд-Дина.

Проведя ночь в своей комнате, я поднялся рано утром, совершил намаз и уже хотел было выйти наружу, как раздался стук в дверь; я сказал: «Войдите!»

Вошел вчерашний молодой человек вместе с каким-то другом и предложил:

— Я поведу вас к себе домой!

— Ваш покорный слуга, — отвечал я, — сегодня имеет намерение посетить мазар Бага-уд-Дина; если вы будете мне сопутствовать, я буду очень признателен.

— Конечно, пойду; но вам не стоит больше оставаться жить в этом караван-сараяе, мой дом в вашем распоряжении; отдайте вещи моему другу, он их доставит ко мне домой, а сами мы отправимся к Бага-уд-Дину.

— Замечательно!

Передав вещи указанному человеку, я вместе со своим новым другом сел на извозчика и отправился в путь. Прибыв к месту своего путешествия, мы отпустили извозчика и, пройдя немного пешком, очутились на большой площади, у которой выстроена новая соборная мечеть; перейдя площадь этой мечети, мы вошли через ворота в самое место паломничества и увидели следующее: обширный двор и в передней части его могила Накшбанда; ¹ народ по одному или по двое молитвенно огибает эту могилу. Я также обошел вокруг нее и увидел, что около могилы в некоторых местах лежат связки бараньих рогов, в других — повешены кисти волос из лошадиных хвостов. Ходжи, держа за ворот деревенских паломников и приговаривая: «Иди на паломничество к рогам Пира!» ², заставляют целовать рога и за это берут с них деньги. А бедные простолудины, с полной покорностью поцеловав эти рога, трут ими себя по глазам!

В это время один из ходжей, взяв в руки кисть из лошадиного хвоста и воскликнув: «Совершай паломничество!», помазал ею меня по лицу. Весьма рассердившись, я сильно ударил его по уху и прошел дальше. Тут я заметил, что каждый из паломников, окончив обход могилы, прикасается головой к древку знамени, стоящего у мазара, трет свои глаза этой палкой и, плача, в течение пяти минут не отнимает головы от нее, как будто жалясь этой сухой палке на свою горькую участь.

Когда я вышел вон из мечети, то по приглашению моего друга мы вошли в чайхану и сели; два или три бухарца, подойдя, сели около. Мы стали вместе пить чай; один из них, взглянув на меня, сказал:

— Как вы находите этот мазар?

— Место прекрасное и достойное уважения из-за могилы святого Накшбанда. Только относительно паломничества к этому мазару в сердце ко мне зародилось недоумение.

— Какое недоумение?

— Это что за палка, та, которую подняли над могилой?

— Это знамя мазара.

— Она осталась от самого Бага-уд-Дина?

— Нет. Эта палка является указанием могилы святого; время от времени ее заменяют новой; она никакого отношения к Бага-уд-Дину не имеет.

— Так зачем же народ поклоняется ей и молится?

— Нет, не поклоняется, а только, положив на нее голову, просит о своих нуждах.

— А разве это не поклонение?

— Да, это тоже поклонение, но поклонение не молитвенное, просто из уважения, а это не грешно.

— Тогда почему же христиан вы называете кафирами?

— Потому, что они идолопоклонники.

— Они имеют Священное Писание и последователи Мессии; они не идолопоклонники.

— Они поклоняются одной вещи, подобной идолу.

— Какой же вещи?

Мой собеседник, вытащив из кармана перо и бумагу, нарисовал изображение креста и сказал:

— Вот этой!

— А вы знаете, что это изображает?

— Идола.

— Во всем мире нет такого дурака, который бы, считая это бездушное изображение Богом, стал поклоняться ему: христиане, все догматы религии которых ясны и никогда ни от кого не скрывались, вовсе не называют Богом эту вещь. Это изображение, названное вами идолом, есть вид того предмета, который, по верованию христиан, после прикосновения к телу пророка Иисуса получил благословение. Поэтому общество христиан, сделав изображение его, поклоняется ему из уважения, поклонение их тоже из уважения, а вовсе не молитвенное. Неверные Мекки до явления пророка тоже были идолопоклонниками; идола называли Богом и поклонялись ему, и даже думали, что те идолы в день Страшного Суда окажут им заступничество, и стих Корана «они — заступники за нас у Бога» есть доказательство этого. Разве возможно такое, что вы считаете других «кафирами», неверными, за идолопоклонство и поклонение кресту, а сами, поклоняясь палке флага на мазарах, просите Бага-уд-Дина о своих нуждах и при этом считаете себя мусульманами.

Боюсь, что не попадешь ты в Каабу, о араб,

Так как дорога, по которой ты едешь, идет в Туркестан ³.

Поклоняться из уважения, молитвенно — различно — в нашем шариате не дозволено никому, кроме Бога. Я вам расскажу немножко из истории ислама:

В то время, когда пророк очутился в стесненном положении из-за жестокости меккских кафинов, он приказал своим «асхабам», последователям, бежать в Абиссинию; восемьдесят мужчин и двадцать одна женщина, исполняя приказание, прибыли в город абиссинцев. Наджаши (эфиопский царь), получив известие об их прибытии, потребовал к себе исламских беглецов; они предстали перед царем, но не поклонились ему. Придворные были очень поражены

¹ Прозвище Бага-уд-Дина.

² Основатель духовной секты.

³ Саади. Гулистан.

этим и сказали им: «Наш обычай таков, что мы с уважением кланяемся своему царю; почему же вы не поклонились нашему государю?» Джафар-ибн-Абу-Талеб, брат Али, бывший среди них, ответил: «Мы кроме Священной Особы Господа никому другому не поклоняемся; наш пророк запретил нам кланяться другим и приказал не кланяться никому, кроме Бога». Наджаша остался очень доволен ответом Джафара и сказал: «Клянусь Богом, что лучшие люди на мой взгляд те, которые не имеют позволения кланяться кому-либо другому, кроме Бога...»

— Вы выказываете непочтение Бага-уд-Дину, — заметил мой собеседник.

— Боже сохрани! Я никогда не был и не буду непочтительным по отношению к святым! Я не говорю, что святой Бага-уд-Дин был плохой человек и чтобы никто не приходил поклониться его мазару. Пророк сказал: «Совершайте паломничество к могилам, потому что посещение могил напоминает вам о том мире». Да, если паломничество к мазарам предпринимается с целью вспомнить о смерти и Страшном Суде, то это доброе дело, но разговор идет о том, что нельзя приближать это к идолопоклонству. Посудите сами: на мазаре Бага-уд-Дина читают молитву, поклоняются древку знамени этой могилы, просят Бага-уд-Дина о своих нуждах, сегодня во всей Бухаре нет ни одного человека, который не произносил бы вместо «О, Боже!» — «О, Бага-уд-Дин!» Ничто из этого не согласовывается с мусульманским шариатом. Посмотрите, что изрек пророк: «Поразит Всевышний Бог иудеев: они сделали могилы пророков своих местом молитвы». Мы любим пророка Бага-уд-Дина, почитаем его, совершаем паломничество, но не должно быть так, чтобы наша любовь, почтение и паломничество, выйдя за пределы шариата, сделали бы нас как бы поклонниками Бага-уд-Дина!..

В это время какой-то человек, остановившись прямо на дороге напротив чайханы, где мы сидели, привлек к себе внимание народа чтением стихов. Читал он их высоким голосом, сопровождая неприятными жестами.

Я спросил у своего приятеля:

— Кто это такой?

— Это рассказчик, говорит — также и проповедник.

— Да ну?! Проповедники — люди весьма хорошие, они призывают мусульман на путь истины! Послушаем его речи!..

Мой друг, рассмеявшись, сказал:

— Если так, послушайте!

Рассказчик смешным голосом начал свою повесть.

Но что это была за повесть!.. Движения его были занятнее, чем у обезьян! Подобного этому рассказу не встретишь ни в одной порядочной книге. Пустой, совершенно лишенный смысла, ложный, вызывающий хохот!..

К примеру, он говорил: «Пророк Али криком своим приволил в трепет шестнадцать фарсангов земли... Взяв за пояс «зблудившегося с немытым лицом», подбросил к небу так, что тот совершенно скрылся с глаз, чтобы через некоторое время явиться, кувыркаясь в воздухе; затем Али, опять протянув руку, взял его за пояс и, повернув вокруг головы, ударил о землю так, что тот сделался мягким, как сурьма...»

Простодушный народ, слушая эти разглагольствования и представляя себе пророка Али, выказывал рассказчику одобрение и поощрял его своими довольными улыбками.

Вдруг рассказчик, прервав рассказ на полови-

не, вскочил и начал прыгать, подобно деревянному козлу. Он так прыгал и скакал, хлопал, кричал, ударял себя в грудь, бросал на землю свою чалму, что я сказал:

— Наверно, он сошел с ума!

Друг мой отвечал:

— Денег просит!

— Теперь, когда еще не кончил рассказ!?

— Да... Если же он станет просить денег, окончив рассказ, ему никто не даст, поэтому он и просит, остановившись на интересном месте.

После продолжительного молчания, тяжело вздохнув, друг мой сказал:

— Вот она, священная Бухара, воспитавшая 400 тысяч ученых людей и разославшая их во все концы мира. Раньше она была владычицей таких могучих научных сил... Теперь — увы!! К великому несчастью, я сознаюсь, что это небо светлого образования, этот рай мира человечества, этот благоустроенный дом наук мира, эта аудитория познаний для всего света при наличии всех путей для прогресса стала страной, окруженной горами глупости и закованной в цепи презрения! Этот посредник жизни всего Востока, при существовании всех этих средств к дальнейшей жизни, дал смерти схватить себя за шиворот! Что же здесь удивительного?! Все обители благ с огромными суммами денег сделались домами нескольких презренных, не знающих Бога узурпаторов и привели в кипение котел подлости и испорченности небольшого общества обжор! Наши отцы прекрасно поняли смысл великого изречения: «Разве равны между собою знающие и незнающие?» — и, вполне оценив степень важности изучения наук, устроили двести медресе, в каждом из которых от 10 до 150 комнат; приняв по внимание ежедневный расход учителей и учеников, они назначили им ежегодный вакуф (доход) более чем в 4 миллиона тенег; они не ограничились этим и для необходимого студентам чтения учредили 11 библиотек, собрав в них все существовавшие в то время книги. Нет никакого сомнения, что все это наши предки сделали для нас. А мы?... Мы, дорогие их дети, при наличии всех этих полезных учреждений, несчастны, необразованны, дики и бедны!.. Медресе, школы, библиотеки — все есть у нас, но во всем своем городе мы не имеем ни одного серьезно образованного человека, который мог бы без ошибки прочитать и разъяснить нам не только страницу толкования Корана или Хадиса, но даже два-три арабских стиха!! О, Господи! Столько позора и бесчестия лишь на одно благородное племя!!!

Он замолчал, а через некоторое время продолжил дрожащим от слез голосом:

— Это общество ученых, что захватило все пути к нашему благоденствию и повергло в пламя несчастья благополучие нашего существования, какие оно может дать нам знания? А вот какие: из области законоведения — всякий, кто во время омовения высморкается пальцами своей левой руки или станет мыть ноги не с правой стороны, будет в продолжение семидесяти тысяч лет гореть в аду; всякий кто хотя бы один раз не отвесит поклона кому-нибудь из улемов, будет кафиром; всякий, кто пройдет хоть один раз по той улице, которой когда-либо коснулась нога улема, без зачета грехов и без мучений будет пропущен в рай... А вот из области верований: на четвертом небе есть некий ангел, у которого семьдесят тысяч голов, у каждой головы семьдесят тысяч ртов, в каждом рту семьдесят тысяч языков, и каждый язык может говорить на семидесяти тысячах наречий!..

Он погрузился в глубокое и продолжительное молчание. Я понял, что пришла моя очередь поддерживать беседу; решив, что, во всяком случае, нужно хоть немного утешить беднягу, я сказал:

— Когда народ, потерявший свой путь, изнемогая под тяжестью невзгод и бедности, открывает глаза от сна беспечности и приложит все старания к тому, чтобы снова собрать все, нужное для благоденствия, Всевышний Бог ниспослет ему лекарство от его болезни и возвратит все утраченные им милости. Нужно благодарить Бога, если теперь появляются добродетельные, усердные и серьезные юноши, подобные вам и вашим единомышленникам.

Друг мой, ядовито усмехнувшись, отвечал: — Насколько вы притерживаетесь хорошему мнению относительно этого народа, настолько я — дурного; сколько вы питаете надежд на него, настолько я не жду от него ничего; это — народ, который, в то время, как у него отняли все права, почитает за достоинство класть свою голову под ноги расхитителям; это — нация, которая, упав вниз головою в темный колодезь невежества и небытия, называет своих спасителей кафирами; какая же может быть на него надежда и какие хорошие результаты может он дать?

— Молчите! Что вы говорите? Неустойчивость и колебание есть смертельный яд, который, парализовав волю народа, вызовет дым уничтожения его...

Еще около часа мы беседовали на разные темы, а затем пошли спать.

На другой день мой приятель повел меня посмотреть солдат. Положение солдат в Бухаре возбуждает сильное удивление: в цивилизованных государствах срок военной службы два или три года, в Бухаре же военная служба не священная обязанность, а наказание за преступление; бухарские солдаты находятся в полном унижении; срок их службы пожизненный; вора и убийцу в этой стране, вместо того, чтобы арестовать, изгнать или казнить, сдают в солдаты, а этот господин, после того, как станет солдатом, разумеется, ворует еще больше. Кроме вышеуказанного способа набора солдат есть еще один, худший, чем первый: какой-нибудь офицер или юз-боши¹, пожелав стянуть с кого-либо деньги, призывает к себе этого несчастного и говорит ему так: «Ты старый солдат и бежал со службы эмира, а теперь попался мне: необходимо тебя снова взять в солдаты». Тот бедняк лепечет, что никогда в жизни не был на военной службе и не умеет даже стрелять из «мултука». Офицер возражает: «То, что ты не умеешь стрелять из «мултука», ровно ничего не значит, все остальные солдаты мой тоже не умеют». Бедняк сколько ни кричит: «Не лгите, я никогда не был солдатом! Вы и имени-то моего не знаете, а откуда узнали, что я был солдатом?» — все напрасно: он должен или идти в солдаты, или дать 3000 тенег господину офицеру в виде подарка и таким образом освободить свой ворот из его цепких рук.

Поглядев на солдат, мы отправились осматривать улицы и базар. После второго намаза (т. е. после полудня) спутник мой сказал:

— Сегодня ко мне должен прийти один из бухарских мударисов; нам нужно поскорее возвратиться домой.

Погуляв еще немного, мы возвратились домой

и до следующего намаза сидели, ожидая мудариса. Вскоре после намаза господин мударис с полной торжественностью изволили прибыть; друг мой вышел, чтобы его встретить, мударис вошел в дом и, пройдя на переднее место, сел и прочитал «фатиху»². Хозяин обратился к нему с приветствием: «Добро пожаловать», — и спросил, как он поживает?

Тот ответил, а затем, взглянув на меня, сказал:

— Откуда этот человек?

Друг мой отвечал:

— Этот человек из индийских мусульман; сюда прибыл ради путешествия, и я пригласил его к себе в гости.

Мударис ответил ему: «Очень хорошо». И, обращаясь на этот раз непосредственно ко мне, спросил:

— Вы из какого именно места Индустана?

— Из Дели.

— Как поставлено образование в Дели?

— Хорошо. Жители Дели имеют большую склонность к учению.

— Да. Вы осматривали бухарские медресе?

— Да. В Бухаре есть много прекрасных медресе, но какая в них польза, если улемы извлекают выгоды из них путем беззакония.

— Каким образом?

— А вот каким: ваши отцы построили эти медресе и назначили вакуфы специально для бедных студентов, теперь же каждый из власть имущих и богатых ученых, присвоив себе комнаты, забирает в свой карман и вакуфы их, а немущие студенты, настоящие хозяева их, питаются сухарями и холодной водой, учатся, приютившись где-нибудь в углу мечети. Сии дела бухарских ученых весьма далеки от богобоязненных.

— Ох! И вас коснулась эта печаль? Но ведь это все глупости! На самом же деле студенты учатся в своих комнатах, а до вакуфов им нет никакого дела!

— Ваши слова прекрасны! Несчастные студенты сидят в презрении и унижении по углам мечетей, довольствуясь сухарями и водой; а вы забрались в их комнаты и расходуете принадлежащие им вакуфы на вкусный плов да шашлык. Bravo!

— Что вы, собственно, хотите этим сказать?

— Я хочу сказать, что комнаты в медресе принадлежат только студентам, и ваша торговля ими незаконна.

— Э! Не считайте нас такими глупыми! Мы тоже знаем, что такое незаконно торговать комнатами в медресе. Мы никогда не продаем и не покупаем вакуфных комнат.

— Так чьим отцам принадлежит эти комнаты, которые вы продаете за десять, двенадцать, сорок тысяч тенег?

— Мы не продаем комнаты. А только их лестницы и лоханки.

— Прекрасно! Замечательно! Хвала вашей догадливости! Вы говорите, что продаете только лестницы и лоханки, впрочем, так вы заставляете писать и в документах казия; на самом деле продаете комнаты. Стало быть, то, что вы заставляете писать в официальных документах, есть ложь!

— Мы употребляем законные хитрости.

— Молчите! Наш шарият не признает уловок и уверток в делах подобного рода. Вот Коран и вот Хадис: «Вы хоть обнаруживайте свои намерения, хоть скрывайте их, Всевышний по смыслу этих намерений свершит вам расчет

¹ Сотник.

² Первая глава Корана.

и возмездие», или «Не накажет вас Аллах за те слова, которые сошли с вашего языка, а накажет вас согласно тому, какие у вас были дела и намерения». Вы, бухарские улемы, не уважаете мусульманский шариат.

— Превосходно! Вы, милостивый государь, придя не знаю из какой щели Божьего мира, даете наставления бухарским улемам! Что ж! Дай Бог! «Намерение» ваше благое. Но я тоже дам вам одно наставление: вы чужестранец, бухарские ученые лучше вас знают о своих делах... Пора спать, принесите мне фонарь, и я пойду.

Хозяин дома принес фонарь, мударис, взяв его и гневно сказав: «Бог с вами», ушел.

На следующий день я поднялся рано утром. Это был канун Рамазана. А потому весь народ был занят уборкой своих лавок, всякий готовился к празднику. Улицы и базары являли веселый вид.

В первую ночь при звуках литавр с крыши цитадели эмира возвестили народу о наступлении Рамазана. Жители этого города считают Рамазан большим праздником; лавки до полудня не открываются, после же полудня в них торгуют только до намаза «аср»; после этого, совершив омовение, идут к хаузу Диван-беги, читают там молитву и расходятся по домам разговляться. Разговевшись, все возвращаются в свои лавки и сидят там до полуночи. Всю ночь по обеим сторонам улиц горят лампы и свечи, и народ толпами ходит туда и сюда. Среди развлечений немало и отвратительных: самое гнусное и постыднейшее — это увлечение безбородыми мальчиками. То днем около хауза Диван-беги, то по ночам на улицах и базарах толпы молодежи, окружив какого-нибудь мальчика, устраивают страшную суматоху; иногда несколько молодых людей, среди которых нет своего мальчика, встретившись с первыми, тотчас же бросаются на них, подобно голодным волкам, бросающимся на барана; происходит крупная потасовка, в результате которой ослившая сторона тащит с собою и мальчика. Удивительнее всего то, что бухарские ученые не только не запрещают своим ученикам заниматься таким постыдным времяпровождением, но сами ведут себя точно так же. Я могу смело утверждать, что в настоящее время каждый из бухарских мударисов и муфтиев находится в любовной связи с одним из своих хорошеньких учеников, а некоторые высокопоставленные из их числа, не стыдясь никого, держат предмет своей страсти у себя на дому. Вот те дела, которыми занимаются бухарские улемы, получая деньги мусульманского люда.

Весь месяц Рамазана я провел в разных делах. После Рамазана я захворал, у меня сделался сильный жар, и я попросил своего друга пригласить доктора. Он тут же позвал одного из бухарских докторов. Тот, войдя с очень важным видом и пощупав мой пульс, заявил:

— Вы немножко напугались, я вам пришлось несколько пилюль слабительного, вы их проглотите, а после этого заставьте прочитать над собой заговор.

Смех стал душить меня, но я, не подавая виду, сказал:

— Господин доктор! У меня есть одна дурная привычка — пока доктор не объяснит мне мою болезнь и не укажет, как действуют его лекарства, до тех пор я не могу ничего принимать. Надеюсь, вы не откажете сказать мне, каким образом вы узнали, что я испугался?

— У вас жар.

— Какую же пользу принесут заболевшему от испуга слабительные пилюли?

— Понос уменьшит жар.

— Вы прекрасно разъяснили мою болезнь и назначили хорошее лекарство от нее. Но у меня очень скверный характер, и пока я не узнаю, в каком именно медресе учился лечащий меня доктор и от какого учителя получил диплом, я ни за что не стану принимать лекарство.

— Ха-ха-ха! Успокойтесь! Я не из числа каких-то там докторов, которых всюду много; я старший лекарь в Бухаре, лекарь самого эмира, и медресе «Дар-ушшифа» находится в моем ведении, в год я получаю 12000 тенег из народных денег.

— Поразительно! Откуда же вы получаете такие деньги?

— Из медресе «Дар-ушшифа».

— А где вы изволили изучать медицину?

— Здесь, в самой Бухаре.

— В каком медресе?

— В Бухаре нет медресе, в котором изучали бы медицину.

— Ну, тогда у какого доктора вы учились?

— Я ни у кого не учился медицине.

— Так каким же образом вы сделали лекарем?

— По милости Божьей мой отец был великим лекарем, все его книги достались по наследству мне; постепенно читая их, я и стал лекарем эмира.

— Но разве возможно, чтобы человек сделался врачом благодаря лишь одним медицинским книгам?

— Конечно! Если внимательно изучить медицинские книги, то вовсе не трудно стать доктором!

— Вы ошибаетесь, без обучения в школе нельзя стать доктором. В цивилизованных странах сначала десять лет учатся в общей школе, где изучают различные науки, усвоив их, поступают в специальную медицинскую школу, учатся там пять лет и тогда только становятся докторами. Вы же говорите: «Читая в свободное время оставшиеся от отца книги, я сделался лекарем!» Такое совершенно невозможно! Я это вам покажу на одном ясном примере; положим, я вам скажу вот что: ступайте по такой-то большой дороге, потом сверните на такую-то другую и пройдите столько-то шагов; там сидит человек высокого роста с большой темной бородой, по имени Зейд, его именно и приведите ко мне. Вы отправляетесь туда, куда я сказал, все время опасаясь потерять дорогу, по приметам узнаете этого человека. Вам необходимо спросить, как его зовут, Зейд ли? И если он ответит, что он не Зейд, то вы пойдете дальше — будете искать и расспрашивать, пока не найдете именно Зейда. Вот и медицинская наука подобна этому: медицинская книга скажет вам, что в таком-то месте человека таким-то образом появляется болезнь. Учение в медицинской школе не такое; там учитель сегодня читает эти вопросы, а на другой день показывает вам болезнь, объясняет, что это — та самая, о которой говорил вам вчера; лекарство против нее вот это, а применяется оно вот так. Вы все болезни увидите своими глазами и не окажетесь в тупике.

Лекарь, выслушав мою речь, сказал:

— Очень хорошо! Но я не из таких докторов, о которых вы говорите...

— А я тоже не из больных, о которых вы могли бы рассказать.

Лекарь вышел весьма расстроенный, я тоже огорчился и сказал хозяину дома:

— Приведите мне, пожалуйста, русского доктора.

Он привел. Этот доктор был человек очень сведущий, определил мою болезнь и прописал хорошее лекарство. Через два дня боли прекратились, силы восстановились. Пришел доктор и, увидев мое состояние, радостно сказал:

— Вот вы уже и совсем поправились!

— Слава Богу, — отвечал я. — Я очень был опечален, увидев бухарских лекарей, ведь это несчастье, что в таком большом городе нет ни одного сведущего доктора! Но после того, как увидел вас, я обрадовался. Бог даст, вы окажете большие услуги жителям Бухары в их лечении.

— Да, меня сюда и пригласили для этой цели... Но какая польза от моего пребывания здесь, если в Бухаре множество таких людей, которые ни за что не пойдут по той улице, где я хоть раз проходил...

— Удивительно! И в чем же причина?

— Причина очевидна: я — кафир, они, — мусульмане; доктор-кафир обязательно уморит больного-мусульманина.

— Поразительно странное мнение! С одной стороны, полное отсутствие докторов, а с другой — недоверие к знающим докторам; эти два обстоятельства вполне достаточны для того, чтобы во всей Бухаре не осталось ни одного здорового человека!

— Да. В настоящее время во всех бухарских владениях очень мало людей, которые не хворали бы хоть раз в год.

— Отчего же вы, будучи официальным доктором области, не принимаете никаких мер к уничтожению болезней?

— Вы, конечно, видели и наши области, и европейские города. Европейские правительства специально расходуют деньги для поддержания здоровья своего народа; улицы в городах содержатся чище, чем внутренние комнаты в здешних домах; нигде в Европе не режут баранов внутри городов, не закапывают мертвых в пределах города, отбросы не вываливают посреди улиц. Во многих местах существуют специальные медицинские школы, которые дают образование врачам и ежегодно отправляют их по всей стране; людям, которые не получили особого образования, не разрешается продавать лекарства. Некоторые из жителей европейских городов знают основы медицины не хуже докторов. Несмотря на это, чуть только у них заболит голова или появится жар, они сейчас же бегут к доктору и исполняют все, что тот ни скажет. Жители же Туркестана — полная противоположность им; вы сами видели их улицы; до сих пор еще они режут баранов в черте города, а внутренности их бросают около дороги; околелых закапывают тут же; на некоторые улицы кроме этого еще выбрасываются и экскременты животных, иногда даже и людей. Питьевая вода, пройдя мимо двухсот отхожих мест, попадает в пруды. При всем этом эти люди не хотят идти по той улице, где проходил я хоть однажды; а того, кто исполнит сказанное мною, признают кафиром. Так несколько лет тому назад бухарское правительство по моему указанию приказало подметать улицы города; жители были очень раздосадованы и говорили: «Этот кафир затеял подметать улицы, теперь он изгонит из Бухары все добро и благодать Божию...»

— Прекрасно! Предположим, что бухарцы стали бы исполнять ваши указания, что бы вы тогда предприняли для того, чтобы изгнать из Бухары болезни?

— Это дело очень нелегкое. В какую сторону ни пойдете — вы не увидите ни одного доктора, кроме старух-знахарок и мелких торговцев, про-

дающих снадобье. Даже в самой Бухаре многие считают лучшим средством против лихорадки положить на больного ослиное седло, сесть на него верхом и кричать: «Иш-ш-ш!» Все доктора, которые здесь живут, не из бухарцев; на этом основании можно сказать, что в Бухаре совершенно нет докторов¹. Нужно, чтобы сами бухарцы постарались сделаться докторами, хотя бы таким способом: правительству должно преобразовать одно из больших медресе в специальное медицинское, назначить его директором одного из знающих докторов, пригласить опытных преподавателей из Петербурга или из других европейских городов. Затем пусть оно отправит нескольких добродетельных молодых бухарцев в Европу для изучения медицинских наук. Бухара, став обладательницей медицинского медресе, может выпускать столько докторов, сколько нужно, но, скажите, «где уши, слышащие слова, и где глаза, берушие пример?»

— Очень хорошо! Отчего же вы не объясните это бухарцам?

— Я же сказал: «Где уши, слышащие слова, и где глаза, берушие пример?»

— Почему же они не соглашаются на это?!

— Говорят, что это противно шариату.

— Хорошо, а вы заявите правительству.

— Каким же образом можно заставить правительство начать противное шариату дело?

— По моему мнению, ничто из того, о чем вы говорили, не противоречит шариату!

Доктор пристально посмотрел на меня и спросил:

— Разве вы не мусульманин?

— Мусульманин.

— Я знаю наверняка, что сейчас во всей Бухаре нет ни одного мутлы, который бы назвал мои предложения законными! Почему же вы так говорите?

— Не удивляйтесь! Да, ничто из сказанного вами не противоречит шариату; я это докажу: во-первых, вы хвалите и одобряете чистоту и порядок европейских городов и выражаете свое сожаление по поводу безобразного состояния и грязи городов мусульманских; посмотрите, что сказал относительно этого наш пророк, да будет над ним мир и милость Божия! «Стройте себе мечети простые и без зубцов по стенам, и основывайте для себя города, разукрашенные башнями и красивые», или «Чистоту и благовоние соблюдайте на своих улицах, потому что зловонные улицы — улицы иудеев», или еще: «Аллах есть Превосходный, — любите превосходное, Чистый, — любите чистоту, Щедрый, — любите щедрость, Благодетельный, — любите добрые дела; итак, соблюдайте чистоту вокруг домов ваших и не уподобляйтесь иудеям». Пророк наш, да будет над ним мир, не удовольствовавшись этим, приказал, чтобы каждый мусульманин содержал себя в чистоте, и сказал так: «Чистота есть часть религии», и еще: «Чистите зубы, так как это есть чистота, чистота же призывает вас к вере, а вера будет с верующим в рай». «Если не будет затруднительно для моих последователей, я всегда приказывал чистить зубы и душить духами перед каждой молитвой». Вот эти мусульмане, которые из-за грязи своей сделали вас мишенью для стрел порицания, есть потомки людей, тысяча триста лет тому назад получивших повеления относительно

¹ Это свое путешествие я совершил раньше, чем в Бухару прибыл доктор Собир-Мирза Хурдов; иначе я упомянул бы о нем, т.к. он достоин уважения и Бухара должна им гордиться. (Авт.).

чистоты. Но что могут они поделать, если не имеют понятия об истинной мусульманской религии, и у них нет ни одного человека, который бы мог прочесть им и разъяснить толком какой-нибудь стих Корана или изречение Пророка... Теперь я подошел к вопросу о медицине; посмотрите, что сказал об этом наш пророк, да будет над ним мир и милость Божия: «О, рабы Аллаха, лечите болезни свои лекарствами, потому что Аллах не создал такой болезни, от которой не создал также и лекарства...» И преобразовать одно из бухарских медресе в специализированно-медицинское, назначить вас его директором, ежегодно отправлять несколько способных молодых людей для получения медицинского образования в Россию — все это отнюдь не противно нашему шариату, потому что и пророк сказал об этом так: «Ищите науку, хотя бы она была в Китае». Но, кроме этого, есть еще и другие изречения: «Знание есть богатство, потерянное верующими; надо беречь его там, где найдете». «Приобретая знание, оно не принесет тебе вреда, откуда бы ни пришло». Вот эти все изречения пророка доказывают, что ваши слова не противны нашему священному шариату.

Теперь бросим взгляд на историю ислама: многие из великих людей ислама назначали большое жалование докторам из христиан и даже огнепоклонников, делали их своими личными врачами, учителями в медицинских школах того времени. Халиф Мансур, второй халиф из Аббасидов, назначил христианского врача по имени Георгий Бахтишу главным доктором в Багдаде. Халиф Гарун-Арорашид также взял к себе личным врачом огнепоклонника по имени Манка и дал место главного доктора сыну вышеупомянутого Георгия. Кроме этих известных врачей, у Аббасидских халифов служило на жалованьи много других, пользовавшихся тоже почетом и уважением; некоторые занимались лечением народа, другие преподавали в школах, а третьи переводили книги с греческого языка.

Ведь у бухарского правительства, наверное, есть сведущие и умные люди; расскажите им все это, думаю, что они согласятся с вашим мнением. Доктор остался очень доволен сказанным мною и, попрощавшись, ушел.

Совершенно поправившись, я провел в Бухаре еще несколько дней. Затем решил отправиться в путешествие. Хозяин дома, где я жил, взял у влиятельных лиц Бухары для меня рекомендательные письма к казиям и правителям больших городов; кроме этого, он дал мне в спутники одного образованного молодого человека, который знал местные языки.

Рано утром мы сели в бухарскую арбу и отправились. Ко времени намаза «аср» мы прибыли к месту первой остановки, к какому-то селению, весьма маленькому, состоявшему из трех-четырех лавчонок. Я сошел с арбы около одной из этих лавок; хозяин ее взял мои вещи и положил их под закопченной террасой. Я развернул спальные принадлежности, совершил омовение и намаз, а затем отправился гулять по окрестностям. Но что это были за окрестности!.. Как только я вышел из-за лавок, то увидел, что во все стороны простирается пустыня! Только с одной стороны я заметил большую постройку, нечто вроде медресе; двери ее развалились. Я вошел внутрь и увидел, что здесь она вся положительно превратилась в кучу развалин. Я спросил у своего спутника:

— Почему это медресе так разрушено?

— Это не медресе, это гостиница, посмотри-те, напротив нее есть и бассейн.

Я посмотрел в указанном направлении и увидел большой каменный водоем. Заинтересованный, я спросил:

— Кто же все это устроил?

— Эту гостиницу и водоем выстроил для отдыха путешественников один из бухарских эмиров, Абдулла-хан. Этот эмир устроил по всем дорогам в своем государстве на каждой станции, где нет поселения, караван-сарай и водоемы, подобные этому; теперь же все они, как и этот, постепенно разрушаются..

Спутник мой, будучи человеком простым, ничего не знал о настоящем положении мира исламского и мира христианского, а потому рассказывал мне обо всем этом без особенного сожаления; я же был очень огорчен услышанным и подумал: вот европейцы говорят: «Пусть останется память об нас грядущим поколениям» — и ежесувно воздвигают новые прекрасные здания; мы же, мусульмане, сказав: «Пусть останется об нас память и потомки не забудут наше имя», ни о чем не заботимся; удивительнее же всего то, что мы разрушаем и уничтожаем те предметы, которые остались нам от наших отцов и великих людей!

На четвертые сутки мы прибыли в Карши, не встретив по пути ничего, достойного упоминания, кроме того, что на каждой станции были такие же, как и на первой, караван-сарай и водоемы Абдуллы-хана в таком же заброшенном виде.

Прибыв в Карши, мы остановились у дома казия; привезенное из Бухары письмо я передал людям казия. Нам предоставили комнату, где мы и провели эту ночь. На другой день, после восхода солнца, мы пошли приветствовать казия, который принял нас весьма любезно; посидев немного у него, мы отправились осматривать город...

Карши — это один из больших бухарских городов; прежде его торговые обороты равнялись оборотам самой Бухары, но теперь, из-за отсутствия железной дороги, торговля сильно ухудшилась. Науки и знания здесь также находятся в плачевном состоянии, большая часть жителей не считает необходимостью развить изучение грамоты. Ремесла здесь более развиты, чем в столице; с большим искусством выделываются медные кувшины и ткуются ковры, а в умении ткать особую полушелковую ткань, называемую «алача», каршинцы не имеют себе равных; но, к великому сожалению, все это выделяется по старинному, ручным способом; фабрик, оборудованных машинами, у них нет даже и в проекте.

Как-то раз с одним из слуг казия я зашел к известному ткачу «алачи»; хозяин принял меня с почтением, и мы беседовали около часа. Между прочим я сказал ему:

— Ваша мастерская лучше других каршинских, и «алача» вашего производства тоньше и изящнее. По правде сказать, ваша «алача» лучше многих русских материй. Хотя их материи гораздо тоньше и красивее, однако лишены той прочности в носке, какую обладает ваша. Я слышал, что один из бухарских паломников, отправляясь в хадж,¹ взял с собою несколько кусков этой материи, чтобы по прибытии в Медину принести ее в подношение. Случайно он не сделал этого, повез «алачу» обратно в Бухару. В Одессе во время таможенного досмотра русские чиновники сочли эту вашу «алачу» за французский товар и потребовали за нее пошлину; сколько ни убеждал их бедный хозяин, что это

¹ Паломничество в Мекку.

самая обыкновенная бухарская материя, чиновники говорили, что в Бухаре еще нет фабрик, которые могли бы вырабатывать столь хорошую ткань, и что хаджи купил ее в Константинополе. Так несчастному хаджи пришлось уплатить несколько рублей таможенной пошлины.

Хозяин мастерской был очень польщен. В это время принесли чай и угощение, после которого мы снова стали говорить.

— Правду сказать, каршинцы большие мастера ткать «калачу». Но что вы думаете относительно будущего этого промысла?

Хозяин, не поняв моего вопроса, удивленно посмотрел на меня; я сказал:

— Вы надеетесь, что это ремесло каршинцев будет иметь такой же успех лет десять или двенадцать?

— Наше ремесло несколько лет тому назад имело успех, имеет его теперь, а что ждет нас впереди — знает только Бог!

— Это верно, Бог его знает! А вы-то принимаете какие-нибудь меры к тому, чтобы ваше искусство просуществовало еще хотя бы десять лет?

— В настоящее время дела наши прекрасны, а через десять лет неизвестно, кто помрет, кто останется в живых!

— Ну, хорошо, предположим, что вы не доживете до тех пор; что же будут делать ваши дети и внуки? Господин мастер! Забота о будущем есть главная причина благоустройства и процветания мира: торговец переносит неудобства путешествия сегодня для того, чтобы завтра увидеть у себя больше денег; ученый сидит в углу темной кельи в голоде и холоде, и с мыслями о том, что на будущий год станет мударисом; правитель города льет потоками в царскую казну кровь и пот народа в надежде, что через месяц его сделают визирем; государь сегодня благословляет на смерть сто тысяч своих солдат для того, чтобы на другой день в новом царстве читали «хутбу» во славу его имени. Нет во всем мире ни одного человека, который бы сделал хоть шаг ради того, что уже прошло!

Мои слова пришлись по сердцу мастеру; я же продолжал свою речь:

— Давайте рассуждать о том, что ожидает ваше ремесло в будущем. Вы знаете, из чего шили себе платье жители Бухарского ханства сто лет тому назад?

— Из маты и редины.

— Из чего были ваши чалмы?

— Из гиждуванской кисеи¹.

— Из какой посуды ели пищу?

— Из глиняных чашек.

— Кто выделял для них эту мату, редину, глиняные чаши и прочее?

— Сами же бухарцы.

— Вот видите, в те времена все жители Туркестана деньги выкладывали из собственного кармана, а потом туда же их клали. С тех пор, как европейские фабрики начали выделять тонкие шерстяные ткани, шелковые кисеи, прекрасную разноцветную фарфоровую посуду и привозить со всех сторон в Туркестан, жители набросились на эти товары, а на свои старые перестали и смотреть. Постепенно все местные ткацкие и гончарные мастерские стали закрываться, хозяева же их волей-неволей должны были заняться черной работой или идти в услужение к другим. Если бы они не говорили так же, как и вы: «Кто помрет, а кто жив будет через десять

лет», а тотчас постарались бы переменить свои станки, выделяющие мату, на другие, которыми можно было бы ткать сукно, а горшечные — на производящие фарфоровую посуду, — выстроили бы себе вместо тесных лавчонок большие магазины, и взамен полуразвалившихся хибарок — прекрасные дома. Если ваши ремесленники, подобно европейским, не перенят свои кустарные мастерские на благоустроенные фабрики, то через несколько лет никто не найдет и следа от здешних, по справедливости достойных изумления, искусства и ремесел. Поэтому отнеситесь к моим словам внимательно и серьезно, иначе будет поздно раскаиваться тогда, когда все дело пропадет...

На этом я окончил свою речь и, попрощавшись, ушел.

Теперь снова возвращаюсь к своей теме: урожаи в этом городе очень хороши, много табаку, ячменя и пшеницы; особенно же известен табак из Карши. Но должен сказать откровенно: у каршинцев нет страны и заботы, равных плодородию их земель, т. е. они не собирают столько, сколько может дать земля. Но это обстоит одинаково не только в Карши, а и по всей Бухаре. Как мне удалось понять, нерадивости и беспечности у народа появились, во-первых, из-за поступков амлякдаров². Но так как описание всех их фокусов и насилий очень длинно и едва ли поместится в этой книжке, то я расскажу об этом вкратце. Амлякдары собирают подати с землевладельцев «приблизительно», например, так: какой-нибудь дехкан собрал кучу пшеницы, приходит амлякдар и определяет количество хлеба на глаз, «приблизительно», согласно собственному желанию, и берет нужную для уплаты податей часть. Амлякдары не получают от правительства никакого вознаграждения за свою службу, и потому все свои расходы возмещают излишками, взятыми с дехкан. Амлякдар — бесконтролен: обидит ли казну или жителей, взял меньше или больше, чем следует, — никто не спросит с него и не накажет его; поэтому, что бы ни сделал он, все благополучно сходит ему с рук. Вторая причина — это обычаи самих дехкан; их земледельческие орудия и способ обработки земли ничуть не разнятся от таковых времен Адама. Во многих больших городах Европы открыты земледельческие школы; туда принимаются дети хлебопашцев и изучают обработку земли. Здешние же дехкане и во сне не слышали названия «земледельческая школа». Европейские ученые изобрели различные средства для удобрения земли, а бухарские землепашцы для этой цели вынуждены держать лошадь или несколько ишаков и ежедневно приезжать в город за человеческим дерьмом, свозить его в особые места, откуда по мере надобности и брать для удобрения. Земледельцы цивилизованных стран возделывают землю машинами; когда им понадобится, они могут вспахать за день несколько танапов земли, а здешним надо прежде купить пару больших быков по очень высокой цене, затем целый год ухаживать за ними и весной в течение суток вспахать только один танап. Первые имеют особые машины для молотбы хлеба, а вторые вынуждены прибегать опять-таки к помощи быков или ишаков. Таким образом, становится понятным, почему бухарские земледельцы не могут собрать со своих полей столько, сколько в состоянии дать земля. Образованные бухарцы не вник в этом дехкан и гово-

¹ Гиждуван — маленький город в Бухарском ханстве.

² Сборщик податей.

рят так: «Вся вина на власть имущих, потому что до сих пор они не могут указать этим несчастным правильного пути». Я тоже отчасти согласен с этим мнением, но все-таки большую часть вины возлагаю на дехкан, так как они не хотят слушать того, что им говорят. Так, сам я и в Карши, и в Бухаре объяснял им европейские способы обработки земли, а они смеялись и говорили, что я рассказываю им о том, как обрабатывают землю черти в аду. Третьей причиной назову: в каждой бухарской области есть казий, назначенный эмиром; их обязанность следить за правильным исполнением предписаний шариата. Каждый из казиев имеет в подчиненной ему области, в тех селениях, где есть базары, по несколько помощников, которые, в свою очередь, обязаны вершить дела правосудия согласно указаниям священного мусульманского шариата. Но какая от них может быть помощь, если сами они совершенно неграмотны, и как они могут применять к делу шариат! У всякого казия есть человек 20—30 прислуги, несколько друзей и товарищей, кроме того, имеется изрядное количество лошадей и рогатого скота; весь расход на содержание такого штата покрывается вознаграждением, получаемым казиями за венчание и другие услуги, иными словами, опять из кармана того же несчастного поселянина.

Случай, происшедший в доме каршинского казия, которому я сам был свидетелем, ярко обрисовывает всю беззащитность бухарских казиев. Об этом я сейчас и расскажу.

Однажды утром я вдруг увидел, что в двери дома казия вошла толпа человек в 50 мужчин и с ними одна женщина. Все с шумом расселись на циновки на полу; я тоже, исключительно для того, чтобы занять время, подошел, сел с ними и стал внимательно слушать то, что они говорят. Женщина начала излагать свою жалобу:

— Вчера я пекла лепешки. Вынув из печи одну, я положила ее на площадку. В это время из дома раздался плач моего ребенка. Когда я пошла узнать, в чем дело, кошка схватила только что испеченную мною лепешку и убежала. Вот этот человек, мой муж, был во дворе и, увидев лепешку во рту у кошки, рассердился, вошел в дом и начал меня ругать. Сколько я ни просила прощения, он не успокаивался, а все больше и больше свирепел. Дело дошло до того, что он повалил меня и стал бить ногами. В конце концов я, боясь за свою жизнь, вырвалась и убежала к соседям, потом к брату, а оттуда пришла к вашей милости с жалобой. Вот и его самого привела!

Казий, посмотрев на ее мужа, сказал:

— На каком основании ты бил эту несчастную? Ты разве счел, что в городе нет правителя?

Тот отвечал:

— Я ничего не знаю. Брат моей жены питает ко мне вражду, и она в угоду ему говорит на меня напраслину!..

— Ты врешь, — возразил казий, — разве я не знаю твоих прошлых дел? Сейчас я тебе прикажу воткнуть под ногти камышинки! — и тотчас же приказал посадить его в тюрьму. Тогда те люди, что пришли со стороны мужа, возвысили голоса и стали кричать о его невинности, а пришедшие свидетелями со стороны жены начали опровергать их слова; в конце концов поднялся такой гвалт и шум, что никто ничего не мог слышать. Казий вторично приказал посадить под арест виноватого, слуги увели и заперли его. Я же, пораженный только что виденным, стал размышлять: «Лепешки, утащенной кошкой, было достаточно для того, чтобы 50 человек на-

роду, бросив все свои дела, пришли сюда, пройдя путь в два фарсанга!»

Я стал читать книгу... Вскоре наступило время намаза, я отправился в мечеть на молитву, а когда возвратился, то казий прислал за мной человека с приглашением на обед. Когда обед кончился, стали убирать со стола, к воротам дома казия подъехали два человека. Увидав их, казий спросил меня:

— Вы видели тех мужа и жену, которые утром приходили судиться?

— Видел.

— Вот эти двое прибывших — их аксакалы¹, посмотрим, что они скажут!

В это время аксакалы вошли в комнату. Казий, взглянув на одного из них, сказал:

— Ну, аксакал, как поживаете?

— Молюсь, господин, чтобы Аллах ниспослал свое благословение на жизнь вашу и ваших наследников!!!

— Чего ради этот проклятый ишак избил свою жену? Он, должно быть, решил, что в стране нет властей!

— Беру на себя несчастье с вашей головой². Этот бедняга не виноват, жена его бестыжая баба.

— Что может сделать женщина? В этом безобразном деле виноват тот осел! Он думал, что слабая женщина покинута всеми! Но я — отец покинутых! Сегодня же я пожалуюсь эмиру, а этому болвану назначу 75 палок, пусть другим послужит примером!..

Аксакал, испугавшись угроз казия, начал говорить:

— Дорогой господин мой! Пусть ваши несчастья падут на мою долю! Послушайтесь слов своего старого слуги! Простите вину тому несчастному, жена его уже простила его!..

— Вы ждете! Та женщина ни за что не простит его!

— Мы никогда не лжем. Прикажите, и мы приведем ее, спросите у нее самой!

— Хорошо! Приведите ее ко мне.

Аксакалы ушли. Через некоторое время они возвратились, приведя с собою женщину и ее свидетелей. Казий, обращаясь к женщине, сказал:

— Я посадил твоего мужа в тюрьму, завтра доложу эмиру и, назначив виновному 75 палок, сдам в солдаты!

Несчастная вздрогнула и, зарывав, стала причитать:

— Я прошу прощения за своего мужа! Простите вину этому несчастному! Ради Бога, будьте милостивы!

— Теперь уже невозможно! Эй, женщина! Слушай меня, твой муж побил тебя или нет? Если побил, то я накажу его, если же нет, то накажу тебя за то, что ты ложно обвинила мужа!

— Муж меня побил на самом деле, но я уже простила его, простите же его и вы!..

— Довольно!.. Муж твой побил тебя, и я накажу его. Конечно, муж твой побил тебя, беззащитную и слабую, вот я и отомщу ему за это, чтобы впредь он знал, что я — заступник и покровитель бедных и беззащитных этого города...

Несчастная женщина простирала руки свои к казию, плакала и просила:

— Заклинаю вас жизнью ваших детей! Ради бога! У моего мужа двое маленьких детей, сми-

¹ Старшины села.

² Обычная фраза из разговора между мусульманами.

луйтесь хоть над ними! Я ни в чем не обвиняю мужа, простите его!..

— Шариату нет никакого дела до того, есть ли у кого дети, пусть даже грудные!.. Я его обязательно накажу!..

— Только сейчас вы назвали себя покровителем обиженных и слабых, будьте же милостивы к нам! Не разрушайте нашего дома из-за пустяка, не делайте меня вдовой, а детей сиротами!

Казий, рассердившись, сказал своим слугам:

— Выгоните эту проклятую дуру!..

Прислужники безо всякого милосердия ударили кулаком и пинками вытолкали несчастную из дома. После этого я ушел к себе и лег спать.

На следующее утро я встал рано и взялся было за книгу, но не смог читать спокойно, так как поминутно передо мною вставал образ той несчастной женщины и грезился ее плач. Я с нетерпением ожидал, когда казий пришлет за мной человека позвать к чаю, чтобы расспросить его о дальнейшей судьбе арестованного вчера мужчины и его жены. Вскоре за мною пришли, и я, поблагодарив Бога, тотчас же направился в дом казия. Сказав слова приветствия, я стал пить чай; после которого у нас завязался разговор; через некоторое время я в комнату вошли два вчерашних аксакала и, поздоровавшись, сели. Казий с улыбкой ответил на их приветствие и тотчас же приказал одному из слуг привести арестованного вчера мужчину. Когда его привели, казий сказал ему:

— Эй, ты, несчастный нечестивец! Я намерен был назначить тебе 75 палок и затем отдать в солдаты, но на этот раз, внимая просьбам аксакалов, прощаю тебе твою вину!

Аксакалы тотчас же стали читать молитву и благословлять всех потомков казия; узник тоже помолился сначала за справедливого казия, а потом за эмира, и затем они все вместе ушли. Я, удивленный до последней степени, подумал: «Почему же господину казию нужно было вчера совершать все эти насилия, а сегодня раздаривать такие милости?»

Чтобы уяснить себе что-нибудь из этого дела, я вышел из дома казия и отправился в дом его мирзы-писаря. Старший писарь казия был человек образованный, иногда даже читал персидские и турецкие газеты. До этого случая я несколько раз беседовал с ним. Теперь же он, как только увидел меня, сейчас же спросил:

— Господин чужестранец! Вы изволили видеть и убедиться в том, как мы несчастны?

— А что я видел?

— Обратили ли вы должное внимание на вчерашний судебный процесс между женою и мужем?

— Да, но понял только то, что кошка утащила лепешку, а вот из-за чего казий вел себя, как кошка, никак не могу уразуметь!

— А затем, чтобы отнять и оставшийся кусок лепешки.

— Брат мой! Как же обстоит дело в действительности? Почему казий в первый день так сурово отнесся к ним, а на второй так любезно отпустил арестованного?

— Сегодня ночью, после намаза «шам», приехали те два аксакала и пожертвовали «господину блюстителю закона» 2000 тенег, прося простить заключенного, и казий из уважения к аксакалам помиловал его!

— Что вы говорите?! — вскричал я, пораженный до крайности. — 2000 тенег судебных издержек по делу о лепешке, утаченной кошкой! Как это понять?!

— Увы! Когда бы лишь это 2000 тенег расхо-

да! Только на один подарок казию ушло 2000 тенег!

— А какие еще расходы?

— 1500 тенег сверх этого попало в карманы прислуги казия, «граису», людям правителя города и двум известным вам аксакалам.

— Поистине ваш рассказ меня поражает! Если дело о лепешке, украденной кошкой, потребовало таких расходов, то сколько же будет стоить более сложные дела?

— Конечно, более важные дела требуют соответственно больших денег.

— Так в каком же положении находится народ?

— Спросите об этом у Бога.

В это время пришли два прислужника казия и прервали наш разговор. После намаза я, по обыкновению, пошел к казию: он, увидя меня, засмеялся и сказал:

— Не сжарится шашлык дервиша, пока не сгорит город. Я долго думал, чем бы порадовать вас. И сам Аллах устроил так, что кошка стащила лепешку у этой женщины, благодаря чему мы получили несколько тенег; из этой свежей добычи я взял свою долю и долю своих детей, а вот эти 300 тенег остались для вас. Примите этот небольшой подарок от меня!

После этих слов он положил передо мною несколько русских кредитных билетов. Я, не прикасаясь к деньгам, отвечал:

— Очень признателен! Если позволите, я задам вам один нескромный вопрос.

— Что за вопрос?

— Откуда достали такое количество денег эти муж с женой?

— Ха-ха-ха! Я знаю лишь то, как нужно брать деньги, а до всего прочего мне нет ровно никакого дела. Да хоть из могилы отца — мне-то что до этого?!

— Вы меня извините, я — путешественник, и мне дороже денег подробности подобного дела, потому-то я и расспрашиваю вас.

— Я ничего не знаю, а чтобы удовлетворить ваше любопытство, спросят об этом у диван-беги.¹

Привели диван-беги, спросили у него. Он ответил так:

— У мужа были деньги, у жены же ничего не было: поэтому она продала два танапа земли.

Казий, обращаясь ко мне, спросил:

— Теперь поняли?

— Да, я понял и очень благодарен вам за это! Но как вы, блюститель священного закона, хранитель шариата, могли взять эти деньги?

— Ну... при чем тут шариат? Оставьте его!.. Если бы я не знал, что на должности казия возможны такие дела, то чего ради я бросил бы свой родной дом и потащился сюда?!

Видя, что невозможно переубедить казия, я положил перед ним предложенные мне деньги, сказав:

— Простите меня, но я не могу взять этих денег!

— Почему?!

— Я мусульманин, и те люди, у которых вы взяли эти деньги, тоже мусульмане.

— Я не понимаю вас. Что это значит: «я мусульманин», «они тоже мусульмане»? Я же ни вас, ни их не называл кафирами!

— Наш шариат, называя всех мусульман братьями, запрещает отнимать силой имущество другого мусульманина. Вы силой отняли деньги

¹ Дворецкий, управляющий домом.

у бедного мусульманина, это я видел собственными глазами, и теперь часть их даюте мне; я вовсе не желаю быть вашим соучастником в этом преступлении и потому-то не беру денег!

Казий рассердился на меня за эти слова, взял деньги обратно и замолчал. Понимая, что дальше здесь оставаться неудобно, я отправился в город и нанял арбу. Через несколько дней я прибыл в Шахрисабз.

Это главный город одной из больших бухарских областей, справедливо названный «зеленым городом»; вокруг него множество прекрасных полей и пажитей, особенно много здесь сеется и собирается риса. Из ремесел этого города известны также выделка «алачи» и вышитых платков; последнее заслуживает внимания в особенности, но, к великому сожалению, до сих пор вырабатываются эти платки по старому способу, и производство их мало-помалу прекращается.

Неделю я пробыл в Шахрисабзе, а затем решил отправиться в Самарканд. Там я прожил лишь одни сутки. Этот город в сравнении с Бухарою кажется цветущим и благоустроенным; только условия духовной жизни его жителей, на мой взгляд, сходны с таковыми же в Бухаре.

Продолжаю описание своего путешествия. Из Самарканда по железной дороге я приехал на станцию Хатырчи. Все мои шесть спутников были из числа почтенных и уважаемых, совершенно неграмотных хатырчинцев! Дорога была так плоха и затруднительна, что если бы ее перекинули через ад, вместо моста Сират¹, то никто и не подумал бы о том, чтобы пойти в рай!.. Арба наша, подбрасывая одного на другого своих седоков, со страшным грохотом и треском мало-помалу подвигалась. Я вспомнил дорогу от вокзала в Самарканде и, сравнивая ее с этой несчастной дорогой, подумал: «Господи, как неисповедимы Твои пути!»

Общее состояние этого города таково же, как и Карши, и Шахрисабза, то есть все несчастья и беды, которые присущи тем городам, присущи и Хатырчи, даже, пожалуй, еще в большем числе.

В один из прекрасных дней я разговаривал с писарем правителя по поводу бедственного положения жителей Хатырчи. Между прочим, он сказал:

— На днях здесь имел место интересный случай, я вам сейчас расскажу его.

— Пожалуйста, расскажите!

— Вам, вероятно, неизвестно, что здешние земледельцы удобряют свои поля навозом. Один из земледельцев по имени Сафар запасся заблаговременно нужным удобрением. Но его сосед умышленно или по ошибке забрал на свое поле немного его навоза. Узнав об этом, Сафар очень рассердился и стал ругать своего соседа. Тот не остался в долгу и в свою очередь принял честь Сафара. Дело скоро перешло в драку и окончилось в доме казия. Господин блюститель священного закона, стянув с Сафара 200 тенег за приложение печати и 100 тенег за услуги, окончил дело в пользу «дарителя». Через два дня об этом услышал раис и потребовал через человека свою долю; несчастному Сафару пришлось дать 100 тенег и раису. В тот же день слухи достигли правителя города, и мы взяли свою часть, а именно 200 тенег. Естественно, что миршаб², получив об этом сведения, прислал

человека за своей долей и получил 100 тенег. Таким образом, из-за одной горбы навоза четверо облеченных властью людей вытянули из бедного Сафара 600 тенег!

— Брат мой! Мне довелось услышать, что у жителей этого города нет и 10 тенег наличными. Откуда же раздобыл этот бедняга 600 тенег в пятидневный срок?

Тот, рассмеявшись, отвечал:

— Да, конечно, они не имеют при себе ни одной тенги, но, хвала Всевышнему, в городе много щедрых людей, разрешающих подобные затруднения, они-то и дают деньги.

— Что это за люди?

— Ростовщики. Способы, какими они дают деньги, весьма удивительны. Тому же Сафару они одолжат 600 тенег таким образом, что через год долгу бедняка наберется тысячи на три тенег. Сам он не имеет ни гроша, откуда же он возьмет столько денег? Разумеется, он должен продать свой дом и свою землю, чтобы расквитаться с кредиторами, а сам со своей семьей идти просить под окнами милостыню!.. Вот это и есть одно из самых тяжких несчастий, которые падают на нашу голову!..

Я, чрезвычайно возмущенный всем, что услышал от писаря, проговорил:

— Никогда милость Аллаха не осенит той страны, в которой так угнетают рабов Всевышнего...

Пробыв в Хатырчи целую неделю, я отправился в Бухару. Когда на станции Хатырчи я сел в поезд, то соседями моими оказались два купца и один бухарский мулла. Вскоре я узнал, что все они едут из Самарканда в Бухару.

Поезд тронулся, и каждый занялся своим делом: купцы углубились в разговор о торговле, я, достав книгу, стал читать ее, а мулла улегся спать. Мы проехали одну станцию, купцы продолжали беседовать, я — читать. Мулла никак не мог заснуть. Наконец ему стало скучно, и он, глубоко вздохнув, обратился ко мне:

— Брат мой! Эти двое — люди мирские и занимаются своим разговором; почему бы вам и мне, людям ученым, не заняться беседой?

Оба купца прекратили разговор и стали прислушиваться. Один из них, с улыбкой взглянув на меня, произнес:

— Их милость говорила с нами от самого Самарканда, не давая нам возможности что-либо ответить, а мы, несчастные, положительно ничего не могли понять из их речей.

— Удивительно! Не можете ли вы мне сказать, что именно из разговора господина муллы вы поняли?

— Конечно, могу! Господин ученый говорил не переводя духа целых пять часов. Из его речей мы поняли только следующее: покойный старший казий был прекрасным человек; несколько раз он с улыбкой смотрел на господина муллу и если бы не умер, то дал бы им должность какого-нибудь большого мудариса, но, увы, он умер!.. Теперешний же старший казий — человек весьма несправедливый, потому что до сих пор не посмотрел на муллу с улыбкой... Посудите сами, что мы можем понять из таких речей?!

— Брат мой, — сказал мулла, обращаясь ко мне, — это люди мирские, нам не следует разговаривать с ними; давайте побеседуем мы с вами!

— Господин мулла, — отвечал я, — почему вы все время называете их мирскими людьми и как бы укоряете их?

— Они всегда заняты торговлей и заботятся только о том, чтобы стать богатыми; поэтому

¹ Мост ведущий в рай; он тоньше волоса и острее меча, и проходит над адом. Грешники, пытающиеся пройти в рай, говорится в книгах, сорвутся под тяжестью грехов и упадут в ад.

² Начальник полиции.

мы называем их людьми мирскими и не уважаем.

— Почему же вы их не уважаете?

— Потому что пророк относительно их изволил сказать: «Мир есть падаль, а ищущие его — собаки».

— Значит, и эти два наших собрата тоже собаки?

— Мулла, рассмеявшись, отвечал:

— Согласно словам пророка, выходит так. Но ведь у нас в городе не очень-то слушаются указаний шариата, и всякий занимается тем, что ему больше по сердцу; если бы наш народ поступал согласно велениям Аллаха и Его пророка, то все совершенно бросили бы эти дела и проводили бы дни и ночи в молитве.

— Если бы весь народ денно и ночью молился и не занимался бы никакими ремеслами и делами, то откуда бы все брали себе пищу и одежду?

— Бог пошлет!

— Они — из простого народа, и если совершают что-нибудь противное шариату, то, конечно, неумышленно. А поступаете ли по заповедям Бога и Его пророка вы, люди ученые?

— Конечно, поступаем!

— Так зачем же вы говорили этим купцам, что покойный главный казий был хорошим человеком и смотрел на вас благодушно, а новый — плохой, потому что смотрит на вас не так? Из этих слов ясно, что и вы заинтересованы в мирских благах. Между вами и этими купцами только та разница, что они добывают свое пропитание трудом рук своих, а вы хотите получить это через благодушие главного казая; купцы день и ночь проводят в труде и заботах, а вы изволите помышлять лишь о благосклонности вельможи!

— Брат мой! Пропитание мне ниспосылает Господь, но не непосредственно. Конечно, для этого нужен какой-нибудь способ, вот им-то и является благорасположение главного казая. Поэтому я считаю бесполезным иногда подумывать о нем.

— Прекрасно! Но вы опять ломаете палку о свою собственную голову: они тоже думают, что пропитание им посылает Бог, а работа является способом передачи благодати. Их средство с точки зрения шариата и лучше, и выше, чем ваше, потому что Всевышний Бог повелел: «Нет ничего для людей, кроме их старания». Пророк изрек: «Люди, которые уснули, утомившись на пути чистых желаний, спят, и Аллах отпустит их грехи».

— А что вы скажете относительно изречения, которое гласит: «Мир есть падаль, а ищущие его — собаки»?

— Где вы изволили видеть это изречение?

— Слышал.

— Мне кажется, что изречение, сказанное вами, вовсе не принадлежит пророку.

— Нет, нет! Это наверняка изречение самого пророка, потому что я слышал его от своего учителя.

— То обстоятельство, что вы слышали это от учителя, не может служить доказательством подлинности данного изречения. Ведь вы, наверно, знаете, что на свете есть очень много

изречений, но не все они принадлежат пророку, да будет над ним мир.

— Я очень благодарен вам за ваши речи, — сказал купец, — бухарские муллы постоянно называют нас «мирскими людьми» и относятся к нам с пренебрежением.

— Очень жаль! Если богачи не станут чураться правды и щедрости, то будут достойны похвалы и одобрения. Обратите внимание на следующее: где изучают мусульмане свою религию? — в медресе; где молятся Аллаху? — в мечетях. Кто же построил для нас эти мечети и медресе? — Богачи. Интересно, почему мусульманская религия поощряет торговлю? Потому, что вопрос о торговле связан с вопросом о жизни и смерти человечества. Устранить какую-нибудь нужду человечества невозможно без вмешательства торговли. Ваш великий предок Эмир Тимур сказал: «Мир не успокоится иначе, как в тени торговли». Однако, на мой взгляд, теперешняя ваша торговля вовсе не та, относительно которой пророк, да будет над ним мир, дал свои указания, а совершенно другая, даже не похожая на ту. Пророк же повелел заниматься такой торговлей, которую в настоящее время ведут европейцы, торговлей, дающей пользу, вы же до сего времени занимаетесь этим делом исключительно из-за своего честолюбия. Например: в этом году в Бухаре такой-то бай скупает 60000 каракулевых шкурок. Зачем? А потому, что другой бай скупил столько же и едет торговать к «Макарию»¹. Почему? А только потому, что ему захотелось прокатиться. Такого рода занятия не называются торговлей, и всякий народ, считающий эти забавы торговлей, непременно должен разориться и исчезнуть.

Есть еще один пункт, о котором я скажу вам: цель торговли — это получение денег, но способы получения денег разные, не одна лишь торговля; есть еще много других, например, добыча руд и ремесла. К сожалению, вы, бухарцы, ни с тем, ни с другим не знакомы! В настоящее время в бухарских владениях есть залежи золота, меди, железа, каменного угля, нефти и проч., но какая от них польза, если вы до сего времени не разрабатываете их?! Повторяю: вам прямо-таки необходимо образовывать товарищества, отбросить в сторону все разногласия и раздоры, стараться и извлекать пользу из всех этих даров Аллаха, которые ожидают вашего труда и стараний под землей. Разрабатывать же их и извлекать из них выгоду нужно исключительно новыми способами, то есть фабриками и машинами...

В это время раздался свисток паровоза, и кто-то сказал: «Приехали в Каган». Все стали связывать свои вещи. Поезд остановился, я вышел и, сев в фэзтон, отправился к своему другу, у которого остановивался раньше. Он очень обрадовался моему приезду. Пробыв еще три дня в Бухаре, я отправился в свое дорогое отечество.

«Цель наша, братья, дать добрый совет — и мы вам сказали все.

Вас поручив Аллаху, мы уезжаем обратно. Кружит, как мир, колесо...»

Перевод с фарси А. Н. Кондратьева, сверенный и исправленный А. Исмаили.

¹ Нижегородская ярмарка.



ПЕСНИ КАМНЯ И ВОДЫ

А. Каныкин. «Капустин яр». Москва, «Советский писатель», 1989 г.

С крутым вековым бездорожьем
небесных просторов борясь,
в полынные песни Заволжья
ракетная песня вплелась.

Эта песня, разрезая вековой пласт, спрессованный из древних легенд и преданий, из размеренного однообразного бытия, «грохочущими журавлями» взвивается в небо. И вот уже едва различимы границы старины и современности, дня минувшего и завтрашнего, как начало новой эры, «мышления иного Рубикон».

Именно здесь необходимо принять бесповоротное решение: какой из этих двух песен отдать предпочтение, именно здесь, на мой взгляд, и лежит то самое «алмазное зерно», о котором говорит поэт в одном из стихотворений и из которого, в общем-то, и выросла его книга.

«Капустин яр» — это не только точка в пространстве, но и место во времени, где действуют такие философские категории, как противоречие, случайность, возможность и действительность. Где есть свет и тень, грубость и нежность, чувства безысходности, ностальгии по прошлому — и веры в разум человека, могучего перед силами природы, ее, природы, ученика и учителя.

Крепкая ниточка со строчками-бусинками, в которых просвечивают и старина, и современность, надежно связывает книгу в единое целое:

Все это вместе — словно свалка
случайностей из разных лет.
(«Здесь, у Остоженки под боком...»)

Или еще:

Все пределы и все начала,
все высоты и времена.
(«Вся земля дышала апрелем...»)

Темы старины и современности проходят по всей книге, то сторонясь друг друга, то свиваясь в клубок. И все же новое сильнее. Оно легко наступает по всему флангу, порой безжалостно затапывая прошлое. И вот уже на месте брошенной избу «вальжно разбросала рубины бузина» («Бузина»), а там, где «стояли липы вековые, образовав бульварный ряд» («Посланцы прадедов живые...»), прошла безжалостная пи-

ла, а вот «вдоль откоса, хмуры и красивы, смотрят по-купчески спесиво на речной простор особняки. В них теперь музеи и конторы». («Отчего случается такое»).

Музыка времени каменной поступью шагает по стихотворным рядам, утверждая действительность, в которой не всегда есть место романтике. Не оттого ли нас, захлебывающихся городским уютом, манит зов предков, не оттого ли волнует чувство корня, как героя стихотворения «Отслужил свое в пехоте»? Ведь повороты судьбы, какими бы крутыми они ни были, не могут уйти далеко от той единственной дороги, по которой идет человек от рождения до смерти. Идет, чтобы исполнить «свое предназначение» через испытания лостью и злом, греховными искушениями, огнем любви и холодом разочарований.

Книга стихов А. Каныкина «Капустин яр» состоит из шести циклов, каждый из которых — как отточенная грань одного камня. Но тянутся между ними невидимые нити — своеобразные причинно-следственные связи. Первозданность природы и власть человека, убивающего эту первозданность и создающего ядерный арсенал, который, в свою очередь, убивает все живое... И как измерить добро и зло? Только ли, как пишет поэт, ранимой совестью своей? Эти нити как бы связывают разумное с эмоциональным. На одном полюсе — обращение к человеку быть человеком, на другом — песня «про теперь и старину», которая живет, дышит и без которой человек не может быть духовно силен. Эта песня завершает книгу не только композиционно. Она присутствует в каждом цикле стихов. Она является логическим завершением творческого поиска поэта.

В стихах, вошедших в книгу, присутствуют многие элементы русского фольклора. Напевный стих, построенный на использовании и развитии традиций русского народного эпического стиха:

По-над степью дышит песня,
в полночь звездную и днем...

Использование различных поэтических средств, присущих народному стиху, отрицательное сравнение:

То не дымный луч заката —
беглый свет былых костров...
(«По-над степью дышит песня...»)

Повторы:

Все, что было не с кем-нибудь — с нами,
все, что было не где-нибудь — здесь.
(«Мы сегодня к себе беспощадны»)
И снова вопросы ко всем,
вопросы — до горечи стылой.

(«Возвращение»)

Антонимы:

«небрежная роскошь», «немногое ты»,
«испытав немало», «ближе к вере и доверью».
(«Сиреневая дымка предвечерья»)

и т. д.

Использование просторечных, разговорных и устаревших слов: «малость», «вкушая чай», «огнь», «тогдашних», «кручинилась», «станется» и т. д. Подчинены творческому настрою описания природы с использованием таких поэтических средств, как сравнение, эпитет:

клубясь в неумолимом танце,
с домов колючие снега
сдирают наслоенья глянца
и грим безжалостней скребка.
(«У Остоженки под боком»),
небеса припали грудью
к рыжим, сглаженным холмам.
(«Как мечтал простор, безлюдье...»)

Своеобразие книги «Капустин яр» — в том, что здесь присутствуют элементы восточного фольклора. Многие стихотворения — «Песня камня и воды», «Кровь», «Клык», «Северянка» и другие — построены на основе древних легенд, сказаний.

...Пресытившийся лестью, окруженный рабским повиновением, хан обращает свой взор к своему звездочету, обнажив при этом всю черноту души, впитавшей в себя лишь ненависть к людям. Одно лживое слово звездочета — и эта ненависть выплескивается на ближних, не щадя в своем запале ни жены, ни сына... Мало быть у власти, чтобы властвовать. И достаточно находиться вдали от трона, чтобы подчинить себе эту власть. Стихотворение «Весы» — не просто изложение сюжета, это и размышление о власти и безвластии, о силе и слабости, о добре и зле.

А вот слияние русского и восточного фольклора: наложница хана «из березовой земли» вылетает из гарема птицей-голубицей, и хотя «путь из клетки золотой для нее далек и труден, но ведь это — путь домой». Образ красной девицы, которая превращается в голубку, так характерен для русских народных сказок. Здесь же он использован поэтом в стихотворении «Северянка», описывающем ханский жестокий нрав.

Живут в «Капустинном яре» и герои абхазского эпоса — повелитель лесов и гор, зверей и птиц гордый Атвейпш, легендарная соблазнительница мать воды Дзыслан. Закавказские и среднеазиатские мотивы в книге не случайны. Поэт знаком с обычаями и культурой этих народов, занимается переводами национальной поэзии. Например, им переведены на русский язык книги узбекских и каракалпакских поэтов Барата Байкабулова, Мирмухсина, Ибрагима Юсупова, Галима Сейтназарова.

И поэтому присутствуют в стихотворениях описания и степи, и пустыни, и гор. Однако, на мой взгляд, в некоторых из них идут неоправданные повторы. Достаточно внимательно перечитать стихотворение «Есть деревенька...», где есть и дом степной, и кладбище степное, где «степь по чести и по праву считают родиной своей» и т. д. А вот и другие стихи, начинающиеся такими строками: «Степь теплой человеческой ладони», «Темна степного озерца стоячая вода», «Скупая былль полупустыни», «Пустыня, сока моего испей». Согласитесь, эти «степные ладони» начинают уже хлестать по лицу...

В целом же книга «Капустин яр» представляет

собой своеобразную ступеньку поэта в творческом поиске, его стремления не просто отобразить действительность сегодняшнего дня, но и попытаться провести исследование многих его явлений, докопаться до корней, которые символизируют народную мудрость.

Л. ЗАХАРОВА.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫСЛИ

Алексей Устименко. За кольцами далекого Сатурна. Михаил Гребенюк. Загадка древней пещеры. Эдуард Маципуло. Ловушки богов. Ташкент. «Юлдузча», 1989.

Сюда — читающие взахлеб, одалживающие терхсотстраничный том «на одну ночь», записанные в длинную очередь «на приключения»! Эта книга — для вас!

Космос, приключения, загадки и тайны — перед нами новый сборник фантастических повестей. Под одной обложкой — три автора: маститый М. Гребенюк, прочно известный любителям фантастики Э. Маципуло, делающий первые шаги на этом поприще А. Устименко. С чем пришли они к нашим пытливым и любознательным, куда позвали?

Все познается в сравнении. Вспомним, чем зачитывались сами в далекие тридцатые-сороковые...

На обложках тех книг блистали лазурь и белла, их румяные ясноглазые герои в комбинезонах и скафандрах одинаково бодро шагали по дорогам Земли и по льдыным тропинкам далеких планет, природа с радостной готовностью отдавала им поспешно забираемые милости, а все мировое зло воплощалось в сутулой фигуре агента империализма...

За минувшие с той поры годы человечество подрастратило запасы оптимизма, поднакопило горького опыта в практике своих взаимоотношений с природой, вкусило не только сладких, но и горьких плодов наук. И в нашей стране гласность раскрыла суровые очи. Нынешнего подростка не проведешь на мякине совсем близкого лучезарного будущего: он член экологического кружка. И вот забавный парадокс: развитие науки отнимает у фантастов один плацдарм за другим. Уж не поселишь селенитов на исхоженной ногами Армстронга Луне. Нет и на Марсе, сухом и холодном, местечка для Аэлиты. Инопланетяне, волшебники-экстрасенсы, «снежный человек», ясновидцы и прорицатели перекочевали со страниц фантастических книг на газетные полосы. И все же фантастика не сдаётся! Открывает новые возможности и ставит задачи куда сложнее, чем описания техники будущего. Космос ее воображения становится ареной великих челове-

ческих трагедий, и земные проблемы решаются ею со вселенским размахом.

В русле современных веяний — повести, только что прочитанные нами, в них дыхание сегодня, и это их объединяет, в то же время они и очень разные...

Рассказы А. Устименко, уже встречавшиеся в печати, привлекали серьезностью отношения автора к жизни, простотой и действенностью слова. С большими ожиданиями поэтому приступашь к чтению его, быть может, первого опыта в области фантастики. Оправдываются ли они?

Как ни жаль признать, но основная коллизия повести не нова. Встреча инопланетянина с несовершенствами жизни земной — было такое у Лема. А чтоб далеко не ходить — братья Стругацкие, их приключенческая повесть «Отель «У погибшего альпиниста», в которой пришельцы из космоса, по неведению и доверчивости, оказываются втянутыми в неблагоприятные дела земных гангстеров. В повести Устименко масштабы помельче: инопланетянин, также по неведению, снабжает мальчишек мороженым за счет продавца и помогает темному дельцу в обычном воровстве. Он же сам и исправляет содеянное: возвращает награбленное тем же дельцом по принадлежности. Невелик подвиг, но автор исполнен оптимизма: «Теперь все было правильно. Теперь можно было жить спокойно и радостно».

Как и положено в фантастическом произведении, для объяснения необычных событий привлечена новая и смелая теория-гипотеза, гласящая, что кольца Сатурна представляют собой «гигантский вход в другое пространство». Но стоило ли приглашать гостя из таких далей, чтобы сделать немудрящий вывод: «...люди еще разные бывают, и всякое пока случается на их планете».

Этот спокойно-констатирующий тон царит в повести. Даже само появление инопланетянина выглядит скучно и буднично — увидев его, парящего в воздухе, шестиклассник Николай Коноплев, как говорится, не дрогнул: «Ну, вообще-то — все это фокусы». И обитатель непостижимо далекой планеты Рокур обращается к земным подросткам с весьма банальным поручением, каких, наверно, они слышали в жизни десятки: «...свои ошибки всегда и всюду предстоит исправлять самому».

И беду, если она чужая, обязательно следует брать на себя...

Давно знакомые каноны «школьной повести» проглядывают и в изображении ребячьих взаимоотношений: круглый отличник, за безупречность презираемый «застарелыми троечниками», оказывается на поверку парнем что надо — несмотря на очки...

Этой привычности событий и фигур соответствует и стиль повествования — «округлый и с глянцем», как говаривал Борис Житков, обезличенно-литературный:

«После той недавней встречи с инопланетянином он сначала ожидал, что приедут к ним в школу газетные корреспонденты, станут его разыскивать и спрашивать про таинственную встречу, про неземные грузовики, а попутно еще и про то, как он учится, чем занимается в свободное время и слушается ли родителей». Из готовых фразеологических блоков состоит и описание далекой чудесной планеты — тут и «выжженные долины», и «воздушное одеяло», «разноцветные проводы», «живительная прохлада», «кропотливая работа», «голубые искры»

и т. д. Чрезмерно олитературена и «причесана» речь героев-подростков, весьма далекая от подлинных разговоров их живых сверстников. И впечатление в итоге остается такое, что повесть «сделана» умело и аккуратно, по опробованным образцам, и нет в ней задора, взерошенности, привлекательной неожиданности — всего, чего хотелось бы встретить в произведении автора, еще не обкатанного на ухабистых дорогах литературы. Что ж, люди начинают по-разному. Возможно, подлинное открытие А. Устименко-фантаста еще впереди.

Повесть М. Гребенюка, напротив, привлекает именно размахом воображения, полетом авторской мысли. Писатель — на «ты» с «грозной далью времени и пространства». Из седого прошлого он переносит нас в отдаленное будущее; знакомит с параллельными вселенными, с людьми, многократно рождавшимися в этом мире, — живыми свидетелями минувших эпох, не успею удивиться герою, которому пять тысяч лет отроду, как его затмевает герой, проживший в десять раз более, мы становимся очевидцами встреч человечества с инопланетным разумом — и в прошлом, и ныне.

По мере чтения мы погружаемся в атмосферу тайны, зыбкую, неопределенную, смутную, бесконечно изменчивую — «... то знаешь все, то вроде ничего не знаешь». Новейшие дерзкие гипотезы ученых сплетаются с древними мифами, знакомят нас с таинными знаниями протоцивилизаций и дают заглянуть в беспредельность вселенной. Автор не стремится все свои фантастические допущения поставить на крепкий фундамент незыблемых постулатов научного знания. Его задача в другом — снять шоры с воображения, дать крылья мечте, позвать мысль в глубокий и страстный поиск.

Все мы ныне, просвещенные гласностью, горестно осознаем, что в нашей стране «распалась цепь времен» грозней, чем в эпоху Шекспира: утеряны многие завоевания культуры, великие традиции, прекрасные обычаи, в прах обращены сберегавшиеся веками памятники величия разума и творческой силы предков. И потому особенно ценным представляется лейтмотив повести — мысль о неразрывной связи проявлений человечности на всех пространствах и во всех временах, об очевидной соотношенности нашего духовного бытия с миром предков.

Стилевая палитра повести достаточно ярка и разнообразна. Вот образец ее пейзажной живописи: «Набирая стремительную высоту, заря гасила далекие и близкие звезды. Горы четко проступали на алом полотне — гордые, как вечность, наполняя пространство недоступной тайной. Тропа, ведущая к ним, то круто забиралась вверх, то резко падала вниз, то петляла причудливым серпантином, являясь и исчезая.» Колоритны, своеобразны фигуры старцев-долгожителей, дедушки Улуга и Евсея-уруса.

К сожалению, этого нельзя сказать о персонажах, представляющих молодое, нынешнее поколение. Хотя в повести и заметно стремление воссоздать их характеры — со своей особиной, раскрыть их душевные переживания, все же их трудно отличить друг от друга. Зачастую они выступают лишь как рупоры авторских взглядов и предположений.

В целом же повесть, на мой взгляд, свое предназначение выполнила — пробудила страсть к познанию неведомого.

Чрезвычайно интересно третье произведение, вошедшее в сборник, повесть Э. Маципуло «Ловушки богов». Оно погружает нас в фантастиче-

ский мир, воссозданный с художественной убедительностью и жутковатой обстоятельностью, в мир экзотических животных, головокружительной природы и не менее потрясающих обычаев и установлений человеческой стаи на ранних этапах развития социума. Но только ли на ранних?

Еще в 1965 году в памятной книге «Хищные вещи века» братья Стругацкие уже высказали мысль о необходимости «научной педагогики» — глобальной программы воспитания в человеке — человека... В наши дни уже было отмечено: из всего сплетения первоочередных, неотложных проблем надо вытянуть самое главное звено, основу основ, задачу задач — и решить ее, а задача эта — школа.

Разумеется, в широком смысле — как подготовка к жизни тех дерзко мыслящих, неравнодушных, исполненных милосердия и любви, безоглядно смелых и неотступно упорных, словом, со всеми качествами, дефицит которых так болезненно обнаруживает каждый день нашего стремления к подлинной перестройке и перделке нашего невероятного образа жизни... Наша же школа, в ее нынешнем обличье, выполняет задачу как раз обратную: ее идеал — усреднение знаний и характеров, усмирение, приведение к общему знаменателю всего, что индивидуально, непохоже, своеобразно, выпирает из ряда, вселяет беспокойство.

Черты этой школы, этой системы воспитания, фантастически заостренные, мы узнаем в экзотических воспитательных традициях неведомой планеты с многозначительным названием Прекрасная Убийца. В самом деле, как прекрасно здесь убивают «злые мысли» и склонность к «непотребным деяниям» в умах воспитуемых! В ход идет все — лупцовки и подзатыльники, насильственное купание в ледяной воде, непосильные задания и голод! А в самых трудных случаях воспитатели не останавливаются и перед необходимостью «...превратить в дым и пепел всех отроков, детей и детишек обоих полов. Всех-всех юных, незрелых, с неокрепшими душами, с незатвердевшей любовью к священным обычаям». Жаль, конечно, но... «справились все же мы с остатками чувств». А для земных читателей, ужаснувшихся и не поверивших, автор дает подтверждение: существовали подобные случаи и у древних обитателей нашей родной планеты, приносивших в жертву богам свое будущее — детей...

Много знакомого обнаружит внимательный читатель и в других установлениях столь далекой и чуждой планеты. Например: «... самые великие — это самые ненужные. А самые безымянные — всегда самые нужные. Таков закон опрокинутой истины...» Или такое: «Все великие грехи обязательно записывают в Великую Книгу. Полежав в ней много лет, ненужные знания становятся нужными и годными для блага безымянных. Закон задержки — очень таинственный... Как тут не вспомнить про «кибернетику — продажную деву империализма!»

Мир опрокинутых истин старательно лепит свою смену по своему образу и подобию. И, увы, что-то да остается в неискушенных душах от «правильного воспитания в пещерах». Что-то утрачивается безвозвратно... И все же повесть о злоключениях «неправильных» подростков — изгоев общества — звучит как гимн Человеку! Ведь это они, почти дети, одолеваемые сомнениями, страхом, усталостью, объединяются могучим и яростным именем «Поднимающийся Наверх!». Они стремятся «в мир богов» — и со-

крушают преграды. Апофеоз повести — их нелегкая победа, сулящая новые испытания, грозные приключения... Когда-нибудь мы узнаем о них?

Мне кажется очень привлекательной манера повествования Эдуарда Мацципуло — живой, доверительный рассказ, то исполненный пафоса, то согретый иронией, всегда эмоциональный и красочный. Автор ведет читателя в удивительный мир — не только затем, чтоб удивляться. Он учит осмысливать и оценивать изображаемое, «все подвергать сомнению» и не отступать перед трудностями. Увлекательны приключения его героев-подростков, но не менее увлекательны приключения ищущей мысли — повесть «Ловушки богах» тому свидетельство.

Надеемся, что тропа, по которой фантасты добиваются до «Олддзучи», не зарастет ни в ближайшие, ни в последующие времена!

3. ТУМАНОВА.

В ПОИСКАХ ГЕРОЯ

«Ущелье Спящего Дракона», Ташкент, «Еш гвардия», 1989 г.

«Для того, чтобы писать, нужно много трудиться, много напряженного внимания на одно какое-нибудь явление или ряд явлений. Важно так полюбить какую-нибудь сторону жизни, так увлечься ею, чтобы ничего не видеть, кроме нее, и от этого увидеть в ней то, чего никто не видел, и потом все силы положить на то, чтобы как возможно лучше выразить то, что видишь». Так заметил однажды великий Лев Николаевич Толстой.

Думается, каждый писатель выбирает для себя «сторону жизни». Ту, что волнует его более всего, что ближе его дарованию, больше соответствует задаче, которую ставит он перед собой.

Каков он, герой сегодняшней детворы? Конечно, Павка Корчагин, юные участники Великой Отечественной до сих пор служат примером для подражания. Но как обычным мальчишкам и девчонкам в их каждодневном бытии, в школе и дома, в неухоженных дворах скучных многоэтажек, под звуки рока из хрипящего магнитофона, в гонке на мототциклах, как им-то, обвешанным атрибутами металлистов, упоенно обсуждающим очередной дваратистский боевик с Брюсом Ли в главной роли, выбрать своего героя?

Наверное, большинство литераторов, пишущих о детях и для детей, стараются в потоке руды заметить блеснувшие золотишки такого нового характера.

Ищет его в своих книгах и Якуб Ходжаев. Об этом-то и три его повести, вышедшие в изда-

тельстве «Еш гвардия»: «Искатель приключений Вундергай», «Вундергай-сыщик», «Ущелье Спящего Дракона».

Объединяет их главный герой — Гайрат Джураев по прозвищу Вундергай.

«Когда он родился, его называли Гайратом. Потом он подросток, и друзья стали называть его просто Гай. А в школе за необузданную фантазию его наградили приставкой «вундер». Так он и стал Вундергаем».

В первой повести рассказывается о том, как семиклассник Вундергай стал пионервожатым октябрят из 2-го «Б». О подобном (часто рутинном) шефстве написано немало, и, кажется, трудно открыть здесь что-то новое. Но Якуб Ходжаев говорит о подшефном классе и его вожатом с такой неподдельной честностью, что писателю безусловно веришь: да, так и было. И поэтому запоминаются образы командира звездочки Мамуры, близнецов Сайеры и Нигоры, невыносимого мальчишки Бабашкина, смиренно сидящего на уроках и «распоясывающегося» на переменах. Кстати, Бабашкин, по характеру, поступкам, — полный антипод Вундергай, и их отношения являются одним из главных стержней повести.

Шефствуя над второклашками, Вундергай не прибегает к морализаторским нотациям, вдалбливанию скучных прописных истин, на что горазды многие пионерские функционеры, а своими поступками утверждает перед детьми неизбежность таких простых и извечных ценностей, как труд, долг, бескорыстие, верность, дружба, — ценностей, которые именно в первые школьные годы начинают впервые осознаваться детьми, наполняться реальным содержанием.

И истории с «автокоровой», переставшей привозить молоко жителям микрорайона, с «джинном циррозе», спасшем колхозного механика Тишабая от пьянства, — истории самые обычные, наблюдаемые нами повседневно, но на которые часто не обращаешь внимания, чтобы не портить настроение, не лишаться комфорта, — прекрасные тому примеры...

В повести «Вундергай-сыщик» главный герой сталкивается с «нелучшими представителями об-

щества» — вором Суррогатовым и его сообщниками.

Рассказывая о поединке Вундергай с бандитами, Якуб Ходжаев не увлекается показом изощренных психологических конфликтов, которыми иногда бывают перенасыщены повести современных писателей, не упрятав в «контекст» их нравственное содержание. Он спокойно и просто беседует с читателем, предпочитая свободное естественное развитие сюжета, никак не стесненное жесткими рамками заранее заданной схемы.

Поступки его героев всегда как бы сами собой вытекают из той жизненной ситуации, которая складывается по ходу событий, а непринужденное их движение создает впечатление потока самой жизни.

Большое место в повестях Якуба Ходжаева занимают эксцентрика и юмор. Именно они помогают увидеть скрытое от нашего глаза. Например, под маской самоуверенности часто прячется трусость, под робостью — прекрасные душевные качества. Ведь юмор — прекрасный способ познания действительности. И, уверен, читателям надолго запомнятся коллизии с дрессированным петухом Кукой, счастливо сбежавшим от гражданки Балыкиной, пытавшейся сварить из него суп, или вдохновенная репетиция на музыкальных инструментах, состоящих из разномастных кастрюль, котлов, банок и... горчицы...

В центре приключенческой повести «Ущелье Спящего Дракона» тот же Вундергай, уже возмужавший, прошедший хорошую закалку армейской службы, но сохранивший по-прежнему в душе озорную искорку, задор, находчивость.

Каков он, герой современных мальчишек и девчонок? Герой, которому они верят, стараются во всем подражать? Может быть, именно таков рыцарь и фантазер Вундергай, герой повестей Якуба Ходжаева? Но выбирать будут, конечно, сами юные читатели.

А. МАР.

Коран

7,90



Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

1(1). Они спрашивают тебя о добыче. Скажи: «Добыча принадлежит Аллаху и посланнику²; бойтесь же Аллаха, упорядочите между собой и повинуйтесь Аллаху и Его посланнику, если вы веруете!»

2(2). Верующие — только те, сердца которых страшатся, когда поминают Аллаха; а когда читаются им Его знамения, они увеличивают в них веру, и они полагаются на своего Господа;

3(3). которые простаивают молитву и расходуют из того, что Мы им даровали.

4(4). Они — верующие по истине. Им — степени у их Господа, и прощение, и щедрый надел.

5(5). Как вывел тебя твой Господь из твоего дома с истиной, а часть верующих противилась,

6(6). препираясь с тобой об истине, после того как она разъяснилась, точно их гонят к смерти, а они смотрят³.

7(7). И вот, обещал вам Аллах один из двух отрядов, что он будет вам; вы желали бы, чтобы не имеющий вооружения достался вам.⁴ А Аллах желает утвердить истину Своими словами и отсесть неверных до последнего,

8(8). чтобы утвердить истину и изничтожить ложь, хотя бы и ненавистно было это грешникам.

9(9). И вот, взывали вы за помощью к вашему Господу, и Он ответил вам: «Я подержу вас тысячью ангелов,⁵ следующих друг за другом!»

10(10). Сделал это Аллах только радостной вестью, и чтобы успокоились от этого ваши сердца. Ведь помощь — только от Аллаха: поистине, Аллах — великий, мудрый!

11(11). Вот Он покрыл вас дремотой в знак безопасности от Него и низвел вам с неба воду, чтобы очистить вас ею и удалить от вас мерзость сатаны и чтобы укрепить ваши сердца и утвердить этим ваши стопы.

12(12). Вот внушил Господь твой ангелам: «Я — с вами, укрепите тех, которые уверовали! Я брошу в сердца тех, которые не веровали, страх; бейте же их по шеям, бейте их по всем пальцам!»

13(13). Это — за то, что они откололись от Аллаха и Его посланника. А кто откальвается от Аллаха и Его посланника... Ведь Аллах силен в наказании!

14(14). Это — вам! Вкусите же его и что для неверных — наказание огня!

15(15). О тех, которые уверовали! Когда вы встретите тех, кто не веровал, в движении, то не обращайтесь к ним тыл.

16(16). А кто обратит к ним в тот день тыл, если не для поворота к битве или для присоединения к отряду, тот навлечет на себя гнев Аллаха.⁶ Убежище для него — геенна, и скверно это возвращение!

17(17). Не вы их убивали, но Аллах убивал их, и не ты бросил, когда бросил, но Аллах бросил,⁷ чтобы испытать верующих хорошим испытанием от Него. Поистине, Аллах — слушающий, сведущий!

18(18). Это — вам! И что Аллах ослабляет козни неверных.

19(19). Если вы просили победы, то победа пришла к вам. Если вы удержитесь, то это лучше для вас, а если вы вернетесь, то и Мы вернемся. Но ни от чего не избавит вас ваше сборище, если оно и многочисленно, и ведь Аллах с верующими.⁸

20(20). О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику и не отвращайтесь от Него в то время, как вы слушаете.

21(21). И не будьте как те, которые говорили: «Мы слышали», а сами не слушают.

22(22). Худшие из животных пред Аллахом — глухие, немые, которые не разумеют.⁹

23 (23). Если бы Аллах знал что-нибудь доброе в них, Он дал бы им услышать, а если бы он дал им услышать, они отвернулись бы от Него, отворачившись.

24 (24). О те, которые уверовали! Отвечайте Аллаху и посланнику, когда он вас призывает к тому, что вас оживляет. И знайте, что Аллах стоит между человеком и его сердцем¹⁰ и что к Нему вы будете собраны!

25 (25). Бойтесь испытания, которое постигнет не только тех из вас, которые несправедливы. И знайте, что Аллах силен в наказании!

26 (26). Вспомните, когда вас было мало и вы были ослаблены на земле, в страхе, что люди вас выхватят. И Он дал вам убежище и подкрепил Своей помощью и наделил вас благами, — может быть, вы будете благодарны!¹¹

27 (27). О те, которые уверовали! Не изменяйте Аллаху и посланнику, — тогда вы измените доверенному вам, в то время как вы про это знаете.

28 (28). Знайте, что ваши богатства и ваши дети — испытание¹² и что у Аллаха — награда великая.

29 (29). О те, которые уверовали! Если вы будете бояться Аллаха, Он даст вам различие¹³ и очистит вас от ваших злых деяний и простит вам. Поистине, Аллах — обладатель великой милости!

30 (30). Вот ухищряются¹⁴ против тебя те, которые не веруют, чтобы задержать тебя или умертвить, или изгнать. Они ухищряются, и ухищряется Аллах. А ведь Аллах — лучший из ухищряющихся!

31 (31). И когда читают их Наши знамения, они говорят: «Мы уже слышали. Если бы мы желали, мы сказали бы то же самое. Это — только истории первых!»

32 (32). И вот они говорили: «Боже наш! Если это — истина от Тебя, то пролей на нас дождь камнями с неба или пошли мучительное наказание».

33 (33). Аллах — не таков, чтобы их наказывать, когда ты среди них; Аллах не будет наказывать их, когда они просят прощения.

34 (34). Но почему же не будет наказывать их Аллах, когда они отстраняют от мечети запретной, хотя и не были защитниками ее? Защитники ее — только боящиеся Бога, но большая часть их не знает!

35 (35). И молитва их у дома была только свистом и хлопанием в ладоши¹⁵. Вкусите же наказание за то, что вы не верили!

36 (36). Поистине, те, которые не веровали, тратят свое имущество, чтобы отвратить от пути Аллаха, и они издержат его. Потом это окажется для них огорчением, потом они будут побеждены!

37. И те, которые не веруют, будут собраны к геенне,

38 (37). чтобы отличил Аллах мерзкого от благого и чтобы мерзкого поместил одного на другом и свалил их всех и поместил в геенне. Эти — потерпевшие убыток.

39 (38). Скажи тем, которые не веровали: «Если они удержатся, им будет прощено то, что было прежде, а если вернуться, то уже прошел пример первых».

40 (39). И сражайтесь с ними, пока не будет искушения, и религия вся будет принадлежать Аллаху».¹⁶ А если они удержатся... ведь Аллах видит то, что они делают!

41 (40). А если они обратятся вспять, то знайте, что Аллах — ваш покровитель. Прекрасный это покровитель и прекрасный помощник!

42 (41). И знайте, что если вы взяли что-либо в добычу, то Аллаху — пятая часть, и посланнику, и родственникам, и сиротам, и бедным, и путнику, если вы уверовали в Аллаха и в то, что Мы низвели Нашему рабу в день различения, в день, когда встретились два сборища. Поистине, Аллах мощен над всякой вещью!¹⁷

43 (42). Вот вы были на ближайшей стороне, а они — на отдаленнейшей стороне, а путники — ниже вас.¹⁸ Если бы вы назначили срок, то разошлись бы в его времени, но это для того, чтобы Аллах решил дело, которое было свершено,

44. чтобы погиб тот, кто погиб при полной ясности, и чтобы жил тот, кто жил при полной ясности. И поистине, Аллах — слышащий, знающий!

45 (43). Вот показал тебе их Аллах во сне твоим немногими; а если бы Он показал их тебе многими, то вы бы ослабели и стали бы препираться об этом деле. Но Аллах примирил: ведь Он знает про то, что в груди!

46 (44). И вот Он показал вам их, когда вы встретились, немногими в ваших глазах и уменьшил вас в их глазах, чтобы решил Аллах дело, которое было совершено.¹⁹ И к Аллаху обращаются все дела!

47 (45). О вы, которые уверовали! Когда встречаете отряд, то будьте стойки и поминайте Аллаха много, — может быть, вы получите успех!

48 (46). И повинуйтесь Аллаху и Его посланнику и не преирайтесь, а то ослабеете, уйдет ваша мощь. Терпите: ведь Аллах с терпеливыми!

49 (47). Не будьте как те, которые вышли из своих жилищ с гордостью и лицемерием пред людьми.²⁰ Они отстраняют от пути Аллаха, а Аллах объемлет то, что они делают.

50 (48). И вот сатана разукрасил им их деяния и сказал: «Нет победителя над вами сегодня среди людей, а я — сосед ваш». Когда же показались оба отряда, он отступил вспять и сказал: «Я не причастен к вам; я вижу то, чего вы не видите. Я боюсь Аллаха, а Аллах силен в наказании!»

51 (49). Вот говорят лицемеры и те, в сердцах которых болезнь: «Обольстила этих их религия». А кто полагается на Аллаха... Поистине, Аллах — великий, мудрый!

52 (50). Если бы ты видел, как завершают жизнь тех, которые не веровали, ангелы — они бьют их по лицу и по спинам: «Вкусите наказание пожара!»

53 (51). Это — за то, что уготовали ваши руки, и Аллах не обидчик для рабов.

54 (52). Как деяние рода Фир'ауна и тех, которые были до них. Они не веровали в знамения Аллаха, и схватил их Аллах за их грехи. Поистине, Аллах могуч, силен в наказании!

55 (53). Это — потому, что Аллах не таков, чтобы изменить милость, которой Он омилосердствовал народ, пока они не изменят то, что у них в душах, и потому, что Аллах — слышащий, знающий.

56 (54). Как деяние рода Фир'ауна и тех, что были до них. Они считали ложью знамения своего Господа, и Мы погубили их за их грехи и потопили род Фир'ауна. И все они были несправедливыми.

57 (55). Поистине, злейшие из животных²¹ у Аллаха — те, которые не веровали, и они не веруют, —

58 (56). те, с которыми ты заключил союз, а потом они нарушают свой союз каждый раз, и они — не богобоязненны.

59 (57). Если ты застанешь их в битве, то прогони ими тех, которые позади них, — может быть, они вспомнят!

60 (58). А если ты боишься от людей измены, то отбрось договор с ними согласно со справедливостью: поистине, Аллах не любит изменников!²²

61 (59). И пусть не думают те, которые не уверовали, что они опередили; они ведь не ослабят.

62 (60). И приготовьте для них, сколько можете, силы и отрядов конницы; ими вы устршите врага Аллаха, и вашего врага, и других, помимо них; вы их не знаете, Аллах знает их. И что бы вы ни издержали на пути Аллаха, будет полностью возмещено вам, и вы не будете обижены.

63 (61). А если они склонятся к миру, то склонись и ты к нему и полагайся на Аллаха: ведь Он — слышащий, знающий!

64 (62). А если они захотят обмануть тебя, то довольно с тебя Аллаха; Он — тот, кто подкрепил тебя Своей помощью и верующими (63). и объединил их сердца. Если бы ты израсходовал все то, что на земле, то не объединил бы их сердца, но Аллах объединил их сердца, — ведь Он — великий, мудрый!

65 (64). О пророк! Довольно с тебя Аллаха и тех, кто последовал за тобой из верующих.

66 (65). О пророк! Побуждай верующих к сражению. Если будет среди вас двадцать терпеливых, то они победят две сотни; а если будет среди вас сотня, то они победят тысячу тех, которые не веруют, за то, что они народ не понимающий.

67 (66). Ныне облегчил вам Аллах; Он знает, что у вас есть слабость. А если будет среди вас сотня терпеливая, то они победят двести, а если будет среди вас тысяча, то они победят две тысячи с дозволения Аллаха: ведь Аллах — с терпеливыми!

68 (67). Ни одному пророку не годилось иметь пленных, пока он не производил избиения на земле. Вы стремитесь к случайностям ближайшего мира, а Аллах желает будущего, Аллах — великий, мудрый!²³

69 (68). Если бы не писание от Аллаха, которое пришло раньше, то коснулось бы вас за то, что вы взяли, великое наказание.

70 (69). Ешьте же то, что вы взяли в добычу дозволенным, благим, и бойтесь Аллаха: поистине, Аллах прощающ, милосерд!

71 (70). О пророк! Скажи тем, в руках которых пленные: «Если Аллах узнает про добро в ваших сердцах, Он дарует вам лучшее, чем то, что взято у вас, и простит вам: Аллах прощающ, милосерд!»²⁴

72(71). А если они пожелают изменить тебе, то они раньше уже изменили Аллаху, и Он отдал их во власть. Аллах — знающий, мудрый!

73 (72). Поистине, те, которые уверовали и выселились и боролись своим имуществом и душами на пути Аллаха, и те, которые дали убежище и помогли, — эти близки друг другу. А те, которые уверовали но не выселились, — нет у вас никакой близости к ним, пока они не выселятся! А если они попросят у вас помощи в религии, то на вас лежит помощь, если только не против того народа, между которым и вами есть договор. И Аллах видит то, что вы делаете!

74 (73). А те, которые не уверовали, одни из них — близки другим. Если вы этого не сделаете, то будет смута на земле и великая порча.

75 (74). А те, которые уверовали и выселились и боролись на пути Аллаха, и те, которые приютили и помогли, — они — верующие; обязательством для них — прощение и щедрый удел.

76 (75). А те, которые уверовали потом и выселились и боролись вместе с вами,²⁵ — они — из вас; обладатели же родства — одни ближе другим в писании Аллаха. Поистине, Аллах о всякой вещи знает!



1 (1). Отречение² от Аллаха и Его посланника — к тем из многобожников, с кем вы заключили союз.

2 (2). Странствуйте же по земле четыре месяца и знайте, что вы не ослабите Аллаха и что Аллах опозорит неверных!

3 (3). И призыв от Аллаха и Его посланника к людям в день великого хаджа³ о том, что Аллах отрекается от многобожников и Его посланник.⁴ И если вы обратитесь, то это — лучше для вас, а если отворачитесь, то знайте, что вы не ослабите Аллаха. Обрадой же тех, которые не уверовали, мучительным наказанием,

4 (4). кроме тех многобожников, с которыми вы заключили союз⁵, а потом они ни в чем пред вами его не нарушали и никому не помогали против вас! Завершите же договор с ними до их срока: ведь Аллах любит богобоязненных!

5 (5). А когда кончатся месяцы запретные, то избивайте многобожников, где их найдете, захватывайте их, осаждайте, устраивайте засаду против них во всяком скрытом месте!⁶ Если они обратились и выполняли молитву и давали очищение, то освободите им дорогу: ведь Аллах — прощающий, милосердный!

6 (6). А если кто-нибудь из многобожников просил у тебя убежище, то приюти его, пока он не услышит слова Аллаха. Потом доставь его в безопасное для него место. Это — потому, что они — люди, которые не знают.

7 (7). Как будет у многобожников союз с Аллахом и Его посланником, кроме тех, с которыми вы заключили союз у священной мечети?⁷ И пока они прямы по отношению к вам, будьте и вы прямы к ним: ведь Аллах любит богобоязненных!

8 (8). Как же? Когда они, если одержат верх над вами, не соблюдают для вас ни клятв, ни условий?⁸ Они благоволят к вам своими устами, а сердца их отказываются, и большая часть их — распутники.

9 (9). Они купили за знамения Аллаха небольшую цену и отклоняются от Его пути. Плохо то, что они делают!

10 (10). Они не соблюдают в отношении верующих ни клятвы, ни условия. Они — преступники.

11 (11). А если они обратились, и выполнили молитву, и дали очищение, то они — братья ваши в религии. Мы разъясняем знамения для людей, которые знают!

12 (12). А если они нарушили свои клятвы после договора и поносили вашу религию, то сражайтесь с имамами неверия, — ведь нет клятвы для них, — может быть, они удержатся!

13 (13). Разве вы не станете сражаться с людьми, которые нарушили свои клятвы

и думали об изгнании посланника? Они начали с вами первый раз. Разве вы боитесь их? Ведь Аллах следует больше бояться, если вы верующие.

14 (14). Сражайтесь с ними⁹, — накажет их Аллах вашими руками, и опозорит их, и поможет вам против них, и исцелит грудь у людей верующих,

15 (15). и удалит гнев из их сердец. Обращается Аллах к тому, к кому захочет: Аллах — знающий, мудрый!

16 (16). Или вы думаете, что будете оставлены, когда Аллах еще не узнал тех из вас, которые усердствовали и не брали себе друзей помимо Аллаха и Его посланника и верующих? Ведь Аллах сведущ в том, что вы делаете!

17 (17). Не годится многобожникам оживать мечети Аллаха¹⁰, свидетельствуя о неверии против самих себя. У этих тщетны деяния их, и в огне они вечно пребывают!

18 (18). Оживляет мечети Аллаха тот, кто уверовал в Аллаха и в последний день, выполнял молитву, давал очищение и не боялся никого, кроме Аллаха, — может быть, такие окажутся идущими верно!

19 (19). Неужели же поение паломника и оживление священной мечети вы считаете таким же, как если кто уверовал в Аллаха и в последний день и боролся на пути Аллаха? Не равны они пред Аллахом: Аллах не ведет людей несправедливых!¹¹

20 (20). Те, которые уверовали и выселились и боролись на пути Аллаха своим имуществом и своими душами, — выше они степенью у Аллаха: они — получившие успех.

21 (21). Господь их радуется их Своей милостью, и благоволением, и садами, где для них пребывающая благодать, —

22 (22). вечно пребудут они там. Ведь у Аллаха — великая награда!

23 (23). О вы, которые уверовали! Не берите своих отцов и братьев друзьями, если они полюбили неверие больше веры. А кто из вас берет их в друзья, те — несправедливы.

24 (24). Скажи: «Если ваши отцы, и ваши сыновья, и ваши братья, и ваши супруги, и ваша семья, и имущество, которое вы приобрели, и торговля, застоя в которой вы боитесь, и жилища, которые вы одобрили, милее вам, чем Аллах и Его посланник и борьба на Его пути, то выжидайте, пока придет Аллах со Своим повелением. А Аллах не ведет народа распутного!»¹²

25 (25). Аллах помог вам уже во многих местах и в день Хунайна¹³, когда вас восхитила ваша многочисленность. Но она ни от чего вас не избавила, и стеснилась для вас земля там, где была широка. Потом вы повернулись, обратив тыл.

26 (26). Потом низвел Аллах Свой покой на Своего посланника и на верующих, и низвел войска, которых вы не видели, и наказал тех, которые не веровали; это — воздаяние неверным.

27 (27). Потом обратится Аллах после этого к тем, к кому пожелает: ведь Аллах — прощающий, милостивый!

28 (28). О вы, которые уверовали! Ведь многобожники — нечистота¹⁴. Пусть же они не приближаются к мечети священной после этого года! А если вы боитесь недостатка, то обогатит вас Аллах от Своей щедрости, если пожелает. Поистине, Аллах — знающий, мудрый!

29 (29). Сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха и в последний день, не запрещает того, что запретил Аллах и Его посланник, и не подчиняется религии истины — из тех, которым ниспослано писание, пока они не дадут откупа своей рукой, будучи униженными¹⁵.

30 (30). И сказали иудеи: «Узайр¹⁶ — сын Аллаха». И сказали христиане: «Мессия — сын Аллаха». Эти слова в их устах похожи на слова тех, которые не веровали раньше. Пусть поразит их Аллах! До чего они отвращены!

31 (31). Они взяли своих книжников и монахов за господ себе¹⁷, помимо Аллаха, и Мессию, сына Марьям. А им было повелено поклоняться только единому Богу, помимо которого нет божества. Хвала Ему, превыше Он того, что они Ему придают в соучастники!

32 (32). Они хотят затушить свет Аллаха своими устами, но Аллах не допускает иного, как только завершить Свой свет, хотя бы и ненавидели это многобожники.

33 (33). Он — тот, который послал Своего посланника с прямым путем и религией истины, чтобы проявить ее выше всякой религии, хотя бы и ненавидели это многобожники.

34 (34). О вы, которые уверовали! Многие из книжников и монахов пожирают имущества людей попусту и отклоняют от пути Аллаха. А те, которые собирают золото и серебро и не расходуют его на пути Аллаха, — обрадуй их мучительным наказанием

35 (35). в тот день, когда в огне геенны будет это разожжено и будут заклеяны этим их лбы, и бока, и хребты! Это — то, что вы сберегли для самих себя. Вкусите же то, что вы сберегали!

36 (36). Поистине, число месяцев у Аллаха — двенадцать месяцев в писании Аллаха в тот день, как Он сотворил небеса и землю. Из них — четыре запретных, это —

стойкая религия: не причиняйте же в них зла самим себе и сражайтесь все с многобожниками, как они все сражаются с вами. И знайте, что Аллах — с богобоязненными!

37 (37). Вставка — только увеличение неверия; заблужаются в этом те, которые не веруют; они разрешают это в один год и запрещают в другой, чтобы согласовать с тем счетом, который запретил Аллах. И они разрешают то, что запретил Аллах. Разукрашено пред ними зло их деяний, а Аллах не ведет народа неверного!¹⁸

38 (38). О вы, которые уверовали! Почему, когда говорят вам: «Выступайте по пути Аллаха», вы тяжело припадаете к земле?¹⁹ Разве вы довольны ближней жизнью больше последней? Ведь достойные ближней жизни в сравнении с будущей — ничтожно.

39 (39). Если вы не выступите, накажет вас Аллах мучительным наказанием и заменит вас другим народом.²⁰ А вы ни в чем не причините Ему вреда: ведь Аллах мощен над всякой вещью!

40 (40). Если вы не поможете ему, то ведь помог ему Аллах.²¹ Вот изгнали его те, которые не веровали, когда он был вторым из двух. Вот оба они были в пещере, вот говорит он своему спутнику: «Не печалься, ведь Аллах — с нами!» И низвел Аллах Свой покой на него и подкрепил его войсками, которых вы не видели, и сделал слово тех, которые не веровали, низшим, в то время как слово Аллаха — высшее: поистине, Аллах — могучий, мудрый!

41 (41). Выступайте легкими и тяжелыми и боритесь своими имуществами и душами на пути Аллаха!²² Это — лучшее для вас, если вы знаете!

42 (42). Если бы направление было близким и путь умеренным, они последовали бы за тобой. Но далеко для них расстояние, и они будут клясться Аллахом: «Если бы мы могли, то вышли бы вместе с вами!» Они губят самих себя, а Аллах знает, что они — лжецы.

43 (43). Пусть простит тебе Аллах! Почему ты дозволил им прежде, чем выяснились пред тобой те, которые говорили правду, и ты узнал лжецов?

44 (44). Не спрашивают у тебя позволения те, которые веруют в Аллаха и в последний день, чтобы сражаться своим имуществом и своими душами. А Аллах знает богобоязненных!

45 (45). Просят у тебя позволения лишь те, которые не веруют в Аллаха и в последний день и сердца которых сомневаются, — и они колеблются в своем сомнении.²³

46 (46). А если бы они пожелали выйти, то приготовили бы для этого снаряжение, но возненавидел Аллах их отправление и задержал их, и сказано было: «Сидите с сидящими!»

47 (47). Если бы они вышли с вами, то увеличили бы в вас только порчу и поторопились бы среди вас, стремясь к смятению у вас.

А среди вас есть прислуживающиеся к ним: ведь Аллах знает несправедливых!

48 (48). И раньше они стремились к смуте и переворачивали перед тобой дела, пока не пришла истина и проявилось повеление Аллаха, хотя они и ненавидели.

49 (49). Среди них есть и такой, который говорит: «Дозволь мне и не искушай меня!»²⁴ Разве же не в искушение они впали? Ведь, поистине, геенна окружает неверных!

50 (50). Если тебя постигнет что-либо хорошее, это печалит их; а если тебя постигнет несчастье, они говорят: «Мы позаботились о нашем деле раньше!» — и отходят, радуясь.

51 (51). Скажи: «Не постигнет нас никогда ничто, кроме того, что начертал нам Аллах. Он — наш покровитель!» И на Аллаха пусть полагаются верующие!

52 (52). Скажи: «Разве вы выжидаете, что с нами будет только одно из двух благ,²⁵ в то время как мы выжидаем, что вас настигнет Аллах наказанием от Него или нашими руками? Выжидайте же, мы вместе с вами выжидаем!»

53 (53). Скажи: «Тратьте добровольно или по принуждению, — не будет принято от вас! Ведь вы были народом распутным».

54 (54). И мешает принять их расходы только то, что они не веровали в Аллаха и Его посланника, что они приходят на молитву только ленивыми и расходуют только по принуждению.

55 (55). Пусть тебя не восхищают их достойные и их дети. Аллах хочет наказать их этим в ближайшей жизни; души их изойдут, и они будут неверными.

56 (56). И клянутся они Аллахом, что они — из вас, хотя они — не из вас, но они — люди, которые боятся.

57 (57). Если бы они нашли убежище, или пещеры, или вход, то они повернули бы к нему, устремляясь стремительно.²⁶

58 (58). Среди них есть и такие, что клеветают на тебя из-за милостыни. Если им было дано что-нибудь, они довольны, а если им не дано, то вот, — они сердятся.²⁷

59 (59). Если бы были они довольны тем, что дал им Аллах и Его посланник, и сказали: «Довольно нам Аллаха, дает нам Аллах от Своей щедрости и Его посланник. Мы ведь устремляемся к Аллаху!»

60 (60). Милостыни — только для бедных, нищих, работающих над этим, — тем,

у кого сердца привлечены, на выкуп рабов, должникам, на пути Аллаха, путникам,— по постановлению Аллаха, Аллах — знающий, мудрый!²⁸

61 (61). Среди них есть и такие, которые причиняют обиду пророку и говорят: «Он — ухо». Скажи: «Ухо блага для вас!»²⁹ Он верует в Аллаха и верит верующим,

62. и милость — тем из вас, которые уверовали; а тем, которые причиняют обиду посланнику Аллаха,— им — наказание болезненное.

63 (62). Они клянутся перед вами Аллахом, чтобы убогатворить вас; а Аллах и Его посланник имеют больше прав, чтобы их убогатворять, если они — верующие.

64 (63). Разве они не знали, что, кто противится Аллаху и Его посланнику, для того — огонь геенны на вечное пребывание в ней. Это — великий позор!

65 (64). Опасаются лицемеры, что будет низведена на них сура, которая сообщит им то, что в их сердцах. Скажи: «Издавайтесь! Аллах изведет то, чего вы опасаетесь».

66 (65). А если ты их спросишь, они, конечно, скажут: «Мы только погрузались в беседы и забавлялись».³⁰ Скажи: «Не над Аллахом разве, Его знаменами и Его посланником вы издавались?»

67 (66). Не извиняйтесь! Вы оказались неверными, после того как уверовали. Если Мы простим одной партии вас, то накажем другую партию за то, что они были грешниками.

68 (67). Лицемеры и лицемерки — одни от других: они внушают неодобряемое, и удерживают от признаваемого, и зажимают свои руки. Забыли они Аллаха, и забыл Аллах про них. Поистине, лицемеры, они — распутники!

69 (68). Обещал Аллах лицемерам, и лицемеркам, и неверным огонь геенны,— на вечное пребывание там. Довольно с них ее! И проклял их Аллах, и им — постоянное наказание.

70 (69). как и тем, которые были до вас! Они были мощнее вас силой и численнее по достатку и детям и наслаждались своей долей. И вы наслаждались вашей долей, как наслаждались те, которые были до вас, своей долей, и погружались так же, как погружались они. У этих тщетны их дела в ближней жизни и в последней! Они потерпели убыток!

71 (70). Разве не доходила до них весть о тех, которые были до них,— народе Нуха, 'Аде и Самуде, народе Ибрахима и обитателях Мадйана и опрокинутых?³¹ Приходили к ним их посланники с ясными знаменами. Аллах не был таков, чтобы обижать их, но они сами себя обижали!

72 (71). А верующие мужчины и верующие женщины,— они — друзья одни друг-гим: они побуждают к призванному и удерживают от неодобряемого,³² проставляют молитву и дают очищение, повинуются Аллаху и Его посланнику. Этим помилует Аллах: ведь Аллах — велик, мудр!

73 (72). Обещал Аллах верующим мужчинам и женщинам сады, где внизу текут реки,— для вечного пребывания там,— и благие жилища в садах вечности. А благоволение Аллаха — больше; это — великая удача!

74 (73). О пророк! Борись с неверными и лицемерами и будь жесток к ним. Их убежище — геенна, и скверно это возвращение!

75 (74). Они клянутся Аллахом, что не говорили, когда они уже сказали слово неверия и стали неверными после своего ислама. И задумали они то, чего не достигли, и мстят они только за то, что обогатил их Аллах и Его посланник от Своей щедрости. И если они обратятся,— будет лучше для них, а если отвернутся,— накажет их Аллах мучительным наказанием в ближайшей жизни и в будущей. Нет им на земле ни заступника, ни помощника!

76 (75). А среди них есть и такие, что заключили завет с Аллахом: «Если Он дарует нам от Своей щедрости, то мы, конечно, будем давать милостыню, и, конечно, мы будем праведными».

77 (76). Когда же Он даровал им от Своей щедрости, они стали скупиться на это и отвернулись, уклоняясь.

78 (77). И Он дал им в спутники лицемерие в их сердцах до дня, когда они встретят Его, за то, что они обманули Аллаха в том, что Ему обещали, и за то, что они лгали.

79 (78). Разве они не знали, что Аллах знает их тайну и скрытые разговоры и что Аллах — знающий про сокровенное.

80 (79). Те, которые порицают добровольцев из верующих за милостыню и тех, которые находят, (что дать), только по своему усердию, и смеются над ними,— посмеется над ними Аллах, и им — болезненное наказание!

81 (80). Проси для них прощения или не проси для них. Если (даже) ты будешь просить для них семьдесят раз, и то никогда не простит им Аллах.³³ Это — за то, что они не веровали в Аллаха и Его посланника: поистине, Аллах не ведет людей распутных!

82 (81). Радовались оставленные, что они уселись позади посланника Аллаха, и тяготились усердствовать своим имуществом и своими душами на пути Аллаха,³⁴ и говорили: «Не выступайте в зной!» Скажи: «Огонь геены более зноен»,— если бы они разумели!

83 (82). Пусть же они смеются немного, и пусть они плачут много в воздаяние за то, что приобретали!

84 (83). А если Аллах вернет тебя к партии из них и они будут просить у тебя позволения выйти, то скажи: «Никогда вы не выйдете со мною и никогда не будете со мной сражаться против врага! Ведь вы удовольствовались сидением в первый раз; сидите же с остающимися!»

85 (84). И никогда не молись ни об одном из них, кто умер, и не стой над его могилой. Ведь они не веровали в Аллаха и Его посланника и умерли, будучи распутными!

86 (85). Пусть тебя не восхищают их имущества и дети. Аллах хочет их наказать этим в здешнем мире, чтобы души их ушли, когда они будут неверными.

87 (86). Когда была низведена сура: «Веруйте в Аллаха и боритесь вместе с Его посланником»,— обладающие достатком из них попросили у тебя дозволения и сказали: «Оставь нас, мы будем с сидящими!»

88 (87). Они довольны были оказаться с остающимися, и наложена печать на их сердца, и они не понимают.

89 (88). Но посланник и те, которые уверовали вместе с ним, усердствовали своими достатками и своими душами. Для них — блага, и они — счастливы!

90 (89). Аллах уготовал им сады, где внизу текут реки,— для вечного пребывания там. Это — великий успех!

91 (90). И пришли извиняющиеся из бедуинов, чтобы ты им дозволил, и остались те, которые считали лживым Аллаха и Его посланника. Поразит тех из них, которые не веровали, болезненное наказание!

92 (91). Нет тягости ни на слабых, ни на больных, ни на тех, которые не находят, что расходовать, если они искренни пред Аллахом и Его посланником! Нет пути против делающих добро. Поистине, Аллах прощающ, милосерд!

93 (92). ...Ни на тех, которым, когда они придут к тебе, чтобы ты их отправил, ты говоришь: «Я не нахожу, на чем вас отправить». Они отворачиваются, и глаза их полны слезами от печали, что они не нашли, что расходовать.

94 (93). Путь лежит только на тех, которые просят у тебя разрешения, а сами богаты. Они были бы довольны оказаться с оставшимися; наложил Аллах печать на их сердце, так что они не знают.

95 (94). Они будут извиняться перед вами, когда вы вернетесь к ним. Скажи: «Не извиняйтесь, никогда мы не поверим вам! Уже сообщил нам Аллах вести о вас. Увидит Аллах ваше дело и посланник Его. Потом вы будете возвращены к ведающему скрытое и явное, и Он сообщит вам, что вы делали!»

96 (95). Они будут клясться Аллахом пред вами, когда вы вернетесь к ним, чтобы вы отвернулись от них. Отвратитесь же от них: ведь они — мерзость, и убежище их — геенна, в воздаяние за то, что они приобретали!

97 (96). Они кланяются пред вами, чтобы вы удовлетворились ими. Но если вы и удовлетворитесь ими, то ведь Аллах не удовлетворяется народом распутным!

98 (97). Бедуины — еще сильнее в неверии и лицемерии и способнее не знать границ того, что низвел Аллах Своему посланнику. Аллах — знающий, мудрый!

99 (98). И среди бедуинов есть такие, которые принимают то, что они расходуют, за пеню и выжидают дурных поворотов для вас. Против них — поворот зла. Поистине, Аллах — слышащий, знающий!

100 (99). Среди бедуинов есть и такие, что веруют в Аллаха и в последний день и считают то, что они расходуют, за приближение у Аллаха и молитвы посланника. О да! Ведь это — приближение для них. Введет их Аллах в Свою милость: ведь Аллах — прощающий, милосердный!

101 (100). А опередившие, первые из выселившихся и ансаров и те, которые следовали за ними,— в благодетельствовании: доволен ими Аллах, и они довольны им.³⁵ И уготовал Он им сады, где внизу текут реки,— для вечного пребывания там. Это — великая удача!

102 (101). А среди бедуинов, что вокруг вас, и жителей Медины есть лицемеры; они — упрямы в лицемерии. Ты их не знаешь, Мы их знаем. Мы их накажем дважды, потом они будут возвращены к великому наказанию.

103 (102). Есть и другие, что сознались в своих грехах: они смешивали дело доброе и другое — плохое,— может быть, Аллах обратится к ним: ведь Аллах — прощающий, милостивый!

104 (103). Возьми с имуществ их милостыню, которой ты очистишь и оправдаешь их. И молись над ними, ведь твоя молитва — успокоение для них, а Аллах — слышащий, знающий!

105 (104). Разве они не знают, что Аллах принимает покаяние от Своих рабов и принимает милостыни и что Аллах — обращающийся, милосердный!

106 (105). И скажи: «Действуйте, и увидит ваше дело Аллах и посланник Его и верующие! И будете вы возвращены к ведающему тайное и явное. И Он сообщит вам то, что вы делали».

107 (106). Есть и другие, которым отсрочено до приказа Аллаха: либо Он накажет их, либо обратится к ним. Поистине, Аллах — знающий, мудрый!

108 (107). А о тех, которые устроили мечеть из соперничества, из неверия, для разделения среди верующих и для засады тем, кто раньше воевал с Аллахом и Его посланником, — они будут, конечно, клясться: «Мы желали только благого!» — о них Аллах свидетельствует, что они — лжецы.³⁶

109 (108). Не стой в ней никогда: мечеть, основанная на богобоязненности с первого дня, — достойнее, чтобы ты в ней стоял. В ней — люди, которые любят очищаться, поистине, Аллах любит очищающихся!

110 (109). Тот ли лучше, кто основал свою постройку на боязни Аллаха и Его благоволения, или тот, кто основал свою постройку на краю осыпающегося берега, и он сокрушился с ним в огонь геенны? Поистине, Аллах не ведет народ неправедный!

111 (110). Их постройка, которую они воздвигли, не перестает быть сомнением в их сердцах, если только не расколются их сердца, Аллах — сведущий, мудрый!

112 (111). Поистине, Аллах купил у верующих их души и их достояние за то, что им — рай! Они сражаются на пути Аллаха, убивают и бывают убиты, согласно обещанию от Него истинному в Торе, Евангелии и Коране. Кто же более верен в своем завете, чем Аллах? Радуйтесь же своей торговле, которую вы заключили с Ним! Это ведь — великий успех!

113 (112). Кающиеся, поклоняющиеся, прославляющие, странствующие, кланяющиеся, падающие ниц, приказывающие добро, удерживающие от зла, охраняющие установления Аллаха... и обрадуй верующих!³⁷

114 (113). Не следует пророку и тем, которым уверовали, просить прощения для многобожников, хотя бы они были родственниками, после того как стало ясно для них, что они — обитатели огня.³⁸

115 (114). И просьба Ибрахима о прощении отцу была только согласно обещанию, которое он ему обещал. Когда же ему стало ясно, что он — враг Аллаха, он отказался от него. Поистине, Ибрахим — сострадательн, кроток!

116 (115). Аллах — не таков, чтобы сбивать с пути народ после того, как Он вел их прямо, пока не разъяснит им, чего им остерегаться. Поистине, Аллах о всякой вещи сведущ!

117 (116). Поистине, Аллаху принадлежит власть над небесами и землей! Он живет и умерщвляет, и нет у вас помимо Аллаха заступника и помощника.

118 (117). Аллах обратился к пророку, мухаджирам и ансарам, которые последовали за Ним в час тягости, после того, как сердца части их едва не совратились. Потом Он обратился к ним, — ведь Он к ним кроток, милосерд!

119 (118). ...И к тем трем,³⁹ которые были оставлены. А когда стеснилась земля для них со всем, что широко, и стеснились у них души, и думали они, что нет убежища от Аллаха иначе, как у Него, потом Он обратился к ним, чтобы они раскаялись: ведь Аллах — обращающийся, милостивый!

120 (119). О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми.

121 (120). Не следовало жителям Медины и тем, кто кругом них из бедуинов, отставать от посланника Аллаха и заботиться только о самих себе вместо него. Это — за то, что их не постигала ни жажда, ни усталость, ни голод на пути Аллаха; они не ступали и шага, который рассердил бы неверных, не получали от врага никакой полочки, без того, чтобы не было записано им за это благое дело. Поистине, Аллах не губит награды добродеев!

122 (121). Они не издерживают расхода ни малого, ни великого, не проходят какой-нибудь долины, чтобы это не было записано за ними, дабы воздал им Аллах лучшим, чем то, что они делали.

123 (122). Не следует верующим выступать всем. Отчего бы из каждой части их не выступал какой-нибудь отряд, чтобы они изучали религию и чтобы увещали свой народ, когда вернутся к ним? Может быть, они остерегутся!

124 (123). О вы, которые уверовали! Сражайтесь с теми из неверных, которые близки к вам.⁴⁰ И пусть они найдут в вас суровость. И знайте, что Аллах — с богобоязненными!

125 (124). Когда только ниспосылается сура, то среди них есть такие, которые говорят: «Кому из вас это добавит веры?» Но в тех, которые уверовали, она увеличила веру, и они радуются.

126 (125). У тех же, в сердцах которых болезнь, она прибавила скверну к их скверне, и они умерли, будучи неверными.

127 (126). Разве они не видят, что подвергаются искушению каждый год раз или два раза? Потом они не каются и не вспоминают.

128 (127). А когда только ниспосылается сура, то смотрят одни из них на других: «Видит ли вас кто-нибудь?» Потом отвращаются, — пусть отвратит Аллах их сердца за то, что они — люди не разумеющие!

129 (128). К вам пришел посланник из вас самих.⁴¹ Тяжко для него, что вы грешите; он — ревнует о вас, к верующим — кроток, милостив.

130 (129). А если они отвернутся, то скажи: «Довольно мне Аллаха! Нет божества, кроме Него; на Него я положился, ведь Он — Господь великого трона!»

КОММЕНТАРИИ

СУРА 8

1. По хронологии сура относится ко второму мединскому периоду, прочитана после битвы при Бадре. Время чтения определяется точно — 16 марта 624 года, ибо битва при Бадре произошла 15 марта 624 года. После победы в битве отряд пророка Мухаммада возвращался в Медину. На следующий день, миновав ущелье ас-Сафра в условиях полной безопасности отряд остановился на привал. Здесь и произошел раздел добычи между участниками битвы. Добыча была довольно богатая по условиям тех времен: по одному источнику — 49, а по другому — 68 пленных (выкуп каждого пленного стоил довольно дорого для его близких родственников), 30 лошадей, 150 верблюдов, много оружия и кольчуг. Равный раздел добычи вызвал недовольство особо отличившихся бойцов. Основная тема суры связана с установлением справедливого раздела добычи.

2. Когда возникло разногласие после раздела добычи, некоторые воины обратились к Мухаммаду с просьбой решить дело по справедливости. Поэтому в аяте повелевается повиноваться тому решению, которое принято Аллахом и его посланником.

3. В аятах 5—6 речь идет о том, что не все мединцы захотели идти на битву в отряде Мухаммада, некоторые так и остались в городе, считая, что это не битва на пути Аллаха, а обычное нападение на караван.

4. Речь о том, что мусульмане могли столкнуться с двумя отрядами: один из них, менее вооруженный, это — караван с охраной из сорока вооруженных людей, а другой — отряд мекканцев из 1000 вооруженных бойцов, вышедших навстречу каравану.

5. Аяты 7—9. Аллах хотел утвердить истину и решил, чтобы произошло столкновение с большим вооруженным отрядом. Но, приняв такое решение, он тем не менее прислал на помощь 1000 ангелов.

6. Речь о некоторых бойцах, растерявшихся в начале битвы. По описаниям в первоисточниках, бой начался рано утром с поединков отдельных бойцов по традициям арабских племен. Первыми на поле боя из мекканцев вышли влиятельный горожанин Утба с братом Шайбой и сыном Валидом, а со стороны мусульман — Али, Хамза (один — приемный сын, другой — дядя Мухаммада) и Убайд. Все три мекканца погибли, а из мусульман только Убайд был ранен. При нападении мекканской конницы в стане мусульман некоторые воины растерялись. Но когда была уничтожена группа наиболее воинственных мекканцев во главе с Абу Джахлем, а знаменосцы их попали в плен, мекканцы дрогнули, а затем беспорядочно бежали с поля боя.

7. Буквальный перевод «не ты бросил, когда бросил, но Аллах бросил» не передает смысла. Речь идет о стрельбе из лука и бросании пика.

8. Первая часть аята обращена к мусульманам, а вторая часть по смыслу — к врагам мусульман.

9. Речь здесь не о собственно животных, а о людях неверующих — не воспринимающих увещевание, не слушающих обращений к ним.

10. «Аллах стоит между человеком и его сердцем» — характерное представление об Аллахе, воспринятое в последующие века во всех течениях суфизма.

11. Напоминание мухаджирам о том, в каком положении они находились в Мекке и что им дал переезд в Медину.

12. Смысл: богатство и дети даются человеку в целях испытания его.

13. Здесь различие (араб. фуркан) не в смысле конкретной книги, а как различие добра и зла ради очищения.

14. Вспоминание событий в Мекке, когда курейшитские предводители пытались захватить мусульман, убить или выгнать их из их жилищ. Поэтому вместо «вот ухищряются» было бы более точно употребить прошедшее время — «когда они ухищрялись».

15. Упоминание о характерном доисламском ритуале поклонения Каабе — свистом и хлопанием в ладоши. (О совершении обрядов в нагом виде было сказано в предыдущих сурах.)

16. Дословный перевод затушевывает смысл аята, который в контексте выражен отчетливо, а именно: «сражайтесь с неверными до тех пор, пока не исчезнет у них искушение неверия и не станут они поклоняться только Аллаху».

17. Знаменитый аят, где установлен институт хумс (буквально — пятая часть) — т. е. установление, согласно которому сначала пятая часть добычи выделяется Аллаху, т. е. передается в распоряжение общины верующих в благотворительных целях, затем оставшаяся часть распределяется между участниками битвы. В дальнейшем хумс вошел и в шариат как норма. В начальном периоде хумсом распорядился сам Мухаммад в интересах общины мусульман, а в дальнейшем хумс поступал в казну халифов как доля халифа от военной добычи.

18. В аяте 43 описана реальная картина битвы при Бадре: мусульмане стояли на восточной стороне поля боя, а мекканцы — на противоположной стороне (в исторических источниках отме-

чено, что поднимающееся с Востока солнце слепило им глаза), а караван курейшитов находился внизу — ближе к берегу Красного моря, т. е. далеко позади отряда мусульман.

19. В аятах 45—46 разъясняется, что битва произошла по желанию Аллаха: мусульманам он показал врагов малочисленными, чтобы они не дрогнули, а мекканцам Аллах показал мусульман слабыми, чтобы они уверенно вступили в бой. Затем Аллах усилил мусульман, чтобы они добились полного успеха.

20. Имеются в виду мекканцы, которые вышли с уверенностью наказать мусульман, но сами оказались побежденными. Следует подчеркнуть, что по первоисточникам победа при Бадре принесла мусульманам и пророку Мухаммаду первую и довольно ощутимую славу в глазах мекканцев, сильно укрепила авторитет пророка в общине верующих.

21. Здесь тоже речь не о собственно животных, а о людях, как и в аяте 22 (см. комментарий 9).

22. Исследователи предполагают, что здесь речь о договоре с племенем Кайнука, который имел место несколько месяцев спустя после Битвы при Бадре. Следовательно, аят мог быть прочитан значительно позже.

23. Аят 68 сложной конструкции, но смысл при переводе оказался затухеван. Смысл его таков: пророку не подобает вообще учинять избиение и брать пленных, но он вынужден делать это, ибо люди стремятся к удовольствиям земной жизни, забывая, что истинное счастье их ждет в мире ином.

24. По источникам, сам пророк Мухаммад повелел убить одного из самых заклятых врагов, но некоторых пленных отпустил на волю. В этом аяте наставления и другим участникам битвы отпустить кое-кого из их пленных.

25. В аятах 75—76 речь идет о трех категориях мусульман: мухаджирах (т. е. тех, которые выселились из Мекки), ансарх (мединцах, которые приютили их и помогали им) и тех, которые переселились из Мекки в Медину потом, то есть после образования общины верующих.

СУРА 9

1. Единственная сура, в начале которой отсутствует формула «Во имя Аллаха милостивого, милосердного». В толкованиях Корана это объясняется по-разному. По мнению некоторых, в этой суре речь идет о ведении беспощадной войны с неверными, но этому по духу не соответствует формула «бисмилла», в которой речь идет о милосердии Аллаха. Но более близким к истине является мнение тех толкователей, которые считают, что 9-я сура является продолжением 8-й суры. Сопоставительный анализ содержания обеих сур дает основание для такого предположения.

Вместе с тем, материал этих двух сур относится к различным периодам: 8-я сура, как уже рассмотрено, ко 2 году хиджры, а 9-я сура отражает события 630 года, т. е. 8—9 годы хиджры. Возможно, материал обеих сур сначала был объединен в одну суру, затем разделен, и тогда вторая часть осталась без формулы.

2. Здесь слово «бара'а» переведено как «отречение». Но точнее будет перевести как «освобожден», «разрешен», т. е. речь идет о том, что многобожникам разрешено свободно передвигаться в течение четырех месяцев, о чем речь идет в аяте 2, когда многобожники избавлены от обязательства на основе подписанного договора.

3. Большой хадж был предпринят в феврале-марте 631 года с целью исламизации совершения хаджа и его традиций. До этого сам Мухаммад совершил хадж два раза, но это были умра, т. е. посещения Каабы вне времени хаджа. Большую группу мусульман — около 300 паломников — Мухаммад поручил возглавлять Абу Бакру. Через день он послал ему в догонку Али с текстом 9-й суры, чтобы Абу Бакр прочел ее в долине Мина во время свершения жертвоприношения. Абу Бакр точно выполнил указание и прочел суру в Мине, что оказало сильное воздействие на паломников. По источникам не устанавливается точно, полностью сура была прочитана в Мине или нет, однако предполагается, что часть ее, начиная с 32 аята и до конца суры, была прочитана позже, после хаджа, хотя и в ней отражены события 629—630 годов.

4. Здесь речь идет о том, что Аллах избавляет многобожников от ограничений на время большого хаджа.

5. После окончания хаджа и срока договора снова мусульмане имеют право нападать на многобожников, помимо тех, с которыми заключила союз Медина.

6. Аят 5 — знаменитый «Аят меча» (арабск. «аят ас-сайф»), призывающий к установлению ислама силой меча.

7. Многобожники, с которыми было подписано соглашение раньше, у «священной мечети», т. е. речь идет о соглашении с мекканцами после взятия Мекки и посещения Каабы Мухаммадом в январе 630 года.

8. В аятах 8—12 обвинение мекканцев в несоблюдении этого соглашения.

9. Чтение аятов 1—31 в Мине во время жертвоприношения должно было оказать давление на мекканцев, которые все еще колебались в течение целого года после взятия Мекки. До этого времени Мухаммад только проповедовал и убеждал многобожников принять ислам, но не заставлял. Первые 31 аят этой суры устанавливают строгое требование принять ислам, иначе будут неверные подвергнуты нападению, что свидетельствовало об укреплении власти мусульманского государства.

10. Выражение «йа'мару масджид» не точно переводится как «оживлять мечети». Речь по сути идет о посещении мечети, т. е. о совершении молитвы в ней. До этого времени любой чело-

век мог войти в Каабу и совершить там моление. С этого времени Кааба объявляется храмом только мусульманским, и многобожникам запрещается входить в нее.

11. От посещения Каабы паломниками, от поения водой из священного источника и обслуживания их имели определенный доход настоятели Каабы. С новым установлением, естественно, этот доход мог в какой-то степени уменьшиться. В аяте 19 речь идет о том, что ради дохода нельзя приравнивать мусульман и многобожников, и не следует последних пускать в Каабу, несмотря на уменьшение дохода.

12. В аятах 23—24 строго предписывается мусульманам отказаться даже от своих близких родственников, если они не приняли ислам, не считаться с тем, что они могут оказаться без средств, лишиться имущества и т. д. Следует отказаться даже от родителей и семьи.

13. Имеется в виду битва при Хунайне (оазис и поселение, находящиеся примерно в ста километрах на северо-востоке от Мекки).

Пока Мухаммад с войсками брал Мекку (12—15 января 630 г.) и навел там порядок, в районе Хунайна стало собираться огромное (более двадцати тысяч) войско враждебных племен, чтобы нанести удар мусульманам. Мухаммад пошел ему навстречу с двенадцатитысячным войском. 31 января 630 года произошло крупное сражение в оазисе Хунайн, где победили мусульманские войска, а племена разбежались. Мусульманам досталась большая добыча: около 6000 пленных (о них шла речь в аяте суры 4), 24 тысячи верблюдов, 40 тысяч овец и 160 тысяч дирхемов денег. Такая добыча объяснялась тем, что вожди племен, чтобы предотвратить бегство своих соплеменников с поля битвы, заставили их взять с собой в поход семью и все имущество. В результате этого разгром имел внушительные последствия для других племен. Поэтому не случайно следующий год был отмечен огромным числом племен, решивших признать над собой власть Медины и направивших по такому случаю к Мухаммаду свои делегации. 9-й год хиджры получил в истории ислама название — «год делегации племен».

14. В аяте 28 — строгий запрет многобожникам приближаться к Каабе. Слово «наджас» встречается в Коране единственный раз. Следовало бы переводить его как «нечистые», в смысле религиозной нечистоты, а не как «нечистота» вообще.

15. Аяты 29—35 прочитаны раньше, до похода на Мекку и Хунайн, и связаны с войной с христианами и иудеями. До этого момента в проповеди Мухаммада «люди писания» отличались от многобожников, к ним выражалось сравнительно терпимое отношение. В конце 8 года хиджры, после нескольких столкновений как с иудеями, так и христианами, дается строгое предписание рассматривать «людей писания» так же, как неверных, наравне с многобожниками.

16. Узайр — в Торе Ездра или Эзра — один из малых пророков. В ортодоксальном иудаизме он считался лишь одним из пророков, а вовсе не сыном бога. Но в источниках имеются сведения, что среди иудеев последователи секты самаритян отличались особым поклонением ему как самому влиятельному пророку. Ездра действовал в эпоху Вавилонского плена. В 597 и 586 годах до н. э. вавилонский царь Навуходоносор разрушил Иерусалим и увел в плен значительную часть населения Иудеи. В 539 году до н. э. персидский царь Кир II освободил их из плена. В книге Ездры описано освобождение евреев и возвращение их в Иудею. О том, как в Коране оспаривается христианское учение, признающее Иисуса сыном бога, говорилось в предыдущих сурах.

17. В аятах 31 и 34 выдвигаются два обвинения; первое — иудеи и христиане воспринимают своих религиозных предводителей (книжников и монахов) вместо бога; второе — они ведут паразитический образ жизни. Это свидетельствует об окончательном разрыве с христианами и иудеями.

18. Аяты 36—37 — вставка, относящаяся к 631 году, где речь идет о календаре. Здесь, в первых, устанавливается священность четырех месяцев, которые считались священными и до ислама. В течение этих месяцев воздерживались от войны и набегов. Это 1-й месяц мухаррам (буквально «священный», «запретный»), 7-й месяц — раджаб (буквально «воздержание от войны и набегов»), 11-й месяц зу-л-каада (буквально «оставаться дома»), 12-й месяц зу-л-хиджжа (месяц хаджа, т. е. паломничества). Следует иметь в виду, что до той поры в Мекке действовал старый солнечный календарь (а календарь хиджры введен халифом Умаром с 637 года, т. е. с 16 года хиджры), в котором в конце года вводился дополнительный месяц — наси (арабск.). Отмена введения «наси» (аят 34) означала переход от лунного к солнечному календарю.

Кроме этого, у племен была практика, когда вождь племен любой из этих месяцев мог объявить простым месяцем, если ему нужно было вести войну, а вместо него объявлял священным другой месяц. В связи с упомянутыми фактами последовало строгое предписание о священных месяцах.

19. Аяты 38—57 прочтены в связи с подготовкой и осуществлением похода в Табук (на Византийские земли в северном направлении). Поход был организован в связи с распространившимся слухом, что император Ираклий готовит нападение на Хиджаз. Но слух оказался ложным, тем не менее мусульманские войска вернулись из похода (совершен в октябре 630 г.) с большой добычей.

20. В аятах 38—39 речь идет о тех, кто пытался по разным причинам увильнуть от похода.

21. Речь о тех, кто оказывал помощь пророку в снаряжении войска в поход, ибо не хватало средств. В источниках сообщается, что ближайшие сподвижники пророка вложили большие средства: Абу Бакр отдал последние остатки своего состояния, вывезенного им из Мекки, Умар выдал половину своего состояния, Усман снарядил за свой счет третью часть армии, Абд ар-Рахман ибн Ауф преподнес 8 тысяч дирхемов и т. д.

22. Известное выражение «бороться своими имуществами и душами на пути Аллаха» означало — преподнести средства в пользу общины или самому принять участие в битве.

23. В аятах 44—48 — одобрение тех мусульман, которые, не спрашивая никакого позволения, выступают в поход, и осуждение тех, которые ищут повод, чтобы освободиться от похода.

24. Аят 49 — намек на старого соперника пророка Абдаллаха ибн Убаййа, который пускался на всякие хитрости, чтобы только не участвовать в походе.

25. В аяте 52 перед мусульманином ставится выбор одного из двух благ: или победить в битве, или погибнуть на пути Аллаха и достичь тем самым райского блаженства.

26. Аяты 53—57 — о тех, кто избегает оказывать помощь в подготовке похода, и о тех, кто готов скрыться в любой пещере, лишь бы не участвовать в походе.

27. В аятах 58—81 — осуждение клеветников и лицемеров. В аятах 58—59 речь об отдельных лицемерах и бедуинах, которые выражали недовольство распределением добычи, если им доставалось мало. Таких случаев было много после каждой победной битвы.

28. В аяте 60 дается установление о том, для кого прежде предназначается распределение того, что собрано в пользу общины. Установлено 8 категорий, и это позже вошло в шариат: 1) низшие, 2) бедные, у которых не хватает на жизнь, 3) участники сбора преподношений, 4) люди, которые благожелательны к мусульманам, 5) для освобождения рабов, 6) те, кому надо отдавать долги, 7) участники священной войны, 8) путники.

29. Обвинение пророка в том, что «он — ух» — в смысле: за всеми следит и выслеживает, все узнает, все слышит и т. д. По сведениям хадисов Бухары, главный авторитет по толкованию Корана — сын дяди Мухаммада ибн Аббас толковал это в том смысле, что пророк слышит откровения бога и точно передает их содержание. В этом смысле и следующая фраза: «Ухо — благо для вас!»

30. В аятах 66 и 70 арабский глагол «хаваз» переводится как «погружение» (в беседы). По сути речь идет о словесной шутке и острологии, которые квалифицируются в аяте как высмеивание Аллаха и пророка.

31. В аяте 71 перечисляются пророки и народы. Нух — известный из Торы Ной, спасший много живых существ от потопа в своем ковчеге (легенда идет от Шумера с III тысячелетия до н. э.). Ад, или бани Ад — адиты, — легендарный народ, представляемый как великаны. Исторически не подтверждается их существование. Самуд, или бани Самуд, — самудиты (в Торе фемудиты или фемудяне) — древние исчезнувшие южноарабские племена. Оставшиеся от них надписи на камнях только теперь изучаются учениками известного бельгийского семитолога Рикманса, но проблема еще достаточно не освещена. Мадьян, или мадьяниты (в ряде других сур они названы по староарабски Айк), которых увещевал пророк Шу'айб, — исторически не подтвержденный, скорее всего мифический народ. Под «опрокинутыми» подразумевается народ Содома и Гоморры, наказанный за непослушание увещеваниями пророка Лота.

32. Известное выражение «побуждать к признанному и удерживать от неодобряемого» (раньше оно было упомянуто в суре 3, аят 100) — по араб. «амр би-л-ма'руф ва нахи ан ал-мункар» — становится в дальнейшем важным догматическим положением, в котором обучение людей исламу и отвращение их от неверия выдвигается как строгая обязанность (фард) для верующего.

33. Очень строгое осуждение лицемеров: их не простит Аллах, даже если пророк будет просить за них семьдесят раз.

34. В аятах 82—97 вновь говорится о тех, кто по разным поводам уклонился от участия в походе и сражении.

35. Аяты 98—107 — о бедуинах. К этому времени (8—9 годы хиджры) многие племена, признавшие политическую власть Медины, принимали активное участие в походах, но они еще плохо разбирались в установлениях ислама, лицемерили, допускали нарушения и т. д. Поэтому в аяте 101 выделяются из всей массы мусульман мухаджиры (переселенцы) и ансары (мединские последователи), как «опередившие», т. е. последовательные и сознательные мусульмане, призванные вести за собой других.

36. В аятах 108—111 имеется в виду мечеть лицемеров, во главе которых стоял Абу Амр Хазраджи, построенная без ведома пророка в районе Куба (юг Медины) с целью соперничества с мечетью пророка в центре Медины. По возвращении из похода в Табук мечеть была разрушена и сожжена по повелению Мухаммада.

37. Аят 113 — основная характеристика истинно верующих мусульман.

38. В аятах 114—115 речь идет о случаях, когда отдельные мусульмане, ссылаясь на случай с Авраамом и его отцом, просили прощение своих отцов, которые умерли многобожниками, не приняв ислам. Здесь предписание о том, что никому из предков не будет прощения, поскольку Авраам сам отказался от просьбы к богу причислить его отца к мусульманам.

39. В источниках упоминаются имена трех мекканцев, которые искренне покаялись перед пророком и были прощены.

40. В аятах 124—127 — предписание бороться с неверными.

41. Выражение «посланник из вас самих» часто трактуется как посланник из курейшитов. Сура прочитана в Медине, где курейшиты составляют небольшое ядро общины мусульман. Но более обоснованно это выражение следует понимать как «посланник из самих арабов», поскольку в сурах Корана в одиннадцати местах упомянуто, что Коран ниспослан на арабском языке, чтобы он был понятен арабам.

Продолжение следует.





П. Д. Джеймс

Перевод с английского Ч. Толстяковой

Неженское ДЕЛО

РОМАН

ГЛАВА I

В то утро, когда умер Берни Горд — а может, смерть наступила и ночью, ведь Берни сам распорядился своей судьбой и не задумался, что кому-то впоследствии понадобится хоть приблизительно определить время, когда он ушел из жизни, — так вот, в то утро Корделия застряла на линии Бэйкерлу в районе северного Ламберта и на полчаса опоздала на работу. Вынырнув из подземки на залитую ярким июльским солнцем Оксфордскую площадь, она пулей пронеслась мимо первых покупательниц, разглядывавших витрины универмага женской одежды. «Дикинз и Джоунс», и, окунувшись в разноголосицу улицы Кингли, стала пробираться между запруженным толпой тротуаром и сверкающей потоком легковушек и грузовиков узкой мостовой. Спешить ей было некуда — в тот день в агентстве не было запланировано ни встреч, ни бесед с клиентами, не нужно было даже печатать заключительный отчет, — но Корделия превыше всего ценила порядок и точность. Сейчас они с приходящей машинисткой мисс Спаршот рассылали информацию об агентстве всем лондонским стряпчим, надеясь привлечь клиентуру. Мисс Спаршот, наверное, как раз печатает рекламные проспекты, и каждая минута опоздания Корделии заставляет ее поглядывать на часы, после чего она вымещает свое раздражение на ни в чем не повинной машинке.

Мисс Спаршот, бедняга, была на редкость нехороша собой. Словно боясь, что лошадиные зубы выпрыгнут изо рта, она всегда поджимала губы; светлые, редкие волосы мелко завивала и покрывала лаком; на скошенном подбородке рос одинокий жесткий волос, она выщипывала его, но волос не давал себя истребить и тут же вырастал вновь. А еще говорят, что все люди рождаются равными! Какое уж тут равенство — с таким-то подбородком. Временами Корделия пыталась внушить себе симпатию к мисс Спаршот, а заодно и ко всем, кто живет в одной-единственной комнате, считает пятипенсовики, которые жрет газовая печь, и из экономии сам подшивает юбки и обрабатывает швы.

Вот и мисс Спаршот прилежно посещала вечерние курсы кройки и шитья при Совете Большого Лондона и стала искусной портнихой, но все ее наряды, впрочем, превосходно сшитые, казались такими пресными, что ей практически никогда не удавалось выглядеть модно. Прямые непременно серые или черные юбки могли служить примером безупречно заложенной складки или образцово вшитой молнии; на блеклые, пастельных тонов блузки с мужскими воротниками и манжетами она без колебаний нацепляла всю свою бижутерию, а сложных фасонов платья были как нарочно такой длины, что подчеркивали бесформенные ноги.

Входная дверь, которую для удобства таинственных хозяев и их не менее таинственных посетителей всегда держали на задвижке, оказалась открытой, но Корде-

ля не почувствовала беды. Новая медная табличка слева от двери сияла на солнце, и оттого еще заметнее казалась забившаяся в полустертые буквы грязь.

СЫСКНОЕ АГЕНТСТВО ГОРДА

Владельцы: БЕРНАРД Г. ГОРД, КОРДЕЛИЯ ГРЭЙ, —

с удовольствием прочитала Корделия, мельком взглянув на табличку. Не одну неделю ей пришлось терпеливо и ненавязчиво убеждать Берни, что их имена только выиграют без слов «бывший следователь Лондонской полиции по уголовным делам» и «мисс».

Мудрить над табличкой не пришлось, так как у Корделии не было ни диплома, ни подходящего послужного списка, ни, тем более, денег. Ей было нечего вложить в дело, кроме своих двадцати двух лет, тонкого, но крепкого тела и ясного ума, который, как подозревала Корделия, скорее смущал, чем восхищал ее патрона. Но, досадуя на Берни, она, тем не менее, искренне к нему привязалась.

Довольно скоро она поняла, что судьба отвернулась от Берни Горда. Это не бросалось в глаза, но признаки были налицо: в автобусе Берни никогда не удавалось занять лучшее место — слева за кабиной водителя; стоило ему залюбоваться видом из окна поезда, его тут же заслонял встречный; бутерброд он всегда ронял маслом вниз; мотор их малолитражки, никогда не подводившей Корделию, умудрялся заглухнуть на самой оживленной магистрали, если за руль садился Берни.

Уж не разделила ли она с ним его злую судьбу, с горя согласившись стать его компаньоном? К сожалению, обратное было не в ее силах: она никак не могла помочь Берни стать везучим.

На лестнице, как обычно, пахло крепким потом, мебельным лаком и дезинфекцией. Темно-зеленые стены не просыхали круглый год, словно сквозь них, отравляя воздух, испарялись отчаявшаяся добропорядочность и несбывшиеся надежды.

Ступени с нарядными перилами из кованого железа были покрыты заплыванным, растрескавшимся линолеумом; хозяин латал в нем дыры разноцветными кусочками самых немислимых сочетаний, и только по настоянию жильцов.

Агентство находилось на третьем этаже. Корделия не услышала стука клавиш и, войдя, увидела, что мисс Спаршот протирает машинку — древний «Империал», источник справедливых жалоб.

Прямая, как указка, вся в пятнах возмущения, мисс Спаршот подняла глаза от машинки.

— Наконец-то вы пришли, мисс Грэй. Я тревожусь за мистера Горда. Он, по моему, должен быть в кабинете, но его совсем не слышно, а дверь заперта.

С упавшим сердцем Корделия дернула за ручку двери.

— Но почему вы ничего не предприняли?

— А что я, по-вашему, должна была предпринять, мисс Грэй? Я стучалась, звала его. Да мне вообще не следовало вмешиваться. Кто я такая? Всего лишь приходящая машинистка. А если б он ответил? Представляете мое положение? В конце концов, он, я полагаю, имеет право делать в своем кабинете все, что хочет. А кроме того, я даже не уверена, что он там.

— Он там. Вот его шляпа. А дверь заперта.

Фетровая шляпа Берни с захватанными, загнутыми вверх полями — шутовский колпак — висела на вешалке, как символ одинокой старости. Корделия начала рыться в сумке в поисках ключа. Как всегда, в нужный момент он завалился на самое дно. Мисс Спаршот застучала по клавишам, дабы отмежеваться от надвигающихся потрясений, и под шум машинки, оправдываясь, сказала:

— Там на столе письмо. Это вам.

Корделия разорвала конверт. Письмо было простым и коротким. Берни умел обходиться без лишних слов, когда ему было что сказать.

«Прости, коллега. Я узнал, что у меня рак, и выбираю самый легкий выход. Я навидался раковых больных и не стану лечиться. Завещаю у моего адвоката. Его имя прочтешь, заглянув в ящик стола. Дело оставляю тебе. А также в с е снаряжение. Удачи тебе и спасибо».

А внизу с эгоизмом приговоренного нацарапал последнюю бессовестную просьбу:

«Если найдешь меня живым, ради бога, не торопись звать на помощь. Я тебе доверяю. Берни».

Повернув ключ в замке, она зашла в кабинет, осторожно прикрыла за собой дверь... И с облегчением поняла, что ждать не придется. Берни был мертв. Он лежал простертый на столе, точно в полном изнеможении. Опасная бритва без чехла, видимо, выскользнула из его полуразжатых пальцев и, прочертив по столу тонкий кровавый след, застряла у самого края. Левая рука, рассеченная в запястье двумя параллельными надрезами, лежала ладонью вверх в эмалированной миске. Берни налил в миску воды, но сейчас она была до краев полна бледно-розовой жидкостью. Кровь и вода перелились на стол и на пол, промолив прямоугольный, кричащей расцветки коврики.

Берни купил его недавно, в надежде внушить клиентам, что ведет дело с размахом, но на самом деле коврик лишь привлекал внимание к убожеству обстановки.

Первый надрез был неглубокий, наверное, пробный, но во второй раз Берни разрезал себе руку до самой кости. Однажды он рассказал ей, как много лет назад, во время своего первого полицейского обхода, у дверей склада обнаружил скорчившегося старика: тот пытался покончить с собой. Он раскроил себе запястье разбитой бутылкой, но его всё же удалось вернуть к постылому прозябанию — огромный сгусток крови закупорил вскрытую вену. Берни не забыл этот случай и позаботился, чтоб его кровь не запеклась и не свернулась.

Корделия приоткрыла дверь и, выглянув в приемную, тихо сказала:

— Мистер Горд мертв. Не входите. Я позвоню в полицию из кабинета.

В полиции к ее сообщению отнеслись спокойно, сказали, что кого-нибудь пришлют.

Корделия присела подле тела. Захотелось как-то пожалеть, утешить мертвого Берни; она с нежностью коснулась его волос. Смерть еще не приобрела полной власти над этими холодными, потерявшими чувствительность клетками, но на ощупь волосы оказались жесткими и пугающе живыми, как шкура зверя. Она быстро отдернула руку и попробовала дотронуться до лба. Да, то была смерть. Ее сострадание уже ничего не значит для Берни, а стало быть — не имеет смысла. Выказать любовь мертвому ничуть не легче, чем живому.

Когда же все-таки умер Берни? Теперь уже никто не узнает. И все же, наверное, существовал во времени краткий, но осязаемый миг, когда он вдруг перестал быть Берни и превратился в эту грудку костей и мяса, тяжелую, застывшую, безликую. Такой важный миг, а Берни даже не заметил его. Как странно!

Ее вторая приемная мать миссис Уилкс сказала бы: нет, он заметил, непременно заметил, и то был миг невыразимого блаженства, и увидел он башни света, и услышал безбрежную музыку, и душа его возликовала и воспарила горю.

Бедная миссис Уилкс! Муж умер, единственный сын погиб на войне, в маленьком доме вечно галдят приемные дети, воспитанием которых она зарабатывала себе на хлеб — разве могла она прожить без грез? На все случаи жизни у нее были припасены утешительные сентенции, как брикеты угля к холодной зиме. Впервые за много лет Корделия вспомнила о ней и вновь услышала усталый, нарочито веселый голос: «Господь все видит, да не скоро скажет».

Что ж, слепой или зрячий, Господь обошел Берни молчанием. Так упрямо, непоколебимо верить в успех дела, даже когда денег у них оставалось только что заплатить за газ, но без борьбы отказаться от надежды на выздоровление — как это странно и как похоже на Берни! А может, он в глубине души все же понимал, что Агентство обречено, как и он, и, чтоб не ударить в грязь лицом, решил разом прекратить и жизнь и дело? Вот только способ выбрал уж очень мучительный, ведь как-никак бывший полицейский, должен бы знать что почем. И тут до нее дошло, почему Берни выбрал бритву и таблетки. Пистолет. Берни добровольно отказался от легкой смерти. Он мог воспользоваться пистолетом, но хотел, чтоб пистолет достался Корделии. Он завещал ей пистолет вместе с расшатанными каталожными шкафами, допотопной машинкой, чемоданчиком с необходимым комплектом принадлежностей детектива, малолитражкой, противоударными водонепроницаемыми часами, пропитанным кровью ковриком и кучей писчей бумаги, сверху украшенной цветистой надписью: «Сыскное Агентство Горда. Мы гордимся своей работой». «Оставляю тебе в с е снаряжение». Он подчеркнул «все», чтоб напомнить о пистолете.

Корделия отперла маленький нижний ящик стола — ключи были только у нее и у Берни — и вытащила пистолет в замшевой, собственноручно сшитой кобуре и три обоймы, завернутые отдельно. Это был полуавтомат 38-го калибра. Непонятно, как он достался Берни, но одно Корделия знала наверняка: разрешения у него не было. Она никогда не видела в пистолете орудия смерти; Берни так простодушно, мальчишески радовался ему, что он стал казаться безобидной детской игрушкой. Берни научил ее — во всяком случае в теории — прилично стрелять. Вспомнился Эппингский лес, куда они уезжали тренироваться, рябая тень деревьев, густой запах палых листьев. Берни выбирал удобное дерево, закреплял на нем мишень; пистолет был заряжен холостыми патронами. В ушах до сих пор звучат его громкие отрывистые приказы:

— Немного присесть. Ноги врозь. Руку вперед. Теперь левой рукой придержи ствол. Смотри на мишень. Прямее руку, коллега, прямее руку? Молодец!

— Но, Берни, — говорила она, — мы же никогда не сможем из него выстрелить! У нас нет разрешения.

Он улыбался — лукаво, самодовольно, всезнающе.

— Если нам когда-нибудь и придется стрелять, то только, чтоб спасти свою жизнь. В таком случае, вопрос о разрешении снимается сам собой.

И, довольный округлой фразой, повторил ее, поднимая к солнцу тяжелое бульдожье лицо. Что рисовалось ему в воображении, когда, присев за валуном на пустынь-

ном болоте, они передавали из рук в руки дымящийся пистолет и свистели, расплущиваясь о гранит, пули? Трудно сказать.

— Надо беречь патроны,— говорил он.— Я, конечно, всегда могу достать...— И улыбка превращалась в ухмылку, словно от воспоминания о тайных связях, о вездесущих услужливых знакомцах, которые только и ждут, чтоб их вызвали из темного мира.

Итак, он оставил ей пистолет. Самое ценное, чем владел. Не разворачивая, она опустила его на дно сумки. Самоубийство очевидно, и вряд ли полиция станет рыться в ящиках, но лучше не рисковать. Берни хотел, чтоб пистолет достался ей, и просто так она с ним не расстанется.

Поставив сумку у ног, она снова села подле тела. Как учили в монастыре, помолилась богу — хотя не знала, есть ли он — за упокой души, которой, по мнению Берни, у него не было вовсе, и стала дожидаться полиции.

Полицейский, приехавший первым, был деловит, но слишком молод и недостаточно опытен, и не сумел скрыть, что вид умершего насильственной смертью вызывает у него отвращение и ужас, и он не понимает, как Корделия может быть так спокойна. Он быстро вышел из кабинета и застыл в задумчивости над запиской Берни, словно при внимательном изучении мог извлечь из простых предсмертных слов некий сокровенный смысл.

— Я пока оставлю эту записку у себя, мисс. Так по какому поводу он сюда обратился?

— Он сюда не обращался. Это его контора. Он был частным детективом.

— Вы работали у мистера Горда? Вы его секретарша?

— Я его компаньон. Вы же читали записку. Берни — старший компаньон, он основал дело. Он раньше служил в уголовной полиции. Работал со старшим инспектором Далглишем,— похвасталась Корделия и тут же пожалела об этом. Хотела задобрить полицейского, защитить беднягу Берни, а вышло глупо. Имя Далглиш ничего не говорило полицейскому. Да и как могло быть иначе? Он всего лишь фараон из районного отделения. Ему ли знать, как часто Берни с тоской вспоминал об Уголовной, где служил, прежде чем его не списали по болезни; как часто прославлял мудрость и добропорядочность Адама Далглиша — а она слушала, из вежливости скрывая нетерпение. «Наш начальник — он тогда еще был простым инспектором — всегда учил нас... Как-то раз начальник рассказал нам об одном деле... Чего не терпел наш начальник, так это...»

Иногда Корделия задумывалась, вправду ли существовал этот эталон добродетели или же, вездесущий и всемогущий, родился в воображении Берни, нуждавшегося в герое и наставнике. Каково же было ее удивление, когда однажды в газете она увидела фотографию старшего инспектора Далглиша собственной персоной — смуглое, насмешливое лицо, при ближайшем рассмотрении распавшееся на множество мельчайших ретушированных точек, так и не раскрыв своей тайны! Впрочем, не все мудрые изречения, которые Берни так бойко извлекал из закоулков памяти, исходили от его божества: многое он, конечно, придумал сам.

Полицейский сделал несколько коротких звонков, и теперь беспокойно ходил взад-вперед по приемной, не скрывая брезгливого удивления при виде старой обшарпанной мебели, шатающегося каталожного шкафа с выдвинутым ящиком, откуда выглядывал заварной чайник и кружки, зашарканного линолеума. Мисс Спаршот застыла за допотопной машинкой и разглядывала полицейского с неприязненным любопытством.

— Выпейте, что ли, чаю, а я пока подожду тюремного врача,— сказал он наконец.— Где у вас тут чайник поставить?

— Вниз по коридору маленькая кухня — мы ее делим с другими съемщиками. Но зачем врач? Берни мертв!

— Он не считается мертвым до медицинского освидетельствования,— сказал полицейский и, помолчав, добавил: — Всего лишь мера предосторожности.

Мера предосторожности? Интересно, против чего? Против здравого смысла, вечного проклятия, распада?

Полицейский вернулся в кабинет. Корделия последовала за ним и осторожно попросила:

— Пожалуйста, отпустите мисс Спаршот домой. Она из машбюро, мы договорились о почасовой оплате. С тех пор, как я здесь, она не притронулась к машинке и вряд ли начнет работать. Отпустите ее!

Он был потрясен ее меркантильностью — надо же, какая черствая, возможно ли думать о деньгах в присутствии покойника,— но охотно пошел навстречу.

— Да-да, она нужна мне на пару слов, а там пусть идет,— сказал он.— Женщинам здесь не место.

Подразумевалось, что им и прежде здесь было не место.

После мисс Спаршот настала очередь Корделии ответить на неизбежные вопросы.

— Не знаю, был ли он женат. Мне казалось, он разведен; он никогда не говорил

о женщинах. Жил он на улице Кремоны, д. 15, корпус 2. Предоставил мне комнату в своей квартире, но мы почти не виделись.

— Улица Кремоны? Знаю, знаю: там жила моя тетушка, когда я был маленьким — рядом с Имперским Военным Музеем много таких улиц.

Он, похоже, смягчился и успокоился оттого, что знает улицу Кремоны. С минуту обдумывал услышанное.

— Когда вы в последний раз видели мистера Горда в живых?

— Вчера около пяти. Я рано ушла с работы за покупками.

— Он что, не пришел ночевать?

— Я слышала, как он ходил по квартире, но не видела его. У меня в комнате газовая плитка, и я обычно там и готовлю, когда он дома. Сегодня утром я его не услышала. Я удивилась, но подумала: должно быть, лежит у себя. Он иногда позволял себе поваляться подольше, если с утра к врачу.

— А сегодня утром он собирался к врачу?

— Нет, он был у врача в прошлую среду, но ему ведь могли назначить прийти еще раз. Он, наверное, ушел из дому вчера поздно вечером, или сегодня до рассвета, когда я спала. Я не слышала, как он вышел.

Как рассказать о той почти болезненной деликатности, с которой они избегали друг друга, стараясь не потревожить, оберегая право каждого на уединение; как прислушивались к шуму воды в туалете, на цыпочках подходили к двери на кухню или в ванную — удостовериться, что там никого нет. Они старались не надоедать друг другу. И, хоть и жили вместе в маленьком домике с плоской крышей, вне работы почти не виделись. Быть может, Берни решил покончить с собой именно на работе, чтобы не осквернить их домик и уберечь его от вторжения чужих?

Наконец все ушли из конторы, и Корделия осталась одна. Ушел, закрыв свою сумку, тюремный врач; под любопытные взгляды из полуоткрытых дверей соседних контор тело Берни не без труда спустились вниз. Ушел последний полицейский. Мисс Спаршот ушла навсегда, сочтя насильственную смерть еще худшим оскорблением, чем машинка, которой не пристало пользоваться профессиональной машинистке, или же санузел, далеко не отвечавший требованиям, предъявляемым ею к подобного рода местам. В тишине опустевшей конторы Корделии стало жутко. Надо было чем-то заняться срочно, и она начала убираться в кабинете.

А в час поспешила в «Золотой Фазан», где они с Берни обычно обедали. Кстати, ведь теперь она может больше не ходить туда, но, не в силах совершить предательство так скоро, продолжала идти. Ей никогда не нравился ни бар, ни его хозяйка, и она частенько мечтала, чтоб Берни подыскал местечко поближе, желательно с толстой, доброй барменшей. Впрочем, такие, наверное, бывают только в книжках.

Знакомая толпа кучковалась вокруг бара; за стойкой, как всегда со скандалом на рожу, заправляла Мавис. Женщины всегда недолюбливали друг друга, хотя Берни почему-то предпочитал верить, что это не так. Мавис напоминала Корделии их школьную библиотечаршу, прятавшую новые книги в конторку, чтоб их, не дай бог, не нашли и не запачкали. Метнув через стойку имбирное пиво и яйцо по-шотландски, которые заказала Корделия, Мавис сказала:

— Говорят, у вас побывала полиция?

Все знают, подумала Корделия, глядя в жадные до сплетен лица, хотя услышать подробности. Нате, жрите. И сказала:

— Берни разрезал себе запястье в двух местах. Ему сказали, что у него рак, а лечиться не хватило мужества.

Ну вот, совсем другое дело. Немногие клиенты, сгруппировавшиеся вокруг Мавис, переглянулись и быстро отвели глаза. Мигом опорожнили стаканы. Люди вскрывают вены — бывает, но все почувствовали, как в души проник крохотный зловещий червячок страха. Мавис, казалось, даже увидела, как извивается между бутылками его скользкое, лоснящееся тельце.

— Будете подыскивать новую работу, милочка? В конце концов, одна вы просто не потянете. Да и не женское это дело.

— Не менее женское, чем стоять за стойкой.

Женщины скрестили взгляды в немом диалоге, который каждая отлично услышала и поняла.

«Теперь, когда он умер, ни один клиент не оставит у тебя писем для Агентства». «Переживу это без труда».

Не сводя глаз с Корделии, Мавис принялась энергично протирать стаканы.

— Значит, одна остаетесь? Вряд ли ваша матушка одобрит такое.

— Матушка у меня была всего час после рождения, так что мне нет нужды тревожиться на этот счет.

Корделия поймала свое отражение в зеркале над баром и нашла, что со вчерашне-

го дня ничуть не изменилась. Лицо обманывало юной доверчивостью — на самом деле Корделия была скрытной и необщительной. Она рано научилась притворяться. Все ее приемные родители, дружелюбные и каждый на свой лад желавшие ей добра, требовали одного: она должна чувствовать себя счастливой. Корделия с раннего детства поняла, что лучше не горевать при людях — разлюбят. И так себя выдрессировала, что с легкостью надевала любую маску.

К ней пробирался сам Слухач. Плюхнулся рядом, придвинул обтянутую омерзительным твидом ляжку к ее ноге. Корделия не слишком жаловала Слухача, хоть он и был единственным другом Берни. Берни объяснил ей, что Слухач работает полицейским осведомителем и его ценят. Корделия была шокирована, но предпочла промолчать, подозревая, что и Берни в свое время доводилось выполнять такую работу, но, видимо, с меньшей выгодой для себя.

У Слухача слезились глаза, рука, обхватившая стакан виски, дрожала.

— Бедняга Берни, я видел, что он не жилец. Он все худел и худел...

Значит, Слухач заметил, а она — нет, не обратила внимания. Ей Берни всегда казался бледным и больным.

Жирная горячая ляжка придвинулась ближе.

— Не было ему удачи, горемыке. Из полиции его выперли. Он вам рассказывал? Там тогда начальником был старший инспектор Далглиш — зверь, не человек. У него так: раз ошибся — проваливай.

— Да, Берни мне рассказывал, — солгала Корделия. — Но он не унывал, — добавила она.

— А что унывать-то? Мой девиз — принимай жизнь такой, какая она есть. Теперь, наверное, другую работу подыщете? — спросил он мечтательно, словно только и ждал, когда Агентство опустеет, чтоб наложить на него хищную лапу.

— Нет, — ответила Корделия. — Во всяком случае, не сейчас.

И приняла два решения. Во-первых, она не бросит дело Берни, и во-вторых — больше никогда, никогда не переступит порога «Золотого Фазана».

В течение последующих четырех дней она оставалась тверда в решении не бросать дела Берни — тверда, несмотря на то, что нашла расчетную книжку и договор, обнаруживающий, что маленький домик на улице Кремоны не принадлежал Берни, что ее проживание в одной из комнат было противозаконным и, конечно же, временным; тверда, хотя узнала от управляющего банком, что кредитный баланс Берни едва покрывает расходы на его же похороны, а от владельца гаража — что малолитражку нужно в ближайшее время ставить на капитальный ремонт; тверда — и когда съезжала из домика на улице Кремоны. Всюду она натыкалась на печальные обломки одинокой, неустроенной жизни.

Она приходила в контору каждый день — мыла, чистила, приводила в порядок каталоги. Никто не звонил, не обращался в Агентство, и все же у нее, казалось, не было свободной минуты. Несколько раз ее вызывали к следователю, хотя — зачем? Ведь и так ясно, какое решение вынесут присяжные. Побывала и у адвоката Берни.

Немолодой и усталый, он принял известие о смерти клиента с мрачной покорностью, но чувствовалось, что Берни страшно подвел его, оставив этот мир. После недолгих поисков адвокат извлек на свет божий завещание и вперился в него так изумленно и недоверчиво, словно перед ним был совсем не тот документ, который он сам недавно составил.

Он дал ей понять, что в курсе ее интимных отношений с Берни — иначе почему бы он оставил ей контору, — но как человек светский, не осуждает ее. Адвокат не стал помогать ей в устройстве похорон, лишь сообщил название похоронного бюро.

Ей стало легче, когда, после недельного общения с людьми, у которых при слове «смерть» торжественно вытягивались лица, она встретила с директором похоронного бюро — деловитым молодым весельчаком. Обнаружив, что Корделия не собирается рыдать или, того хуже, рвать на себе волосы, как иные безудешные родственники, он был рад обсудить с ней приблизительную стоимость и якобы по секрету сообщил о преимуществах кремации перед захоронением.

— Кремация и только кремация! — жизнерадостно настаивал он. — Нет страховки? Так пусть все будет как можно быстрее, проще и дешевле. Уверяю вас — именно этого в девяти случаях из десяти и ждет от нас усопший. В наше время могила — дорогое удовольствие: и ему без пользы, и вам ни к чему. Ибо: прах ты и в прах возвратишься. Ну а пока ты не возвратился в прах, что происходит? Не очень-то приятно об этом думать, а? Так почему бы не ускорить этот процесс при помощи надежных современных методов? Причем заметьте, мисс, я вам советую себе же во вред.

— Спасибо, вы очень добры. А венки заказать — как вы думаете?

— Отчего же нет, венки придаст изящества. Предоставьте это мне.

Итак, состоялась кремация с одним венком. Венок получился вульгарным — подушка из лилий и гвоздик. Уж лучше б вообще без венка.

Священник с трудом сдерживался, чтоб не сбиться на скороговорку. Под звуки синтетической музыки гроб с телом Берни опустился в печь; уложились впритирку: за дверьми часовни уже нетерпеливо шумел ждущий своей очереди кортеж.

Корделия оставалась одна. Солнце палило, гравий так накалился, что нога чувствовала жар даже сквозь подошву туфли. Воздух был напоен дурманящим, душным запахом цветов. Вдруг нахлынуло отчаяние. Бедный, бедный Берни! Собачья жизнь, нелепая смерть. Тут она вспомнила некоего старшего инспектора Скотланд-Ярда. Это он виноват во всем, он, он один! Выгнал Берни с работы — единственной, которую тот любил; не потрудился узнать, как сложилась его жизнь. Берни не мог не быть следователем, так же, как другие не могут не рисовать, не писать, не шить или не прелюбодействовать. Неужели в огромном Уголовном отделении не нашлось бы одного места? В первый раз Корделия оплакивала Берни; горячие слезы застилали глаза, и расплывалась, двоилась длинная вереница катафалков с яркими плюмажами, сливались в бесконечную линию колышущиеся цветы.

Развязав черный шифоновый шарф, Корделия направилась к станции метро. На Оксфордской площади вдруг захотелось пить, и она решила зайти в ресторан при универмаге «Дикинз и Джоунз» — странная, безумная затея, но, в конце концов, вполне в духе этого странного, безумного дня. Она просидела там довольно долго и вернулась в Агентство только в четверть пятого.

К ней пришли. Прислонившись к двери Агентства, ее невозмутимо поджидала женщина — и какая! Такой женщине не место у заплеванных стен и двери с облупившейся краской. От удивления Корделия приостановилась и, затаив дыхание, стала осторожно подниматься вверх. Легкие туфельки бесшумно ступали по лестнице, так что несколько секунд она могла рассматривать посетительницу, оставаясь незамеченной. От женщины исходили флюиды богатства и власти. Узколицая, бледная незнакомка читала «Таймс». Через пару секунд она заметила Корделию, и они встретились глазами. Женщина посмотрела на часы.

— Если вы Корделия Грэй, вы опоздали на восемнадцать минут. В записке вы обещали вернуться к четырем.

— Я знаю, простите. — Корделия поспешно преодолела последние ступеньки, вставила ключ в замок и открыла дверь.

— Проходите, пожалуйста.

Женщина первая вошла в приемную и обернулась к Корделии.

— Я надеялась встретиться с мистером Гордом. Он скоро придет?

— Он... извините, я только вернулась с его кремации... Я хочу сказать... Берни мертв. Он покончил с собой.

— Невероятно! — Незнакомка была, по-видимому, поражена. Сжав ладони, она заметалась по комнате, словно в мучительном раздумье.

Корделия молча, с любопытством наблюдала немую сцену.

— Ну что ж, — сказала незнакомка после недолгой паузы, — значит я приехала зря.

— Отчего же — зря? — чуть слышно откликнулась Корделия, с трудом поборов искушение броситься к двери и заслонить ее своим телом. — Мы с мистером Гордом работали вместе. Я уверена, что смогу вам помочь. Садитесь, пожалуйста.

— Теперь уж мне никто не поможет, никто, — покачала головой незнакомка. — Но дело не в этом. Мой шеф хочет выяснить весьма важные для него обстоятельства, ему нужны некоторые сведения — и он решил, что именно мистер Горд сможет их для него собрать. Не знаю, сочтет ли он вас подходящей заменой. Здесь есть телефон?

— Да, сюда, пожалуйста, проходите.

Женщина прошла в кабинет и только теперь, обернувшись к Корделии, сказала:

— Простите, я не представилась. Меня зовут Элизабет Лиминг, я работаю у сэра Рональда Кэллендэра.

— У знаменитого эколога?

— Хорошо, что он не слышит, как вы его называете. Он предпочитает называться микробиологом, и, собственно, так оно и есть. А теперь, извините, я вынуждена ненадолго оставить вас. — И решительно закрыла дверь.

Корделия, почувствовав внезапную слабость, села за машинку. Сердце бешено заколотилось. Схватившись за гладкие, прохладные на ощупь бока машинки, она стала уговаривать себя успокоиться.

«Спокойно, спокойно. Пусть не думает, что перед ней девчонка. Я просто перенервничала на похоронах Берни и на солнце перегрелась, только поэтому я сейчас так нервна, только поэтому».

Разговор по телефону занял немного времени. Дверь кабинета отворилась; мисс Лиминг натягивала перчатки.

— Сэр Рональд хочет встретиться с вами. Вы сможете поехать к нему прямо сейчас?

— Да,— ответила Корделия.— Снаряжение брать?

Все снаряжение заключалось в чемоданчике, содержимое которого было тщательно продумано Берни — щипчики, ножницы, набор для снятия отпечатков пальцев, банки для образцов на пробу. У Корделии еще не было случая использовать его на месте преступления.

— Смотря что вы имеете в виду. Впрочем, не думаю, что оно вам понадобится. Сэр Рональд не может предложить вам работу прежде, чем повидается с вами. Мы поедем на поезде в Кембридж и сегодня же вечером вы вернетесь. Вы должны кого-то предупредить?

— Нет.

Мисс Лиминг открыла сумку.

— Вот мое удостоверение и вот конверт с адресом. Прочтите. Я не торгую де-вушками, так что не бойтесь.

— Меньше всего я боюсь, что меня продадут, а если б и боялась, то конверт... ну, это по меньшей мере несерьезно.

— Тогда поехали? — Мисс Лиминг первой пошла к двери.

Они вышли на лестничную площадку; когда Корделия повернулась, чтобы закрыть контору, мисс Лиминг указала ей на висевшие на стене блокнот и карандаш.

— Вам, наверное, следует сменить записку,— сказала она.

Корделия оторвала верхний листок и, минуту подумав, написала:

«Уехала на срочное дело. Просьба просовывать письма под дверь, займусь ими сразу по возвращении».

— Такая записка совершенно успокоит ваших клиентов.

«Издевается?» — мелькнула мысль. И все же Корделия почувствовала, что она не смеется над ней, и с удивлением обнаружила, что ее совсем не раздражают командирские замашки посетительницы. Она послушно спустилась за мисс Лиминг по лестнице и вслед за ней вышла на улицу Кингли.

По центральной линии они доехали до вокзала на Ливерпульской улице задолго до 17.36, когда уходила электричка на Кембридж. Мисс Лиминг купила билеты и взяла из камеры хранения портфель и портативную пишущую машинку.

— Мне придется поработать в дороге. У вас есть что-нибудь почитать?— спросила она.

— Да-да, не беспокойтесь. У меня с собой Харди «Штаб-трубач», я всегда кладу в сумку какую-нибудь книгу.

После Бишопс-Сторфорда они остались в вагоне одни, но мисс Лиминг всего один раз оторвалась от работы, чтобы расспросить Корделию.

— Как вы попали к мистеру Горду?

— После окончания школы я уехала к отцу на континент. Мы много путешествовали. В мае прошлого года он умер в Риме от инфаркта, а я вернулась домой. Я сама научилась печатать и стенографировать и стала работать в машбюро. Оттуда меня посылали к Берни, и через несколько недель он разрешил мне помочь ему в одном-двух делах. Потом он предложил работать с ним постоянно, и я согласилась. Два месяца назад он сделал меня своим компаньоном.

Все это значило, что Корделия променяла постоянный заработок на сомнительные доходы и бесплатную комнату в доме Берни. Берни не собирался ее обманывать. Он предложил ей товарищество, уверенный, что она поймет его правильно: то была не награда за примерное поведение, но жест доверия, посвящение в любимое дело.

— А чем занимался ваш отец?

— Он был странствующий поэт-марксист и революционер-любитель.

— Интересное у вас, наверное, было детство.

Вспоминая вереницу приемных матерей, непонятные перемещения из дома в дом (ей никогда не объясняли, зачем), переходы из одной школы в другую, озобоченные лица инспекторов местного попечительского совета и школьных учителей, в отчаянии пытавшихся сообразить, куда же девать ее на каникулы, Корделия ответила, как всегда отвечала на подобные предложения,— спокойно и серьезно:

— Да, очень интересное.

— А чему вас учил мистер Горд?

— Всему, что знал сам: как правильно обследовать место преступления, как собирать вещественные доказательства, простым приемам самообороны, как вести следствие и снимать отпечатки пальцев...

— Думаю, в нашем случае эти навыки вам вряд ли понадобятся. — Мисс Лиминг снова склонилась над бумагами и больше не проронила ни слова до самого Кембриджа.

Выйдя из здания вокзала, мисс Лиминг оглядела стоянку для машин и уверенно направилась к маленькому черному фургону. Рядом с ним стоял неприступный молодой человек в белой рубашке с расстегнутым воротом, темных бриджах и высоких сапогах. «Ланн»,— представила его мисс Лиминг небрежно и без комментариев. Он кивнул в подтверждение, но не улыбнулся. Корделия протянула руку. Рукопожатие

было недолгим, но крепким; стараясь не морщиться, Корделия заметила огонек в больших рыжих глазах и подумала, что он нарочно сделал ей больно. Глаза были самым примечательным в его внешности — прекрасные, влажные, телячьи глаза с пушистыми ресницами, и таким же, как у теленка, взглядом, выдававшим тревогу и муку от собственной беззащитности перед ужасами окружающего мира. Но красота этих глаз не искупала, а, наоборот, подчеркивала непривлекательность других черт. Весь в черно-белом, с короткой, толстой шеей и могучими плечами, он выглядел зловеще. Шапка густых, упругих черных волос, одутловатое, несколько рябое лицо и капризный влажный рот — лицо падшего ангела. Он сильно потел; под мышками были темные пятна, белый хлопок облегал тело, подчеркивая мощную спину и бицепсы.

Всем троим, как поняла Корделия, предстояло всю дорогу ехать на переднем сиденье фургона. Ланн распахнул перед ними дверь, даже не извинившись за неудобство, лишь сказал, что вездеход все еще в ремонте.

Мисс Лиминг отошла в сторону, так что Корделия была вынуждена залезть в машину первой и сесть рядом с Ланном. По-видимому, эти двое недолюбливали друг друга, да и от нее Ланн был не в восторге.

Интересно, какое место этот тип занимает при сэре Рональде Кэллендэре? О месте мисс Лиминг она уже вроде бы догадалась: обычной секретарше, как бы долго она ни служила и какой бы незаменимой ни была, никогда не приобрести властных манер, обычная секретарша не может отзывать о своем шефе с иронией собственности. Но Ланн? Он вел себя не как слуга, но и за ученого его принять было невозможно. Правда, об ученых Корделия имела весьма смутное представление. Кроме сестры Марии Магдалины, она толком ни с кем не общалась. Сестра преподавала у них предмет, в программе значившийся как общий курс естественных наук — эдакий компот из элементарной физики, химии и биологии, бесцеремонно сведенных вместе. В монастыре Непорочного Зачатия не слишком уважали естественные науки, хотя гуманитарные преподавали отлично. Сестра Мария Магдалина, пожилая, застенчивая монахиня с всегда удивленными глазами за стеклами очков в тонкой металлической оправе, казалось, не меньше учеников поражалась, когда, после того как она поколдует над колбами и пробирками, вдруг раздавался взрыв или начинал валить дым. Она старалась внушить ученикам представление о непостижимости вселенной и непреложности божьих законов более, чем что-то объяснить с точки зрения науки, и, надо отдать ей должное, много в этом преуспела. Вряд ли опыт общения с сестрой Марией Магдалиной мог пригодиться Корделии, когда придет время беседовать с сэром Рональдом Кэллендэром. С сэром Рональдом Кэллендэром, который возглавил кампанию по охране окружающей среды задолго до того, как экологией занялись все, кому не лень, который представлял страну на международных экологических конференциях и за свою деятельность был произведен в рыцари. Корделия, как и ее соплеменники, знала об этом из его выступлений по телевизору и из воскресных приложений. Признанный ученый, он старался держаться подальше от политики и, что еще больше располагало к нему соотечественников, словно сошел со страниц сказки о бедном славном мальчике, который, разбогатев, остался таким же славным. И как такому человеку пришло в голову обратиться за помощью именно к Берни Горду?

Не зная, насколько доверяют Ланну его шеф или мисс Лиминг, Корделия осторожно спросила:

— Откуда сэр Рональд узнал о Берни?

— От Джона Беллинджера.

Так вот они, дивиденды Беллинджера. Дождались! Дело Беллинджера было самым блестящим, возможно, единственным успешным делом, раскрытым Берни. Джон Беллинджер руководил небольшой семейной фирмой, производившей специальные инструменты для лабораторных исследований. Год назад к нему в контору одно за другим посыпались грязные письма, и он, не желая обращаться в полицию, позвонил Берни. Берни принял версию Беллинджера, что письма пишет кто-то из сотрудников, и быстро разгадал нетрудную загадку. Автором оказался пожилой и весьма уважаемый личный секретарь Беллинджера. Беллинджер был исполнен благодарности. Берни после тревожных раздумий, посоветовавшись с Корделией, послал ему счет, на сумму, испугавшую их обоих, — и счет был незамедлительно оплачен. Благодаря этим деньгам Агентство продержалось целый месяц. «Погоди, нам с этого дела еще что-нибудь обломится, вот увидишь, — сказал тогда Берни. — Беллинджер нас не знал, просто наткнулся, листая телефонный справочник, но теперь он порекомендует нас кому-нибудь из своих друзей и — как знать — может, это дело откроет нам путь к настоящей, большой работе».

Вот и открыло. В день похорон Берни. Дождались.

Больше Корделия не задавала вопросов; всю дорогу, которая заняла не менее получаса, ехали молча. Бедро к бедру они сидели в тесной кабине, каждый наедине со своими мыслями. Кембриджа она не увидела. У памятника Павшим Воинам в конце Вокзальной улицы машина свернула налево и вскоре выехала за город. Они мчались

мимо полей зреющей пшеницы — на нежно-зеленую гладь временами ложилась трехпалая рябая тень, — мимо деревень с крытыми соломой, вразброд поставленными домиками и приземистыми красными виллами, вытянувшимися вдоль дороги. С низких холмов взору открывались обманчиво близкие башни и шпили города, горевшие в лучах вечернего солнца. Новая деревня, молодые вязы по обеим сторонам дороги, длинная, закругленная стена из красного кирпича — и фургон въезжает в открытые кованные железные ворота. Приехали.

Дом был явно в Георгианском стиле, может быть, не из лучших образцов, но построен надежно, соразмерно и, в добрых традициях отечественной архитектуры, естественно вписывался в пейзаж. Закатное солнце бросало густой, теплый отсвет на оплетенный гирляндами глицинии пористый кирпич, придавая ползучему растению и всему дому неожиданно картинный, невсамделишный вид. Когда-то это был семейный гостеприимный дом. Но сейчас над ним нависла тяжкая тишина, и симметричные ряды нарядных окон казались пустыми глазницами.

Лихой, но умелый шофер Ланн притормозил прямо у крыльца, потом, оставаясь на месте, подождал, пока женщины вышли, и отогнал машину за дом. Слезая с высокого сиденья, Корделия обратила внимание на ряд одноэтажных, с фигурными башенками на крыше, строений, которые приняла за конюшни или гаражи. Через широкие сводчатые ворота Корделия увидела, что парк постепенно редет, а за ним расстилаются ровные кембриджширские поля — золотисто-бежевый узор по нежно-зеленой канве, краски начала лета.

— Раньше здесь были конюшни, теперь — лаборатории. Почти вся восточная сторона застеклена. Помещение переделывал шведский архитектор. Отличная работа: не только удобно, но и красиво, — сказала мисс Лиминг.

Впервые, с тех пор как они познакомились, она говорила с увлечением, едва ли не со страстью в голосе.

Парадная дверь была открыта. Корделия зашла в просторный обшитый деревом холл; слева уходила вверх винтовая лестница, справа зиял прямоугольник камина, выложенного резным камнем. Пахло розами и лавандой, полированное дерево оттеняло сочный шелковистый блеск ковров, где-то тикали часы.

Мисс Лиминг прошла через холл, открыла первую дверь, и они очутились в обставленном изящной мебелью кабинете; вдоль стен от пола до потолка стояли полки с книгами, а из затененного деревьями окна открывался вид на большой подстриженный газон. Перед дверьми балкона стоял письменный стол; за столом сидел человек. Это и был сэр Рональд Кэллендэр, большой ученый, человек выдающегося ума.

Рядом с ним Корделия почувствовала себя металлической стружкой в магнитном поле. Он поднялся из-за стола, жестом приглашая ее сесть. На фотографиях он казался крупнее за счет мощных плеч и большой головы, которые сейчас, когда он стоял, выглядели непропорционально тяжелыми. Резко очерченное нервное лицо с греческим носом, глубоко посаженными глазами под набрякшими веками и подвижным, крупным, прекрасно вылепленным ртом. Черные волосы, еще не тронутые сединой, падали на лоб тяжелой волной. Он выглядел утомленным, и, подойдя ближе, Корделия заметила, что на левом виске у него бьется синяя жилка. Но ладное, пружинистое тело, налитое энергией и потаенной силой, не поддавалось усталости. Гордую голову он держал высоко, а глаза смотрели жестко и недоверчиво. Это был хозяин жизни, повелитель толпы.

Корделию обдало жаром, тем самым жаром, который не подвластен ни возрасту, ни болезням, который исходит от мужчин, вкусивших власти.

— Все, что осталось от Сысного Агентства Горда — мисс Корделия Грэй, — сказала мисс Лиминг.

Он пристально посмотрел Корделию в глаза.

— Мы гордимся своей работой. А вы?

Усталая от путешествия, в конце богатого события дня Корделия не была настроена шутить по поводу жалкого каламбура о бедняге Берни.

— Сэр Рональд, — сказала она. — Меня привезла сюда ваш секретарь... она считает, что вы, возможно, предложите мне работу. Если она ошиблась, скажите — я сразу уеду в Лондон.

— Она не мой секретарь, но она не ошиблась. Простите мою невежливость. Ждать дюжего детектива, а взамен получить вас — поневоле растеряешься. Не думайте, что вы, возможно, предложите мне работу. Если она ошиблась, скажите — я сразу уеду в Лондон.

Сэр Рональд задал вопрос так мягко и естественно, что Корделия не обиделась и ответила охотно:

— Пять фунтов в день, плюс расходы по делу, но мы стараемся тратить как можно

меньше. И, разумеется, работать я буду только на вас до тех пор, пока не завершу. Я хочу сказать, что не стану заниматься другими делами...

— А что, вам есть чем заняться?

— Ну, сейчас вообще-то нет, но ведь ко мне могут обратиться в любое время. Наше правило — честная игра,— поспешно продолжила она.— Если на какой-то стадии я решу прекратить расследование, то собранная информация принадлежит только вам.

Это был один из принципов Берни. По части принципов ему не было равных, даже когда они неделями простаивали без дела.

«Никакого подслушивания,— повторял он.— Я категорически против подслушивания. И за промышленный саботаж мы не беремся».

Искушение в обоих случаях было невелико, потому что, во-первых, у них не было подслушивающей аппаратуры, а если бы и была, они не знали, как ею пользоваться; и во-вторых — Берни никогда в жизни не предлагали расследовать промышленный саботаж.

— Я согласен на ваши условия,— сказал сэр Рональд,— и должен сказать, что наше дело не заставит вас пойти на сделки с совестью. Оно сравнительно несложное. Восемнадцать дней назад мой сын повесился. Я хочу знать — почему. Справитесь?

— Постараюсь, сэр Рональд.

— Вам, как я понимаю, понадобятся некоторые основные сведения о Марке. Мисс Лиминг напечатает их вам, вы прочтете и скажете, понадобится ли что-нибудь еще.

— Хотелось бы, чтоб вы рассказали мне сами. Это поможет мне в работе.

Он снова сел на стул и, подобрав со стола огрызок карандаша, стал нервно вертеть его между пальцами.

— Двадцать пятого апреля моему сыну Марку исполнился двадцать один год. Он изучал историю в Кембридже, в колледже, где когда-то учился я, и перешел на последний курс. Пять недель назад он внезапно оставил университет и нанялся садовником к майору Марклэнду — он живет на вилле Летний Сад неподалеку от Даксфорда. Ни тогда, ни позже Марк не объяснил мне своего поступка. Он жил один во флигеле в парке Марклэнда. Восемнадцать дней спустя сестра хозяина нашла его в петле: он повесился на собственном ремне, привязав его к крюку на потолке в гостиной. Следствие установило, что он лишил себя жизни в состоянии душевного расстройства. Мой сын никогда не изливал мне душу, но я отказываюсь верить в этот утешительный эвфемизм. Он был человеком уравновешенным. Что-то заставило его так поступить. Я хочу знать — что.

Мисс Лиминг, которая до сих пор, прильнув к балконному стеклу, смотрела в сад, вдруг обернулась к ним и сказала с неожиданной горячностью:

— Эта вечная жажда все знать! Да это, в конце концов, просто неudelikatно! Он рассказал бы нам сам, если б захотел.

— Я не могу примириться с неизвестностью,— сказал сэр Рональд.— Мой сын мертв. М о й сын. Если в этом есть доля моей вины, я предпочитаю об этом знать. Если в его смерти виноват кто-то другой — я хочу знать, кто именно.

Корделия посмотрела на сэра Рональда, потом на мисс Лиминг и спросила:

— Он оставил записку?

— Да, но она ничего не объясняет. Мы нашли ее у него в машинке.

«Мы прошли в пещеру,— тихо начала мисс Лиминг,— и томительно долго спускались извилистым подземельем, и вот увидели перед собой пустоту, бескрайнюю, как опрокинутые небеса, и на корнях растений повисли над пустотой; я сказал: «Бросимся в пустоту и посмотрим, есть ли в ней провидение».

Хриплый, грудной голос оборвался. Все молчали.

— Вы считаете себя детективом, мисс Грэй,— нарушил молчание сэр Рональд.— Что скажете?

— По-моему, это отрывок из «Бракосочетания Ада и Рая» Блэйка.

Сэр Рональд и мисс Лиминг переглянулись.

— Вы угадали,— сказал сэр Рональд.

Как кротко, меланхолично призывает Блэйк к переходу в лучший мир, как не вяжется его поэзия с мучительной смертью в петле. Такое письмо мог оставить тот, кто собирался топить или принять яд. Впрочем, в сторону пустые фантазии. Он выбрал Блэйка. Он выбрал петлю. Быть может, иных, менее болезненных средств не нашлось под рукой; быть может, решение пришло внезапно. Как там говорил наш Начальник? «Первым делом — факты, версии — потом». Нужно осмотреть флигель.

— Так что же,— спросил сэр Рональд, начиная терять терпение,— возьметесь?

Корделия посмотрела на мисс Лиминг, но та отвела глаза.

— Конечно. Я подхожу вам?

— Да. Приступайте.

— Мне важно знать о вашем сыне как можно больше,— сказала Корделия.— Он был здоров? Может быть, у него были неприятности — в университете, в личной жизни,— вы не замечали? Или долги?

— Если бы Марк дожил до двадцати пяти лет, он бы унаследовал большое состояние от деда с материнской стороны. А пока получал от меня приличное содержание, но, бросив колледж, перевел остаток на мой счет и отдал распоряжение управляющему банком, который вел его дела, таким же образом поступать со всеми последующими выплатами. Думаю, в последние две недели жизни он жил на то, что зарабатывал. Вскрытие не обнаружило никаких болезней, а его научный руководитель засвидетельствовал, что доволен его курсовой работой. Я, как вы понимаете, в этой истории полный профан. В личных дела он меня не посвящал — да и какой молодой человек станет делиться с отцом? Полагаю, если у него и были романы, то только с женщинами.

Мисс Лиминг отвернулась от окна и в отчаянии уронила руки, словно покоряясь судьбе:

— Мы ничего не знали о нем, ничего! Так зачем же теперь пытаться что-то выяснить, ведь его не вернешь!

— А друзья? — тихо спросила Корделия.

— Они редко приходили сюда, но двоих я узнал на следствии и на похоронах: Хьюго Тиллинг, они учились в одном колледже, и его сестра — она аспирантка кафедры филологии в Нью-Холле¹. Элайза, ты помнишь, как ее зовут?

— Софи. София Тиллинг. Марк пару раз привозил ее сюда на ужин.

— Расскажите, пожалуйста, что-нибудь о его детских годах. Где он учился?

— Он ходил в частную школу для малышей, потом, соответственно, в подготовительную школу-интернат. Не мог же я допустить, чтобы он тут бегал без присмотра и играл в лаборатории. Впоследствии я отправил его в одну из школ Вуддарда². Моя жена — она умерла, когда Марку было девять месяцев — принадлежала к Высокой Англиканской церкви и хотела, чтобы мальчик получил религиозное воспитание. Думаю, оно не пошло ему во вред.

— Ему было хорошо в интернате?

— Как большинству мальчишек. Они, как известно, почти все время грустят, а иногда дерутся. А что, это имеет значение?

— Все может иметь значение.

Чему там, бишь, учил наш негибемый, начитанный Начальник? «Познакомьтесь с умершим поближе. Любое, самое несущественное обстоятельство его жизни может оказаться важным. Мертвые способны заговорить. И вывести на убийцу».

Только на этот раз никакого убийцы, разумеется, не было.

— Пусть мисс Лиминг напечатает для меня сведения, которые вы только что сообщили, плюс название колледжа и имя научного руководителя. И кроме того, мне необходимо ваше рекомендательное письмо, подтверждающее мои полномочия.

Сэр Рональд открыл левый нижний ящик письменного стола, достал листок бумаги и, закончив писать, передал его Корделии.

«Сэр Рональд Кэллендэр, ЧКО³, вилла Гарфорт, Кембриджшир», — прочла Корделия шапку. Письмо гласило:

«Предъявитель сего, мисс Корделия Грэй, уполномочена от моего имени расследовать обстоятельства смерти моего сына, Марка Кэллендэра, скончавшегося 26 мая с. г.». Внизу стояла подпись и число.

— Что-нибудь еще? — спросил сэр Рональд.

— Вы говорили, что, возможно, кто-то виновен в смерти вашего сына. Вы оспариваете решение присяжных?

— Присяжные вынесли решение на основании имеющихся фактов, и было бы глупо ожидать от них большего. Суд учреждают не для того, чтоб установить истину. Это должны сделать вы — для этого я вас и нанимаю. Чем еще могу помочь?

— Мне нужна фотография.

Они растерянно поглядели друг на друга.

— Фотография... Элайза, у нас есть фотография? — спросил сэр Рональд.

— У меня есть фотография — я снимала его в саду прошлым летом. Довольно четкая. Сейчас принесу, — сказала она и вышла.

— Я бы хотела взглянуть на его комнату. Он ведь, наверное, приезжал сюда на каникулы?

— Крайне редко, хотя, конечно, комната у него здесь есть. Пойдемте, я покажу вам ее.

Комната Марка находилась в задней части дома на втором этаже. Перешагнув порог, сэр Рональд подошел к окну и, повернувшись к Корделии спиной, стал смотреть в сад, словно забыл о ней. Комната оказалась стандартной, безликой; похоже, что за

¹ Нью-Холл — женский колледж Кембриджского университета — прим. пер.

² Школы Вуддарда — частные средние школы-интернаты, обычно привилегированные; находятся под влиянием англиканской церкви.

³ ЧКО — Член Королевского Общества — прим. пер.

последние десять лет в ней ничего не менялось. В низком белом шкафу, на полке, стояли старые игрушки: плюшевый медведь, раскрашенные деревянные поезд и машинки; Ноев Ковчег — палуба завалена животными с негнущимися ногами, а наверху сам круглолицый Ной и его жена; лодка с поникшим унылым парусом, маленький колчан со стрелами... Над игрушками в два ряда стояли книги. Корделия подошла поближе, чтобы прочитать названия. Такие книги читали дети во всех приличных обеспеченных семьях. Работы признанных классиков, которые передаются из поколения в поколение. Корделия добралась до них поздно, уже взрослой. В ее детстве, прошедшем под знаком комиксов и телевизионных передач, не нашлось для них места.

— А где его теперешние книги? — спросила она.

— Они в подвале, в ящиках. Он прислал их сюда на сохранение, когда оставил колледж.

На маленьком круглом столике возле кровати — лампа и яркий круглый камень, в котором море проделало затейливые отверстия — сокровище, подобранное, должно быть, на каком-нибудь пляже во время каникул. Сэр Рональд легко прикоснулся к нему длинными, нервными пальцами, начал крутить камень ладонью по столу... Потом рассеянно сунул в карман.

— Ну что, — сказал он, — вы все посмотрели? Тогда пойдемте.

У подножия лестницы стояла мисс Лиминг и смотрела, как медленно, бок о бок, они спускаются вниз. В ее напряженном страдальческом взгляде читалась внутренняя борьба; казалось, вот сейчас она заговорит — и случится непоправимое. Но она отвернулась, плечи поникли, словно от внезапно навалившейся усталости.

— Я нашла фотографию. Пожалуйста, верните мне ее, когда закончите расследование. Я ее положила в конверт вместе с запиской. Скорый поезд до Лондона уходит в 21.37, так что, может быть, останетесь на ужин? — сказала она. И все.

Странный это был ужин, хотя, конечно, человек должен все испытать. За небрежно накрытым столом сидели чинные, при полном параде гости. Это нарочитое, хорошо продуманное несоответствие должно было произвести впечатление — но вот какое? Корделия так и не могла решить, кто перед ней: группа посвященных, встретившихся после рабочего дня, чтоб разделить трапезу, или же сборище случайных людей, которых подвергают ритуальному испытанию заведенным порядком и этикетом. Собравшихся за столом было десять человек: сэр Рональд Кэллендэр, мисс Лиминг, Крис Ланн, заезжий американский профессор, чье непроницаемое имя она забыла сразу же после того, как сэр Рональд их познакомил, пятеро молодых ученых и она, мисс Корделия. Все мужчины, даже Ланн, были в смокингах, и мисс Лиминг надела длинную цветастую шелковую юбку и кофточку без рукавов. Горели свечи, при каждом движении мисс Лиминг юбка вспыхивала и переливалась яркими сполохами, подчеркивая тусклое серебро волос и почти прозрачную бледность кожи. Когда, оставив гостью в гостиной, мисс Лиминг пошла наверх переодеваться, Корделия очень огорчилась. Ей бы хотелось, чтобы и у нее нашлось что-нибудь получше замшевой юбки и зеленой блузки: в ее возрасте элегантность ценится выше молодости.

Ее проводили в спальню мисс Лиминг, где она могла немного освежиться. В сравнении с изящной обстановкой комнаты роскошь прилегающей ванны показалась нелепой. Рассмотрев в зеркале свое усталое лицо, Корделия подновила помаду и пожалела, что не захватила теней. Искушение было слишком велико, и она открыла ящик туалетного столика. Там была всякая всячина. Беспорядок в ящике поразил ее, и она с трудом удержалась от того, чтоб не заглянуть в платяной шкаф и другие ящики, неужели и там то же самое? Такая утонченная, деловая женщина — кто бы мог подумать?

Порывшись как следует, она в конце концов отыскала палочку теней, которую, судя по тому, с какой расточительностью хозяйка переводила косметику, могла использовать с чистой совестью. Вышло потрясающе. Конечно, с мисс Лиминг тягаться ей было сложно, но хоть выглядеть попроще.

Столовая располагалась в передней части дома. Мисс Лиминг усадила Корделию между собой и Ланном — соседство, не сулившее приятной беседы. Все остальные рассаживались, где хотели. Электричество не включили; на столе, на равном расстоянии друг от друга, стояли три многосвечных серебряных канделябра — и тут же стояли кувшины с вином из толстого зеленого стекла. Корделии случилось видеть такие в дешевых итальянских ресторанчиках. Но ложки и ножи — серебряные, старинные. Цветы в низких вазах нельзя было назвать икебаной; казалось, ураган подломил стебли и чья-то добрая рука поставила цветы в воду.

Молодые люди в смокингах выглядели нелепо — нет, они не чувствовали неловкости, по праву считая себя интеллектуалами и баловнями судьбы, — но смокинги смотрелись на них точно с чужого плеча, придавая серьезным ученым маскарадно-опереточный вид. Корделию поразила их молодость; только один выглядел старше тридцати. Трое — неопрятные, суетливые, с быстрой речью и нарочито громкими голосами,

перестали замечать Корделию сразу же после того, как их ей представили. Двое других вели себя потише, а один — высокий брюнет с некрасивым мужественным лицом — улыбнулся Корделии через стол, и ей показалось, что он не прочь пересесть к ней поближе.

Прислуживал лакей-итальянец с женой; они вносили горячее и оставляли на боковом столике в тарелках с подогревом. Еды было много. От вкусного запаха у Корделии проснулся аппетит: только сейчас она поняла, как голодна. На большом блюде высилась горка жемчужного риса, в кастрюле дымилась телятина в густом грибном соусе. Рядом, на столике с холодными закусками, Корделия увидела большущий окорок, говяжье филе, салаты и фрукты... Заманчиво! Каждый сам накладывал себе все, что пожелает, и возвращался к столу. Судя по тарелкам, молодые ученые намеревались поесть от души, и Корделия последовала их примеру.

Она не вникала в застольную беседу, лишь отметила, что разговор велся в основном на научные темы, и что Ланн, хоть и говорил меньше других, чувствовал себя с ними на равных. Она-то думала, что в смокинге, который был ему к тому же маловат, Ланн будет смешон, он же, напротив, выглядел уверенней всех — самая сильная, после хозяина, личность среди собравшихся. Корделии так и не удалось разобраться, в чем же его секрет. Ланн ел медленно, придирчиво следил за тем, как лежит еда у него на тарелке, и временами прикрывал губы бокалом с вином и украдкой улыбался.

На другом конце стола сэр Рональд чистил яблоко и, наклонив голову, беседовал с одним из гостей. Зеленая кожара тонкой змейкой скользила между его длинными пальцами и кольцами опускалась на тарелку. Корделия обернулась к мисс Лиминг и увидела, что та неотрывно смотрит на сэра Рональда — пристально, холодно, с любопытством, словно видит впервые. Господи, ну зачем она так; ведь заметят... Корделии стало неуютно. Мисс Лиминг, по-видимому, почувствовала на себе взгляд. Лицо ее смягчилось, и она обратилась к Корделии:

— Когда мы с вами ехали сюда, вы, помнится, читали Харди. Он вам нравится? — спросила она.

— Да. Но я больше люблю Джейн Остин.

— Тогда вам надо постараться выкроить время для музея Фитцвильяма в Кембридже. Там хранится письмо, написанное рукой Джейн Остин. Думаю, вам будет интересно.

В ее голосе звучала наигранная веселость хозяйки, которая думает, чем бы занять непростого гостя. Корделия, не прожевав еще телятину, уж было испугалась, что не суждено ей доесть остальное, но тут, по счастью, до слуха американского профессора донеслось слово «Фитцвильям», и он начал расспрашивать о коллекции майолики, которой интересовался. Разговор стал общим.

Мисс Лиминг сама отвезла Корделию на станцию — на сей раз Одли Энд, а не Кембридж, а почему — ей не объяснили. О деле в дороге не говорили. Корделия была едва жива от усталости, еды и вина и потому позволила крепко взять себя за руку и посадить в поезд, не используя момента получить дополнительные сведения. Поезд тронулся, и Корделия, усталыми пальцами нащупав плотный конверт, который передала ей мисс Лиминг, вытащила и прочла вложенную в него записку. Текст был мастерски отпечатан и разбит на абзацы, но ничего принципиально нового она из него не вынесла. К записке была приложена фотография. С фотографии, в полупрофиль к камере, рукой заслонивши глаза от солнечного света, смотрел смеющийся юноша в джинсах и свитере ручной вязки. Он полулежал на траве, рядом лежали книги. Наверное, занимался здесь, под деревьями, когда она вдруг вышла на балкон с фотоаппаратом и попросила его улыбнуться. Фотография не сказала Корделии ничего; правда, теперь она знала, что, по крайней мере, раз в жизни Марк Кэллендэр был счастлив. Она вложила фотографию обратно в конверт и, бережно зажав его в ладонях, уснула.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На следующее утро чуть свет Корделия была уже в пути. Накануне она буквально валилась с ног, но, прежде чем лечь, приготовила почти все для поездки. Сборы были недолгими: набор стоял нетронутым с тех пор, как Берни, в ознаменование начала их сотрудничества, упаковал и подарил ей. Подумав, решила взять книгу профессора Симпсона по судебной медицине, принадлежавшую им обоим, и свой личный транзистор; проверила, все ли на месте в походной аптечке. И, наконец, нашла чистую тетрадку, написала на обложке: «Дело Марка Кэллендэра», заложила несколько последних страниц, чтобы записывать расходы. Приготовления были самой приятной частью любого расследования; это потом приходит скука и предвкушение победы оборачивается разочарованием. Берни всегда педантично строил успешные планы, только вот реальность подводила.

И, наконец, одежда. Если погода не изменится — в английском костюме, который она, после долгих раздумий, решила купить из своих сбережений и в котором не стыдно было пойти на любую деловую встречу. В конце концов решила в дорогу надеть светло-коричневую замшевую юбку и трикотажную кофточку с короткими рукавами, а с собой взять джинсы и пару теплых свитеров — для работы под открытым небом. Корделия любила тряпки, любила обдумывать предстоящую покупку и покупать, но ограничивала себя в этом удовольствии — не столько из бедности, сколько оттого, что, подобно вечно готовому к бегству изгнаннику, ни на минуту не забывала: весь ее гардероб должен, в случае чего, поместиться в одном небольшом чемодане.

Как только миновала район северного Лондона, дорога показалась ей на удивление приятной. «Мини»¹, урча, двигалась вперед и была послушна, как никогда. Корделии нравился равнинный пейзаж Восточной Англии, широкие улицы торговых городов, нравилось то, что поля были не огорожены и достигали самой кромки дороги, нравилась открытая, свободная даль горизонта и широкого неба. Природа отвечала ее настроению. Она тосковала по Берни и не раз еще с грустью вспомнит о нем; ей будет не хватать его дружбы и нетребовательной привязанности, но дело Марка Кэллендэра было, в сущности, первым в ее жизни, и она радовалась, что ведет его одна. Она справилась. Ничто в этом деле не отталкивало ее, не задевало ее щепетильность. Полная счастливых предчувствий, она ехала меж залитых солнцем полей, и голова кружилась от надежд.

Добравшись, наконец, до деревни Даксфорд, она первым делом обнаружила, что найти усадьбу Летний Сад не так-то просто. Майор Марклэнд, по-видимому, считал, что такой важной шишке, как он, указывать в адресе название улицы вовсе не обязательно. К счастью, человек, к которому она обратилась, оказался местным и знал короткий путь. Надо было всего лишь развернуться в удобном месте и проехать пару миль в обратном направлении.

Большой викторианский дом из красного кирпича прятался в глубине сада; от самого крыльца бежала широкая, покрытая дерном дорожка и через распахнутые деревянные ворота выводила к подъездной аллее и дороге. И кому в голову пришло построить эдакое страшилище? Кто решился возвести пригородного уroda в деревенской глуши? Может быть, он был лостроен на месте прежнего, более пристойного? «Мини» свернула в траву и, срезав угол, по подъездной аллее заехала в ворота. Сад был под стать дому: хорошо ухоженный, но такой чинно-безликий, что казался чуть ли не мертвым. Даже нежный мох, пробивавшийся сквозь тщательно вымеренные каменные плиты веранды, выглядел болезненным. Две клумбы были одинаково засажены кустами красных роз.

Передняя дверь была открыта, и Корделия увидела темный, выкрашенный коричневой краской холл. Прежде чем она успела позвонить, из-за угла дома вышла пожилая женщина, толкая впереди себя тачку с растениями. Несмотря на жару, на ней были резиновые сапоги, джемпер и длинная твидовая юбка, а голова повязана шарфом. Увидев Корделию, она отпустила ручку тачки и сказала:

— Доброе утро. Вы из церкви насчет сладких лепешек? Я угадала?

— Нет-нет, я не за лепешками. Меня прислал сэр Рональд Кэллендэр, дело касается его сына.

— В таком случае вы, наверное, пришли за его вещами? А мы-то думали, когда же сэр Рональд за ними пришлет? Они все еще во флигеле. Мы туда не заходили с тех пор, как Марк умер. Мы, знаете ли, звали его просто Марк. Он нам не говорил, кто он на самом деле.

— Нет, я не за вещами Марка. Я хочу поговорить о нем самом. Сэр Рональд поручил мне выяснить, почему его сын покончил с собой. Меня зовут Корделия Грэй.

Новость скорее озадачила, чем смутила миссис Марклэнд. Она быстро заморгала беспокойными, глуповатыми глазами и схватилась за ручку тачки, словно ища поддержки.

— Корделия Грэй? Я вас вижу в первый раз. Я, по-моему, и имя-то ваше в первый раз слышу. Пройдете-ка лучше в гостиную — поговорите с моим мужем и золовкой.

Несмотря на теплый, солнечный день, в комнате было темно и холодно. Балконные двери были распахнуты настежь. За ними, на лужайке, под бахромчатым тентом был подвешен диван-качалка, а вокруг деревянного стола стояли три плетеных стула с роскошными подушками из ярко-голубого кретона — каждый с подставочкой для ног. Садовая мебель выглядела новой. Почему бы им не завтракать на лужайке, ведь лето, и там гораздо удобнее?

Представляя Корделию, миссис Марклэнд схватила ее за руку широким жестом и тихо, ни к кому определенно не обращаясь, сказала:

— Мисс Корделия Грэй. Она не за лепешками.

¹ «Мини» — малолитражный легковой автомобиль.

Сходство между мужем, женой и сестрой мужа было поразительным. Все трое напоминали лошадей. У них были длинные костистые лица, тонкие губы над сильными, квадратными подбородками, близко посаженные глаза и седые, жесткие на вид волосы. Майор Марклэнд отхлебывал кофе из огромной белой чашки с пятнами по бокам и по краю и ставил ее на круглый железный поднос. В руках он держал «Таймс». Мисс Марклэнд вязала — занятие, которое Корделия сочла все же не совсем подходящим для жаркого летнего утра.

Брат и сестра разглядывали ее недружелюбно, почти без любопытства и даже с легкой брезгливостью. Мисс Марклэнд умела вязать, не глядя на спицы, — достоинство, которое позволяло ей не спускаться с Корделии острого, испытующего взгляда. По приглашению майора Марклэнда Корделия присела на краешек дивана, опасаясь, что раздастся страшный скрип, но гладкая подушка оказалась неожиданно жесткой. Она попыталась состроить подобающую мину — серьезность в сочетании с ответственностью, плюс немного скромности, ведь это так располагает, — хотя не была уверена, что ей удалось отобразить все это на лице.

Взглянув на себя со стороны — колени сдвинуты, у ног большая сумка, — Корделия с грустью поняла, что больше похожа на семнадцатилетнюю девчонку на первом собеседовании, чем на зрелую, деловую женщину, единственную владелицу Детективного Агентства Горда.

Она протянула записку сэра Рональда, удостоверяющую ее полномочия, и сказала:

— Сэр Рональд просил передать вам, что он глубоко сожалеет... Я хочу сказать... ужасно, что все произошло именно у вас, ведь вы были так добры к Марку, дали ему работу, которая ему нравилась. Его отец надеется, вы сможете говорить о нем. Он хочет знать, что заставило сына покончить с собой.

— И он послал вас? — предположение явно позабавило мисс Марклэнд. В ее голосе слышались недоверие и издевка.

Корделия не обиделась на грубость. Она чувствовала, что мисс Марклэнд не так уж неправа. И дала объяснение, которое, как она надеялась, покажется правдоподобным. Возможно, оно отвечало действительности:

— Сэр Рональд считает, что самоубийство Марка как-то связано с его университетской жизнью. Вы, наверное, знаете — он оставил колледж внезапно и отцу так и не сказал, почему. Сэр Рональд решил, что со мной студенты будут более откровенны, чем с полицией. К тому же такого рода расследование — не дело полиции.

— А по-моему, это как раз их дело, чье же еще? То есть, если сэр Рональд заподозрил неладное...

— Нет-нет, — перебила ее Корделия, — мне кажется, у него этого и в мыслях нет. Он вполне удовлетворен заключением присяжных. Просто ему очень важно знать, что заставило сына так поступить.

— Он был беглецом, — вдруг резко сказала мисс Марклэнд. — Сбежал из университета. Наверное, сбежал от семейных обязанностей. И, наконец, сбежал от жизни. В буквальном смысле этого слова.

— Ну что ты, Элинор, разве так можно? — слабо запротестовала невестка. — Он хорошо у нас работал, правда. Мне мальчик нравился. Разве...

— Я не отрицаю, платили мы ему не зря. Но это не меняет дела: его растили и учили не для того, чтобы он стал садовником. Стало быть, он сбежал от своей судьбы. Почему — не знаю.

— А каким образом вы его наняли?

На сей раз ответил майор Марклэнд:

— Он прочитал в «Вечерних Новостях», что мне нужен садовник, и в один прекрасный вечер прикатил сюда на велосипеде. Наверное, ехал на нем от самого Кембриджа. Это было недель пять назад, во вторник, если мне не изменяет память.

— Во вторник, девятого мая, — вставила мисс Марклэнд.

Майор нахмурился, словно досадуя, что не может опровергнуть ее данных.

— Ну да! Вторник, девятое мая. Он сообщил, что решил оставить университет и начать работать. Признался, что садовник он никакой, но, сказал, что сильный и будет стараться. Его неопытность меня не заботила: мы наняли его в основном стричь газоны и ухаживать за овощами, а к цветам он не притрагивался, мы с женой за ними ухаживали сами. В общем, как бы там ни было, он производил славное впечатление, и я решил: пусть попробует.

— Да ты его только потому взял, что не нашлось второго, кто бы захотел тут работать за жалкие гроши, что ты предложил! — сказала мисс Марклэнд.

Майор, ничуть не смутившись, самодовольно улыбнулся.

— Я платил ему по заслугам. Побольше бы таких нанимателей, как я, — страну не лихорадила бы инфляция, — сказал он, давая понять, что экономика для него — открытая книга.

— А вам не показалось странным то, что он вот так приехал? — спросила Корделия.

— Конечно, показалось! Я было решил, что его вышибли; вы же знаете, до чего

они теперь там в Кембридже докатились — пьянствуют, колотятся, революцию делают, а может — что и похуже. Я спросил у него имя его научного руководителя и позвонил навести справки, Хорсфол его зовут. Так вот, он со мной особо не откровенничал, но все же заверил, что юноша оставил университет по собственному желанию, и что во время учебы в колледже вел себя — он так и сказал — безупречно до занудства, и чтобы я не волновался: сень дерев Летнего Сада не осквернит.

Мисс Марклэнд перевернула вязание и вставила в короткий вскрик невестки: «На что он намекал?» — сухую реплику:

— Побольше бы таких зануд.

— Мистер Хорсфол сказал вам, почему Марк оставил колледж?

— Я не спрашивал. Мне-то какое дело? Я задал простой вопрос и получил на него простой ответ — проще эти, с позволения сказать, ученые изъясняться не умеют. Жаловаться на парня не приходилось. Пока он здесь жил у нас, к нему претензий не было, уж поверьте. Если б что не так, я бы скрывать не стал.

— Когда он переехал во флигель? — спросила Корделия.

— Сразу же. Мы ему не предлагали, нет. Мы и в объявлении не писали, что садовник может жить в усадьбе. Но он, понятное дело, увидел флигель, и тот ему понравился. Он не мог приезжать каждый день из Кембриджа на своем велосипеде, мы это понимали, как и то, что в деревне никто не сдаст ему комнаты. Нельзя сказать, чтоб я был «за»: флигель нуждается в серьезном ремонте. Мы сейчас собираемся попросить ссуду на перестройку, а потом сразу же продадим. Для семьи он в своем теперешнем состоянии не годится, но парень был готов терпеть неудобства, и мы согласились.

— Значит, он, скорее всего, осматрел флигель, прежде чем предложить вам свои услуги, — предположила Корделия.

— Ох, да откуда я знаю? Ну, может, и шнырял тут по саду, разнюхивал что к чему, а уж потом постучал в дверь. Но чтоб я стал его винить? Да ни в коем случае! Я и сам поступил бы так же.

— Очень ему хотелось поселиться во флигеле, ну прямо не знаю как, — вступила в разговор миссис Марклэнд. — Я его предупреждала, что ни газа, ни электричества, а он сказал, не важно, примус купит, с лампами как-нибудь справится. Ну, конечно, воду туда давно провели, а крыша только в некоторых местах прохудилась — так мне, во всяком случае, кажется. Мы ведь, знаете ли, там не бываем. А он отлично устроился. Мы к нему, признаться, не заходили, но, по-моему, жилось ему неплохо. Муж прав, опыта у него не было никакого, пришлось ему кое-какие вещи объяснять, например, то, что каждое утро он должен являться на кухню за поручениями. Но мне мальчик нравился; и работал всегда усердно, когда я бывала в саду.

— Нельзя ли мне взглянуть на флигель?

Просьба привела их в замешательство. Майор Марклэнд посмотрел на жену. Возникла неловкая пауза, и Корделия уж было испугалась, что ей не разрешат. Но тут мисс Марклэнд воткнула спицы в клубок и поднялась.

— Я провожу вас, — сказала она.

Вокруг особняка раскинулся обширный парк. Первым Корделия увидела непременный розарий — тесно посаженные кусты, цвет к цвету, сорт к сорту, как на продажу, таблички с названиями закреплены ровно, на одинаковой высоте от земли. Дальше шел огород, надвое разделенный посыпанной гравием тропкой; рука Марка Кэллендэра угадывалась в грядках салат-латука и капусты, на участках вскопанной земли. Наконец через ворота они попали в маленький сад, где росли старые неподрезанные яблони. Скошенная трава толстыми валками лежала вокруг кряжистых стволов, распространяя вокруг густой запах сена.

По самому дальнему краю сада шла толстая изгородь, такая заросшая, что не сразу можно было разглядеть калитку в прилегающий к флигелю садик. Но трава вокруг была аккуратно подстрижена, и стоило мисс Марклэнд коснуться калитки, как она послушно отворилась. С другой стороны плотной стеной росли кусты ежевики — темные, непроходимые и, очевидно, уже лет сто как одичавшие без человеческого ухода. Кто-то проделал в них лаз, но мисс Марклэнд и Корделии пришлось согнуться в три погибели, чтоб ежевика не вцепилась им в волосы колючими щупальцами.

Преодолев это препятствие, Корделия подняла голову и зажмурилась от яркого солнца. А открыв глаза, не удержалась от восхищенного возгласа. За недолгое время Марк сумел создать крохотный оазис красоты и порядка из хаоса и небрежения. Он расчистил старые клумбы и обиходил уцелевшие растения, освободил от травы и мха выложенную камнем дорожку, прополол и подстриг небольшой квадратный газон справа от флигеля. По другую сторону дорожки Корделия увидела вскопанный участок земли площадью около четырех квадратных метров. Работа была не завершена. Глубоко воткнутая лопата торчала из земли. До конца ряда оставалось чуть больше полуметра.

Кирпичный флигель был покрыт шифером. Залитый полуденным солнцем, он, несмотря на некрашеную, вымытую дождем дверь, на подгнившие оконные рамы

и оголенные стропила, хранил спокойное, печальное очарование еще не тронутой распадом старины. Прямо у двери, небрежно брошенные по обеим сторонам, стояли тяжелые садовые сапоги.

— Его? — спросила Корделия.

— Чьи же еще!

С минуту они постояли рядом, глядя на вскопанную землю. Обе молчали. Потом направились к задней двери. Мисс Марклэнд вставила ключ в замок, он повернулся легко. Корделия прошла за ней в гостиную.

После жары сада воздух в комнате показался прохладным, но несвежим, с запахом гнили. Корделия увидела три двери: первая, прямо напротив входной, по-видимому вела в палисадник, но была заперта на замок и на засов, а петли оплела паутина, словно дверь не открывали много лет. Дверь справа вела, как догадалась Корделия, на кухню. Третья дверь была приоткрыта, и сквозь щель виднелась деревянная лестница на второй этаж. Посреди комнаты стоял стол с растрескавшейся от частого мытья столешницей и два кухонных стула, по одному с каждой стороны. На столе Корделия увидела голубую ребристую кружку с букетиком увядших цветов. Недвижный воздух пронзали стрелы солнечного света, и в их лучах кружились в причудливом танце мириады пылинки.

Справа Корделия увидела камин, старомодный, железный, с двумя заслонками по обеим сторонам очага. Рядом лежали поленья и щепы, заготовленные на следующий холодный вечер. У камина стоял низкий щелестящий деревянный стул с лямочкой подушкой, с другой стороны — стул с круглой спинкой, с подпиленными ножками. Корделия представила себе, как он был хорош, пока его не изуродовали.

По потолку тянулись две огромные, почерневшие от времени, балки. В одну из них посередине был ввинчен железный крюк — возможно, когда-то на него подвешивали окорока. Корделия и мисс Марклэнд устали висеть на него в молчании. Минуту спустя обе, словно сговорившись, сели на стулья у камина.

— Это я его тут обнаружила, — сказала мисс Марклэнд. — Он не пришел с утра на кухню получить распоряжения, и после завтрака я зашла сюда посмотреть, думала: может, проспал. Ровно в девять двадцать три. Дверь была не заперта. Я постучалась, но он не ответил, и тогда я толкнула ее, и она открылась. Он висел на этом крюке. В голубых джинсах — он в них обычно работал — и босой. Я потрогала его грудь. Он был совсем холодный.

— Вы не перерезали ремень?

— Нет. Ясно было, что он мертв, и я подумала, лучше оставить все как есть до прихода полиции. Но я подняла стул и поставила ему под ноги. Я просто не могла допустить, чтоб он так висел, хотелось чтоб шее стало полегче. Глупо, я понимаю...

— А по-моему, очень естественно. Больше вы ничего не заметили?

— На столе стояла недопитая кружка — там был кофе, а в камине — куча пепла. Похоже, он сжигал свои бумаги. Его портативная машинка была там же, где сейчас; из машинки торчала предсмертная записка. Я прочла ее, потом вернулась в дом, сообщила брату и невестке, что произошло, и позвонила в полицию. Когда приехали полицейские, я отвела их во флигель и рассказала, как было дело. Больше я сюда не заходила — вот только сейчас, с вами.

— Кто-нибудь видел Марка вечером перед смертью — вы, или брат, или миссис Марклэнд?

— После шести тридцати — никто. В тот вечер он задержался в саду дольше обычного — хотел скосить всю траву с газона перед домом. Потом убрал косилку и через сад направился к яблоням. Мы его больше не видели. В тот вечер мы были в гостях. Старый армейский товарищ брата пригласил нас на ужин в Трампингтон. Вернулись за полночь. Врачи говорят, Марк к тому времени был мертв.

— Пожалуйста, расскажите мне о нем, — попросила Корделия.

— Да что рассказывать? Работал он с восьми до шести с часовым перерывом на обед и полчасовым — на полдник. А по вечерам, бывало, возился в саду или у флигеля. Иногда в обеденное время отправлялся на велосипеде в ближний магазин. Я его там частенько встречала. Много не покупал — булочку, кусок ветчины подешевле, масло, чай, кофе — ничего особенного. Как-то слышала, справлялся у миссис Морган насчет яиц, и та сказала, что Уилкоккс с фермы Хутор всегда охотно продаст ему полдюжины. Мы не заговаривали при встрече, только, бывало, улыбнется мне. А по вечерам, как стемнеет, сидит читает или печатает за этим вот столом. Я видела его профиль в свете настольной лампы.

— Но майор Марклэнд, помнится, говорил, что вы не бываете во флигеле.

— Они — нет: боятся потревожить неприятные воспоминания. А я ходила, — она замолчала, глядя на мертвый очаг. — До войны мы с моим другом бывали здесь часто и подолгу, он тогда учился в Кембридже. Погиб в 1937 году в Испании, за Республику.

— Мне очень жаль, — прошептала Корделия. Она чувствовала, как неуместно ее сочувствие, но что же тут еще можно сказать? Ведь это случилось почти сорок лет назад.

Мисс Марклэнд заговорила снова, с неожиданной страстью, хотя слова давались ей с трудом:

— Мне не нравится ваше поколение, мисс Грэй. Не нравится высокомерие, эгоизм, жестокость, не нравится то, что вы так экономно расходуете эмоции. Вы не расплачиваетесь своим кровным ни за что, даже за идеалы. Вы черните и разрушаете все, ничего не создавая взамен. Словно шалое дитя, вы напрашиваетесь на розги, а потом визжите, когда вас начинают пороть. Мужчины, которых я знала, с которыми росла, были другими.

— Мне кажется, Марк Кэллендэр тоже был другим, — мягко сказала Корделия.

— Возможно. По крайней мере, он был жесток лишь к самому себе. — Она искалочно заглянула Корделии в глаза. — Вы, конечно, скажете, что я завидую молодости. Люди моего возраста часто завидуют.

— И совершенно напрасно. Я этого никогда не пойму. В конце концов, молодость — не награда, она достается всем поровну. Кому-то выпадает родиться в спокойное время, кто-то богаче других, кто-то имеет больше возможностей, но при чем тут молодость? И как же это порой ужасно — быть молодым! Разве вы не помните?

— Помню. Но я помню и другое.

Корделия промолчала; да, непостой у них вышел разговор, но уклониться от него было невозможно, и она, как ни странно, нисколько не обиделась. Мисс Марклэнд подняла глаза.

— Однажды к нему приезжала подружка, — сказала она. — По крайней мере, я считаю, что это была его подружка — иначе с чего бы ей приезжать? Это случилось дня через три после того, как он начал работать.

— И что за девушка?

— Красивая. Белокожая. Лицо как у ангела Боттичелли — нежное, овальное, пустое. Иностранка. Думаю, французенка. Богатая.

— Почему вы так решили, мисс Марклэнд? — Корделия была заинтригована.

— Потому что она говорила с иностранным акцентом; потому что прикатила на белом «Рено» — полагаю, собственном; потому что ее костюм, экстравагантный и не подходящий для деревни, стоил недешево; потому что она подошла к парадной двери и заявила, что хочет видеть его, с той высокомерной уверенностью, по которой сразу распознаешь богатых.

— Они виделись?

— Он в это время работал у яблонь — косил траву. Я ее отвела к нему. Он поприветствовал ее спокойно и без смущения и проводил в палисадник к флигелю, чтоб она посидела там, пока не кончится его рабочий день. По-моему, он ей обрадовался, но восторга не выказал. Он нас не познакомил, не успел — я сразу оставила их вдвоем и вернулась в дом. Больше я ее не видела, — сказала мисс Марклэнд и, прежде чем Корделия смогла вставить слово, вдруг спросила: — Вы ведь хотите здесь пожить, правда?

— А они не будут против?

— Они не узнают, а если и узнают — им все равно.

— А вам?

— Живите, я вас беспокоить не стану.

Они говорили шепотом, как в церкви. Наконец мисс Марклэнд встала и направилась к выходу. У самой двери она обернулась.

— Вы, конечно, взялись за эту работу ради денег. Но я бы на вашем месте оставила все, как есть. Глупо принимать слишком близко к сердцу судьбу постороннего человека. А если он мертв, это не только глупо, но и опасно.

Мисс Марклэнд заковыляла вниз по садовой тропинке и скрылась за калиткой. Корделия была рада, что она ушла. Ей нетерпелось обследовать флигель.

Как там говорил наш Начальник? «Обследуя здание, представьте, что перед вами деревенская церковь. Сперва хорошенько рассмотрите все изнутри и снаружи. И только потом делайте выводы. Спросите себя, что вы увидели, не что ожидали или надеялись увидеть, а что увидели».

Должно быть, он любил деревенские церкви, и это говорило в его пользу. Ибо сия догма несомненно принадлежала самому Далглишу: Берни, возможно из суеверия, старался держаться подальше не только от деревенских, но и от городских церквей. Корделия решила последовать совету.

Сперва обошла дом слева. Там, скромно отступив от тропинки в глубь сада, стояла деревянная уборная с низкой дверью на задвижке, почти полностью утонувшая в ветвях живой изгороди. Корделия осторожно вошла внутрь. В уборной было очень чисто и, похоже, ее недавно выкрасили заново. Она дернула цепочку и, к ее облегчению, бачок взорвался потоком воды. С двери на толстой леске свисал рулон туалетной бумаги; в маленьком целлофановом пакете, прибитом рядом, лежала мятая папиросная бумага из-под апельсинов и множество других мягких оберток. Он был хозяйственным молодым человеком. К уборной примыкал большой ветхий сарай, в котором

Корделия обнаружила мужской велосипед, старый, но в отличном состоянии, большую плотно закрытую банку белой краски, а рядом, в банке из-под варенья — чистую кисть; жестяное корыто, несколько выстиранных мешков и набор садовых инструментов. Все блестяло, было аккуратно размещено вдоль стены или висело на гвоздях.

Зашла с фасада. Какая разница! Здесь Марк Кэллендэр и не пытался усмирить буйство высоких, по пояс, трав и крапивы, и они задушили маленький палисадник и почти уничтожили дорожку. Толстый ползучий куст, весь в крохотных белых брызгах цветов, навалившись черными колючими ветвями, совсем заслонил от света окна на первом этаже. Ведущая в переулок калитка застряла, и пройти в нее теперь можно было только боком. По обеим сторонам ее, как часовые, стояли дубы с серыми от пыли листьями. Впереди, высотой в человеческий рост, живой изгородью росли кусты бирючины. Парные клумбы слева и справа от дорожки были в прошлом выложены круглым, выкрашенным белой краской камнем. Теперь большинство камней исчезли из виду под наступающими сорняками, а от клумб остались лишь заросли одичавших роз.

Когда Корделия в последний раз оглядывала палисадник, в траве мелькнуло что-то яркое. Это была мягкая страница иллюстрированного журнала. Разгладив ее, она увидела перед собой цветную фотографию обнаженной женщины. Женщина стояла спиной к камере, слегка наклонившись вперед; на ней были высокие сапоги, тяжелые ягоды нависли над жирными ляжками. Наглая, зазывная улыбка через плечо производила карикатурное впечатление на длинном, страшном лице гермофродита, чьи безобразные черты не смягчало даже щадящее освещение. Наверху страницы Корделия заметила дату. Майский номер. Так что журнал, или по крайней мере фотография, могли попасть во флигель, когда там жил Марк.

Что же вызывает у нее такое отвращение? Спору нет, вульгарная и непристойная картинка, но уже не более вульгарная и непристойная, чем десятки других, выставленных в витринах на окраинах Лондона. Но когда убирала ее, вчетверо сложенную, в сумку — вдруг пригодится для дела, — Корделия почувствовала себя скверно, точно ей наплевали в душу. Может быть, мисс Марклэнд сумела прочесть в ее мыслях то, в чем Корделия сама не отдавала себе отчет? Действительно ли ей, Корделии, всерьез грозит опасность сентиментально увлечься умершим юношей? Возможно, фотография не имела к Марку никакого отношения; ее мог обронить кто-нибудь из посетителей. Но лучше б она никогда ее не видела.

Обойдя флигель с запада, Корделия сделала еще одно открытие: нашла небольшой колодец около полутора метров в диаметре, спрятанный за старыми кустами. Колодец был плотно прикрыт крышкой, сколоченной из крепких досок, сверху стянутых железным обручем. Корделия заметила, что крышка была пристегнута к деревянному краю колодца проржавевшим от времени висячим замком, который, однако, не поддавался, когда она с силой дернула его. Кто-то позаботился о том, чтобы сделать колодец безопасным для играющих детей и заезжих бродяг.

Теперь пришла пора обследовать флигель изнутри.

Первым делом — на кухню. Маленькая кухня, видно, недавно покрашена, окно над раковиной выходило на восточную сторону. Стол, занимавший почти всю комнату, был покрыт красной клеенчатой скатертью. В крохотной кладовке Корделия нашла шесть банок пива, банку мармелада, горшочек масла и заплесневелую горбушку хлеба. Именно здесь, на кухне, Корделия обнаружила источник неприятного запаха, ударившего ей в нос лишь только она зашла во флигель. На столе — недопитая бутылка молока, чуть поодаль — помятая серебряная крышка. Молоко покрылось гнилой пушистой плесенью. По краю бутылки ползала жирная муха. Корделия инстинктивно замахнулась на нее, но муха и не подумала улетать от такого изобилия. На другом конце стояла двухконфорная керосиновая плитка с тяжелой кастрюлей. Корделия потянула плотную крышку, и она открылась, выбросив струю густого, мерзкого запаха. Достав из ящика стола ложку, она помешала месиво. Похоже на жаркое. Сквозь пену, как утонувшая разложившаяся плоть, всплывали кусочки зеленого мяса и мылкий картофель. У раковины в перевернутом ящике из-под апельсинов Марк хранил овощи. Картофель пустил ростки, усохшие луковицы зеленели новыми побегами, морковка сморщилась и завяла. Итак, ничего не вымыли, ничего не выбросили. Полиция унесла тело и все, что могло служить вещественным доказательством, но ни Марклэнды, ни друзья Марка или его семьи не дали себе труда прийти и убрать отсюда печальные следы его молодой жизни.

Корделия поднялась вверх. Тесная площадка вела к двум спальням, одна из которых явно пустовала уже много лет. Оконные рамы здесь сгнили, с потолка осыпалась штукатурка, а линялые, в розах обои от сырости отставали от стен. Вторая была побольше; в ней он и спал. Там стояла узкая железная кровать с волосатым матрасом, где лежал спальный мешок и подушка, сложенная вдвое, чтоб повыше было спать. У кровати стоял старый столик, а на нем — две свечи, собственным воском приклеенные к треснувшим тарелкам, и коробка спичек. Все вещи висели в одном шкафу: зеленые вельветовые брюки, несколько рубашек, свитера и выходной костюм. На полке

сверху было сложено чистое, но неглаженое нижнее белье. Корделия пощупала свитера. Их было четыре — все связано из толстой шерсти затейливым узором. Значит, кто-то все же заботился о нем и даже что-то для него делал. Кто бы это мог быть?

Руки перебирали его скучный гардероб, обшаривали карманы. Она ничего не нашла, кроме тощего кошелька коричневой кожи в левом кармане пиджака. Сгорая от нетерпения, она понесла его к окну в надежде, что, может быть, обнаружит там ключ к разгадке — письмо или список имен и адресов, личную записку. Но кошелек был пуст, и, кроме двух фунтовых бумажек, водительских прав и удостоверения донора, выписанного в Кембриджском центре переливания крови, где значилась вторая группа, резус отрицательный, она ничего не нашла там.

Через незасторенное окно был виден сад. На подоконнике стояли книги. Их было немного: несколько томов «Современной истории Кембриджа», романы Троллопа и Харди, полное собрание сочинений Уильяма Блэйка; Уордсворт, Браунинг и Донн в школьных изданиях, пара дешевых брошюр по садоводству. В конце ряда она заметила молитвенник в белом кожаном переплете с изящной медной застежкой. Было видно, что его часто читали. Книги разочаровали Корделию: правда, они давали общее представление о его вкусах, но и только. Если он уединился здесь, чтобы заниматься, писать или размышлять о смысле жизни, он исключительно плохо подготовился.

Самый интересный предмет в комнате висел над кроватью. Это была небольшая картина, писанная маслом, не более девяти квадратных дюймов. Корделия принялась изучать ее. Картина была несомненно итальянского мастера, возможно конца пятнадцатого века. За столом сидел молодой монах с тонзурой, он читал, заложив между страниц чуткие пальцы. В длинном суровом лице, сосредоточенном на книге взгляде под тяжелыми веками угадывалась напряженная работа мысли. За ним, в открытом окне, открывался прелестный вид, радовавший глаз. То был тосканский пейзаж — обнесенный стеной город с башнями; вокруг которых росли кипарисы, и серебристой, змеящейся лентой реки; по улице двигалась процессия пестро одетых горожан со знаменами в руках; на полях трудились впряженные в плуг волы. Мир умозрительный противопоставлялся в картине миру действительному, и Корделия попыталась вспомнить, где же она видела подобные работы. Товарищи — как величала Корделия вездесущую братию таких же, как отец, революционеров, — страшно любили обмениваться информацией в картинных галереях, и Корделии, бывало, часами приходилось бродить от картины к картине, дожидаясь, пока случайный посетитель не встанет у нее за спиной, чтоб прошептать предупреждение. Но в галереях было тепло, и она с удовольствием любовалась картинами. Эта доставила ей огромное наслаждение; очевидно, она нравилась и Марку. Неужели ему нравилась и та похабная картинка, которую она нашла в палисаднике?

Окончив осмотр, Корделия вскипятила воду и приготовила себе кофе. Потом взяла из гостиной стул, села на заднем крыльце и, зажав в коленях кружку, запрокинула лицо навстречу солнцу. Расслабившись, она вслушивалась в тишину, впитывая солнце сквозь полуприкрытые веки. Ну что ж, самое время собраться с мыслями. Она обследовала флигель, как учил Начальник. И что же узнала о мертвом юноше? Что видела? К каким выводам пришла?

Он был почти патологический аккуратист и чистюля. Садовые инструменты после работы протирались и расставлялись по местам, кухню он выкрасил заново и содержал в чистоте и порядке. И тем не менее не закончил копать грядку, хотя до конца оставалось чуть больше полуметра, оставил в землю грядную лопату, а садовые сапоги небрежно бросил на заднем крыльце. Перед тем как лишиться себя жизни, сжег все свои бумаги, а вот кружку из-под кофе почему-то не вымыл. Протушил себе мясо на ужин, но не притронулся к нему. Возможно, овощи были приготовлены с утра или накануне, но жаркое — именно в тот вечер к ужину. Кастрюля так и стояла на плите и была полна до краев. Это значит, что он решил покончить с собой уже после того, как нарезал мясо с картошкой и поставил на огонь тушиться. Зачем же было готовить еду, если знал, что умрет раньше, чем придет время есть?

Да и мог ли здоровый молодой человек, вернувшийся домой к горячей пище после того, как часа два поработал в саду, испытать безразличие к жизни, приведшее к самоубийству? Бывали моменты, и ей выть от тоски хотелось, но когда ты, уставшая, пришла домой, а дома ждет тебя жаркое, жизнь кажется прекрасной. И откуда взялась кружка кофе, та, которую забрала на анализ полиция? В кладовке было пиво; если ему захотелось пить после работы, почему он не открыл одну из банок? Быстрее и проще. И уж конечно, не стал бы он варить кофе перед едой. Кофе пьют после ужина.

Но, допустим, кто-то навестил его в тот вечер. Вряд ли этот человек заглянул мимоходом, чтобы просто поболтать; разговор с ним был важным настолько, что Марк бросил работу, хотя до конца грядки оставалось чуть более полуметра, и пригласил его в дом. Вероятно, посетитель не любил пива — может быть, это была женщина? Скорее всего, посетитель не собирался остаться поужинать, но все же пробыл во флигеле так долго, что Марк не мог не предложить ему кофе. Посетителя не приглашали

на ужин заранее, иначе почему они не поели перед кофе, и почему Марк оставался в саду так долго, вместо того, чтобы зайти в дом переодеться?

Итак, посетителя не ждали. Кстати, где вторая кружка? Марк наверняка угостил бы посетителя или же, если не хотел кофе, открыл бы себе банку пива. Но на кухне не было пустой банки из-под пива, как не было и второй кружки. Может быть, ее вымыли и убрали? Почему же Марк вымыл одну, а не обе кружки? Чтобы скрыть, что в тот вечер к нему приходили?

Кофейник на кухонном столе был почти пуст, а в бутылке молока осталась половина. Одному столько явно не выпить. Но — стоп: опасно торопиться с выводами. Откуда ей знать, сколько кофе способен выпить посетитель?

Но, допустим, не Марк хотел скрыть, что в тот вечер у него был посетитель; допустим, не Марк вымыл вторую кружку и убрал ее; допустим, что именно посетитель хотел скрыть, что в тот вечер заходил к Марку. Зачем ему было принимать меры предосторожности, если он не знал, что Марк собирается наложить на себя руки? Корделия встряхнула головой, прогоняя наваждение. Все это, разумеется, вздор. Посетитель, конечно же, не стал бы мыть кружку при Марке, если б тот был еще жив. Он постарался бы уничтожить свидетельство своего визита лишь в том случае, если Марк был уже мертв. А если Марк был уже мертв и задохнулся в петле на этом вот крюке прежде, чем посетитель покинул его дом, какое же это самоубийство? И бесформенные, полупрописанные буквы, пляшущие в закоулках ее сознания, вдруг обрели четкость и впервые явственно составились в потекшее кровью слово. Убийство.

Корделия посидела на солнце еще минут пять, допила кофе, сполоснула кружку и повесила на крючок в кладовке. По переулку она вышла к дороге, где на поросшей травой обочине стояла «Мини». Хорошо, догадалась оставить машину за пределами усадьбы.

Мягко отжав сцепление, она медленно повела «Мини» по переулку, внимательно глядя по сторонам в поисках удобного места стоянки: поставить машину у флигеля, значило громогласно объявить о своем присутствии. Жаль, что до Кембриджа далеко — будь он поближе, она смогла бы воспользоваться велосипедом Марка.

Ей повезло. Проехав яров пятьдесят вниз по переулку, она обнаружила широкую, поросшую травой пустошь, а сбоку — небольшую рощицу. Рощица выглядела сырой и зловещей. Но все же, если хорошо запереть машину, ей здесь будет лучше, чем у флигеля, и ночью ее никто не заметит.

Вернувшись, она принялась распаковывать вещи. Отодвинув в сторону немногочисленную нижнее белье Марка, сложила свое рядом на полке. Свой спальный мешок положила на кровать, поверх его, с радостью думая, что сможет укрыться потеплее. На подоконнике в кухне стояла банка из-под варенья с красной зубной щеткой и лежал наполовину использованный тюбик пасты; туда же она поместила свою желтую зубную щетку и свой тюбик. Рядом с его полотенцем повесила свое на струну, которую он натянул между двумя гвоздями под раковиной.

Потом произвела ревизию в кладовке и составила список необходимых продуктов. Лучше покупать их в Кембридже: в местном магазине на нее сразу обратят внимание. Куда девать кастрюлю жаркого и полбутылки скисшего молока? Оставить их на кухне немислимо, но выбрасывать не хотелось. Подумала было сфотографировать, но решила, что лучше не надо: вещественные доказательства убедительнее. В конце концов вынесла их в сарай и плотно укутала куском старой мешковины.

В последнюю очередь подумала о пистолете. Он был слишком тяжелым, чтоб все время таскать его с собой, но ей было страшновато расстаться с ним хотя бы на время. Правда, черный ход запирался, и мисс Марклэнд дала ей ключ, но незваному гостю ничего не стоит проникнуть в дом через окно. Она решила, что лучше всего спрятать патроны среди нижнего белья, а пистолет — во флигеле или где-нибудь поблизости. Тут она вспомнила толстые раскидистые ветви старого куста у колодца и, нащупав у разветвления удобное дупло, опустила туда пистолет, который до сих пор не вынимала из кобуры. Спасительная листва сомкнулась и скрыла его от глаз.

Ну вот. Теперь можно в Кембридж. Она посмотрела на часы — половина одиннадцатого; к одиннадцати она уже будет в городе и пороботает до обеда. Сперва зайдет в редакцию местной газеты, потом ознакомится с материалами дела и отправится в полицейское управление. Да, Хьюго и София Тиллинги. Надо найти их. Как можно скорее.

Ей было жаль покидать флигель, словно она прожила в нем всю жизнь. Было что-то загадочное в нем, своя, особенная атмосфера, плотная от призраков прошлого. Подобно человеческому существу, дом двулико глядел на мир: север, с его слепыми, заросшими терновником окнами, сорняками-душителями и хмурой живой изгородью бирючины казался зачарованной обителью беды и страха, в то время как от задней части дома, где жил и работал Марк, где расчистил сад, окопал деревья и подвязал

уцелевшие растения, где прополос садовую дорожку и открыл окна навстречу солнцу, веяло покоем, как от храма. Сидя у двери флигеля, она почувствовала, что ничто ужасное не посягнет ее коснуться, и без тени страха подумала о предстоящей одиночной ночи. Может быть, и Марка Кэллендэра приворожил этот дух целительного спокойствия? Ощутил ли он его прежде, чем согласился работать здесь, или же его обреченная жизнь неким загадочным образом за недолгое время оставила здесь такой след? Майор Марклэнд был прав: прежде чем войти в дом, Марк, конечно же, осмотрел флигель. Что же ему было нужно, работа или жилье? И почему Марклэнды ни за что не хотели приходить сюда — настолько, что даже не зашли навести порядок после его смерти? Зачем мисс Марклэнд шпионила за ним, именно шпионила, ибо такое пристальное наблюдение равнозначно слежке? Быть может, она поведала ей историю об умершем любовнике, чтобы оправдать свой интерес к флигелю, объяснить, почему, как безумная, она не спускала глаз с молодого садовника? Да и был ли любовник? Это стареющее, крепкое, грузное тело, это угрюмое лошадиное лицо — неужели когда-то и она была молода и лежала в объятиях возлюбленного на кровати Марка? Каким же все это кажется далеким, невозможным, нелепым!

Корделия ехала по улице Хиллз мимо памятника павшим в первой мировой войне, мимо католической церкви, пока, наконец, не очутилась в центре города. И снова пожалела, что не оставила машину и не воспользовалась велосипедом Марка. Казалось, весь город сел на велосипеды и звонки пели в воздухе, как колокольчики в праздник. На этих узких людных улицах даже крошка «Мини» оказалась обузой. Она решила оставить ее, как только найдет стоянку, и пешком пойти искать телефон. Дорогой она изменила программу и решила сперва сходить в полицию.

Ее, однако, ничуть не удивило, когда по телефону ей ответили, что сержант Маскелл, который вел дело Марка Кэллендэра, все утро занят. Это только в романах люди, с которыми хочешь побеседовать, сидят у себя в кабинетах и ждут не дождутся, когда же ты придешь со своими вопросами. В реальной жизни им всегда некогда. Она упомянула письмо сэра Рональда, дабы убедить собеседника, что она именно та, за кого себя выдает. Имя произвело впечатление. Ей сообщили, что сержант Маскелл примет мисс Грэй в четырнадцать тридцать.

Пришлось-таки первым делом пойти в редакцию. Ничего, полистает старые подшивки — уж они-то не смогут возражать. Она быстро нашла то, что искала. Результаты следствия были изложены скупым языком судебного отчета. Она не узнала почти ничего нового, но тщательно записала показания главного свидетеля. Сэр Рональд Кэллендэр подтвердил под присягой, что не разговаривал с сыном после того, как за две недели до смерти тот позвонил ему и сообщил о своем решении оставить университет и поступить на работу в усадьбу Летний Сад. Он не советовался с сэром Рональдом, прежде чем принять решение, и не сообщил о причинах. Сэр Рональд впоследствии беседовал с ректором, и руководство колледжа выразило готовность принять Марка обратно на следующий учебный год, если тот передумает. Сын никогда не говорил с ним о самоубийстве, он не страдал от расстройства здоровья или денежных затруднений. После показаний сэра Рональда давалась краткая ссылка на показания других свидетелей. Мисс Марклэнд описала, как нашла тело; патологоанатом подтвердил, что смерть наступила от удушья; сержант Маскелл перечислил меры, которые считал необходимым принять; далее прилагался отчет сержанта Маскелла и справка из лаборатории судебной экспертизы, подтверждавшая, что содержимое кофейной кружки исследовали, но яда не обнаружили. Суд постановил, что покойный сам наложил на себя руки в состоянии душевного расстройства. Корделия с тоской закрыла толстую папку. Похоже, полиция провела тщательное расследование. Неужели эти опытные профессионалы не придали значения таким важным вещам, как незаконченная грядка, небрежно брошенные садовые сапоги на заднем крыльце, нетронутый ужин?

Всего двенадцать, она свободна до половины третьего. Можно побродить по Кембриджу.

В магазине Боуза и Боуза купила самый дешевый путеводитель; хотелось полистать книгу, но было мало времени. Запихнув в сумку пирог с ветчиной и фрукты с рынка, она зашла в собор Святой Марии, чтобы спокойно посидеть и разработать маршрут. А потом, забыв обо всем от счастья, полтора часа бродила по знаменитому колледжами городу.

Знакомство состоялось в самое лучшее время года, и Кембридж предстал перед ней удивительно прекрасным. Ярчайшей голубиной сияло безоблачное небо, из его прозрачных глубин струился ясный солнечный свет. Листья деревьев, что росли в садах колледжей и по аллеям, ведущим к паркам и лужайкам, еще не налились спелой тяжестью середины лета и нежно-зеленым кружевом пенились на фоне камня, и реки, и неба. Из-под мостов выныривали плоскодонные ялики и, покачиваясь на волнах, распугивали пестрых водяных птиц; у арки нового моста Гаррет Хостел клонились к реке плакучие ивы, тяжелыми, бледными ветвями почти касаясь темно-зеленых вод Кема.

Корделия включила в свой маршрут все достопримечательности. Медленно прошла вдоль Библиотеки Троицы, посетила Старые Школы, посидела в тиши на задворках часовни Королевского Колледжа, построенной Джоном Уэйстеллом, восхищаясь легкости, с которой устремленный ввысь мощный свод переходит в резные белокаменные крылья. Из огромных окон лился солнечный свет, наполняя недвижный воздух синими, пурпурными и зелеными бликами. Стены часовни украшали розы Тюдоров и геральдические животные с надменными мордами — работа искусного резчика. Что бы ни писали Мильтон и Уордсворт, часовня была наверняка воздвигнута во славу земного, а не небесного владыки. Но это не умаляло важности ее предназначения, не наносило урона ее красоте.

Постройка оставалась прежде всего религиозной. Мог ли неверующий задумать и воплотить в жизнь этот неповторимый интерьер? И сказал ли он своим творением то, что хотел сказать?

Во время прогулки она позволила себе несколько особых удовольствий. В лавке у западного придела купила шелковую чайную салфетку с изображением часовни, ничком полежала на стриженной прибрежной траве у Королевского моста, так, что на руки набегали зеленые волны, побродила меж книжных прилавков в торговом центре и, тщательно все рассчитав, в конце концов купила томик Кита в индийском издании и хлопчатобумажную тунику в зеленых, синих и коричневых тонах. Если не спадет жара, вечерами в ней будет прохладнее, чем в джинсах и рубашке.

Потом вернулась к Королевскому Колледжу. У высокой толстой стены, спускавшейся от часовни к берегу реки, стояла скамейка, и она присела на нее перекусить. По девственной лужайке прыгал воробей и тарашил блестящий глаз. Она покрошила ему корку пирога с ветчиной и с улыбкой наблюдала, как жадно птица набросилась на еду. С реки доносились голоса, перекликавшиеся с разных берегов, временами был слышен скрип трущихся друг о друга бревен, резкий крик утки. Куда ни бросишь взгляд, все — и блестящие, как драгоценные камни, кусочки гальки на дорожке, и серебристые стебли травы по краям лужайки, и тоненькие ножки воробья — казалось необычайно, неповторимо ярким, словно счастье промыло ей глаза.

Вспомнился давний разговор с отцом:

«Итак, нашего фашистика выучили паписты. Что ж, это многое объясняет. Но как это могло случиться, Делия?»

«Папочка, ну ты же помнишь. Меня перепутали с другой К. Грэй, католичкой. Мы в один год сдавали экзамены для одиннадцатилетних. Обнаружив ошибку, они написали тебе, чтоб спросить, согласен ли ты, чтоб я осталась в монастыре».

Но он не ответил. Настоятельница постаралась тактично скрыть от нее, что он даже не удосужился написать им, и она осталась в монастыре и прожила там шесть самых мирных лет своей жизни, порядком и обрядами изолированная от хаоса и грязи окружающего мира, такого неисправимо протестантского, необузданного и невежественного, что ей оставалось только тихо жалеть. Впервые в жизни ей не нужно было скрывать свой ум.

«Если ты и дальше будешь так учиться,—говорила сестра Перепетуя,— место в потоке «А» тебе обеспечено. Это значит, что через два года можно подумать об университете. Будешь поступать в Кембридж, и, мне кажется, ты можешь смело подавать на стипендию».

Сестра Перепетуя до монастыря сама закончила Кембридж и все еще вспоминала о студенческой жизни без тоски и сожаления, но как о чем-то достойном быть принесянным в жертву призванию свыше. Даже пятнадцатилетняя Корделия понимала, что сестра Перепетуя настоящая ученая, и считала, что со стороны Бога нечестно даровать призвание тому, кто был так счастлив и полезен миру. У самой же Корделии впервые в жизни появились надежды на благополучие, интересное будущее. Она поступит в Кембридж. Сестра станет навещать ее там.

Своим умом и молитвами сестры Перепетуи она добьется стипендии. Из-за этих молитв она порой ощущала уколы совести. У нее не было никаких сомнений в их ответственности, ведь не может же Бог не послушать того, кто ценой такого самопожертвования внял его голосу. Но если заступничество сестры даст ей преимущество перед другими кандидатами — что же, нечестно, конечно, но, видно, судьба. В деле такой чрезвычайной важности ни Корделия, ни сестра Перепетуя не были склонны вдаваться в богословские тонкости.

Однако на сей раз Папочка ответил на письмо. Ему вдруг приспичило жить с дочерью. Прощай поток «А», прощай стипендия — в шестнадцать лет Корделия завершила формальное образование, и началась ее бродячая жизнь — поварихой, нянькой, посыльной — словом, боевой подруги при отце и товарищах.

... Вот она и добралась до Кембриджа — но какими окольными путями и с какой странной целью! Город не разочаровал ее. Во время странствий ей довелось побывать и в более красивых местах, но нигде ей не было так покойно и счастливо. Да и может ли сердце остаться равнодушным к городу, где и камень, и цветное стекло, вода и зе-

ленькие газоны, деревья и цветы — все содержалось в такой красоте и порядке, чтоб студентам было радостно учиться? Когда же она в конце концов встала, стряхнула с юбки оставшиеся крошки и собралась идти, в памяти вдруг, неизвестно откуда, возникла непрощенная цитата. Она так явственно услышала ее, словно слова произносил человеческий голос — молодой мужской голос, неузнанный и все же загадочно знакомый: «И увидел я тогда, что и через врата рая можно попасть в ад».

Полицейское управление располагалось в удобном, современном здании. Архитектурный символ просвещенной власти, оно должно было впечатлять, но никак не запугивать публику. Кабинет сержанта Маскелла и сам сержант полностью соответствовали такой философии. Маскелл оказался много моложе, чем она предполагала. Он был щегольски одет, с волевым, квадратным лицом и недоверчивым взглядом искушенного человека, а его красиво подстриженные волосы были длинноваты, пожалуй, даже для сыщика в штатском. Он был церемонно вежлив, но без волокитства, и это успокоило ее. Беседа предстояла не из легких, и ей не хотелось, чтоб с ней обходились снисходительно, как с милым, несносным ребенком. Иногда для пользы дела можно было прикинуться юной, ранимой простушкой, внимающей собеседнику — и Берни частенько стремился навязать ей именно эту роль, — но интуиция подсказывала, что сержант Маскелл на это не клонит: с ним лучше взять не кокетливый, а деловой тон. Ей хотелось предстать знающей и энергичной — но не слишком. И ее секреты должны остаться при ней; она здесь, чтоб получить сведения, а не делиться ими.

Она вкратце изложила суть дела и показала ему бумагу, удостоверяющую ее полномочия.

— Вот уж не думал, что сэр Рональд не согласен с вердиктом, — спокойно сказал сержант Маскелл, возвращая бумагу.

— Да нет, он согласен. Если б сэр Рональд кого-то подозревал — он обратился бы к вам. Но ведь он ученый, ему важно установить истину. Он хочет знать, что побудило сына покончить с собой, но считает, что не вправе переложить свои заботы на плечи общества. Я хочу сказать, личные переживания Марка Кэллендэра не совсем ваша область, ведь правда?

— Ну почему же, если б мы обнаружили, что его довели до самоубийства — шантажом, угрозами... но об этом и речи не было.

— А вот вы, лично вы, уверены, что он покончил с собой?

В глазах сержанта Маскелла вдруг вспыхнул острый ум охотничьей собаки, взявшей след.

— Что заставило вас в этом усомниться, мисс Грэй?

— Наверное, работа, которую вы проделали. Я беседовала с мисс Марклэнд и прочла газетный отчет о следствии. Вы вызывали судебного патологоанатома, требовали, чтоб тело сфотографировали, отправили на анализ кофе в кружке, из которой он пил.

— Я никогда не исключаю возможности убийства. На сей раз предосторожности оказались излишними, но могло случиться иначе.

— И все же что-то вас беспокоило, что-то казалось не так? Что же? — спросила Корделия.

— Да нет. Откуда ни взгляни, все вроде бы однозначно. Довольно обычная история, — ответил он, словно припоминая. — Самоубийств у нас больше чем достаточно. А тут молодой человек ни с того ни с сего оставил университет, уединился в глуши, начал самостоятельную жизнь. Такие, как правило, бывают замкнутыми, нелюдимыми, не делятся ни с друзьями, ни с родными. Три недели спустя его находят мертвым. Никаких следов борьбы; во флигеле порядок; оставляет предсмертную записку, напечатанную для удобства следствия, и как раз такую, как надо. Похоже, уничтожил все бумаги во флигеле и, тем не менее, не вымыл садовую лопату, бросил грядку на полпути; приготовил себе ужин, но не притронулся к нему. Но все это ничего не доказывает. Людям свойственны неразумные поступки, а самоубийцам в особенности. Это все ерунда, тут и голову ломать не над чем; но вот узел... — Он вдруг наклонился и начал рыться в левом ящике письменного стола. — Вот, — сказал он. — Интересно, как вы повеситесь на этом ремне, мисс Грэй?

Ремень был около полутора метров в длину и чуть больше трех сантиметров в ширину. Крепкая, но гибкая кожа местами потемнела от времени. На сужающемся конце были пробиты дырочки, обработанные металлом, с другого конца крепилась тяжелая медная пряжка. Корделия взяла ремень в руки.

— Это ремень, но мисс Лиминг сказала, что Марк носил его как пояс, два-три раза оборачивал вокруг талии. Ну, мисс Грэй, и как же вы станете вешаться? — повторил сержант Маскелл.

Корделия держала ремень на ладонях.

— Сперва продену заузженный конец через пряжку, чтобы сделать петлю. Потом, с петлей на шее, встану на стул под крюком и зацеплю за крюк свободный конец ремня. Сделаю крепкий узел и два добавочных, чтоб держался покрепче. Потом потяну ре-

мень, чтобы удостовериться, что узел не развяжется и выдержит крюк. И ногой отброшу стул.

Сержант раскрыл лежащую перед ним папку и метнул через стол.

— Взгляните, — сказал он. — Здесь фотография узла.

На черно-белом снимке с восхитительной четкостью был виден узел-булинь, завязанный на тридцать сантиметров ниже крюка в конце свободной петли.

— Наверяд ли ему удалось бы завязать такой узел над головой, никто бы такой не смог, — сказал сержант Маскелл. — Значит, сперва он сделал петлю — вот так, как вы предложили, — а потом завязал булинь? Но и это отпадает. Между узлом и пряжкой оставалось всего несколько сантиметров, так что он бы тогда не смог продеть в петлю шею. Он мог завязать подобный узел лишь одним способом: сперва сделал петлю, надев на шею, стянул до размеров воротничка и только потом завязал булинь. Потом встал на стул, подвесил петлю на крюк и отпихнул стул. Вот, глядите, этот снимок разъяснит вам, что я имею в виду. — Он перевернул страницу и внезапно подтолкнул к ней папку с делом.

Фотография — беспощадная, недвусмысленная, страшная в своей черно-белой сюрреалистичности — могла бы показаться мерзкой шуткой, если б не было так очевидно, что на ней — мертвец. В сравнении с этим ужасом Берни принял легкую смерть. Корделия почувствовала, как бешено заколотилось в груди сердце. Она низко склонилась над папкой, так, что волосы закрыли лицо, и, обмирая от жалости, заставила себя рассмотреть лежащий перед ней снимок.

Шея вытянулась настолько, что босые ноги, с оттянутыми как у танцора носками, висели менее чем в тридцати сантиметрах от пола. Мышцы живота напряглись, и высокая грудная клетка над ними казалась хрупкой, как у птицы. Голова карикатурно свесилась к правому плечу — жуткий шарж на сломанную куклу.

— Я понимаю, что вы имеете в виду, — спокойно сказала Корделия. — Между шеей и узлом едва десять сантиметров ремня. А где пряжка?

— Позади шеи, за левым ухом. Там дальше в деле есть фотография отметины, которую она оставила на теле покойного.

Корделия не стала смотреть. Зачем он показал ей этот снимок? Для подтверждения его доводов это было излишне. Может быть, он надеялся, что потрясение поможет ей осознать, во что она собирается влезть? Или хотел наказать ее за то, что заступает ему дорогу, дать понять, что между жестокостью его профессии и ее дилетантской возней — пропасть? Наконец, предупредить? Но против чего? Полиция всерьез не подозревает преступления. Дело закрыто. А может, он начинающий садист и, не в силах побороть искушения шокировать жертву или уколоть побольнее, просто походя ткнул ее мордой об стол? Сам-то он, интересно, понимает, что им движет?

— Я согласна, что он мог сделать узел только так, как вы объяснили, если он вообще его завязывал. Но, положим, петлю на его шее затянул кто-то другой, а потом подвесил его к крюку. Мертвое тело тяжелое. Разве не проще было бы сперва сделать узел, а уж потом поднять тело на стул?

— Ну да, а прежде одолжить у него ремень.

— При чем тут ремень? Убийца мог удушить его проволокой или галстуком, или они оставляют более глубокий и заметный след?

— Как раз такой след и искал патологоанатом. Но не нашел.

— Есть и другие способы: целлофановый пакет — ну, такой, как дают в магазинах верхней одежды — натянуть на голову и плотно прижать к лицу — тонкий шарф, женский чулок.

— Вижу, вы стали бы изобретательным убийцей, мисс Грэй. Все это возможно, но для этого нужен сильный мужчина, и он должен был бы напасть неожиданно. А мы не обнаружили следов борьбы.

— Но ведь может статься, так оно и было.

— Конечно, но у нас на этот счет нет решительно никаких доказательств.

— А если его сперва отравили, что-то подмешали в питье?

— Это приходило мне в голову — потому я и послал кофе на анализ. Но он не был отравлен, и вскрытие это подтвердило.

— Сколько он выпил кофе?

— Согласно экспертизе, всего полкружки, и сразу же после этого умер. Где-то между семью и девятью вечера — точнее патологоанатом определить не смог.

— А вам не показалось странным, что он пил кофе перед едой?

— Законом это не запрещено. Мы не знаем, когда он собирался есть свой ужин. Как бы там ни было, порядок, в котором человек предпочитает есть и пить, — не основание для дела об убийстве.

— По-моему, снять отпечатки с клавиш машинки невозможно.

— С клавиш такого типа — сложно. Мы пытались, но ничего не обнаружили.

— И под конец пришли к выводу, что это самоубийство?

— Обратное недоказуемо.

— Но подозрение-то у вас было. Бывший коллега моего компаньона — он старший инспектор уголовной полиции — всегда проверял свои подозрения.

— Ну, это там, в Лондоне, они могут себе позволить. Если бы я проверял все свои подозрения, у меня бы стояла работа. Подозрений мало. Убеждает лишь то, что можешь доказать.

— Пожалуйста, дайте мне предсмертную записку.

Он вынул ее из папки и протянул ей. Корделия начала про себя читать первые, полузабытые слова:

«и вот увидели под собой пустоту, бескрайнюю, как опрокинутые небеса...»

И в который раз ее потрясла значимость написанного, магия упорядоченных символов. Разве смогла бы поэзия сохранить свое волшебство, будь строчки напечатаны прозой? А проза — разве не потеряла бы она в своей неотразимости без абзацев и акцентов пунктуации? Мисс Лиминг понимала красоту этого отрывка и с чувством процитировала его, но здесь, на чистом листе бумаги, он производил еще более сильное впечатление.

Именно тогда она обнаружила в отрывке две вещи, от которых у нее захватило дух. Она собиралась рассказывать сержанту Маскеллу о первой, но у нее не было причин скрывать вторую.

— Марк Кэллендэр превосходно печатал. Это работа профессионала.

— Мне так не показалось. И вы, если посмотрите внимательнее, заметите, что две-три буквы бледнее остальных. По этому признаку легко узнать любителя.

— Да, но бледными вышли не одни и те же буквы. Человек, не имеющий в этом деле опыта, обычно не пропечатывает крайние буквы на клавиатуре, а тут... И интервалы и поля выдержаны почти до конца отрывка. Как будто печатавший вдруг понял, что должен скрыть свое мастерство, но не имел времени перепечатать весь отрывок. И странно, что совсем нет ошибок в пунктуации.

— Возможно, текст перепечатали прямо из книги. Там у парня в спальне томик Блэйка. Знаете, это ведь Блэйк, тот самый неистовый романтик.

— Знаю. Но если он перепечатал из книги, зачем было возвращать томик назад в спальню?

— Он был аккуратный юноша.

— Но все же недостаточно аккуратный, чтоб сполоснуть кружку или вымыть садовую лопату.

— Это ничего не доказывает. Я уже говорил вам: когда человек собирается покончить с собой, он часто ведет себя странно. Нам известно, что машинка принадлежала ему и что он приобрел ее год назад. Но сравнить предсмертное письмо с другими работами не представлялось возможным: он сжег все свои бумаги.

Сержант посмотрел на часы и встал из-за стола. Корделия поняла, что разговор окончен. Под расписку получила предсмертное письмо и кожаный ремень, пожалала Маскеллу руку и сухо поблагодарила за помощь. Открывая ей дверь, он вдруг сказал, словно поддавшись минутному порыву:

— Есть тут одна любопытная деталь — знаете, какая? Похоже, в день смерти у него была женщина. Патологоанатом обнаружил слабый-слабый след — всего лишь тонкую полоску — лиловой помады на его верхней губе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Нью-Холл¹ с его византийским духом, заглубленным двором и сияющим шатровым куполом зала, напоминал гарем: его султан отличался либеральными взглядами и причудливой склонностью к умным девушкам, но гарем от этого не переставал быть гаремом. Чрезмерная, тревожащая красота здания колледжа наверняка не располагала к серьезным занятиям. Корделия также не была уверена, что ей вообще по душе бьющая в глаза женственность его белого кирпича, жеманная живописность мелководных бассейнов, где меж водяных лилий кроваво-красными тенями скользили золотые рыбки, его искусно посаженные молодые деревца. Она упорно ругала здание на все лады: это помогало ей преодолеть страх.

Она специально не справлялась о мисс Тиллинг у администрации, боясь, что ее спросят, зачем она ей, и не разрешат с ней повидаться. Благоразумнее показалось просто прийти и положиться на удачу. После двух бесплодных попыток найти комнату Софии Тиллинг, ей наконец повезло. Какой-то торопливый студент обернулся и бросил на бегу:

¹ Женский колледж Кембриджского университета.

— Она не живет в общежитии. Вы идите во двор, она там, вместе с братом на газоне.

Из тенистого двора Корделия вышла на солнцепек и по мягкому, как мох, дерну, подошла к маленькой группе. На пахнувшей теплой траве сидели, вытянув ноги, четверо студентов. Она сразу узнала брата и сестру Тиллингов — сходство между ними было так велико, что ошибиться было невозможно. С первого взгляда они напоминали Корделии портреты прерафаэлитов темными гордыми головами на неправдоподобно высоких шеях и прямыми носами над изогнутыми, короткими верхними губами. На фоне их жестких черт вторая девушка светилась воплощенной женственностью. Если именно она приезжала к Марку, мисс Марклэнд была права, назвав ее красавицей. У нее было овальное лицо с аккуратным тонким носиком; маленький, но чудесно вылепленный рот; раскосые глаза поразительно густой голубизны придавали ее облику что-то загадочно-восточное, несмотря на ослепительно-белую кожу и длинные белокурые волосы. Длинное, по щиколотку платье из мягкого хлопка с розовато-сиреневым рисунком держалось лишь на пуговицах у пояса. Присобранный корсаж приподнимал полные груди, а юбка расходилась от талии, открывая обтягивающие шорты из того же материала. Больше, насколько могла заметить Корделия, на ней ничего не было. Длинные, изящные босые ноги были не тронуты солнцем, и Корделия подумала, что эти роскошные белые ляжки должны возбуждать куда больше, чем целый лес загорелых рук и ног и что девушка об этом знает. Смуглая красота Софии Тиллинг лишь оттеняла эту нежную, чарующую привлекательность.

Четвертый член команды, на первый взгляд, выглядел более обыкновенно. Коренастый бородатый молодой человек с русыми, в рыжину, курчавыми волосами и расширяющимся книзу лицом. Он лежал на траве подле Софии Тиллинг.

Все, кроме блондинки, были в старых джинсах и хлопчатобумажных рубашках с открытым воротом.

Корделия подошла ближе и несколько секунд постояла над ними, прежде чем они заметили ее появление.

— Я ищу Хьюго и Софию Тиллингов, — сказала она. — Меня зовут Корделия Грэй. Хьюго Тиллинг посмотрел на нее снизу вверх:

— Понял. Я Хьюго Тиллинг, вот моя сестра, это Изабель де Ластери, а это Дэви Стивенс.

Дэви Стивенс тут же вскочил, как неваляшка, и не без приятности поздоровался, внимательно и насмешливо разглядывая ее.

Интересно, какую роль он играет в этой четверке? Сперва, возможно под влиянием архитектуры колледжа, ей представился молодой султан, предающийся отдыху с двумя любимыми одалисками в сопровождении начальника стражи. Но, встретив твердый, умный взгляд Дэви Стивенса, она переменила мнение и даже начала подозревать, что именно начальник стражи главный в этом серале.

— Привет, — сказала София Тиллинг, кивнув.

Изабель не произнесла ни слова, лишь по лицу ее расплзлась обворожительная, бессмысленная улыбка.

— Не соблаговолите ли присесть, Корделия Грэй, и разъяснить, что привело вас сюда?

Корделия осторожно опустилась на колени, опасаясь, как бы трава не оставила пятен на мягкой замше ее юбки. Станный способ допрашивать подозреваемых — только, конечно, эти четверо не были подозреваемыми, — опустившись перед ними на колени, как просительница.

— Я частный детектив. Сэр Рональд Кэллендэр нанял меня выяснить причину смерти его сына, — сказала она и сама поразилась действию своих слов. Люди, которые только что сидели развальясь, в небрежных позах усталых воинов, от внезапного шока приняли чинный вид и замерли, словно обратившаяся в мрамор живая картина. Потом тревога отпустила их. Это произошло почти незаметно, но Корделия все же услышала, как все с облегчением вздохнули. Она всмотрелась в лица. Меньше всех беспокоился Дэви Стивенс. Он улыбнулся — сочувственно и с интересом, но без волнения — и бросил на Софи быстрый взгляд соучастника. Взгляд остался без ответа: Софи и Хьюго, застыв, смотрели прямо перед собой, должно быть, избегая глядеть друг другу в глаза. Самое сильное впечатление известие произвело на Изабель. Открыв рот, она плавно поднесла к лицу ладонь, словно плохая актриса, пытающаяся изобразить потрясение. Зрачки расширились и потемневший бездонно-фиолетовый взор в отчаянной мольбе обратился на Хьюго. Она так побледнела, что упала: она в обморок, Корделия бы ничуть не удивилась.

«Если я среди заговорщиков, — подумала она, — ясно, кого из них будет легче всего расколоть».

— Так, стало быть, Рональд Кэллендэр нанял вас, чтобы расследовать обстоятельства смерти Марка? — спросил Хьюго.

— Вам это кажется странным?

— Более чем. Просто уму непостижимо. Пока сын был жив, он им совершенно не интересовался, что ж сейчас-то ему нейметя?

— А откуда вы знаете, что он им совершенно не интересовался?

— Такое вот у меня, представьте, создалось впечатление.

— Ну а теперь заинтересовался, даже если это всего лишь потребность ученого установить истину.

— Ну и ковырялся бы в своих микроорганизмах, устанавливал бы себе, растворяется ли пластмасса в соленой воде. Да пусть чем угодно занимается, лишь бы не ставил опыты над человеческими существами — им такого не выдержать.

— Удивляюсь, как вы вообще выносите этого надутого фашиста, — небрежно бросил Дэви Стивенс.

Слишком много струн затронула в памяти эта колкость. Прикинувшись дурой, Корделия сказала:

— Я не интересовалась, к какой политической партии принадлежит сэр Рональд.

— Да нет, вы не так поняли, — сказал, рассмеявшись, Хьюго. — Назвав Рональда Кэллендэра фашистом, Дэви имел в виду некоторые взгляды, которые тот исповедует: ну, например, что люди не могут рождаться равными, что вселенские муки вовсе не обязательно приведут ко вселенскому счастью, что незаметно, чтобы деспотизм левых был либеральнее или в большей степени заслуживал поддержки, чем деспотизм правых, а черным все равно, кто их убивает — свои или белые, и, наконец, что капитализм, возможно, виновен не во всей тысяче терзаний, которым плоть обречена, от наркомании до малограмотности. Я вовсе не хочу сказать, что сэр Рональд придерживается всех или даже какой-то одной из этих предосудительных теорий. Но Дэви считает, что придерживается.

Дэви швырнул в Хьюго книгой и сказал без обиды:

— Заткнись! Несешь тут всякую ахинею. Вот и гостью утомят.

— Это сэр Рональд предложил вам поговорить с нами? — вдруг спросила Софи Тиллинг.

— Он сказал, что вы дружили с Марком; он видел вас на следствии и на похоронах.

— Ой, держите меня! — Хьюго вновь расхохотался. — Так вот как он, стало быть, понимает дружбу?

— Но вы там были?

— Мы ходили на следствие — все, кроме Изабель. Хоть она у нас и красавица, но доверия не заслуживает. Было отменно скучно. Слишком много совершенно излишних медицинских заключений о превосходном состоянии сердца, легких и пищеварительного тракта покойного. Марк, насколько я понимаю, жил бы вечно, когда б не удавился на собственном ремне.

— А на похоронах — вы там тоже были?

— Были, в Кембриджском крематории. Угнетающая процедура. Весьма. Нас было всего шестеро, помимо подручных гробовщика: мы трое, Рональд Кэллендэр, его секретарь-экономка и пожилая особа в черном, похожая на няню. Последняя придавала всей этой затее особую мрачность. Признаться, глядя на нее, я подумал, уж не скрывается ли под личиной старой преданной служанки переодетая сотрудница полиции?

— Но почему? Она была похожа на сотрудницу полиции?

— Ничуть, но ведь и вы не похожи на частного сыщика.

— И вы не знаете, кто она?

— Понятия не имею, нас не познакомили: похороны были не из тех, где общаются. Помнится, ни один из нас не сказал никому ни слова. Сэр Рональд надел приличествующую случаю маску Короля, скорбящего по Наследному Принцу.

— А мисс Лиминг?

— Его Царственной Супруги; ей бы прикрыть лицо черной вуалью.

— А мне ее сострадание показалось непритворным, — сказала Софи Тиллинг.

— Тут трудно отличить. Что ты понимаешь под страданием? И что ты понимаешь под непритворным?

Внезапно в разговор, перекатившись на живот, как игривый пес, вмешался Дэви Стивенс.

— По-моему, мисс Лиминг выглядела совсем больной. Кстати, фамилия старухи — Пилбим, так, во всяком случае, было написано на венке.

— Ты имеешь в виду тот жуткий крест из роз с траурной лентой? — засмеялась Софи. — Я должна была бы догадаться, что это от нее. Ну а ты-то как узнал?

— Я посмотрел, моя радость. Похоронщики сняли венок с гроба и прислонили к стене, а я тем временем быстро прочитал надпись на ленте: «С искренним сочувствием от няни Пилбим».

— Да-да, теперь припоминаю. Ну и надпись. Двадцатый век! Бедная старая нянюшка, ей это, наверное, влетело в кругленькую сумму.

— Марк когда-нибудь говорил о няне Пилбим? — спросила Корделия.

Они быстро переглянулись. Изабель покачала головой. «Только не со мной»,— сказала Софи.

— Он никогда не говорил о ней,— ответил Хьюго.— Но я, по-моему, видел ее и до похорон. Она приходила в колледж недель шесть назад — точнее, на совершеннолетие Марка — и сказала, что хочет повидать его. Я в это время как раз зашел в домик привратника, и Робинс спросил меня, не уехал ли Марк домой. Она прошла к нему в комнату, где они провели вместе около часа. Я видел, как она уходила, но он никогда не упоминал о ней при мне — ни тогда, ни позже.

«И вскоре после этого,— подумала Корделия,— он оставил университет. Есть ли здесь связь? Как ни тонка нить, придется проследить, куда она ведет».

И, движимая любопытством, показавшимся ей самой извращенным и неуместным, спросила:

— А другие цветы были?

На сей раз ей ответила Софи:

— Простой букет несвязанных садовых цветов. Никакой ленты. Думаю, от мисс Лининг. На сара Рональда не похоже — не его стиль.

— Вы дружили с ним,— сказала Корделия.— Пожалуйста, расскажите мне о нем.

Они посмотрели друг на друга, словно решали, кто должен высказаться первым. Корделия почти физически ощущала их замешательство. Софи Тиллинг обрывала стебельки травы и катала их между ладонями. Потом, не поднимая глаз, сказала:

— Марк был очень скрытным человеком. Не уверена, что хоть кто-то из нас знал его по-настоящему. Он был спокойный, мягкий, замкнутый, не тщеславный. Способный, но по жизни не умный. Очень добрый: думал о других, но никогда не докучал людям своими заботами. Был о себе невысокого мнения, но его это, по-моему, ничуть не огорчало. Вот, пожалуй, и все, что мы можем о нем рассказать.

Вдруг заговорила Изабель — так тихо, что Корделия с трудом могла расслышать.

— Он был славный,— сказала она.

— Он был славный, а теперь он мертвый,— сердито оборвал ее Хьюго.— Этим все сказано. Большого о Марке Кэллендэре мы сообщить вам, увы, не сможем. После того, как он похерил университет, никто из нас его в глаза не видел. Он не советовался с нами, прежде чем уйти, равно как и не советовался с нами, прежде чем покончить с собой. Он, как верно заметила моя сестра, был человек скрытный. Предлагаю вам оставить его секреты при нем.

— Послушайте,— сказала Корделия.— Если вы перестали общаться с ним, если вам было до такой степени наплевать, зачем же вы ходили к следователю и на похороны?

— Софи пошла по старой памяти. Дэви пошел из-за Софи. Я пошел из любопытства — ну и из уважения, конечно. Мое напускное легкомыслие и дерзость не должны привести вас к выводу, что у меня нет сердца.

— В день смерти у Марка кто-то побывал и пил с ним кофе,— упорно повторила Корделия.— Я хочу выяснить, кто.

Вправду ли новость удивила их или ей только показалось?

Софи Тиллинг, похоже, уже собиралась задать вопрос, но брат опередил ее.

— Это не мы. В тот вечер мы ходили в Художественный театр на Пинтера¹ сидели во втором ряду бельэтажа. Не уверен, что сумею это доказать. Возможно, администратор уже выбросила список мест на тот злополучный вечер. Но билеты заказывал я, и она меня, возможно, узнает. Или, хотите, познакомлю с приятелем — я ему говорил, что собираюсь затаскать на пьесу всю компанию, а с другим мы впоследствии обсуждали постановку. Можете допрашивать их сколько душе угодно, мы с друзьями друг за друга горой, так что вам меня не подловить. Проще поверить, что я говорю правду. Да и к чему мне лгать? Вечером двадцать шестого мая мы вчетвером ходили в Художественный театр.

— Да пошлите вы этого индюка папашу Кэллендэра куда подальше,— вкрадчиво посоветовал Дэви.— Скажите, чтоб оставил сына в покое, а сами найдите себе дело о краже — просто и мило.

— Или об убийстве,— подсказал Хьюго Тиллинг.— Подыщите себе дело об убийстве — вот увидите, как славно выйдете.

И все четверо, как по команде, начали подниматься, собирать книги, отряхивать одежду от налипших травинки. Следом за ними Корделия прошла через двор на территорию колледжа. По-прежнему молча, они вместе подошли к белому «Рено», стоявшему у ворот. Корделия поравнялась с ними и заговорила, обращаясь прямо к Изабель.

— Вам понравился Пинтер? Как вам последняя сцена — когда туземцы обстреливают Уайатта Гилламана? Ужасно, правда? Вам не было страшно?

¹ Пинтер Гарольд — выдающийся английский драматург.

Этот ход показался ей таким примитивным, что она почти презирала себя. В огромных фиалковых глазах она прочла замешательство.

— О нет! — сказала Изабель. — Я совсем не испугалась. Ведь со мной были Хьюго и ребята.

— Ваша приятельница, по-видимому, не знает разницы между Пинтером и Осборном¹, — сказала Корделия Хьюго Тиллингу.

Хьюго усаживался на переднее сиденье машины и обернулся, чтобы открыть заднюю дверь для Софи и Дэви.

— Моя приятельница, как вам было угодно ее назвать, — сказал он спокойно, — проживает в Кембридже с целью изучения английского языка — по счастью, за ней не слишком строго присматривают. Знания ее пока что беспорядочны, а успехи просто-таки разочаровывают. Никогда не знаешь, что она поняла, а что нет, моя приятельница.

Мотор ожил и заурчал. Машина тронулась. И тут Софи высунула голову из окна и порывисто сказала:

— Приходите ко мне сегодня во второй половине дня, поговорим о Марке. Вряд ли это вам поможет, но все равно, приходите — улица Норич, 57. Не опаздывайте — мы с Дэви собираемся на реку. Будет настроение, пойдём с нами.

Машина набирала скорость. Корделия провожала ее взглядом, пока та не скрылась из виду. Хьюго поднял руку в шутовском прощальном жесте, но ни один из них не обернулся.

Итак, улица Норич, 57. Корделия несколько раз повторила адрес про себя, потом все-таки записала в книжку. Снимает комнату? Может быть, это адрес общежития? Или Тиллинги живут в Кембридже? Что ж, узнаем, и очень скоро. Когда лучше прийти? Слишком рано — неприлично, слишком поздно — уедут кататься на лодке. Что бы ни побудило Софи Тиллинг, хоть с опозданием, пригласить Корделию, ей теперь никак нельзя терять с ними связь. Они попытаются отговорить ее от расследования, станут упрашивать, стыдить. Интересно, угрожать будут? Но зачем? Чтоб кого-то прикрыть. Правдоподобно, но опять-таки зачем? Ведь он совершил убийство, а не залез через окно в общежитие в неурочный час. Марк Кэллендэр был им другом, а двоим, возможно, и более чем другом. Некто, кого он знал и кому доверял, туго затянул ремень вокруг его шеи, а потом наблюдал за агонией и слушал предсмертные хрипы удушья, и повесил его тело на крюк, как тушу животного. Как увязать эту жуткую картину с сочувственным, немного насмешливым взглядом, который бросил Дэви Стивенс на Софи, с хладнокровной иронией Хьюго, дружелюбными, неравнодушными глазами Софи? Если они покрывают убийцу, они просто чудовища. А Изабель? Скорее всего, они покрывают именно ее. Но Изабель де Ластери не могла убить Марка. Корделия представила себе эти хрупкие плечи, слабые руки, почти прозрачные на солнце, изящные розовые ногти, длинные, как когти птицы. Если Изабель — преступница, она действовала не одна.

...На черной парадной двери дома Софи под полукруглым оконцем был выведен номер пятьдесят семь. Корделия с облегчением отметила, что здесь есть куда поставить «Мини». У кромки тротуара сплошной линией выстроились машины и выдавшие виды велосипеды. «Рено» среди них не было.

Дверь была распахнута настежь. Корделия переступила порог и очутилась в узкой белой прихожей. Самая дальняя дверь была открыта, и она могла видеть кусок залитой солнечным светом комнаты с ярко-желтыми стенами. Выглянула Софи.

— А, это вы. Заходите. Дэви пошел в библиотеку и в магазин — купить еды для пикника. Дать вам чаю, или подождем? Я как раз заканчиваю гладить.

— Спасибо, я лучше подожду, — сказала Корделия и огляделась вокруг.

Приветливая и нарядная комната была обставлена разномастной старой и новой мебелью — сборная солянка, где дешевое соседствует с дорогим, радующая глаз, неприязательная и уютная. У стены — массивный дубовый стол, окруженный четырьмя довольно безобразными стульями, виндзорский стул с мягкой спинкой и тугим желтым сиденьем, у окна — изящный викторианский диван, покрытый коричневым бархатом, а на каминной полке над закрытым кованой решеткой очагом — три прекрасные стаффордширские статуэтки. Одну из стен почти полностью закрывала темная пробковая плита, к которой были приколоты плакаты, открытки, памятные записки и вырезки из журналов.

В окне, за незадернутыми желтыми гардинами, был виден огороженный стеной сад. У влажной, зеленой от вьюна решетки рос огромный, весь в цветах, куст розового алтея; в низких арабских вазах цвели розы, а стена по периметру была заставлена горшочками ярко-красной герани.

¹ Осборн Джон — знаменитый английский драматург.

— Мне здесь нравится,— сказала Корделия.— Это ваш дом?

— Да, мой собственный. Два года назад умерла наша бабушка и оставила нам с Хьюго небольшое наследство. Я сделала вступительный взнос за дом и от муниципалитета получила субсидию в счет изменения характера собственности. Хьюго свою долю пропил. Он обеспечил себе воспоминания в старости, я обеспечила себе счастливую молодость. Видите, какие мы разные!

Она сложила гладильное одеяло на краю стола и убрала его в один из шкафов. Потом села напротив Корделии и вдруг спросила:

— Понравился вам мой брат?

— Не очень. По-моему, он вел себя по-хамски.

— Он ненарочно.

— Тем хуже. Если человек хамит ненарочно, значит он просто черствый.

— Это Изабель на него так действует. При ней с ним всегда тяжело общаться.

— Она была влюблена в Марка Кэллендэра?

— Спросите у нее самой, но я не думаю. Они были едва знакомы. Марк был моим, а не ее любовником. Я решила, что лучше вам услышать об этом от меня — ведь вы собираетесь разузнавать подробности его жизни, так что рано или поздно вам кто-нибудь скажет. Конечно, он здесь не жил. У него была квартира в общежитии. Но мы были близки почти весь прошлый год. Наш роман закончился только после Рождества, когда я встретила Дэви.

— Вы любили друг друга?

— Не уверена. Секс своего рода познание, вы согласны? Если вы хотите знать, удавалось ли нам через индивидуальность другого постичь собственное «Я», тогда полагаю, мы любили друг друга. Нам, по крайней мере, казалось, что любим. Марку было необходимо убедить себя, что он влюблен. Я же, пожалуй, не вполне понимаю, что значит это слово.

— Я тоже. Но вам было хорошо вместе? В постели?

— Да. И не только в постели.

— Почему же вы расстались? Поссорились?

— Да что вы, мы слишком хорошо воспитаны, чтоб поссориться. С Марком было вообще невозможно поссориться. И как же я его за это ненавидела! Видели бы вы, как спокойно он воспринял мое решение расстаться навсегда — словно я просто отказываюсь пойти с ним сегодня в Художественный театр. Он не пытался меня удержать. И напрасно вы думаете, что его смерть как-то связана с нашим разрывом. Я ни для кого так много не значу, а для Марка и подавно не значила. Наверно, я была привязана к нему гораздо сильнее, чем он ко мне.

— Так почему же вы порвали с ним?

— Марк все время испытывал мою совесть — может, это было и не так, ведь сам он никогда не считал себя образцом нравственности,— но я чувствовала, что меня разглядывают в микроскоп. Я не умела оправдывать его надежд, да мне и не хотелось. Вот, например, Гэри Веббер, я лучше расскажу вам о нем. Маленький шизофреник, причем агрессивный, неуправляемый. Марк познакомился с ним около года назад — Гэри гулял по Джисус Грин с родителями и двумя братьями; дети качались на качелях. Марк заговорил с Гэри, и мальчик ему ответил. Дети любили Марка. Он начал раз в неделю навещать Гэри, сидел с ним по вечерам, чтоб Вебберы могли сходить в кино. Провел у Вебберов двое последних каникул — они оставили на него Гэри и всей семьей уехали отдыхать. Отдавать его в лечебницу они не хотели. Раз попробовали, но он там не прижился. А с Марком оставляли охотно. Я иногда приходила и наблюдала их вдвоем. Марк сажал Гэри на колени и качал, качал его часами напролет. Только так его можно было успокоить. Наши мнения о Гэри разошлись. Я считала, что лучше б ему умереть, чем мучить себя и родных. Но Марк со мной не согласился. Помнится, я тогда сказала:

— Значит, по-твоему, пусть дети страдают — лишь бы ты мог облегчать им страдания и балдеть от собственной душевной щедрости...

— Ни ты, ни я не хотим убивать Гэри,— ответил мне Марк.— Он есть. Есть его семья. Им нужна наша помощь, и мы должны помогать. Что ты при этом чувствуешь, не так уж важно.

— Но ведь к любому действию побуждает чувство.

— Ах, Корделия, не надо, не начинай. Мы сто раз это обсуждали. Разумеется, ты права!

С минуту они молчали. Потом, страхась нарушить хрупкую атмосферу доверия и нарождающейся дружбы, Корделия все же заставила себя спросить:

— Почему он покончил с собой — если он покончил с собой?

— Он оставил записку,— сухо, резко отозвалась Софи.

— Оставил. Но ничего не объяснил. Это чудесная проза — по крайней мере, мне Блэйк очень нравится,— но как оправдание самоубийства отрывок, мягко говоря, неубедителен.

- Он убедил судей.
- Он не убеждает меня.
- Человек совершает такое, поддавшись порыву, не рассуждая.
- Марк был порывистый, безрассудный?
- Я не знала Марка.
- Но он был твоим любовником. Вы спали вместе!

Софи исподлобья посмотрела на Корделию. Голос ее звенел от злости и боли:

— Я не знала его! Думала, что знаю, но не знала о нем самого важного!

Помолчали. Потом Корделия спросила:

— Ты ведь как-то обедала на вилле Гарфорт? Расскажи мне об этом, пожалуйста.

— Было очень вкусно, и вино отличное, но ты ведь хочешь узнать не об этом.

А больше об обеде вспомнить нечего. Сэр Рональд был со мной довольно мил, — после того, как заметил мое присутствие. Мисс Лиминг, когда ей удавалось отвлечься от сидевшего во главе стола гения, поглядывала на меня, как будущая свекровь. Марк больше молчал. Мне показалось, что он привел меня в дом специально, чтобы что-то доказать мне, а может — и себе. И больше никогда не вспоминал о том вечере и меня о нем не расспрашивал. А через месяц пригласил с Хьюго. Тогда я и встретила Дэви. Его затащил на обед один из биологов. Сэр Рональд хотел заполучить его во что бы то ни стало: Дэви, когда переходил на последний курс, работал у него на каникулах. Хочешь знать, что делается на вилле Гарфорт, спроси у него.

Не прошло и пяти минут, как приехали Хьюго, Изабель и Дэви.

Корделия в это время была наверху, в ванной, и оттуда услышала, как к дому подъехала машина и приходяжая наполнилась шумом голосов. Со второго этажа был слышен стук шагов... Она повернула горячий кран. Газовая колонка на кухне тут же взревела, словно крохотный дом был начинен динамитом. Не закрывая кран, Корделия вышла из ванной и осторожно прикрыла за собой дверь. Тихонько подошла к верхней ступеньке лестницы. Свинство понапрасну лить горячую воду Софи, но еще горше было сознание предательства, жалкого двурушничества. Бесшумно преодолев три ступеньки, она остановилась и прислушалась. И услышала высокий бесстрастный голос Изабель:

— Но если этот сэр Рональд платит ей, чтоб она наводила справки о Марке, почему я не могу заплатить, чтоб она прекратила?

Потом веселый, с издевкой голос Хьюго:

— Изабель, милочка, когда же ты у нас поймешь, что купить можно отнюдь не каждого?

— Во всяком случае, не ее. Мне она нравится. — Это сказала Софи.

— Да она нам всем нравится, — ответил ее брат. — Только вот как от нее избавиться?

Несколько минут до нее лишь смутно доносился шум голосов, слов было не разоб-
брать, пока в разговор вновь не вступила Изабель.

— По-моему, женщине такая работа не к лицу.

По полу заскрипел отодвигаемый стул, зашаркали ноги. Корделия метнулась обратно в ванную и выключила кран. Как-то раз Берни советовался с ней, стоит ли им брать за дело о разводе. Помнится, он сказал тогда, что, занимаясь частным сыском, оставаться джентльменом невозможно. И вправду невозможно, — винювато подумала Корделия, в щелку подглядывая, что происходит внизу. Хьюго и Изабель собрались уходить. Услышав звук отъезжающей машины, Корделия спустилась в гостиную.

Софи и Дэви вдвоем разбирали большую дорожную сумку с продуктами.

— Изабель устраивает сегодня вечеринку, — с улыбкой сказала Софи. — Она живет совсем рядом, на улице Пэнтон. Приходи, будет Эдвард Хорсфол, научный руководитель Марка. Изабель ждет к восьми. Заходи за нами, пойдем вместе. Сейчас мы едем на реку — часок-другой покатайся на лодке. Хочешь — присоединяйся, лучше-го случая увидеть Кембридж тебе не представится.

Впоследствии пикник вспомнился Корделии калейдоскопом быстро мелькающих, но необычайно ясных картинок, мгновений, когда слились воедино зрение и слух, а время на миг замедляло свой бег, чтобы образ мог отпечататься в ее памяти. Мерцающий на глади реки солнечный свет, позолотивший волосы на груди и под мышками Дэви, его крепкие бицепсы, от веснушек рябые, как перепелиное яйцо; вот Софи утирает пот со лба, весло поднимает с таинственной глубины змеящиеся черно-зеленые водоросли, белым хвостом вверх в зеленую волну ныряет селезень в ярком оперенье. Когда проплывали под мостом Серебряной улицы, увидели приятеля Софи, который, запрокинув лицо над водой, поплыл вровень с яликом, скользкий, как выдра; щeki его клейко облепили острые пряди черных волос. Он уцепился руками за ялик и, отдыхая, открыл рот, куда, по его требованию, Софи нехотя стала запихивать большие куски бутербродов. Под мостом бурлила белая вода, байдарки и ялики шли корма к корме. Воздух звенел от смеха; зелень берегов исчезла под полуобнаженными телами: лежа на спине, студенты подставляли лица солнцу.

Дэви работал веслом, пока не вывел ялик в верхнее русло реки, где Софи и Корделия сели на подушки, вытянув ноги, — одна ближе к носу, другая — к корме. Вести доверительную беседу на таком расстоянии не представлялось возможным. Наверное, так и задумано. Время от времени Софи выдавала ей порцию информации, словно чтоб подчеркнуть, что прогулка носит чисто познавательный характер.

— А вот там, видишь, как свадебный пирог, — это колледж Святого Джона. Мы сейчас проплываем под мостом Святой Клары, по-моему, он один из самых изящных. Томас Грамбальд построил его в 1639 году. Говорят, за проект ему заплатили всего три шиллинга. Ну, а это здание ты, конечно, узнаешь, но все равно, гляди, как красиво отсюда смотрится Королевский колледж.

Страна подумать, что она может перебить щебечущего гида и прямо в лоб спросить:

— Правда, что вы с братом убили твоего любовника?

Здесь, на баюкающей, в солнечных бликах волне, вопрос прозвучит диким и неприличным. Еще немного, и ее бдительность усыпят настолько, что она спокойно признает свое поражение; согласится, что все ее подозрения — не более чем легкое расстройство психики, вызванное погоней за сенсацией, жаждой славы, потребностью доказать сэру Рональду, что он платит ей не зря. Она поверила, что Марк Кэллендэр убит, всего лишь потому, что хотела в это поверить. Она отождествила себя с ним, с его нелюдимостью, самодостаточностью, отчуждением от отца, с его одиноким детством. И даже — что всего опаснее — стала думать, что свыше призвана отомстить за него.

Когда осталась позади гостиница Гарден Хаус и Дэви, передав Софи весло и цепляясь за борт мягко покачивающегося ялика, пробрался к скамейке и сел, вытянув ноги, рядом с Корделией, она уже знала, что не в силах выговорить имя Марка.

— Сэр Рональд — серьезный ученый? — спросила она даже не из любопытства, а просто, чтоб поддержать разговор.

Свесив руку за борт, Дэви принялся лениво зачерпывать блестящую воду.

— Как говорят мои дорогие коллеги, он занимается весьма уважаемой, более того — престижной наукой. В настоящее время в лаборатории Кэллендэра разрабатывают способы более широкого применения биологических мониторов, которые определяют состав выбросов в моря и устья рек. Лаборатория постоянно проводит опыты с животными и растениями — индикаторами. А в прошлом году они изучали пластмассу, сроки ее распада... Сам-то Рональд Кэллендэр уже поостыл, впрочем, ученых за пятьдесят научные озарения посещают нечасто. Но по части умения находить таланты ему нету равных, и он, конечно, знает, как руководить коллективом, — братья, плечом к плечу, все за одного. Может, кому и нравится. Мне — нет. Они даже труды свои подписывают «Лаборатория Кэллендэра». Нет уж, увольте. Когда я печатаюсь, я стремлюсь приумножить славу Дэвида Форбса Стивенса, и ничью более. Ну и, конечно, потешить тщеславие Софи. Тиллинги любят успех.

— И поэтому вы отказались у него работать?

— Не только. Он слишком щедро платит и слишком многого требует. Я не люблю, когда меня покупают, и ни за что не соглашусь ежевечерне выражаться в смокинг, как цирковая мартышка. Я микробиолог. И уверен, что вилла Гарфорт не стоит обедни.

— А что такое Ланн?

— Да черт его знает! Сэр Рональд нашел его в приюте, когда ему было пятнадцать, и сделал из него превосходного лаборанта. Лучше не бывает. Нет прибора, в котором Ланн не сумел бы разобраться, за которым не научился бы ухаживать. Он и сам изобрел пару-тройку, и сэр Рональд запатентовал их. Если есть в лаборатории незаменимый работник, так это Ланн. И, конечно, сэр Рональд всегда дорожил им куда больше, чем сыном. А для Ланна, как вы, возможно, догадались, сэр Рональд — царь и бог. Так что довольны оба. Просто диву даешься, как сэр Рональду удалось направить на служение науке всю его дурную энергию, — а ведь в детстве, бывало, и уличные драки затевал, и старушкам карманы выворачивал. Надо отдать Кэллендэру должное: он, безусловно, знает толк в рабах.

— А мисс Лиминг, она тоже рабыня?

— Не мне судить, что такое Элайза Лиминг. Она ведет все дела и, как Ланн, возможно, незаменима. Похоже, Ланн влюблен в нее, а она его ненавидит, а может, они ненавидят друг друга — я в этих психологических тонкостях не силен.

— Но откуда у сэра Рональда на все это деньги?

— Вопрос на засыпку, верно? Ходят слухи, что жена оставила ему солидный капитал, который они с Элизабет Лиминг сумели очень удачно поместить — у них не было другого выхода. Какие-то деньги он получает за работу по договорам. Но все равно, дороговатое хобби. Когда я там работал, поговаривали, что лабораторией Кэллендэра заинтересовался Фонд Уолвингтона. Если предложат крупную сумму — а предлагать мелочь, полагаю, ниже их достоинства, — сэру Рональду это будет очень кстати. Смерть Марка для него — удар ниже пояса. Через четыре года Марк должен был

вступить в права наследства, и он говорил Софи, что большую часть собирается отдать отцу.

— Но почему?

— Бог его знает. Может, долг совести. Как бы там ни было, он считал, что Софи должна об этом знать.

Долг совести — за что? За то, что мало любил отца? Не разделял его увлечения? Не оправдал надежд? Что же станет с деньгами Марка теперь? Кому была на руку его смерть? Надо бы посмотреть завещание его деда. Но для этого придется поехать в Лондон. Стоит ли?

Она подставила солнцу лицо и опустила пальцы в реку. В глаза больно брызнули капли с весла. Она открыла их и увидела, что ялик скользит к берегу, заходит в тень нависших над водой деревьев. Толстая, в обхват, расщепленная на конце надломившаяся ветка, которая держалась на одной коре, легко повернулась, когда они под ней проплывали. Слышался голос Дэви; должно быть, он говорит уже давно. Как странно, что она не помнит — о чем!

— Чтобы расстаться с жизнью, всегда довольно причин. Вот причины продолжать жить действительно есть не у всякого. Это самоубийство, Корделия. Я бы на вашем месте поставил здесь точку и успокоился.

Наверное, она ненадолго задремала — Дэви, похоже, отвечал на ее же вопрос. Интересно, когда она успела задать его? Но тут в памяти все громче и настойчивее зазвучали иные голоса:

«Мой сын мертв. М о й сын. Если в том моя вина, я хочу об этом знать. Если виноват кто-то другой, я хочу знать — кто».

«Как вы повеситесь на этом ремне, мисс Грэй?»

Гладкая кожа, живой змеей скользнувшая меж ее пальцев...

Она выпрямилась, обхватила руками колени — так резко, что ялик закачался и Софи, чтоб сохранить равновесие, пришлось уцепиться за ветку. На ее смуглом лице, укороченном, безмерно удаленном, играла тень листьев. Их взгляды встретились. И в этот миг Корделия поняла, как близка она к тому, чтоб отказать от расследования. Красота летнего дня, солнце, безделье, обещание товарищества, даже дружбы, соблазнили ее настолько, что она забыла, зачем она здесь. И, спустившись с небес на землю, пришла в ужас. Дэви говорил, что сэр Рональд умеет выбирать. Что ж, он выбрал ее. Это ее первое дело, она раскроет его, и ничто и никто ее не остановит.

— Спасибо, что взяли меня с собой, но я не хочу пропускать сегодняшнюю вечеринку, — сухо сказала она. — Надо поговорить с научным руководителем Марка, а может, там будут и другие его знакомые. По-моему, нам пора возвращаться.

Софи посмотрела на Дэви. Он едва заметно пожал плечами. Софи резко оттолкнулась шестом от берега. Ялик начал медленно разворачиваться в обратную сторону.

Изабель приглашала к восьми, но Софи, Дэви и Корделия приехали почти в девять. От улицы Норич дошли за пять минут. Корделия так никогда и не узнала точного адреса. Какой красивый дом! Сколько же отец Изабель платит владельцу? Длинная белая двухэтажная вилла с высокими арочными окнами, зелеными ставнями и полуцоколем стояла в стороне от проезжей части. К входной двери вели ступеньки; такая же лестница спускалась в обширный сад прямо из гостиной.

Там было уже довольнолюдно. Хорошо, что она купила тунику. Многие, хоть и не все, к вечеру переоделись понаряднее. Каждый старался выглядеть оригинально. Лучше было надеть экстравагантный, даже кричащий наряд, лишь бы не быть серой мышью.

Мебели было немного, и на каждом предмете лежал отпечаток бездумной, порхающей, бросающей вызов небесам женственности Изабель. Слишком массивная для комнаты шикарная хрустальная люстра свисала с потолка снопом солнечных искр; бесчисленные шелковые подушки сообщали строгой, изысканных пропорций комнате сходство с вульгарно-пышным будуаром кокетки. Картины тоже принадлежали Изабель — ни один домовладелец не оставит на стенах сданного внаем дома картины такого уровня. На одной, над камином, была изображена девочка, прижимавшая к груди щенка. От восторга у Корделии захватило дух. Она узнала этот неподражаемый голубой тон платья, чудесный оттенок щек и полных юных рук — светящаяся кожа, восхитительная осязаемая плоть.

И, невольно привлекая к себе внимание, вскрикнула:

— Да ведь это Ренуар!

Хьюго взял ее под руку.

— Да, — рассмеялся он. — Ну и что? Чему вы так удивляетесь? Это всего лишь малый Ренуар! Изабель попросила папу купить ей картину в гостиную. Не станет же он покупать Иллэйвайна или всем надоевшую репродукцию ваноговского стула.

— А Изабель чувствует разницу?

— Еще бы! Изабель отличает дорогую вещь от дешевой с первого взгляда, — с горечью бросил Хьюго.

Оба разом обернулись и посмотрели туда, где, улыбаясь им, стояла Изабель. Высокая греческая прическа открывала ее лицо. Платье по щиколотку из матового шелка цвета сливок с низким квадратным вырезом и короткими, в сложных защипах, рукавами, явно парижское, от лучшего модельера, на студенческой вечеринке должно было бы выглядеть неуместно. Но случилось иначе. Платья других женщин просто погасли, а ее собственное, так порадовавшее Корделию при покупке тонкой, переливчатой игрой цвета, превратилось в безвкусную, линялую тряпку.

Корделии непременно нужно было улучшить момент и поговорить с Изабель наедине, однако это оказалось не так-то просто. Хьюго упорно не отходил от нее ни на шаг и, прокладывая ей путь меж гостей, по-хозяйски обнимал за талию. Он пил рюмку за рюмкой, и стакан Изабель был все время полон. Быть может, позже ей и удастся их разъединить. А пока неплохо бы осмотреть дом и, что всего важнее, выяснить, где туалет, прежде чем ей туда захочется. На таких вечеринках гостей в этом смысле предоставляют самим себе.

Поднявшись на второй этаж, Корделия прошла по коридору и легко толкнула дверь дальней комнаты. Дверь открылась. В нос сразу ударил запах виски, такой густой, что Корделия скользнула в комнату и прикрыла за собой дверь, испугавшись, что он может разнестись по всему дому. В комнате царил неопиcуемый беспорядок. На кровати, полуприкрытая стеганым одеялом, лежала женщина, ярко-рыжие волосы разметались по подушке. Корделия подошла ближе. Из полукрытого рта вырывалось несвежее, тяжелое от виски дыхание. Напряженная челюсть и поджатая нижняя губа придавали лицу суровое выражение, словно она сильно осуждала собственное состояние. Тонкие губы были густо намазаны. На стеганом одеяле лежали неподвижные руки с коричневыми от никотина пальцами. Окно загоразивал массивный туалетный стол. Стараясь не смотреть на носовые платки, открытые бутылочки крема для лица, просыпанную пудру и недопитые чашки кофе (какой бардак!), Корделия протиснулась к окну и, распахнув его настежь, стала жадными глотками вбирать свежий, живительный воздух. В саду меж деревьев молча двигались смутные силуэты, словно призраки давно покойных бражников. Оставив окно открытым, она вернулась к кровати. Помочь тут ничем не сможешь, но она спрятала холодные руки под стеганое одеяло и, сняв с дверного крючка более теплую ночную рубашку, укутала ею тело женщины. Хоть не продует. Потом выскользнула обратно в коридор — и как раз вовремя: из соседней комнаты появилась Изабель. Корделия схватила девушку за руку и затащила в спальню. Изабель коротко вскрикнула, но Корделия крепко притиснула ее к двери.

— Расскажите мне о Марке Кэллендэре, — зашептала она.

Фиалковый взгляд заметался между окном и дверью: куда бежать?

— Когда он это сделал, меня там не было.

— Когда кто сделал что?

Словно ища защиту у неподвижной, постанывающей во сне женщины, Изабель отступила к кровати. Вдруг женщина повернулась набок и захрипела, как издыхающая скотина. Девушки испуганно посмотрели на нее.

— Когда кто сделал что? — громко повторила вопрос Корделия.

— Когда Марк убил себя, меня там не было.

С кровати послышался легкий вздох. Корделия вновь перешла на шепот.

— Вы ведь приезжали к нему за несколько дней до смерти. Зашли в дом и попросили позвать его. Вас видела мисс Марклэнд.

Девушка вдруг словно почувствовала облегчение оттого, что ей задали такой безобидный вопрос, — или Корделии показалось?

— Я просто приехала повидать Марка. В ректорате мне дали его адрес. Я поехала навестить его.

— Зачем?

Нелицеприятный вопрос не смутил Изабель.

— Я хотела быть с ним. Он был моим другом, — просто ответила она.

— И любовником?

Грубо, но все же лучше дурацких эвфемизмов, которые Изабель могла и не понять. Впрочем, прочитав в этих прекрасных, испуганных глазах, насколько Изабель понимает твои слова, невозможно.

— Нет. Марк никогда не был моим любовником. Он работал в саду, и мне пришлось подождать его у домика. Он посадил меня на солнце и дал книжку.

— Какую книжку?

— Не помню, она была очень скучная. Я тоже скучала, пока Марк не пришел. Потом мы пили чай из смешных кружек с голубым ободком, а после чая пошли гулять. Потом ужинали. Марк сделал салат.

— А потом?

— Я уехала домой.

Теперь она совершенно успокоилась. Время поджимало: с лестницы доносились звонкие голоса, был слышен скрип шагов, то поднимавшихся наверх, то спускавшихся вниз.

— А до чаепития, — настаивала Корделия, — вы ведь виделись с ним до чаепития. Когда?

— За несколько дней до того, как Марк ушел из университета. Мы поехали на моей машине на пикник, к морю. Но прежде остановились в каком-то городе — кажется, Сент-Эдмундс он назывался — и Марк ходил к врачу.

— Зачем? Он был болен?

— Нет-нет, он не был болен, да он и времени там провел меньше, чем нужно для осмотра. Всего несколько минут. Это был очень бедный дом. Я ждала его в машине, но не прямо у дома, подальше, понимаете?

— Он рассказал, зачем ходил туда?

— Нет, но, по-моему, у него там ничего не вышло. Он вышел оттуда грустный-грустный, но потом мы поехали на море, и он опять повеселел.

Теперь повеселела и она. На лице вновь заиграла прелестная, ничего не выражающая улыбка. Только флигель внушает ей ужас. Она согласна говорить о живом Марке сколько угодно, но гонит от себя мысль о его смерти. И не потому, что горюет. Он был ее другом, он был славный, он нравился ей. Но ей хорошо и без него.

В дверь постучали. Корделия посторонилась, вошел Хьюго. Приподняв одну бровь, глянул на Изабель и, не обращая внимания на Корделию, сказал:

— У тебя гости, цыпленок. Ты скоро?

— Корделия хотела поговорить со мной о Марке.

— Я так и понял. Ты, надеюсь, сообщила ей, что вы с ним ездили к морю и провели вместе весь день, а потом ты как-то днем заезжала к нему на виллу и пробыла там до вечера, и что с тех пор вы не виделись?

— Именно это она мне и сообщила, — отозвалась Корделия. — Слово в слово. Думаю, теперь ее можно спокойно оставить без присмотра.

— Не будьте язвой, Корделия, — легко парировал удар Хьюго. — Вам это не идет. Язвительность к лицу другим женщинам, но только не с вашим типом красоты.

Они вместе спускались по лестнице навстречу шумной разноголосице зала. Комплимент раздосадовал Корделию.

— Эта особа на кровати, судя по всему, компаньонка Изабель. И часто она напивается?

— Мадемуазель де Конже? Ну, так она напивается не часто, но, признаюсь, совершенно трезвой почти не бывает.

— И вы с этим миритесь?

— А что я, по-вашему, должен делать? Выдать ее инквизиции двадцатого века — психиатру вроде моего отца? За что? Она не сделала нам ничего плохого. Кроме того, в тех редких случаях, когда она трезва, она так добросовестно исполняет свои обязанности, что хоть из дома беги. Выходит, в моих интересах потакать ее слабости.

— Вам, конечно, выгодно ее спаивать, но, по-моему, вы поступаете легкомысленно и негуманно.

Он замедлил шаг и, повернувшись к Корделии, весело посмотрел ей в глаза.

— О, Корделия, вы рассуждаете как дитя прогрессивных родителей, взращенное няней-сектанткой. Даю голову на отсечение, вы учились в монастыре. Право, вы мне нравитесь!

Корделия, ускользнув от них, смешалась с толпой, а он все улыбался. Что ж, он вычислил ее почти на все сто.

Она налила себе вина и медленно заскользила по комнате, бесстыдно вслушиваясь в обрывки разговоров в надежде услышать имя Марка. Ей повезло лишь единожды. За ней стояли две девушки и бесцветный, довольно пресного вида блондин.

— Софи Тиллинг поразительно быстро оправилась после самоубийства Марка Кэллендэра. Знаете, они с Дэви ходили на кремацию. Как это похоже на Софи — привести своего теперешнего любовника посмотреть, как сжигают бывшего. Должно быть, возбуждает, — сказала первая.

— А братишка получил в наследство девицу Марка, — рассмеялась ее подруга. — Красивых, богатых умниц не бывает — вот он и рад красивой богатой дурочке, бедняжка Хьюго. Он страдает от комплекса неполноценности. Не слишком красив, не слишком умен — то, что Софи окончила первой в выпуске, наверное, было для него ударом, — не слишком богат. Только и остается, что самоутверждаться в сексе.

— И даже в этом, не слишком...

— Милочка, тебе лучше знать...

Они рассмеялись и отошли. Корделия чувствовала, что у нее горят щеки. Рука дрожала, чуть не расплескивая вино. Она и не ожидала, что так обидится за Софи, настолько та успела расположить ее к себе. Но это, разумеется, было частью плана, стратегия Тиллингов.

Она ощутила близкое тепло чье-то тела. Обернулась и увидела Дэви. Он тащил три бутылки вина. Дэви, без сомнения, слышал по меньшей мере часть разговора, к чему, собственно, и стремились девицы, но улыбался по-прежнему добродушно.

— Забавно, как люто начинают ненавидеть Хьюго брошенные им женщины. А у Софи все наоборот. Ее отставные любовники вечно ошиваются на улице Норич. Как ни приду, кто-нибудь сидит в гостиной, пьет мое пиво и плачется Софи в жилетку, жалуется на нынешнюю подружку.

— И вы не против?

— Нет, лишь бы их не пускали дальше гостиной. Вам весело?

— Не очень.

— Пошли познакомлю со своим другом. Он меня о вас спрашивал.

— Спасибо, Дэви, не стоит. Я жду мистера Хорсфола.

Он улыбнулся, хотел что-то сказать, но передумал и ушел, прижимая к груди бутылки и весело крича «Поберегись!» расступаящейся перед ним толпе.

Туника имела успех. Несколько мужчин обнаружили желание — а некоторые и очень сильное желание — оторваться от своих собеседников ради удовольствия пообщаться с ней.

С одним — фатоватым историком, ироничным и забавным, ей особенно хотелось провести время — вечер обещал быть нескучным. Ей всегда хотелось, чтоб на вечеру за ней — и только за ней — ухаживал один приятный ей молодой человек; внимание нескольких ей было не нужно. Замкнутая от природы, она последние шесть лет совсем не общалась с ровесниками, и теперь чувствовала, что ее пугают и шум, и подспудная жестокость этих не вполне понятных ей светских ужимок, от которых попахивает свальным грехом. Кроме того, она здесь не для того, чтобы развлекаться в ущерб интересам сэра Рональда. Ни один из тех, кто хотел бы провести с ней время, не знал Марка Кэллендэра; жив ли он, умер ли — им всегда было на него глубоко наплевать. Ни в коем случае нельзя убивать вечер с людьми, которым нечего сообщить. И когда к ней уж очень приставали или ее начинала всерьез увлекать беседа, она, пробормотав извинения, спасалась в ванной или в саду, где на траве, под деревьями маленькими группами сидели гости и курили марихуану — Корделия сразу узнала этот терпкий запах. Эти разговаривать не желали, и здесь, по крайней мере, она могла побродить в одиночестве, набираясь мужества перед очередной атакой, перед очередным продуманно небрежным вопросом — чтоб в очередной раз услышать: «Марк Кэллендэр? К сожалению, не знал. Не тот ли это Марк Кэллендэр, который захотел вкусить прелестей деревенской жизни, а кончил тем, что сунул шею в петлю?»

Один раз она решила укрыться в комнате мадемуазель де Конже, при этом обнаружив, что ее неподвижное тело бесцеремонно спихнули на ковер, а кровать заняли для вполне определенных целей.

Когда же придет Эдвард Хорсфол? Может, он вообще не придет? Или он уже здесь, просто Хьюго забыл ее представить? В разгоряченной, размахивающей руками толпе, заполнившей гостиную и уже выплеснувшейся в холл и на пол-лестницы, не было видно ни Софи, ни Хьюго. Она уже начинала нервничать, думая, что вечер пропал, как вдруг Хьюго тронул ее за локоть.

— Пошли, познакомлю с Эдвардом Хорсфолом. Эдвард, это Корделия Грэй. Она хочет поговорить с вами о Марке Кэллендэре.

Вид Эдварда Хорсфола поразил Корделию (за сегодняшний вечер она только и делала, что поражалась). Она ожидала увидеть пожилого педагога, немного рассеянного от учености, строгого, но доброго наставника молодежи. Хорсфолу же едва перевалило за тридцать. Он был очень высокий, один глаз прикрывала длинная косая челка; тощее тело изгибалось, как дынная корка; сравнение с дыней приходило на ум из-за желтой сорочки с плоёной грудью, поверх которой хомутом болтался галстук.

Если у Корделии и была смутная надежда, в которой она стыдилась признаться себе самой, — что он сразу выделит ее и будет только рад побыть с ней подольше — она быстро рассыпалась в прах. Он даже не мог смотреть ей в глаза: взгляд неудержимо тянуло назад, к двери. Он явно кого-то ждал и, пока не пришел желанный гость, старался держаться особняком. Теперь, рядом с ней, он так задергался, что Корделия поневоле заразилась его тревогой.

— Успокойтесь, — сказала она. — Вам не придется провести со мной весь вечер, мне просто нужны от вас кое-какие сведения.

Когда она заговорила, до него, наконец, дошло, что он не один, и он понял, что ведет себя невежливо.

— Ну что вы, почту за честь, — постарался он исправить положение. — Так что же вы хотите узнать?

— О Марке мне интересно знать все. Вы ведь читали у него историю? Он хорошо успевал по вашему предмету?

Вопрос был не слишком существенный, но для начала — то, что нужно: именно на такой вопрос преподавателю легче всего ответить.

— Заниматься с ним было приятнее, чем с большинством студентов, которые имеют несчастье слушать мои лекции. Не знаю, почему он выбрал историю. С тем же успехом он мог бы изучать любую из естественных наук. Явления природы вызывали у него живейший интерес. Но он предпочел историю.

— А вы не думаете, что он выбрал историю назло отцу?

— Назло сэру Рональду?

Он повернулся и протянул руку за бутылкой.

— Что будем пить? Что меня восхищает на вечеринках Изабель де Ластери, так это полнейшее отсутствие пива — так-то выпивка здесь всегда превосходная, наверное, потому, что вина заказывает Хьюго.

— Значит, Хьюго пива не пьет?

— Говорил, не пьет. Так на чем мы остановились. Ах, да, на сыновнем непослушании Марка Кэллендэра. Он говорил, что выбрал историю потому, что, не зная прошлого, невозможно понять настоящее. Старо, как мир, — такими вот штампованными фразами обычно отвечают на вопросы корреспондентов, меня они всегда раздражали, но Марк, возможно, искренне верил в то, что говорил. На самом-то деле все наоборот: мы воспринимаем прошлое через призму настоящего.

— Он хорошо учился? — спросила Корделия. — Я хочу сказать, мог бы он стать первым в выпуске?

Она наивно считала первое место мерилom наивысшего успеха, неоспоримым свидетельством высокого интеллекта, в котором уже никто и никогда не усомнится. И желала услышать, что Марк, разумеется, получил бы первое место.

— Вы задали мне два совершенно разных вопроса. По-моему, вы путаете достоинства с достижениями. Предсказать, какое он занял бы место, невозможно. Первое — вряд ли. Марк мог провести исключительно качественное и оригинальное исследование, но материал собирал только по своей узкой теме. А кстати, сами-то вы откуда? — спросил он и, встретив непонимающий взгляд Корделии, добавил: — Из какого вы колледжа?

— Я не учусь. Я работаю. Я частный детектив.

Он и бровью не повел.

— Мой дядя однажды нанял частного детектива — выяснить, не любовник ли тетушки их зубной врач. Оказалось — да, любовник, но разве не разумнее было бы спросить об этом у них самих? А так он разом лишился и жены, и зубного врача. И выложил кругленькую сумму за информацию, которую мог бы добыть даром. Скандал, помню, был ужаснейший — вся семья только об этом и говорила. Вообще-то, работа частного детектива, по-моему...

— Неженское дело, — закончила за него Корделия.

— Нет, отчего же. Как раз вполне женское — кто, как не женщина, способен на такую любознательность и такое самопожертвование; кто, как не женщина, станет с такой охотой совать нос в чужие дела?

Рядом стояло несколько молодых людей; до Корделии и Хорсфолла долетели обрывки разговора:

— ... в духе худших образцов научной писанины. Полное отсутствие логики, избытие громких имен, тщетные потуги выразить глубокую мысль и совершенно жуткая грамматика.

Хорсфол с минуту вслушивался, потом, видимо, сочтя, что их болтовня не заслуживает его внимания, благоволил вернуть его Корделии (она уже было заподозрила, что его уважение ей не вернуть никогда).

— Так почему же вас так интересует Марк Кэллендэр?

— Его отец нанял меня, чтоб выяснить причину его смерти. Я надеюсь, что вы сможете мне помочь. Скажите, вы ведь беседовали с ним, вы ни разу не почувствовали, что он несчастен, так несчастен, что может покончить собой? Он объяснил, почему оставляет колледж?

— Мне — нет. Мы никогда не были особенно близки. Он вполне официально попрощался, поблагодарил меня за так называемую помощь, я выразил приличествующее случаю сожаление. Мы обменялись рукопожатиями. Я был смущен, но Марк — нисколько. Он был, по-моему, не из тех, кого легко смутить.

У двери возникла суматоха, и группа новых гостей с шумом влилась в толпу. С ними пришла высокая, смуглая девушка в алом платье с декольте почти до талии. Корделия почувствовала, как напрягся Хорсфол, увидела, что он неотрывно смотрит на девушку в алом — прежним — тревожным — взглядом. Сердце у нее упало. Вряд ли ей удастся выжать из него что-нибудь еще. Отчаянно пытаясь вновь завладеть его вниманием, она сказала:

— Я не уверена, что Марк покончил с собой. Мне кажется, его убили.

— Ну это вряд ли, — рассеяно ответил Хорсфол, не отводя глаз от вновь пришедших. — Кто? За что? Он не был яркой личностью, а потому ни в ком — кроме разве что отца — не умел вызвать даже смутной неприязни. Но Рональд Кэллендэр при

всем желаним не мог его убить. В тот вечер, когда умер Марк, он обедал у ректора — была годовщина колледжа. Я сидел с ним рядом. Сын звонил ему.

— В какое время? — нетерпеливо спросила, почти выкрикнула, Корделия.

— По-моему, вскоре после того, как начали есть. Вошел Бенскин, один из служителей колледжа, и позвал его к телефону. Это было где-то между восемью и четвертью девятого. Кэллендэр исчез минут на десять, потом вернулся и доел свой суп. Остальным еще не успели принести второе.

— Он не говорил, что Марку было нужно? Может быть, его что-то встревожило, вы не заметили?

— Нет. За обедом мы едва обменялись двумя словами. Сэр Рональд — прекрасный собеседник, но предпочитает не тратить свой дар на гуманитариев. Я пойду, извините...

И, работая локтями, начал продираться сквозь толпу к намеченной жертве. Корделия поставила стакан и отправилась искать Хьюго.

— Послушайте, — сказала она ему. — Я хочу поговорить с Бенскином. Прямо сейчас. Это реально?

— Вполне, — ответил Хьюго, поставив на стол бутылку, которую держал в руке. — Бенскин — один из немногих служителей, живущих в колледже. Но вряд ли вам самой удастся выманить его из берлоги. Если срочно, я, пожалуй, пойду с вами.

Швейцар колледжа бесстрастно подтвердил, что Бенскин на месте, и Бенскина вызвали. Он явился через пять минут — медлительный, невозмутимый. Седой, старый, в униформе, с мятой, толстой, пористой, как у вымороченного апельсина-королька, кожей, Бенскин мог бы смело фотографироваться для рекламы, изображая идеального дворецкого, если бы не цепкий, недобрый взгляд маленьких глаз.

Показав ему записку сэра Рональда, удостоверяющую ее полномочия, Корделия сразу перешла к делу. Намеками тут ничего не добьешься.

— Сэр Рональд, — сказала она, — просил меня разобраться в обстоятельствах смерти его сына.

— Понятно, мисс.

— Мне говорили, что в тот вечер, когда случилось несчастье, мистер Марк Кэллендэр звонил отцу — и что вы позвали его к телефону вскоре после того, как начался банкет.

— Верно, мне показалось, что звонит мистер Марк Кэллендэр, мисс, но я ошибался.

— Откуда вы знаете, что ошиблись, мистер Бенскин?

— Сэр Рональд сам сказал мне, когда я встретил его в колледже через несколько дней после смерти сына. Я помню сэра Рональда еще студентом и имел дерзость принести свои соболезнования. Во время нашей краткой беседы я сослался на тот телефонный звонок, и сэр Рональд сказал мне, что я ошибся: ему звонил не сын, а совершенно другой человек — мистер Крис Ланн. Он ассистирует ему в лаборатории.

— А вас не удивило, что вы могли так ошибиться?

— Признаюсь, я был несколько удивлен, мисс, но такая ошибка, наверное, простительна.

— Понимаете, сэру Рональду очень важно знать истину о смерти сына. Может, вам есть что сообщить, мистер Бенскин? Пожалуйста, помогите, если можете.

Корделия не просто вопрошала. Она почти молила.

— Мне нечего сообщить вам, мисс. Мистер Кэллендэр был тихим, славным юношей и, насколько я мог его наблюдать, пребывал в добром здравии и отменном расположении духа, пока не покинул нас. Все в колледже горевали, когда он умер. Чем еще могу служить, мисс?

Он стоял и терпеливо ждал, когда же ему позволят уйти, и Корделия отпустила его. Вместе с Хьюго они вышли из колледжа и вернулись на улицу Трампингтон.

— Плевать он на все хотел, — сказала Корделия с горечью.

— А ему-то какое дело? Бенскин старая лиса, но он уже семьдесят лет служит в колледже и навиделся всякого. Насколько мне известно, Бенскин один-единственный раз сокрушался о самоубийстве студента — то был сын герцога. «И как в колледже допустили такое? — негодовал он. — Непорядок». Что же касается звонка Марка, тут он слухавил. Мне, по крайней мере, это сразу стало ясно. Распрекрасно он все расслышал.

— Он вел себя, как подобает старому вышколенному слуге, в этом весь Бенскин, — сказал Хьюго с улыбкой. — «Нынче молодые господа уже не те, что прежде...» Да уж, надеюсь, не те! На заре карьеры Бенскина студенты носили бакенбарды, а дворяне щеголяли в экстравагантных туалетах, дабы отлечь от плебеев. Бенскин — призрак царственного прошлого.

— Но он не глухой. Я говорила тихо — он отлично слышал меня. Вы верите, что он ошибся?

— Крис Ланн и его сын — звучит похоже¹.

— Но Ланн так не представляется. При мне и сэр Рональд, и мисс Лиминг называли его просто Ланн.

— Но не подозреваете же вы, что сэр Рональд замешан в смерти сына! Где логика? Думаю, вы согласны, что умный убийца сделает все, чтоб его преступление осталось нераскрытым. И вы, конечно же, согласитесь со мной, что, хоть сэр Рональд и мерзкий тип, отнюдь не дурак. Марк мертв, его тело кремировали. Никто не задозорил убийства. И тут сэр Рональд нанимает вас, и вы начинаете ворошить это дело. Зачем он это сделал, если ему есть что скрывать? Ему даже не нужно отводить от себя подозрение: никто его ни в чем не подозревал и не подозревает.

— Да нет, я не думаю подозревать сэра Рональда в убийстве сына. Он не знает, как погиб Марк, и страстно жаждет узнать. Вот для чего он нанял меня. То, что для него это крайне важно, я поняла еще во время первой беседы; тут я не могла ошибиться. Но я не понимаю, зачем ему было лгать Бенскину.

— Да у него могли найтись десятки причин, и причем совершенно невинных! Только отчаяние могло заставить Марка позвонить отцу в колледж; может быть, в этом звонке — ключ к разгадке его самоубийства и отец не хочет, чтобы об этом узнали другие?

— Но зачем тогда было нанимать меня?

— Верно, Корделия, вы рассуждаете здраво. Попробую еще раз. Марк обращается к нему за помощью, может быть, просит срочно приехать; отец отказывается. Нетрудно вообразить его реакцию. «Не глупи, мой мальчик, я обедаю у ректора. Что же я, по-твоему, должен оставить котлетки и кларет — всего лишь потому, что ты распсиховался и требуешь свидания? Возьми себя в руки». На открытом слушании дела такое прозвучит не слишком красиво; коронеры¹ знамениты своей щепетильностью. — Хьюго понизил голос, в нем появились скорбно-назидательные нотки: — Мне не хотелось бы сыпать соль на раны сэра Рональда, но — как знать — откликнись он на сыновний зов о помощи — и юноша остался бы жив. Если б он оторвался от трапезы своевременно и поспешил на встречу с сыном, этот блестящий молодой ученый был бы сбережен для науки. Кембриджские самоубийцы, смею вас уверить, все как один блестящих способностей. Я все жду, может, когда-нибудь ректорат честно признается, что, не наложи студент на себя руки, его бы на следующий день вышибли под зад коленом.

— Марк умер между семью и девятью вечера. Этот звонок обеспечивает сэру Рональду алиби!

— Ну, ему это и в голову не придет. Зачем ему алиби? Об алиби беспокоятся виновные. А если человек чист и вне подозрения, разве станет он думать об алиби?

— Но откуда Марк узнал, где найти отца? Сэр Рональд сам засвидетельствовал, что не разговаривал с сыном более трех недель.

— Да, концы не сходятся. Спросите мисс Лиминг, а еще лучше — Ланна, если в колледж звонил действительно он. Кстати, присмотритесь-ка к Ланну. Лучшего претендента на роль злодея вам не сыскать.

— Не знала, что вы знакомы.

— Да его в Кембридже каждая собака знает. Он всюду разъезжает в ужаснейшем закрытом фургончике с такой свирепой миной, словно везет провинившихся студентов в газовую камеру. Личность известная. Я бы взял на прицел именно Ланна.

Дальше шли молча. Ночь была тепла, в воздухе пахло летом, в канавах улицы Трампингтон пела вода. Отовсюду — из дверных проемов колледжа и из окон привратничьих, из дальних садов и внутренних двориков — струился, колеблясь когда они проходили мимо, свет — далекий, призрачный, словно во сне. Корделии вдруг стало нестерпимо грустно и одиноко. Если бы Берни был жив, они бы сейчас обсуждали дело, уютно устроившись в самом дальнем уголке какого-нибудь кембриджского паба, где никто их не знает, а шум и дым сигарет ограждали бы их от любопытства соседей; говорили бы тихо, на языке, понятном только им двоим. Вдвоем они пытались бы разобраться, что же за человек был убитый, — он повесил над кроватью такую лиричную, изысканную картину, и он же покупал похабные журналы с голыми развратницами. Он ли? И если нет, как она очутилась в палисаднике у флигеля? Обсудили бы и отца, сказавшего неправду о последнем телефонном звонке сына. Радуюсь друг другу, они бы разгадывали секреты грязной лопаты, недокопанной грядки, немойтой кружки из-под кофе, профессионально отпечатанной цитаты Блейка. Поговорили бы о смертельно напуганной Изабель и прямодушной Софи, о Хьюго, который без сомнения что-то знал о смерти Марка, о хитреце Хьюго, которому все же не мешало бы быть похитрее. И, впервые с тех пор, как взялась за это дело, Корделия засомневалась, что может распутать его одна. Если бы у нее был надежный друг, которому

¹ Коронер — должностное лицо при органах местного самоуправления города или графства, разбирает дела о насильственной или внезапной смерти при сомнительных обстоятельствах.

можно все рассказать, друг, который вдохнул бы в нее уверенность в себе... Она снова подумала о Софи, но Софи — любовница Марка и сестра Хьюго. Оба не без греха. Нет, ей не на кого опереться. Да и зачем, ведь она всегда, всю жизнь была одна. Мысль эта, как ни странно, утешила ее и вернула надежду.

На углу улицы Пэнтон они остановились.

— Пойдем назад, к Изабель? — спросил Хьюго.

— Нет-нет, спасибо, Хьюго. Мне еще надо поработать.

— Ты остановилась в Кембридже?

Корделия вдруг почувствовала, что вопрос был задан не просто из вежливости.

— Да, поживу день-другой, — осторожно сказала она. — Я тут нашла пансион неподалеку от станции. Кормят невкусно, но зато дешево.

Он молча принял ложку, и, пожелав друг другу спокойной ночи, они разошлись в разные стороны. Маленькая ее машина по-прежнему стояла у номера 57 по улице Норич. В доме было тихо и темно, три окна неприветливо глядели слепыми глазницами. Ей, Корделии, здесь больше не место. Отверженная.

Поставив «Мини» у рощицы, Корделия пешком дошла до флигеля. Господи, как же она устала! Калитка скрипнула под ее рукой. Ночь была безлунная; она нашарила в сумке фонарик и, следуя за пятном света, подошла к двери. Не выключая фонарик, вставила ключ в замок, повернула его и, покачиваясь от усталости, вошла в гостиную. Фонарик все горел в ее опущенной руке, бросая робкий ответ на выложенный плиткой пол. Случайным взмахом свет дернулся вверх и ярко осветил предмет, висевший на крюке посреди потолка. Корделия с криком вцепилась в стол. Оказалось, это всего лишь валик с ее кровати, один конец перетянут проволокой, образуя карикатурно-выпуклую голову, другой заправлен в брюки Марка. Плоские, пустые брючины свисали одна ниже другой. Жалкое зрелище. Завороженная ужасом, она смотрела на муляж. Сердце лихорадочно билось. Из открытой двери потянул легкий ветерок, и муляж медленно качнулся в сторону, словно его толкнула рука живого человека.

Должно быть, она совсем недолго простояла, парализованная страхом, но ей показалось, что, пока она нашла в себе силы подставить стул и снять валик с крюка, прошла вечность. Преодолевая отвращение и ужас, рассмотрела узел. Проволока была прикреплена к крюку простым двойным узлом. Стало быть, ее тайный посетитель решил не повторяться, возможно, правда, и другое: он просто не знал, как был завязан первый узел. Она положила валик на стул и отправилась в сад за пистолетом. От усталости она едва не позабыла о нем, но сейчас, чтоб вновь обрести уверенность в себе, ей было необходимо ощутить в руке холодную тяжесть металла. У двери остановилась и прислушалась. Сад вдруг наполнился звуками: загадочно шелестела трава, от легкого дуновения ветерка пришли в движение листья, шум их был подобен человеческим вздохам. Слышно было, как хрустнула ветка кустарника и пугающе близко раздался крик животного — наверное, летучая мышь. Ночь, казалось, затаила дыхание. Корделия, крадучись, пробралась к старому кусту. Еще долго стояла она там, прислушиваясь к ударам собственного сердца, пока, наконец, не нашла в себе мужества вернуться к флигелю спиной и меж ветвей нашить пистолет. Никто не обнаружил ее тайника. Она шумно, с облегчением вздохнула и сразу почувствовала прилив сил. Пистолет не был заряжен — но какое это имеет значение! Страх отпустил ее, и со всех ног она побежала назад.

Но спать легла только через час. Засветила лампу и с пистолетом в руке обыскала весь дом. Потом осмотрела окно. Оно не запиралось и легко открывалось с улицы, так что было ясно, каким образом посетитель проник внутрь. Из заветного чемоданчика Корделия достала моток клейкой ленты и, отрезав две узкие полоски, заклеила ими окно. Окна фасада, скорее всего, забиты наглухо, но лучше не рисковать — и она заклеила также и их. Вряд ли это остановит врага, но она, по крайней мере, будет знать, как он проник в дом. Наконец, помыв посуду в кухне, она отправилась наверх — спать. Дверь не запиралась, но она слегка приоткрыла ее и положила крышку сковородки — никто теперь не застигнет ее врасплох. Помня, что имеет дело с убийцей, зарядила пистолет и положила его у изголовья, на прикроватную тумбу. Проволока была обычная, явно не новая, около полутора метров в длину, с расщепленным концом. Она аккуратно навесила на нее ярлык и, как учил Берни, спрятала в чемоданчик. То же проделала и с ремнем, и с отпечатанным отрывком Блэйка, которые переложила из сумки в целлофановые пакеты для вещественных доказательств. Она так устала, что даже эта привычная механическая работа стоила ей напряжения воли. Потом вернула валик на его законное место, хотя ей ужасно хотелось спихнуть его на пол и спать без него. Ну а после этого и страх, и неуют — все утонуло в полном изнеможении, увлекшем ее измученный рассудок в темное царство сна.

Окончание следует.



К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

ТРИ ПОРТРЕТА, ТРИ ИСТОКА

Три истока развития советской скульптуры Узбекистана просматриваются в работах ташкентских скульпторов Амона Азизова, Павла Асеева, Роберта Авакяна. Так, поэзией вычеканивал свою тропу в творчестве А. Азизов — мастер художественной чеканки, скульптор, тяготеющий к малым формам. Его поэтический дар мироощущения, порой усугубляющий щемящее бессилье перед прихотями быстротечной жизни, молоточком отбивает ритмы по металлу. На листах багряно-красной меди, то огнем полыхающей печи, то закату созвучной, вычеканивает он силуэт верблюда крылатого с будто бы «племенным клеймом» собственного творчества: «Амон». Верблюдам свойственна не только ритмичная грация, под стать походке их со звоном колокольцев на шее, но и мудрое терпение, выносливость. «Образ-символ верблюда помог мне не растерять себя под тяжестью невзгод», — вспоминает А. Азизов. Но и без «эмблемы» творчества искусный чеканщик прочитывается то в грациозной пластике девичьего стана на листах алюминия, то в ритме фигур народных музыкантов на солнце горящих листах латуни. Особенность его чеканки в том что она смотрится скульптурным барельефом. Но те же листы металла, раскроенные и сваренные заново, раскрывают в художнике и особенность мыслить пространственно. В работах анималистического жанра, где автор, подобно дервишу, почтительно преклоняется перед созданиями природы, ярко выступает декоративизм. Объемная скульптура у него не отлита, а «выколочена» из меди, более «рукотворна». Но тем не менее объемная форма у А. Азизова идет от упрощенного подхода к изображению. Вот почему такими графичными смотрятся его настольные бюсты и фигурки классика узбекской поэзии А. Навои.

Когда спрашивают у А. Азизова о преемственности его дарования, о семейной хронике, он глубоко задумывается и не спешит с ответом. Высшего художественного образования он так и не получил, ограничившись профессиональными навыками, полученными в Ташкентском республиканском училище им. Бенькова, квалификацией мастера по художественной чеканке. Изучал он и рисунок, и все, что положено, но ко многому пришел сам. А семья сыграла в становлении мастера неоценимую роль. Женщина в жизни художника — вечная модель-прародительница творческого импульса, мать его созданий. А в облике спутницы творческой жизни А. Азизова угадывается самоотверженная натура, молодость сверкнула и не погасла, а горит и поныне на огненной меди чеканок, в ней отражена красота земли узбекистанской.

В народных мотивах чеканок А. Азизова очевиден вдумчивый подход к наследию восточной книжной миниатюры с ее таинственной условностью. Достаточно взглянуть в то, как старик сажает дерево. Старик будто дарует завет своей земле — беречь кладезь мудрости.

Именно через изучение восточных традиций изображения к книжной миниатюре пришел другой мастер, Павел Асеев, к тому, что оникс, этот полудрагоценный камень, использовавшийся издревле в ювелирных изделиях, заиграл сегодня в блеске своей новой славы — в скульптуре малых форм. Сначала учеба в ТХИ им. А. Н. Островского, затем творческие поиски. И нашел он свой заветный камень только в 1985 году. А до этого топтался на затыжной стадии освоения «европеизма», канонов общесоветской школы скульптуры, основанной на достижениях классического академизма. Особенно

сковывает это, когда творческие помыслы устремлены к осмыслению наследия Востока. П. Асеев принадлежит к числу счастливых дарований. На примере его нехоженой тропы можно проследить процесс культурной ассимиляции русских авторов на Востоке. Творчество таких, как П. Асеев, бывает более «национально» своеобразно, чем работы многих коренных носителей тех же традиций Востока. К этой восточной специфике он шел наощупь через практику обработки камней. Удивительно, но факт налицо: ониксу оказались чужды традиции запада в искусстве, и работы в духе того же русского академизма не давали слияния изображения с «наклонностями» самого камня.

Павел Дмитриевич поворачивает свой станок, и блики света, лаская фактуру ювелирно отшлифованной поверхности камня, являют зрителю то пружинисто-гибкую грацию разъяренной пантеры, то гордую посадку головы поэта-мудреца. Цветовые мелодии, пульсируя в прожилках камней, одухотворяют сущность мастерства. Из глубин веков проявляются секреты искусства камнереза, скульптора, ювелира.

С творчеством ташкентского мастера Роберта Авакяна мне довелось познакомиться впервые на площади, где проходил Всесоюзный симпозиум скульпторов «Ашхабад-88». Р. Авакян создал удивительный образ классика туркменской поэзии Махтумкули Фраги, высеченный из травертина кирпично-золотистого цвета. Камень этот из числа самых твердых, неподдающихся пород. И только Р. Авакян, опоздавший на девять дней на симпозиум, а затем спокойно выжидающий в стороне своего права на «только ему доступный камень, смог покорить эту цельноблочную твердь, как истый сын каменистой Армении. Рука скульптора заставила даже мертвую, молчащую веками, глыбу стонать и плакать под стать извечно печальным мелодиям многострадальных народов. А вот «восточность» скульптора-ташкентца прочитывается в самом подходе к образу Махтумкули, в подкупающем понимании глубины изречений поэта и значения его для духовного мира кочевых туркмен. В творчестве Р. Авакяна прослеживаются две линии: с одной стороны, устремление к геометрическому равновесию, отчего работы его даже в глине смотрятся каменными. А с другой стороны — почти невесомо парящая плавность даже в камнях, «сентиментально» звучащая для столь суровой породы. Откуда в нем эта мелодичность и мягкость? По признанию самого Р. Авакяна, она сама неволью «напрашивается» в пластику, под влиянием мелодий и танцев Узбекистана. Да, эта напевная мягкость, раскалывающая даже суровые камни, истоки берет от музыки, в звучании которой поет столь многоголосо многонациональный Узбекистан. Это вещают миру три фигуры музыкантов с карнаями в мастерской Р. Авакяна.

Д. АБДУРАХМАНОВА.

О НАШИХ АВТОРАХ

КАБУЛ НУРАЛИ (Нурали Кабулович Халбутаев) родился в 1950 году в Джизакской области Узбекской ССР.

В 1974 году окончил исторический факультет Ферганского государственного педагогического института им. Улугбека. Работал учителем сельской школы, в райкоме комсомола, в редакциях газет и журналов.

Автор книг повестей и рассказов «Айкор», «Здравствуйте, горы», поэмы «Сказка о ветре». В издательстве «Советский писатель» вышла книга его повестей «Небо твоего детства».

ОДИССОНОВА Галина Викторовна. Родилась в Ташкенте. Закончила факультет романо-германской филологии ТашГУ имени В. И. Ленина. Работает в ТашПИ преподавателем иностранного языка. Печаталась в республиканских газетах и журналах, в коллективных сборниках. Переводит на русский язык стихи и рассказы узбекских и зарубежных авторов.

ФАРХАДИ Раим Хакимович родился в г. Самарканде в 1942 году.

В 1965 году окончил Самаркандский медицинский институт, работал врачом, преподавал в институте истории медицины.

Раим Фархади — автор многих поэтических сборников, сценариев нескольких документальных и мультипликационных фильмов. Некоторые стихи поэта положены на музыку и стали песнями. Сборники стихов для детей «Волшебное окно», «Кто рисовал радугу?», «Веселый троллейбус» отмечены премией Ленинского комсомола Узбекистана.

Раим Фархади — член Союза писателей СССР.

ЕРШОВ Анатолий Андреевич родился в 1932 году в Эстонии. Окончил Таллиннский политехнический институт. Много лет работал в печати. Автор ряда публицистических книг и документальных фильмов. Член Союза писателей СССР.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию издательства по адресу: 700000, ГСП, ул. Газеты «Правда», 41.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются отделения «Союзпечати» на местах.

Технический редактор Ф. Я. Викнянская.
Корректор З. Г. Байбазарова.

Адрес редакции: 700000, Ташкент, ГСП, ул. Газеты «Правда», 41.

Телефоны: главного редактора — 33-42-68, заместителя редактора и отв. секретаря — 33-40-43; отделов: прозы, поэзии — 33-77-64, публицистики, литературной критики — 33-07-78.

Рукописи объемом менее печатного листа не возвращаются.

Сдано в набор 3.05.90 г. Подписано к печати 13.06.90 г. Р-01520. Формат 70×108¹/₁₆. Бумага тип. № 2. Офсетная печать. Условных печ. л. 18,2+0,35 (вкл.). Усл. кр.-отг. 19,95. Уч.-изд. л. 10,95+0,35 (вкл.) Тираж 210228. Заказ № 3167. Цена 1 рубль.

Ордена Трудового Красного Знамени
типография Издательства ЦК Компартии Узбекистана,
Ташкент, ГСП, ул. Газеты «Правда», 41.

«ЗВЕЗДА ВОСТОКА» В 1991 ГОДУ

В 1991 году журнал «Звезда Востока» планирует опубликовать исторические романы Мирмухсина «Ходжентская крепость» — о кровавом нашествии Чингисхана и полководца Тимура Малика; Примкула Кадырова «Перевал поколений» — о прославленном полководце и поэте Средневековья Бабуре; роман Владимира Багратова «Страна убитых птиц» — о возможной реставрации тоталитарного режима в нашей стране, а также повести Эркина Агзамова «Прощание после праздников», Татьяны Есениной «Лампа лунного света», Мурада Мухаммада-Доста «Портрет с другом и без него».

Журналу передали свои произведения прозаики Динара Абдулова, Асад Асиров, Георгий Вогман, Владимир Мориц, Альбина Петрова, Маматкул Хазраткулов, Лариса Шпаковская, Хайриддин Султанов.

Под рубрикой «Приключения. Фантастика» намечается опубликовать романы Сержа Жакемара «Контракт на три убийства», Дэшила Хемметта «Худой человек», Рауля Мир-Хайдарова «Пиковая масть», повести Вадима Донского, Тахира Малика, Эдуарда Маципуло.

Публицисты в своих статьях рассмотрят пути ускорения социально-экономического развития Узбекистана как суверенной республики, оздоровления межнациональных отношений, укрепления русско-узбекского сотрудничества, утверждения демократических начал в общественно-политической жизни.

Будет завершена публикация Корана и начата публикация хадисов «Ас-Сахих» («Правильный») — высказываний пророка Мухаммада и рассказов о его поступках, собранных Абу Абдаллахом Мухаммадом аль-Бухари. Эта книга вторая по важности после Корана основа вероучения ислама, на русский язык переводится впервые.